

1973 Трифонов ИОВЫИ МИР "Четвертое" 3

И О В Ы И М И Р

3

1973

ИЗВЕСТИЯ И МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLIX

№ 3

Март, 1973 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
НОВЕЛЛА МАТВЕЕВА — Шпалы, маленькая поэма	3
А. КУДРАВЕЦ — Снова в Будневе, повесть. Авторизованный перевод с белорусского В. Щедриной	6
ЮРИЙ ТРИФОНОВ — Нетерпение, роман	44
ЖУЖА РАБ — Стражам приличия, стихотворение. Перевела с венгерского Римма Казакова	117
СТАНКА ПЕНЧЕВА — Осеннее, стихи. Перевела с болгарского Татьяна Макарова	119
ГЕНРИХ БЕЛЬ — Групповой портрет с дамой, роман. Продолжение. Перевела с немецкого Л. Черная	121

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ ФЕОДОСИЙ ВИДРАШКУ — Вахта	183
---	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

В. А. САКУШЕВ — Путь в рабочий класс (Заметки о воспитании молодого рабочего)	204
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВИТАЛИЙ ОЗЕРОВ — Тревоги мира и сердце писателя. Окончание	212
СЕРГЕЙ АНТОНОВ — От первого лица... (Рассказы о писателях, книгах и словах). Статья четвертая	234

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	249
В. Бавина. Природа таланта.— Григорий Бакланов. Последняя книга.— Сергей Львов. Роман, которому не помогли.— В. Хмара. С позиций партийности.— Борис Евгеньев. Мыс Доброй Надежды.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	269
В. Голованов. Анализ великого наследия.— Л. Пушкарев. На переднем крае исторической науки.— Вал. Гольцев. Монография о танках.— Б. Марушкин. Америка на перепутье.— С. Владимиров. «Потаенные мысли» ученых.	
КОРОТКО О КНИГАХ — И. Подольская. — А. Шаров. Повести воспоминаний. ♦ В. Шкловский. — Марк Лисянский. Лучшие годы мой. Избранная лирика. Стихи. М. Лисянский. Все сначала. Стихи. Поэма. ♦ Лев Озеров. — Л. Михайлова. Александр Грин. Жизнь, личность, творчество. ♦ Александр Фюрстенберг. — Афоризмы. Из сборника, подготовленного Вл. Воронцовым. ♦ Е. Полякова. — Ольга Леонардовна Книппер-Чехова. Воспоминания и статьи. Переписка с А. П. Чеховым (1902—1904)	282
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

НОВЕЛЛА МАТВЕЕВА

★

ШПАЛЫ

Маленькая поэма

За осинами, за дубами,
За склоненными к далям столбами
Дымной станции стон лебединый
Пролетает по линии длинной.

За осинами сыро, овражно,
Тени ночи болезненно-впалы...
Только там хорошо и не страшно,
Где высоко проложены шпалы

Вечерами тоски и печали
Хоть немного меня занимали
Эти жирные черные доски —
Эта лестница в детском наброске.

Эта клейкая клавиша сажки,
Нота стойкая (даже не гамма!),
Эта дума одна и та же,
Повторяемая упрямо.

Черных мыслей не заитожить,
Как ни встряхивай опыт копилкой..
Шпалы — слово одно и то же,
Размножаемое копиркой.

Но пространство их гордо лелеет,
Руки мрака ласкают сурово.
И песок между шпалами тлеет
Теплым зеркалом света дневного.

Даже в полночь — как тонким мученьем
В низком проводе ноет доука —
Между шпал неусыпным свеченьем
Утро теплится близоруко.

Вьюга ль кольцами снег завивает —
Не бывают холодными шпалы;
Вечно издали их нагревает
Звук довременный,
Звук запоздалый...

И покуда теплом нагнетанья
Поезда не нагреют их сами,
Греет их
Поездов ожиданье
И прощание с поездами.

Паровозик ли в дали залятой
Только-только приходит в движенье —
А уж катится искра-глашатай
Возвестить о его приближенье.

Если ж ливни из туч опрокинут
Оружейную лавку булатов —
И под ливнями шпалы не стынут,
Как рабочие руки мулатов.

Даже в самом пустынном отрезке,
Где уж хочется выть захолустью,
Звуки в рельсах так бодры и резки,
Так не вяжутся с тягостной грустью!

И в лесах, где затворница зелень —
Как потек на стене монастырской,
Где под черным пожатием елей
Дух ломается — хоть богатырский,

Где сугроб залежался апрельский,
От молчанья лесов одичалый,
Есть железная логика — рельсы.
Есть надежная истина — шпалы.

Вижу дым паровозный над пашней —
Недвижима у дыма вершина...
Слышу клик сиротливо-протяжный —
Будто джин прокричал из кувшина
На далекой черте горизонта,
На пустынном прилавке заката,
Где вечернее свежее золото
Израсходовалось куда-то...

Грустью вечера пахнет железо,
Уголь, камень... Беззвучные галки
Оседают на волосы леса,
Как старушечьи полушалки...

Из лощин
Полузвуки истомы
Вырастают, как рожки улиток,—
Эти ночи больные фантомы
Или прозы дневной
Пережиток?

Ничего мне о том не известно.
Но хотя бы там, дальше, геенна —
Как мне странно и как мне чудесно,
Что дорога и впредь — несомненна!

...Глядя под ноги зачарованно,
Вижу тень паровозного свиста.
И, в лучах семафора червонного —
Как бы спичек, наструганных ровно,—
Ровный счет в голове трубочиста...

Я шагаю по этим ступеням,
По добротным, испытанным теням:
Путь по шпалам не может не сбыться.
Невозможно на нем заблудиться.

Сам их вид подгоняет и греет,
Вроде нарт, управляемых взглядом...
Мощь пространства у насыпи реет,
Как погонщик, шагающий рядом...

За штакетником шпал
Пробегают
Дух порядка (чумазый, но свежий),
И меж пальцев их черных
Мелькает
Белолобый рассвет побережий.



А. КУДРАВЕЦ

★

СНОВА В БУДНЕВЕ

Повесть

На радоницу до обеда пашут,
по обеде плачут, а вечером пляшут.

П о с л о в и ц а.

†

И на станции, как всегда, было больше тех, кто встречал, чем тех, кто приезжал, хотя из поезда сегодня высыпало немало людей. Иван знал, что его ждать никто не будет, но все же постоял возле низенького станционного заборчика, пока люди растеклись кто куда. Неплохо было б увидеть кого-нибудь из знакомых.

Знакомых не было, начало темнеть, и он достал из чемодана фонарик. Потом закинул чемодан за плечи, просунув палку сквозь ручку, и пошел, освещая себе дорогу ручным фонариком. Уже с неделю стояли ветреные, с солнцем дни, воду стянуло, и земля начала просыхать, была мягкая и как будто теплая. На голых местах и тут, в лесу, дорога успела затвердеть. Со стороны потянуло запахом оттаявшего мха и смолы.

Впереди Ивана и сзади слышались голоса, мигали фонарики — сегодня в эту сторону шли многие, — и Иван начал прислушиваться к голосам.

Иван любил эту не короткую — что ни говори, а все же десять километров — дорогу домой. Здесь он веселел, его тянуло говорить и смеяться. Он вдруг начинал ощущать в себе смелость и твердость человека, легко и просто живущего на свете.

Ему хотелось, чтоб все считали его своим. Он не понимал, что даже в Будневе он был только гостем. А с гостя что возьмешь?

Это бывало всегда, когда Иван выезжал в командировку из своего института. Поспешно, словно боясь опоздать, он складывал свои карты, планы, схемы в стол, получал деньги, хватал в руки чемоданчик.

Иван любил забраться в какой-нибудь далекий совхоз и ходить, мерить, прикидывать: где пустить линию, где поставить трансформатор, как сделать подводку к ферме, к зернохранилищу.. И еще он любил быть на воле — то ли поле это, то ли лес...

Два парня неподалеку от него говорили о девушках. Впереди вышагивал длинный парень, помахивая малюсеньким — что в него можно положить! — чемоданчиком.

— ...А помнишь, приходила с хутора... Маней ее звали... Ой, как же ее?... Маленькая такая, «сербиянку» любила танцевать... Вот девка была! Огонь! — говорил один из тех двоих.

— Она огонь, а ты порох... Ну, там уже было дело,— перебил его сосед. У него был певучий, немножко в нос голос, он приятно, как на спевках, растягивал слова — «о-о-гонь», «по-ро-о-х».

Парень с малюсеньким чемоданчиком замедлил шаг:

— Это вы про какую Маню? Не про Меллянову ли? -- Ему, видимо, хотелось присоединиться к разговору.

— У батьки ее пчелы были... Я после того еще раза два заглядывал к ним и медком лакомился.

— Меллянова,— уверенно подтвердил парень с чемоданчиком.— Она теперь замужем. В Могилеве. Двоих детей имеет.

— Конечно, будет замужем, где ж ей быть,— хмыкнул, как отмахнулся от него первый и заговорил, обращаясь к соседу, тише и более интимно: — По-моему, так у тебя и с Верой что-то было, а? Или это просто так люди языками молили?..

Тот, первый, вздохнул:

— О Вере я промолчу...

— Что, не в коня корм?

— Может, и так.

— Она со мной в одном вагоне ехала,— снова влез в разговор парень с чемоданчиком.— И поехала дальше, в Долгий Лог.

— Зайцева Вера? — спросил первый парень.

— Зайцева Вера...

— И одна ехала или с мужем?

— Одна. Вдвоем теперь ездить не модно.

— Брось, Ленька. Что тебе, одна она или с мужем,— сказал парень с певучим голосом.

— Куда, хлопцы? До Ворсы? — спросил Иван.

— Дальше...

— До Нового?

— Дальше.

Отвечал Ивану парень с певучим голосом.

— Куда же дальше... Дальше Буднев.

— Значит, до Буднева...

— До Буднева?.. Так и я туда! — удивился Иван.

— Мы знаем.

— А я что-то вас не узнаю...— Иван прикидывал в памяти кто они и не мог сообразить. Помог сам парень:

— Четвертая бригада. Прокопович. И теперь не знаешь? Данилов внук...

— А-а-а, теперь знаю. Игорь? Разве узнаешь... Я в армию шел, а тебе было лет десять?..

— Не было.

— То-то. А ты к кому? — Этот вопрос относился к Игореву соседу.

— К Потапу.

«Фу ты черт, как же я не узнал его? Это ведь Потапов Леня. И голос Потапа. И бабник, должно, такой же, как батька».

Теперь они шли все вместе друг за другом. Парень с чемоданчиком приостановился, поджидая их.

— Тоже в Буднев? — спросил его Иван, уверенный, что так оно и есть.

— Ага,— ответил парень, и теперь Иван узнал его. Это был Микулихин... как его? — Федя или Петя... Кажется, Федя...

— А ты Купцов Иван? — спросил тот, и все засмеялись: наконец-то познакомились земляки.

— Неужели все из Минска? — спросил Иван.

... Как видишь,— за всех ответил Игорь.

— Странно как-то... Все из одного села, живем в одном городе, а друг о друге ничего не знаем.

Какое-то время шли молча — лишь однообразный топот ног и вспышки фонариков. Свет выхватывал из темноты мокрые суковатые стволы молодых сосен, блестящую, как слюда, кору берез, кустики голубики и багульника.

Снова заговорил Игорь с Леной; Иван понял, что разговор идет об ограде на могилу.

— Хотел к радонице привезти, покрасить, и хлопцы обещали сделать, выпили бутылку договорного...

— Выпили, так сделают... А дед Данила немножко подождет.

— Что, разве Данила умер? — спросил Иван.

— Умер. Уже два месяца прошло. Тогда такая метель была... — глухо ответил Игорь.

Старый Данила заменял ему и деда, и отца, и мать. Он взял Игоря из детского дома, когда тому было четыре года.

— Выше голову, Игорек, не плоди тоску... Не надо... — хлопнул Игоря по плечу Леня. — Завтра радоница, соберутся люди на кладбище... Придем и мы, вспомним старого...

«Ага! Так это, выходит, завтра радоница?» — подумал Иван. Ехал просто домой, а угодил как раз на радоницу.

Лес кончился. Пошло поле. Впереди горели огни Дубеек. Здесь еще никто не спал. За Дубейками Игорь с Леной отделились, свернули на стежку: она немного сокращала дорогу. Иван с Федей пошли по шляху: короче-то короче, но стежку в одном месте перерезал канал. Хорошо, если хлопцы найдут кладку, а если нет...

Оставшись вдвоем, Иван с Федей незаметно для себя ускорили шаг. Шли, словно старались загнать друг друга.

Говорить не хотелось.

Свой фонарик Иван давно засунул в карман — он был слабее Федино — и теперь следил, как Федя забавляется со своим, высвечивая то пожеванный колесами машин кустик репейника с пустыми ежиками, то поросшую травой кучу собранных с поля камней.

Следил за Фединым фонариком, а сам думал о том, что Вера ехала в одном поезде с ним.

Напоминание о Вере всколыхнуло давнее, щемящее. Иван думал, что оно отжило, покрылось пеплом. Старый дурак, скоро тридцать, а между ним и Верой было что-то такое, что нет-нет да и напоминало о себе.

Знал, что после школы Вера поехала на Север, куда-то под Мурманск, вышла замуж за офицера. Знал, что она прошлым летом приезжала домой хоронить отца. Знал еще кое-что.

Небо вверху расчистилось. Теперь и без фонарика хорошо были видны и дорога и стежка рядом с нею. Миновали Новое Село. Стояло оно на высоком месте, и здесь, видимо, уже начали сажать картошку, потому что в воздухе стоял крепкий запах выброшенного на сотки навоза. У колодца напились, вода была ледяная, но верховая, отдавала талым.

Дальше уже до самого Буднева сел не было. Горбилась дорога, то поднимаясь вверх, то падая в ложбину, шла через поле, черное, мягкое, распаренное, и над всем этим — спокойное, серое небо.

Подошли к Будневу. Где-то у третьей или четвертой хаты Федя свернул во двор — он уже был дома. Ивану же надо было пройти еще с километр — к другому поселку.

За крайней хатой, миновав липовую аллею, он остановился, снял с плеча чемодан, вытер лоб.

2

Иван много думал об отце, о его жизни, о его последнем дне, много слышал разговоров о том дне. Может, потому и теперь, спустя столько лет, последний день отца представлялся так ясно, что иногда казалось, будто тогда на лесопилке убило не Левона, а его, Ивана...

Левон поднялся, обулся, закурил. Вышел в сад и сразу почувствовал, как брезентовые ботинки набухли от воды и обожгло холодом ноги. Трава была матово-белая от росы, темным мокрым гляncем светились ветви яблонь. Набухли и вот-вот должны были полопаться бутончики цветов. В этом году цвета было очень много — если погода не подведет, яблок будет полно.

Было зябко. Левон глянул в конец сада. На дальней яблоне, как раз в седловатой развилке, ярко рдело солнце. Левон никогда не видел, чтоб так ярко, багрово горело солнце. Подошел и потрогал гладкий приземистый ствол. Считай, будет первый урожайный год. Сад молодой, Левон сажал его перед самой войной.

Левон шел по саду от дерева к дереву, трогал их руками, срывал прошлогодний лист, запутавшуюся паутину...

Люди начали забывать войну. Не то чтоб забывать, а перестали вспоминать о ней когда надо и когда не надо.

Жизнь берет свое.

Вчера всем колхозом вышли сажать бульбу, пришли даже счетовод и кладовщик, конюхи и они, с лесопилки. Все смеялись, шутили, словно собрались не на работу. Левон понял, что люди истосковались по радости, и вчера, может, в первый раз по-настоящему почувствовал, что война отошла и что настало время жить. Все верили в это, как и в то, что в этом году все будут с бульбой и хлебом.

К полудню солнце пригрело так, что некоторые бабы понимали теплые кофты. Привезли бочку холодной воды. Пили, пока не утолили жажду, а потом начали дурачиться, обливать друг друга. Левон держал в руках ковш с водой и плескал на каждого, кто подвернется. Бабы гуртом навалились на него, пытались отобрать ковш. Он бросился бежать, выбежал на луговину, и здесь бабы его настигли. Среди них бежала Ольга. Она ухватила его за рукав, и тот затрепал, а сам Левон упал, потянув за собой и ее.

— Зашел бы когда, посмотрел, как живу, куманек, — шептала, тяжело дыша, Ольга.

Со смехом подбежали другие бабы. Отряхивая воду с рубашки и приглаживая мокрые волосы, он рассказал им, что слышал кукушку. Она пролетала над ним, кукуя, когда он был в саду.

И тогда Ольга пристально поглядела на него.

— Это не к добру, — сказала она. — Ты скоро умрешь...

Он захохотал. Теперь, когда война, та война, когда он мог десять раз умереть и не умер, когда его могли десять раз убить и не убили, давно закончилась, теперь, когда на дворе весна, вдруг он умрет...

— Ты шутишь, Ольга.

Он так и сказал ей.

— Да что, Левонка, — поспешно согласилась Ольга. — Разве же я всерьез это... Конечно, шучу.

Пришел с бульбы домой, а тут Лекса скандал учинила. Ну, подумались малость, а она уже наворотила. «Переманивает Ольга... Или, может, и сам думаешь повернуть оглобли? Так я тебе поверну...» И Ольгу на улице поймала, поссорилась... Бабы есть бабы... Чтоб не торчать дома, взял топтуху и с самым младшим, Иваном, пошел на

пруд. Думал поймать что. И поймал... Пять щук и около десятка вьюнов. Окоченел как собака. Вылез из воды весь синий, грязный, злой. Ополоснулся немного, переделся. Цап-лап закуришь, а в карманах пусто. А там и ножик перочинный был, и люлька, и портсигар... Со злости рванул Ивана за ухо. Оставил стеречь одежду, так он раскрыл рот и бегал за отцом. Вот и вытащили все из карманов.

Левон достал из-под стрехи пруток, на который вешал табак, снял с груши паутину. Кора у корня что-то начала желтеть и лупиться, словно подопрела. Не иначе червяк подточил дерево. Совсем ведь молодое, а того и гляди засохнет.

Во дворе взялся за топор. Лекса топила печь, пекла блины — слышно было, как стучала сковородками. И Левону вдруг стало неловко: никогда у него не хватает времени, чтоб, как другие, запастись дровами на зиму. Всегда так: с плеч да в печь.

На столе лежала горка толстых серых блинов из сараделлы. Есть не хотелось. Выпил кружку молока, начал искать шапку.

— Пойду на мельницу.

— Что это ты? Сегодня же надо опять на бульбу.

— С бульбой и без нас управятся, — проворчал Левон. — Распалю котел. Дам гудок — мужчины подойдут.

Он вышел во двор. Потом вернулся.

— Забыл что? — встретила его на пороге Лекса.

— Ага.

Прошел на другую половину, покопался в столе, ища какие-то бумаги. Нашел их у себя в пиджаке. На кровати, развернувшись поперек тюфяка, спал Иван. Левон поправил одеяло, потрогал лобик: он был потный. Увидел в дверях Лексу. Стоит и смотрит на него как на дитя.

— Соберешь на обед чего-нибудь. Пусть принесет.

Лекса кивнула.

В конце поселка повстречал председателя Вавилу Пухтика.

— На бульбу не идешь?

— Нет. Нужно клепку кончать. Приезжал на днях представитель из комбината, просил ускорить. Обещал машины прислать. Да и самим надо, живая копейка...

Разошлись: Левон в одну сторону, Вавила — в другую.

Чем ближе подходил Левон к мельнице, тем глуше становилась та тревога, которая угнетала дома. Придут ли мужчины? Что он тогда один будет делать? «Придут, никуда не денутся, дам гудок — услышат. Гудок такой, что мертвого подымет».

На гребле, возле моста, зацепился за корягу и чуть носом не зарылся в грязь. Обернулся поглядеть на проклятую корягу — увидел в грязи свой каблук. Достал из грязи, очистил, повертел в руке — был он совсем стоптанный — и швырнул в канаву, теперь весь день ходить на одной пятке. За мельницей возвышалась гора опилок, и Левон с наслаждением вдохнул знакомый, приглушенный после росной ночи прелый запах. «Прибежит Иван — сходим в кусты, лук вырежем», — подумал он.

Топку растопил быстро, набросал дубовых обрезков — и загудело пламя. Потом смел опилки со стола, проверил пилы: обе острые, недавно точенные. Только теперь вспомнил, что не сделал предохранительных ножей и крюков для щитков, — снять снял, а в кузницу не зашел. «Вечером скажу Максиму, чтоб сделал». Провел рукой по столу: дуб был гладкий, отполированный до зеркального блеска. Взял шуфель, отбросил опилки, притянул под пилы с десятков дубовых плашек. Поглядел на небо — было оно сухое, белое, обещало горячий,

знойный день. Вернулся в кочегарку, дал гудок, включил помпу — долил воды в бочку...

Что ни делал сегодня Левон — и дома и на мельнице, — он все время чувствовал какую-то тяжесть. Будто должен он сделать что-то срочное, важное, и это и беспокоило и подгоняло. Он ни минуты не был в покое, все что-то делал, но чувствовал, что это не то, это не главное...

Стрелка манометра давно переползла за половину шкалы, можно было б начинать пилить, но никого еще не было. Ну, Павлу далеко идти, а Федор и Микола могли б уже и прийти. И Сашка мог... И Левон нетерпеливо потянулся к ручке сигнала, давая волю своему нетерпению. Над Будневым повис густой протяжный гудок.

...Первым пришел Федор, просунул голову с заспанными глазами в окно кочегарки.

— Собирались же сегодня бульбу сажать.

— Будем кончать клепку. За Миколой не заходил?

— Сейчас придет. — Федор сел на бревно у стены, достал кiset. — Кто это плашек натаскал?

— Я.

— Один? Не мог дождаться, чтоб помогли?

— Пока вас дожدهшься...

Подошел Микола, высокий, худой, с длинными жилистыми руками.

— Будем начинать? — спросил, присаживаясь.

— Павла еще нет... Хотя в одну пилу можно, я постою в кочегарке, а там и они с Сашкой подойдут, — ответил Левон.

— Ножи не сделал? — спросил Микола.

— Нет... Сегодня зайду к Максиму.

— Не надо было старые снимать...

— Не надо было. Их же погнули. И болты в гнездах не держали...

— А щиток?.. Опилки будут слепить...

— Выживешь...

Левон включил машину. Тяжело пошло маховое колесо, Микола с Федором подвели под него пас, набросили, он зацепился, пополз, провисая посредине — быстрее, быстрее, и вот уже запели, зазвенели пилы.

Микола и Федор взвалили на стол плашку, взяли в руки крюки, стали по обе стороны стола. И голос пил изменился: от сухого стрекотанья, когда они крутились вхолостую, перешел в высокий насадный вой — это пила врезалась в дуб. Плашка медленно ползла по столу — с одного конца ее толкал, багровея от напряжения, Федор, а с другого тянул Микола. Запахло свежими дубовыми опилками.

Стоило только пододвинуть брусок — и пила мгновенно смирилась, притихала, словно останавливалась, делая по дереву узенький, как шнурок, разрез. И казалось, что не брусок движется по столу, а сам шнурок ползет и тянет за собой брусок.

Через окно Левон видел, как мужчины пелят, а когда пошла клепка, начал морщиться, мрачнеть, ругаться вполголоса. Потом пошел в кочегарку. Подбросил в топку, прочистил поддувало. Вернулся обратно и увидел, что Федор запорол несколько клепок. Застонал, как от боли, выключил машину и обругал Федора. Тот только моргал красными глазами.

Как раз в это время в кочегарке появился Павел, и Левон сам пошел к пилам.

— Два года стоишь у пилы, а клепку ровно не умеешь отпилить! — крикнул он Федору, взял у Миколы крюк и сам стал к столу.

Федор двинул по столу брусок. Левон принял его. Пила уцепилась в брусок и равномерно, медленно, словно нехотя, начала разрезать. Федор взял клепку — была она ровная, — отбросил в сторону. И снова пила мягко вцепилась в дерево, прижала к столу и без толчков и срывов прошла вдоль бруска, снова клепка вышла ровная. Федор и эту отбросил в сторону. У него трещала голова от вчерашней выпивки, мутило внутри, а тут еще эта клепка... Вздумал сегодня пилить. Лучше бы шли на бульбу. Федор старался не смотреть Левону в глаза. Тюкал крюком в брусок и, отворачиваясь от опилок, которые секали по щекам, тянул на себя. Распилили один брусок, взялись за новый...

Левон начал успокаиваться.

Федор с тяжелым сопеньем тянул на себя брусок, отбросил готовую клепку и, не глядя куда, толкнул брусок назад по столу. Левон поймал его. Федор опять отбросил готовую клепку и, не глядя куда, толкнул от себя брусок, и снова Левон поймал его. Это походило на игру, тяжелую, но простую: ты — мне, я — тебе. Федор отбросил еще одну клепку, привычно толкнул брусок, но почувствовал, что он, как будто ударившись о что-то, отскочил назад и вдруг бешено рванулся из рук. Федор понял, что толкнул брусок не по столу, а на пилу, и увидел, как пила с бешеной скоростью подхватила брусок и швырнула вперед.

Левон стоял вполоборота к столу, ждал брусок. Ему показалось, что Федор замешкался, сбился с ритма, и он повернулся взглянуть, что там.

И увидел, как по столу движется брусок, но не рядом с пилой, а на пилу, как брусок ткнулся в пилу и белые кривые зубы подцепили его, приподняли... В эту короткую долю секунды, пока брусок полз по столу, Левон почувствовал — так, что заныло под ложечкой, — острую щемящую боль оттого, что не успел вырезать сыну лук, и теперь ему показалось, что это и было то дело, которое он должен был сделать, которое не сделал и сделать уже не сможет. Удар невероятной силы в грудь отбросил его назад, в глазах блеснул, разрастаясь, огонь. Он жег глаза, словно их живьем вырывали из глазниц... Потом огонь начал уменьшаться, уменьшаться, сошел на черную точку и пропал.

.....

Иван стоит еще несколько минут на дороге.

«Ну, прощай, отец. Я пошел». Он закидывает чемодан на плечо. Всегда тяжело сделать отсюда первый шаг.

3

Нет ничего лучше утра в материнской хате. Мать давно проснулась и осторожно, чтоб не разбудить, ходит по хате. Она начистила бульбы, перемыла ее и перекладывает дрова в печи. Даже и так, лежа в постели с закрытыми глазами, можно представить, как она положила одно полено, немножко поодаль второе и уже на них бросает остальные, и они легко, с глухим стуком ложатся поперек тех двух, первых. Одно полене скатилось на под, и мать нагибается, чтобы дотянуться до него рукой, не чувствуя, как лбом коснулась дуги низкого задымленного устья печи. А от этой дуги на лбу немножко выше правой брови засинела еще одна бровь, как серпик затуманенного месяца. И этот серпик будет темнеть, пока они не сядут за стол и он не скажет, чтобы она глянула в зеркало.

Дрова хорошо уложены, теперь можно положить подпал — кло-

чок газеты, стружку, зубок лучины. Пока язычок пламени цепляется за газету, пока перекинется на стружку, и она сразу скорчится, задымит, пока закурится, затрещит лучина и уже за ней — осторожно и неохотно — дрова, можно смахнуть пепел и угольки с шестка, налить воду в чугуны с бульбой: два больших — свиньям и один маленький — себе..

И в это время раздается голос с улицы. Кажется, это тетка Ольга:

— Ле-е-екса?!!

Мать выбегает на крыльцо, оставив открытой дверь, и в хате сразу делается прохладно. Со двора доносится разговор.

— Не думаешь ли выпускать корову?

Это она, тетка Ольга, это ее голос. Можно даже ее представить: с головой, повязанной теплым платком, в телогрейке и длинной суконной юбке, которая едва держится на плоских узких бедрах.

Скрипят ворота хлева, и по двору идет корова, цокая копытами, и свиньи из хлева подают голодный голос.

И снова ласковый туман забытья — кажется, мгновенный, а на самом деле получасовой. Он разрывается грубым и сильным голосом:

— День добрый в хату! — Это уже Вавила.

— Динь добры! — отвечает мать и глядит в печь на сковороду, где на глазах начинает пухнуть блин.

— Кто это у тебя? Не Иван ли приехал? — Грубый голос словно бы делается мягче.

— Ага, ночью...

— Сказала бы мне, что Иван приедет, коня дал бы. А то в темноте, да еще, может, и с грузом...

— Я не знала, каким он приедет.

— И то правда... А он уже и не спит!

Вавила повеселел, увидев, что Иван открыл глаза. Сделал два широких шага от порога к кровати.

— Здорово, Леонович. Говоришь, и поспать не дают?

Иван освобождает руку из-под одеяла. Небритое лицо Вавилы вспухло от недосыпания.

— Я вот толкую матери, — говорит он, — почему мне не сказала. Можно было б лошадь запрячь.

— А я привык пешком. — Иван приподнимается на подушке, смеется, но с постели не встает.

— Зашел сказать, чтоб ты помогла бульбу перебирать у буртов. Арина пойдет, Маня.

— Да нет, Вавила. Как же я пойду? Сам видишь — сын приехал. Хотим до обеда навоз выбросить на сотки, ну, а после на кладбище пойдем.

— Оно-то так. На кладбище и я пойду. Надо своих навестить. — Он идет к двери, берет за скобу. — А то сходила б, а? А завтра Иван возьмет конягу и на колесах выкинете навоз...

— Нет. Завтра ему ехать надо. — Мать не скрывает, что ей надоел этот разговор. — Поищи кого помоложе. Разве, кроме Лексы, нет никого?..

— Найду, почему не найду. — Вавила смотрит на Ивана. И неожиданно меняет разговор: — Вставай, Леонович, и пойдем ко мне. По чарчине возьмем, поговорим. Нона моя теперь дома.

— Как-нибудь в другой раз. Сегодня некогда, — решительно вмешивается мать. — Работы сегодня много.

Вавила выходит, нагибая голову в дверях. Мать стоит и смотрит в печь.

— Бегает по хатам, баб ищет и где б голову привязать. Вчера у Миколки крестины были, а без него где обойдется? Если б не ты, может, и напросился б на чарку.

Иван молчал. Он лежал на кровати, улыбался, но в душу уже прокрадывалась какая-то непонятная тревога.

— Так вставай, Леонович,— сказала, улыбнувшись, мать.— Гляди, как тебя величает. Думает — может, зятем еще будешь...

Слова матери, такой знакомый домашний запах жареной колбасы снова вернули Ивану чувство полноты жизни, радости от того, что он дома и видит хлопотливую несуетливую работу матери, все такой же заботливой, экономной, со спрятанными под платок волосами. И он вспомнил о страхе, что иногда накатывается на него там, в Минске, когда долго от нее нет писем, страх этот гонит Ивана на вокзал, в поезд, а потом — все эти десять километров, когда бежишь все быстрее и быстрее, и потом во дворе, постучав в окно, напряженно ждешь, когда послышится легкий шорох и живое шевеление на печи,— и с плеч словно гора свалится. Блеснет свет, и вот уже он обнимает ее, теплую от печи, маленькую, сощурившуюся от яркого света, в наспех надетом просторном платье, чувствует шершавость ее рук, ее разогретую сном мягкую щеку и покатошь узких пригорбленных плеч...

После завтрака пошли в хлев. Иван взрывал вилами навоз, накладывал на носилки, старался навалить на свой край больше.

Земля на сотках подсохла, и только в ложбинке, за хатой, в бороздах цвела серой плесенью вода, и ноги вязли в тягучей, как тесто, липкой мякоти.

Говорили мало, спокойно. Иван очень скоро разогрелся, снял пиджак. У матери тоже порозовело лицо... А Иван думал о сне, который приснился ему сегодня ночью. Не сон ли принес эту тревогу!

Сон был про коней. Откуда-то, кажется из Яблонщины, Иван шел домой. Шел, мягко чувствуя босыми ногами горячий дорожный песок.

Пахло пыльной горечью, и Ивана что-то тревожило. Он то и дело посматривал на небо. На западе его затягивала черная туча. Иван не помнил, что тревожило его — то ли эта чернота, то ли что-то другое. Но непонятный страх заставлял его идти быстрее и быстрее. И вдруг Иван уловил едва слышное цоканье копыт, будто кто-то далеко и не очень быстро ехал на коне.

Иван понял, что он боится этого конского топота! Он бросился бежать домой, только дом мог спасти его от этого топота. Иван бежал и все время оглядывался назад, на небо. И подбегая уже к своему селу, увидел, что на небе как раз по острому краешку черной тучи летят, увеличиваясь на глазах, два голубых коня. Слаженный размеренный топот: тра-та-та! тра-та-та! тра-та-та! — словно они неслись не по небу, а по гулкой укатанной дороге. Жутко красивые светло-голубые кони с розовыми гривами и хвостами, которые плыли, развеваясь по ветру, и круглыми красными глазами... Иван видел их широкие мускулистые груди, видел, как кони стремительно приближаются — тра-та-та! тра-та-та! тра-та-та! — и бежал по пустой улице, ища, где спрятаться, но всюду было голо, только впереди стояла их хата, и когда казалось, что кони совсем догнали и вот-вот растопчут его, он наконец добежал до хаты и завернул за угол, прижался спиной к стене. Кони пролетели дальше...

Проснувшись, Иван еще долго слушал стук своего сердца, до мелочей припоминая этот непонятный сон, ясно видел коней, слышал их топот и чувствовал только что пережитый страх. Даже теперь, стоило только закрыть глаза, ему виделись нереально голубые

спины коней, выпученные, налитые кровью глаза. Но теперь не было того ночного страха, остались лишь удивление и радость. Как это было красиво!

И непонятно почему, вспоминая сон, Иван подумал о Вере. «Это хорошо, Вера, что ты приехала».

Пока Иван взрывал слежавшийся, спрессованный навоз, Лекса сидела у стены хлева на лавке. Успокоенная, немного размягченная работой и теплым днем, довольная, что приехал сын, она думала о себе, о Левоне, о детях, и ей приятно было думать, потому что эти мысли открывали ей ее не такой, какой она привыкла себя считать — маленькой, слабой, слезливой, а другой — уверенной и красивой. Всю жизнь у нее не было времени подумать о себе: мать всегда думает о детях. С нею было пятеро, когда Левона не стало, — где тут думать о себе. А теперь она смотрела на себя со стороны, отдельно, без тех повседневных мелких хлопот, которыми полна жизнь каждой бабы.

Она сидела на лавке, слышала тяжелое дыхание Ивана, видела его черные задумчивые глаза и капли пота на лбу, великоватый нос, сильные руки со вздувшимися венами, но видела и слышала совсем другого Ивана:

...Та ночь была холодная. Еще днем Лексе стало нехорошо: подкатывала под грудь пустота, болел живот и тянул книзу. «Не надо было поднимать, — не в первый раз за этот день подумала она. — Не надо было браться за тот мешок».

Лекса ходила пятым и знала, что означает и эта тяжесть, и горячка, и ломота в спине.

Кончился седьмой месяц, и она надеялась, что все обойдется.

Весь день была на ногах. В хате непривычно просторно — уже два дня, как отряд Ивана Ивановича выбрался из Буднева, оставив лишь санитарный взвод. В их хате никого не было. Дети — все четверо — спали на полатах и на печке, они с Левонем — на кровати. Еще вчера на этой кровати спали санитарка Галя и командир взвода Осипчик. Они недавно поженились, и Лекса с Левонем отдали им свою кровать. Сами они устроились на полу.

После глухой полночи, когда окна заледенели и по хате пошел холод, Лекса разбудила Левона:

— Левон, вставай. Я рожаю...

— Ты что, с ума сошла?.. Еще ведь не время...

— Я знаю, что не время, но знаю, что рожаю... Встань, разожги огонь... Поставь греть воду...

— Может, ты еще выдумываешь.

Левон быстро натянул штаны, на ощупь нашел в печи бурки — они там сушились. Зажег «соплячок», поставил его на стол, набросал сухих щепок в печку.

Лекса лежала на кровати, тяжело дышала, смотрела в потолок, слушала, как трещат, разгораются щепки.

— Разбуди Реню... Пусть сбегает за бабкой...

— Она бояться будет...

— А как же без бабки? — Лекса уже кусала губы.

Левон подошел к печи, взял за плечо дочку:

— Реня, встань. Встань, Реня! Сбегай к Агеихе. Скажи, пусть бежит сюда. Мать рожает...

Реня сразу вскочила, как и не спала, начала быстро одеваться...

— Открой сундук, Левон. Там с левой стороны две простынки есть, ситцевые, достань их. Под ними льняные, тоненькие, и их достань... Что еще. Ага, принеси из сеней корыто, пусть вода греется...

Она закрыла глаза. Она лежала и слушала, как гудит огонь в печке и как теплый воздух идет в хату, и будто не слышала боли, которая пронизывала ее всю, разламывала на части. Ей приятно было видеть Левона — беспомощного и доброго. Он редко когда смеялся, и еще реже с ней. Она уважала его и немного боялась. А теперь ей было хорошо с ним. Она жалела его. Жалела, что он такой серьезный, прячет ласку и доброту и не знает, что с ними делать. Он как богач, который не раздаст свое богатство не потому, что скупой, а потому, что не знает, кому и как отдать...

Дикая боль снова пронзила ее всю.

— О-ой!

— Кричи, Лексочка, кричи... Дай я тебе подушку подложу под спину... Удобнее будет... Кричи...

— О-ой... Не смотри!.. Дурак, бесстыжий, отойди... Ой!..

— Осторожно, Левонка... Головку осторожно... О-о-о-ой...

Он бросился искать нитки — в сундук, в шкафчик, — нигде не было. В ящике стола наткнулся на клубок ниток. Откусил кончик, перехватил пуповину.

— Живой ли хотя?

— Живой.

Левон держал маленький розовый комочек над корытом, обливал теплой водой.

В окно кто-то грубо забарабанил:

— Гасите огонь!

В раму еще раз гвазданули. Казалось, она не выдержит, рассыпется. И тут грохнула дверь и в хату ворвался человек — в черном полушубке, с наганом в руке.

— Гасите огонь сейчас же, а то постреляю! — рявкнул он, бешено бега глазами по хате. Лекса видела, как побледнело лицо Левона, как ступил он навстречу горластому.

— Тише. Видишь... Ребенок родился.

— Что?.. А-а-а.— Человек вроде смутился и, хотя до него еще и не доходил смысл слов, отступил назад.— Занавесьте чем-нибудь. Потому что как ухнет — мокрое место останется. Еще раз глянув на печь, он вышел.

Левон завернул ребенка, схватил какие-то тряпки, набросил на одно окно, потом на другое. Прислушался. Откуда-то доносился нудный тягучий гул. Он заметно отдалялся...

— Боже мой, будет ли он жить... Семимесячный... Такой малюсенький. Зеленый.

Это сказала сама Лекса едва слышно, одними губами. А он, этот зеленый, вдруг сморщил личико и не то заплакал, не то пискнул — раз, второй, третий...

— Захочет, так будет жить, — сказал Левон.

В сенях послышался топот ног. Шла Реня с бабкой Агеихой.

Лекса словно очнулась, подняла глаза. Иван стоял у ворот, опершись о вилы, смотрел на нее. Черные, коротко постриженные волосы. Они у него курчавятся, когда отрастают. Широкие в кости руки. Рубашка на груди расстегнута, видна загорелая грудь. Каждый год так жарится на солнце, что и за зиму загар не сходит. Узкие брюки плотно облепили ноги. Мог бы выбрать и более широкие. Тогда б не было видно, что ноги кривоватые.

Она встрепенулась, поправляя волосы. «Думал ли кто тогда, что из него толк будет. А гляди ты, слава богу. Захочет — будет жить».

Поднялась.

— Давно были письма? — спросила тихо, как после сна.

— От Валика уже с месяц ничего не было. И Алеша молчит. Реня, правда, недавно присылала. Лида тоже. Собирается на лето приехать с детьми.

— Пускай едут. Молоко есть, мясо... Хоть ягоду какую дети найдут да потешатся. А может, кто и совсем останется.

— Брось ты, мама. Отломанный сук не приживается.

— Отломанный. Очень быстро вы отламывается.

Лекса замолчала. Иван слышал за спиной, как она тяжело вытаскивала свои резиновые сапоги из липкой земли. Сам он вспоминал свое...

4

Зимними вечерами, когда на улице ветер гонял сухой снег и бил им в лицо, как ни закрывайся, когда ни у плетня, ни посреди улицы нельзя было пройти, чтоб не завязнуть в высоких сугробах и не набрать снега в бурки, хорошо было по протоптанной многими ногами стезжке заскочить в затишье Петрова двора. Ветер не доставал сюда, и можно было отряхнуть от снега воротник и шапку, чтоб не нести в хату снег. Здесь же всегда стоял веник — обмести бурки. И тогда уже можно было войти в первую, холодную, половину хаты — там под потолком всегда желтел огонь лампы. А во второй половине после мороза, снега и ветра был рай. Вовсю, накаляясь до малиновой красноты, горела печка, от стола валил дым — там курили картежники, а вокруг них толпились те, кто опоздал занять место за столом и теперь ожидал своей очереди, пока кто-нибудь вылетит. Сюда каждый вечер приходили, чтоб отогреться в тепле, почесать языки, с радостью поиздеваться над «дураками» — все равно, кто б ими ни был. Больше всего было здесь парней и девок.

Петр был вдовец, и жили с ним две дочери — Клавдия и Вера. Вернее, не они с ним, а он при них. Петр каждую весну нанимался пастухом и, как только сходил снег, в свою хату приходил лишь ночевать: кормили его, давали одежду по очереди те хаты, которые пускали в стадо коров. Каждая хозяйка от себя оторвет, от детей оторвет, а постарается, чтоб пастух и вкусно поел, и в хорошем настроении вышел в поле, и Петр ходил с красным, как свекла, лицом, всегда что-нибудь бормоча себе под нос. Дочери его тоже чувствовали преимущества пастуховой профессии — отец приносил им еду.

Клавдии было уже за девятнадцать, и это она притягивала к хате хлопцев и девчат. Вере она была и за мать и за сестру. Верка росла медленно, заморенно, ходила в четвертый класс, а вид имела второклассницы, сохраняя при этом не по возрасту серьезность. Чистила ли она картошку маленькими быстрыми руками, подкладывала ли дров в печку, приносила ли воду — всегда брови сведены, губки вытянуты вперед, словно она на память повторяет какой-то урок.

Петр редко принимал участие в этих вечеринках, обычно он сидел на лавке и, улыбаясь чему-то своему, мурлыкал, как кот, и плел лапти. С ним не поговоришь, «добрый вечер» надо ему кричать в самое ухо. Из всех видов обуви Петр признавал только лапти. В них он ходил круглый год, даже на пасху. Праздничные лапти плел он особенно старательно, веревки вил специальные, потом обпаливал их, и они делались черными и красиво перекрещивались на белых льняных онучах... Петр за лето умел запастись сухими дровами и не жалел их зимой, лишь бы в хате было тепло.

Оставив школу после семи классов, когда умер отец, Иван почти каждый вечер стал заходить в хату Петра. В карты он не играл, в домино тоже, но любил сидеть где-нибудь на лавке, слушать, как зубоскалят хлопцы. В душном тепле хаты, в этом шуме, где были все равными — и старые и молодые, — он тоже чувствовал себя как бы наравне со взрослыми, обросшими колючей щетиной мужчинами. Он не обижался, если вдруг кто-нибудь звал его: «Где ты, Ясек, иди сюда» (не Иван, а Ясек), и он покорно шел на голос, неловко улыбаясь, откликаясь на кличку. Эта покорность, готовность услужить, незлопамятность давали ему место в компании курильщиков и картежников. Они его принимали как равного, потому что он как равный трудился с ними летом и зимой. Он ездил с ними в лес, за речку по сено, таскал бревна и мешки. В чем можно было, он старался не отставать от них. Когда его посылали «к Маланье», охотно бегал, возвращался от нее с бутылками самогона, пробовал и сам выпивать, но вкуса самогона не чувствовал и охоты к нему не имел.

Иногда хлопцы приносили цимбалы, и тогда начинались танцы. Учился танцевать и Иван. Митя, или, как его чаще называли, Четыресорок, играл, а «его» Клавдия учила танцевать. Иван боялся Клавды, потому что она чересчур смело прижимала его к своей большой горячей груди.

Чаще он присаживался к печке, ближе к Вере, — помогал ей решать задачи или читал ей что-нибудь из хрестоматии. Иван тосковал по школе (после смерти отца учиться не мог) и радовался, что Вера внимательно слушала его.

Трещит огонь в печке, скачут искры. Вера сидит на полу, у раскрытой дверки. На коленях у нее задачник, а тетрадь, чернильница-бутылочка и ручка на маленьком табурете. Лицо ее раскраснелось от огня, но она не отодвигается от печки, хотя здесь и жарко и искры того и гляди прожгут задачник и тетрадь. Она смотрит в печку на огонь, мечущееся пламя озаряет ее лицо.

Иван приткнулся на березовом чурбачке. Чурбачок тонкий, сидеть на нем неудобно, и Иван крутится на нем, как петух на спице...

— Ну, читаю еще раз... Слушай: «Из города А в город Б друг другу навстречу вышли два путешественника...»

Пахнет березовыми дровами, как в бане, когда ее только начинают топить. Иван чувствует, как сохнут и наливаются теплом его щеки. Доносится злой срывающийся голос Мити:

— Ты что, думаешь, я слепой, не вижу... Короля — дамой... По голове сейчас этой дамой!

Иван поднимает глаза на Верку:

— Так с чего начнем?

Вера как будто ничего не слышит — ни того, что только что прочитал ей Иван, ни того, что делается за столом. Она смотрит на пламя. А Иван продолжает:

— Надо узнать, на каком расстоянии от городов А и Б они встретятся.

— А что, если они совсем не встретятся? — На Ивана смотрят круглые удивленные глаза.

— Как это не встретятся?

— Ну как? Разве между городами только одна дорога? Может, один пойдет по одной, а второй по другой — и разойдутся...

— Да нет, ты не понимаешь... На земле нет таких городов А и Б. Это только в задачах пишется.

— Разве ж может так быть: пишут, что есть, а их нет? Как же они встретятся, если таких городов нет?

— Встретятся. Должны, так встретятся.— Иван начинает злиться.— Так что мы узнаем первым вопросом?

— Первым вопросом? — Вера морщит лоб.— Первым вопросом...

— Ну, скоро вы разберетесь со своими городами? — Это раздается от стола голос Четыресорока.— Плюнь ты на все, Иван, иди сюда. Возьми чарку...

— Пейте, я сейчас.— Ивану не хочется идти к столу и пить самогона, который он только что сам же принес.

— Во-о-от, мы еще упрашивать его будем.— Четыресорок встает из-за стола и тянет Ивана от печки.— Пускай сама разбирается.

И вот Иван за столом, между Петром и Клавдией, немного оглушенный выпитой водкой. Он видит, что Вера сидит на старом месте, все так же уставившись на огонь. И ему жаль ее, маленькую и печальную в этом шуме.

Четыресорок пристает, чтоб Иван выпил еще. Иван не хочет, отталкивает его руку со стаканом — водка разливается на стол, в миску с кочанами кислой капусты.

— Ну, ты потише. Пей! — Четыресорок багровеет.

— Не буду.— Какая-то упрямая злость вдруг закипает в груди Ивана.

— Будешь, Ясек. Раз сказали — будешь... Куда ты денешься...

— Я тебе не Ясек, слышишь? Я Иван Купцов. У меня отец, Левон. Левон мой отец...

— Был отец... А ты Ясек. Понимаешь?.. Я-а-сек! И будешь делать, что прикажут, Ясек.

Иван ухнул остатки водки Мите в лицо.

Страшный удар в зубы отбросил Ивана к стене.

Иван привстал, почувствовал соль во рту, размахнулся и тем, что было в руке — граненым стаканом, — саданул Мите в лицо и вместе со звоном, обрушившимся на его голову, услышал испуганный Верин крик.

Шел Иван домой, глотал слезы. Зажег лампу, долго смотрел на портрет отца.

— ...Почему это ты не хвалишься, что вчера подрался с Митей? — спросила мать за завтраком.

— А тебе уже чапели.

— Вот я сейчас напою, так напою. Сколько раз говорила: не ходи туда. Нашел компанию... Митя ему ровня. Нет, плетется...

— Не вмешивайся, куда не просят,— грубо ответил Иван.

— Как это не вмешивайся?

— Сам разберусь.

Лекса прикусила язык. С ней разговаривал другой Иван — не тот мягкий, податливый, которого она знала до сих пор. И она не знала, радоваться этому или печалиться.

Как раз в это время дверь хаты распахнулась. Зашел Митя.

— Явился, молодчик. Разве что взять кочергу да встретить как следует,— сказала Лекса.

— Не кричи, тетка. И без этого собаке в глаза смотреть стыдно. Все эта водка. Давай, Иван, мириться.— И Митя шагнул к столу, протянул руку.

Вчерашнюю Иванову злость как рукой сняло. Ему было приятно, что сам Четыресорок пришел к нему мириться, и он протянул свою руку.

От этого вечера у Ивана осталась щербина в верхнем ряду зубов, а у Четыресорока шрам на переносье...

А потом как-то под вечер шел Иван с вилами на плече с колхозного двора домой. Ездили по сено за реку, весь день на холоде, а

там еще за Слободкой конь провалился в ручей; хорошо, что место было неглубокое и хлопцы ехали близко — вытащили коня, и даже сено не надо было переключивать. Шел, радуясь, что сейчас будет дома, в тепле и добре, а встретил Ивана Емельяновича. Маленький, толстенький, как гороховый стручок, Иван Емельянович перебирал коротенькими ножками, скользил по снегу, держал под мышкой — Иван сразу узнал ее — старенькую школьную радиолу «АРЗ».

В школе Иван Емельянович преподавал физику и химию, ходил всегда в темном мятном костюме.

— Хотим Новый год встречать в школе, пластинки послушать, а радиолка наша молчит, — начал Иван Емельянович. — Так я вот взял ее домой, покопаюсь — может, и исправлю. — И предложил: — Приходи ко мне завтра вечером, вместе поглядим. Ты ж любишь физику. Вдвоем будет веселее...

Потом они сидели в тесной боковушке, щупали каждый проводок, каждый контакт. Все было на месте, все было по схеме, а радиолка молчала. На третий или четвертый вечер, когда Иван уже наизусть знал все узлы и когда ему уже надоело это ковырянье, Иван Емельянович вдруг сказал, что, может, здесь все исправно, может, просто перегорела лампа... Иван начал пересматривать лампы... Так оно и было. У Ивана Емельяновича как раз нашлась и запасная лампа, и вот радиолка затрещала, беспокойным мигающим пламенем зазеленела шкала... Иван Емельянович сбегал во вторую комнату, принес пластинку, поставил на круг — и ударили, перекликаясь, серебряные звоны, и мягкий душевный голос запел...

С той поры начал Иван делить вечера: то у Петра, то у Ивана Емельяновича...

...Лето, до чиханья, пахнет слежавшейся пылью. Иван с Алешей идут по улице, в этот предвечерний час тихой и безлюдной. Идут на танцы. Алеша только вчера приехал из Калининграда, он учится на капитана дальнего плавания, ходит в клешах, форменке, на макушке бескозырка с черными лентами, Иван — в белой, с синими полосками ситцевой рубашке, надетой на голое тело: духота, как в печке.

Иван завидовал брату — его фигуре, высокой и стройной, его форме. Иван понимал, что он в своих штанах из чертовой кожи, старых, разбитых ботинках выглядит неуклюжим и вахлаковатым рядом с Алешей, отутюженным, блестящим. Разве Иван не смог бы тоже учиться? Смог бы... Хотел, чтоб матери было легче, потому и не пошел в восьмой. И она это знала, потому и не очень настаивала. «Кому-то надо и помогать матери, — утешал он сам себя. — Сестры повыходили замуж, Валик в армии, Алеша в мореходке...»

Ребята приближались к концу села, когда сзади затарахтели колеса. Ехал председатель Пухтик Вавила. Он торопился и все время подбадривал жеребчика кнутом. Как только возок пронесся мимо ребят, Иван побежал за ним, догнал и ухватился руками за возок — хотел прокатиться.

Вавила сразу повернул голову, и глаза их встретились.

— А ну, слазь! — крикнул Вавила, дохнув на Ивана водочным перегаром.

Иван смотрел на него, улыбался.

— Кому говорю — слазь! — уже заревел Вавила. Затылок его побагровел.

Иван начал спускать одну ногу, чтоб, прежде чем соскочить, пробежать немного за возком и не упасть в пыль, но в это время острый удар кнута обжег его спину.

Иван вначале не понял, за что его ударил Пухтик. А когда увидел его довольное лицо и услышал: «Ну что, будешь цепляться?» — злость и обида застлали глаза. Тогда Иван выпрямился, и, боясь, что ноги сорвутся, размахнулся и со всей силы, какая только была в правой руке и во всем выпрямленном теле, отвесил оплеуху. Увидел, как Вавилина голова вместе с широкими плечами тяжело болтнулась влево, и тогда соскочил на дорогу.

— Тпру-у-у! — дико закричал Вавила, круто поворачивая жеребца к забору. Спешившись, привязал его.

— Алеша, сюда! — крикнул Иван.

Алеша только теперь понял, что произошло, и подбежал к месту боя.

— Тихо, дядька, тихо! — сказал он спокойно.

Вавила понял, что с двумя ему не справиться, вялой походкой подошел к коню, отвязал.

— Я тебе еще покажу. Щенок! — И полоснул жеребка кнутом.

Ребята не знали, что Пухтик ехал из района и что недолго осталось ему быть председателем.

Кажется, когда Иван сцепился с Вавилой, на улице никого не было, но в клубе уже говорили, что Иван с Алешей отлупили Пухтика, и хлопцы и девчата расспрашивали о подробностях. Иван молчал, говорил Алеша. Как они шли по улице, как потом их перегнал Пухтик на жеребце и как Иван захотел прокатиться... Вдруг Иван почувствовал какое-то беспокойство. Обвел глазами клуб — на середине толкались танцоры — и встретился со взглядом Веры. Она стояла в углу в группке таких же, как сама, подростков-школьниц. Они уже бегали на вечеринки, но в круг выходить не осмеливались и жались по углам. Она окончила шесть классов, немного вытянулась, но все равно была маленькая и серьезная.

Иван встретился с ее взглядом. Подошел к девочкам, пошутил:

— Ну, стрекозы, почему не танцуете?

— Так, — ответила за всех Вера и опустила глаза, а потом тихо и ласково, сочувственно сведя над переносицей брови, спросила: — Очень больно?

— Не-а, — ответил Иван и вернулся обратно к ребятам.

Там Алеша уже рассказывал что-то веселое. Но Иван не слышал его. Он не знал, что происходит с ним. В душе его поселилась радость. Он танцевал, выходил покурить, сидел на лавочке, и всюду с ним была эта радость. Он видел, что за ним следит Вера, и от ее взгляда ему было и неловко и тревожно.

«Может, рассказать Алеше? — подумал он, когда они под утро шли домой. — А что я расскажу? Мне нечего рассказывать». Но сам знал, что есть, хотя рассказывать он не будет. То, что есть, это как еле слышный ручеек под весенним снегом: звенит где-то, переливается, а его и не видно, будто и нет, а радость, что он есть, живет в душе.

Спустя год осенью Иван уходил в армию.

Ехала по селу подвода. На ней сидел Костик Михолапов с гармошкой. На подводе в соломе лежала Иванова торба, в ней сухари, вареная колбаса, сало и бутылка водки. Метрах в двадцати от подводы шли Иван, Лекса, хлопцы, девчата, соседи. Шли Вавила и Четыресорок, и к обоим им у Ивана не было зла. Вавила уже не был председателем, Четыресорок окончил курсы трактористов. Шел Иван Емельянович, и Ивану было приятно, что он нашел время проводить его. Проводили по старому обычаю — за село. Иван прощался со всеми, кого видел.

На Петровом дворе стояла Клавдия. Иван зашел проститься с ней, и в окне хаты увидел знакомое лицо. Забежал.

— Я в школу не пошла,— сказала Вера.— Хотела поглядеть, как ты будешь идти...

— Правда? — переспросил он и глянул в окно: подвода стояла за селом, его ожидали.

— Ну, будь здорова, Вера! — Иван протянул руку.

Вера подала свою, маленькую и почему-то холодную.

— Счастливо служить!

На глазах у нее были слезы. Она смотрела на него спокойно, сосредоточенно, как бы изучала его. И удивительно, он почувствовал, что она видит дальше его. Он поморщился и, скрипнув зубами, побежал во двор. Побежал не в ворота, а напрямик, через огороды, проваливаясь ногами в мягкую землю.

Когда он еще раз оглянулся на Петрову хату, ему показалось, что в окне белело Верино лицо.

После этого Иван ее не видел.

5

Остался в памяти Ивана день радоницы. И отец, сдержанный, чисто выбритый, моложавый и строгий.

На лавке стоит кош, сплетенный из белого ободранного лозняка, и в него на ручник мать складывает хлеб, жареное мясо, вареные крашенные яйца. Яйца — это трехлетнему Шуру, Иванову братику, которого Иван не видел никогда, потому что тот умер, когда Ивана еще не было на свете. Отец ставит в кош водку, кладет нож, ложки, стаканы. Собираются на кладбище, и Ивану очень хочется пойти, но его не пускают. Не пускают и Валика и Алешу. Только Рене и Лиде можно — они старшие. Иван представляет себе кладбище и Шурина могилку. Кладбище — это огромный дом, как был у пана Карбановича, пока его не разрушили, с колоннами. В нем много комнат. Шурина могилка — это как погреб, такой глубокий, темный, прохладный, там посередине стоит Шурин гроб и в нем лежит Шура. Когда к нему приходят, он садится (совсем вставать ему почему-то нельзя, а почему, Иван не знает), мать и отец отдают ему гостинцы — яйца, сладкие сухарики... Он берет их, ест, играет. Он представляется Ивану бледным, со спокойными грустными глазами, как раз такими, какие были у Валика, когда болел поносом. Шура рад, что к нему пришли, но глаза его все равно печальные. Ивану кажется, что печаль эта оттого, что пойти со своими ему нельзя. Почему нельзя?

— Бог не пускает,— говорит мать.

Отец сердится:

— Не слушай ее. Шура умер, а мертвые не встают и не ходят. «Как это так — не вставать и не ходить?»

Отец и мать расстилают возле Шуриногo гроба скатерть, ставят водку, еду и начинают обедать. Ест вместе с ними и Шура. Там, на кладбище, и Иванов дед и Иванова бабка Ульяна. Бабку Иван знает, а деда нет. Все они садятся вокруг скатерти. Иван знает, что и бабке Ульяне, и деду, и дядьке Герасиму тоже нельзя уйти со всеми, но ему их совсем не жаль... Ему жаль Шуру, потому что ему очень скучно будет оставаться там одному до следующего года, когда снова будет радоница и все — и мама, и отец, и Реня, и Лида, а может, и он, Иван — придут к нему. К глазам его подступают слезы...

...Иван смотрит, как мать кладет в сумку привезенную им из Минска «столичную», хлеб, соль, яйца, вареное мясо, масло, вилки, ножи. Он видит ее лицо, какое-то просветленное, и ему хорошо.

— Надо идти,— говорит она, завязывая платок.

— Ага. Уже многие пошли.

— Куда-куда, а на радоницу многие съезжаются. У каждого кто-нибудь да лежит тут. Оградки покрасили, памятники поставили. Коля Владев так мраморный черный поставил. Говорят, шестьсот рублей стоил...

— Деньги есть, почему же не поставить...

Умом Иван противился этому обычаю, тому, что к тем, кого уже нет, идут шумной большой толпой. Он считал, что на кладбище надо приходиться одному. И вместе с тем он любил радоницу — эти коллективные поминки. Здесь люди становились мягче, добрее смотрели друг на друга. Казалось, они понимали, что все те неурядицы, которые временами портили им жизнь, ничто в сравнении с тем, для чего они собирались здесь.

Кладбище было недалеко от села. Здесь стояли старые высокие березы. Еще не так давно это место соединялось с лесом, с мрачным сырым ельником. Ельник пустили под пилу, выкорчевали, и теперь только этот зеленый островок да огромные земляные валы, поросшие кустарником, напоминали о недавнем прошлом этого места.

Раньше, когда кладбище было частью леса, казалось, что это и не кладбище вовсе, а просто лес со случайными могилами. А теперь было по-другому, более непривычно,— казалось, кладбище одиноко торчало среди голого поля, словно напоминая людям о том, что никому из них ни обойти его, ни объехать. А может, все это только казалось Ивану. Видимо, только ему, потому что мать шла спокойная, сосредоточенная, с подобранным лицом, хотя и замечала все, что делалось вокруг.

По дороге к кладбищу — и по лугу, через канаву, и по селу — шли люди, по двое, по трое. Возле самого кладбища виднелась целая группа — человек шесть. Двое несли в руках кошелки, остальные шли с пустыми руками.

— Это Петрусевы,— подсказала мать, и Иван начал вглядываться в далекие фигуры, пытаясь узнать. Так никого и не смог узнать. В конце улицы встретили Вавилу. Он спешил домой.

— Уже идете? — не то спросил, не то просто так сказал.— А я вот все бегаю. Но мы свое догоним, Леонович.— Он улыбнулся Ивану, тряхнул головой.— Дай закурить городских.

Иван достал пачку, закурили.

Вавила улыбнулся:

— Только что председателя встретил. «Что, говорит, на кладбище спешишь? Боишься, что без тебя всю водку выпьют?»

Вавила покрутил головой, засмеялся и пошел домой, ступая широко и грузно.

— А и правда нелегко ему,— сказала мать.— Бегает по хатам, собирает баб. В будние дни так ничего, сами идут, а в такие вот — беда.

Шли по селу — было затишно, спокойно, а завернули за крайний двор — сразу наскочил ветер, туго хлестнул по лицу.

Когда-то дорога на кладбище шла через поле, сворачивала у креста. Была она ровная, поросшая травой, с неглубокой колеей от колес. А теперь сколько лет тракторы запахивают дорогу, и каждый раз люди протоптывают ее наново. И начинается она, как и когда-то, от креста, теперь уже трухлявого, покосившегося набок.

Поле было засеяно житом. Все шли напрямик, оставляя следы на мягкой, податливой земле. Пошли за людьми и Иван с матерью. Иван не один раз ходил по этой дороге, но сегодня ему показалось, что она стала короче. В его памяти она осталась такой, какой была тогда, когда по ней везли хоронить отца. Иван тогда сидел на подводе у изголовья отца и со страхом смотрел, как на колдобинах отцова голова вздрагивала и сухие, гладко причесанные назад волосы его рассыпались. Иван не мог поверить, что отец мертв.

В тот день он бежал от пруда домой и догнал тетку Ольгу. Она плакала и сказала, что на лесопилке бревном убило его отца. Иван сразу бросился на лесопилку. И перед ним кто-то бежал, и за ним кто-то бежал. Иван догадывался, что произошло что-то страшное, но не мог представить это страшное. Его не убило! Как это можно «убить», когда они вчера вместе ловили рыбу?

Возле лесопилки было много народу. Все проходы между кочегаркой и столом, между вагонеткой и горой опилок были забиты, но люди незаметно расступились, давая Ивану дорогу. Он прошел возле стола и увидел мать и Реню. Они сидели, сторбившись, на длинном бревне, прижимая платки к губам. «А где ж отец?» Иван подошел ближе к матери и сразу увидел его. Он лежал непонятно неподвижный, лицом вверх, раскинув ноги. На одном ботинке был оторван каблук, и на этом месте скалили зубы блестящие медные гвоздики. Эти гвоздики больше всего поразили Ивана. Он почувствовал, как внутри что-то заныло, судорожно и мелко. Он присел возле матери. Кто-то, кажется Павел, что-то рассказывал, как все было...

Пуговицы на груди у отца были расстегнуты. Иван дотронулся рукой до тела — оно было холодное.

И сейчас, идя по полю вслед за людьми там, где когда-то была дорога, ступая где в готовые следы, а где в мягкую, податливую землю, Иван снова подумал, как близко от села находится кладбище и какой далекой казалась дорога к нему тогда...

И еще он вспомнил: какой глубокой и страшной показалась ему могила, в которую опускали гроб с отцом. Могила была вырыта у березы, в сухом песке, и он ручейками стекал на дно, а по бокам могилы были пересеченные лопатами березовые корни.

...На кладбище было тихо и сыровато. Пахло прошлогодними листьями и свежей землей: вчера и сегодня убирали могилы, обкладывали дерном, посыпали свежим песком. За стволами деревьев, возле ограды видны были люди. Одни стояли группками, тихо и деловито о чем-то разговаривая, другие ходили, останавливаясь возле той или другой могилы. Словно все собрались на работу — серьезную, грустную, торжественную, но обычную, нужную работу. И, видимо, из-за этой серьезности и торжественности разговаривали вполголоса.

Мать шла впереди, Иван за ней, осторожно выбирая место, чтоб не наступать на невысокие желто-серые бугорки с вросшими в землю плоскими камнями-памятниками, — то, что осталось от чьих-то давних могил. Мать кивала: «Динь добры», а Иван здоровался с кем кивком головы, с кем за руку. Тогда и мать приостанавливалась, слушала его недолгий и известный ей разговор: где ты, как ты, что ты?..

Встретили вчерашних Ивановых попутчиков — Игоря и Леню. Перед тем как идти на кладбище, ребята малость клюнули и были в веселом настроении.

— Приходи, старик, вечером в клуб. Потанцуем, — пригласил Ивана Леня.

Были у него низкие, но красивые черные баки, а в глазах — легкая,

какая-то воздушная и вместе с тем нахальная задумчивость. На кладбище он ухитрился пройти, видимо, ни разу не ступив в грязь, потому что ботинки его блестили. «Не всякая девчонка устоит перед таким парнем», — подумал Иван и сказал:

— Посмотрим, возможно, и приду.

Вот и отцова могила — за просторной черной оградой. В головах серый, закругленный вверх камень, на нем знакомые слова, которые начал уже кое-где обсыпать зеленоватыми крапинками мох.

Ой, леса, вы не шумите,
Моего мужа не будите,
Он спит вечным сном
Во веки веков.

Это были слова матери. Она захотела, чтоб их высекли на камне. Иван остановился возле ограды, взялся за острые пики железных прутьев. Мать приходила сюда вчера. Посыпала свежим песком. И Шурину и дедову — они немного дальше, за оградой. На дедовой — обомшелый дубовый крест — он стоит уже больше пятидесяти лет. На Шуриной за крестом елка, некрасивая, с шишковатым комлем.

В этом углу кладбища лежали все Купцовы. Деда и прадеды, дядьки и тетки, отцы и дети... И мать распорядилась, чтоб ограду сделали побольше, чтоб в ней было место и для нее.

К ограде подошел дядька Никита — единственный живой из четырех братьев отца. Он пришел один, жене что-то нездоровилось. Дядька имел представительный вид — чисто побритый, в военном френче и хромовых сапогах. Обычно жена боялась отпускать его далеко от себя — знала чрезмерное пристрастие дядьки к чарке. Сегодня же он чувствовал себя свободно.

Позже подошли Надя, Иванова двоюродная сестра, отец ее, самый старший из Купцовых, умер в войну; и тетка Грипина с мужем Лешкой, или просто Лехой, веселым зубоскалом. Леха был ее вторым мужем. Первого, Мишу, убили немцы, когда он, дядька Никита и еще несколько будневцев убегали из концлагеря под Могилевом. И хотя с Лехой тетка Грипина сошлась сразу после войны, старой родни она не чуралась. У Лехи была привычка ко всем, кто приезжал из города, обращаться на «вы».

— Ну, живот еще не успел откормить? — подкатилась к Ивану Надя.

— Не успел...

— Спешу, а то и состаришься без живота. Я иной раз гляжу и диву даюсь: откуда что у людей берется? Ему еще и тридцати нет, а уже розовенький, сытенький, как тот поросенок, и будто спереди подушечка привязана. Как такого жена любит?

— Словно жены за живот любят? — ответил за Ивана Леха.

— Не смейся. Сам вон тоже пухнуть начинаешь...

— Жена хорошо кормит...

— Один приехал? — Это снова Надя и снова Ивану.

— А с кем еще?

— Думала, может, жениха мне привез.

— Не имел заявки, а то мог бы и привезти...

— Правда?

Лет Наде было, наверно, тридцать пять, жила вместе со старой матерью.

— Мне хоть бы какого-нибудь завалыщего, Иван.

— Чтоб хотя дров нарубил, а?

— Дрова я привыкла сама рубить, но пускай бы нарубил. И чтоб зимой печку протопил. А то прибежишь от коров — и в холодную по-

стель как в могилу — бр-р-р, страшно. Так найдешь? — Она смотрела на Ивана и смеялась.

— Найдем. Это чтоб в наш век да не найти?

— И я так думаю. Люди вон на Луну летают, а тут бабе одного мужика. Скажи, пусть не боится, я его любить буду.

Иван подумал о том, что Наде, наверно, совсем не смешно. Все это время он ощущал радость от своего здоровья, от того, что он дома. А сейчас почувствовал, что той радости уже ему мало. Ему стало чего-то не хватать.

— Где садиться будем? — спросил Леха у Ивановой матери.

Она тут была старшей. Как она скажет, так и будет. И она сказала то, что говорила и раньше:

— На Левоновой могиле. Только рано еще, никто не начинает.

И правда, все словно чего-то ждали — бродили туда-сюда, переговаривались о том, кто где лежит — под седыми темными крестами, под вросшими в землю камнями.

Иван с Лехой тоже стали продираться сквозь кусты и молодой ельник; читая надписи, Иван удивлялся: многие, кого он знал, уже лежат здесь. Про многих он и забыл и только теперь, увидев могилу, вспоминал, что они были, представлял их лица, походку, манеру говорить. Ни печали, ни жалости он не чувствовал, будто все они были живые, какими он их когда-то знал, и будто каждого из них можно сейчас встретить и ничего неожиданного в этом не будет.

Отходя с Лехой от своих, Иван в душе надеялся узнать, пришла ли Вера, и потому делал полукруг так, чтоб выйти к Петровой могиле. Вскоре он увидел деревянную, покрашенную в синий цвет ограду и возле нее Клавдию и Веру. Иван сразу узнал Веру, хотя она и стояла к нему боком.

Первая увидела Ивана Клавдия и что-то сказала Вере. Та сразу обернулась, ожидая, когда Иван подойдет. Она изменилась, пополнела, а лицо, глаза те же. Улыбнулась одним губами — стрелками брызнули морщинки от уголков рта, — протянула руку. Светло-каштановые волосы. Две прядки отделились, перечеркнули край лба. «Изменилась и похорошела. Обрадовалась...»

А она вострепнулась, глаза потемнели — и будто ее уже не было здесь.

Они с Клавдией поджидали Митю. Отправил их вперед, сказал, что скоро будет, они давно уже здесь, а его все нет.

— Где ты сейчас, в Минске? — спросила Вера.

— В Минске.

— Надолго приехал?

— Завтра обратно... А ты?

— Не знаю... — Она повторила тише, уже для себя: — Не знаю...

— В Солигорске? — механически спросил Иван.

— В Солигорске... — Голос постный, бесстрастный.

— Поехали завтра вместе... через Минск... — Иван сказал это твердо, даже грубовато.

— Не знаю... — Подняла глаза, как будто только теперь спустилась на землю, увидела его. — Что-то Мити долго нет.

Все равно как когда-то: «Какое расстояние от города А до города Б?» — «Не знаю».

— Что-нибудь другое, кроме «не знаю», умеешь?

— Умею...

— Я буду ждать тебя вечером в клубе...

— В клубе? — переспросила она. — Хорошо, я приду. — Тряхнула головой и открыто, радостно, как избавление: — А вон и Митя... Рот до ушей. Рад, что тебя увидел...

— Он такой, как и был...

— Все такие. Человек рождается один раз.

— Рождается один раз, а переродиться может десять раз.

— Не верю. Человек рождается один раз.

С Митей поздоровались, словно не виделись всего день.

— Я-то уже думал, что у тебя зуб новый вырос. Вставил бы, что ли, а то ходишь щербатый,— подколот он Ивана, намекая на тот давний вечер.

— Некуда торопиться. Ожидаю, когда у тебя шрам с носа сойдет.

Все на мгновение притихли, думая каждый о своем, и в это время отчаянный женский голос зазвенел на кладбище:

— А боже ж, мой бо-о-о-же! А что же ты надела-а-л! А куда ж ты его забра-а-ал? А зачем же ты меня одну оста-а-а-вил!!!

Иван узнал голос. Это была Марыля. Месяц назад она похоронила своего единственного десятилетнего сына. Пошел парень на пруд и не вернулся домой.

Все, кто где стоял, так и замерли на месте. Иван чувствовал, как на него начинает давить этот голос. Казалось, кто-то в четыре руки бьет по наковальне.

И тут Марыля сразу же перестала голосить — внезапно, как и начала. Завздохала, захохала — ох-ха-ха! — и начала деловито расстилать на свежей еще могиле скатерть. Глаза ее были совсем сухие, светились тусклым металлическим блеском.

И на кладбище все оживились, заторопились возле разостланных на земле скатертей.

Пошли к своим и Иван с Лехой.

— Ничего не понимаю. Как будто все ждали, пока Марыля заголосит,— сказал Иван.

— Так оно и есть,— ответил Леха.— Так сложилось... Когда-то на кладбище была церковь и поминать садились после того, как выйдет батюшка, прочтет молитву. Ни церкви, ни батюшки давно нет. И повелось так: начинает тот, у кого самое свежее горе...

6

Их уже ждали. На разостланной скатерти стояли водка, вино; разложена еда, возле могильного камня — два красно-рыжих, крашенных в луковой шелухе яйца...

— Ну, выпивки можно и поменьше,— сказал Иван, кивнув на бутылки.

— Можно было меньше, можно и столько,— ответил дядька Никита, отбивая сургуч с бутылки. Видно, ему нравилось это занятие.— Что есть, то и есть.

Что-то неясное закипало в душе Ивана еще раньше, когда они шли от Петровой могилы. Очень уж все заторопились к своим «столам», словно боялись опоздать. И все то, что было до сих пор — и приглушенность голосов, и серьезность, с которой велись беседы, и праздничная торжественность,— показалось Ивану неестественным, ненастоящим. Иван знал, что он не прав, но та полнота и святость чувств, с которыми он шел сюда, то, что жило в нем все это время, пошатнулось, как дерево, в комель которого несколько раз впился топор. Он взглянул на мать — она по-прежнему была тихая, сосредоточенная и деловито расставляла по краю скатерти рюмки, раскладывала вилки, ножи, нарезанный хлеб. Он видел, что матери приятно чувствовать се-

бя хозяйкой. Иван никогда не видел ее такой торжественной и застыдился своих недавних мыслей.

— Ну, хватит тебе колдовать, — нетерпеливо потянул носом Никита. — Гляди, все сели уже...

— Успеешь и ты, — ответила Лекса, едва шевельнув сухими губами.

В ее неторопливых движениях и в той последовательности и порядке, с какими она все делала, Иван уловил еще одно: так аккуратно и неторопливо когда-то любил встречать гостей отец. Сейчас все это как бы перешло к матери.

Она очистила яйца, порезала на кусочки — разнесла по всем могилам. Налила в стакан немножко водки, плеснула возле отцова камня на желтый сухой песок.

— Пусть и ему немножко будет, — сказала тихо, и голос ее дрогнул. Передала бутылку Никите. — Разливай, — словно недовольная.

Никита налил рюмки, поднял свою.

— Ну, будь, Левон! И не обижайся, что мы пьем!

— Сейчас ему только и осталось что обижаться! — сказала мать. Все выпили торопливо и так же торопливо потянулись к закуске.

Вокруг из-за кустов одичавшей сирени и малины, из-за деревьев слышались голоса. Были они негромкие, но люди не стеснялись говорить. Не молчали и тут, на Леоновой могиле.

— Когда это его убило? — не то спросил, не то просто так, чтоб не молчать, сказал Леха. — Уже, никак, около двадцати?

— Двадцать годков, — ответила Лекса.

— Двадцать лет... А кажется, было совсем недавно, — сказала Грипина.

— Когда не думаешь, так недавно, а когда подумаешь, то так давно, что и памяти не хватает вспомнить когда.

— Ты всегда приbedнялась. Словно тебе было хуже, чем всем, — не удержался Никита, как будто Лексины слова задели и его. Выпитая чарка уже ударила румянцем ему в щеки, он начал чаще моргать.

— Никогда я не приbedнялась, — ответила Лекса. — Как было, так и ладно. Знала: если сама не сделаю, никто не сделает. И дети это знали. А теперь и подавно нечего приbedняться. Было всякое — и слезы и к слезам...

— Не, Никита, не говори. Остаться без мужа с пятерыми. И все как горох. И выкормить их, выучить. Не-е-е, не говори, — заступилась за Лексу Грипина. — Вы вдвоем с женой, и ты мужчина, сам все делаешь, всего добьешься, а надо, так и на горло наступишь, и детей у вас только двое, а вам легко было? А, легко?

— Будто я говорю, что ей было легко. Известно, нелегко. Однако ж не надо грешить, тогда никто в роскоши не жил. И колхоз помогал чем мог. Каждый месяц выделял... Когда жита, когда бульбину... А я... Я своего не упущу и упускать не хочу... Заработал — отдай, будь добр... А не отдашь — сам возьму...

— Это правда... Ты все можешь, — кивнула Лекса. — А мне если б не помошь, так иди по людям. Так ведь никто до этого не допустил. А тут дети, пять ртов. Хочу есть — и все тут. По ложке — так пять ложек. Себя я уже не беру в расчет...

— А все-таки, — продолжал Никита, — и школу все окончили и поустраивались. Когда б это можно было? Мы тоже росли без отца. Семеро нас было... И много нам кто помог? Пан помог? Он поможет...

— Если б не люди, не знаю, чтоб я тогда делала... Пухтик. Тогда-то не очень помогал, а теперь... — Лекса взглянула на сына, улыбнулась. — Зашел сегодня утром. Иван еще спал. Говорит, почему мне не

сказала, что он приедет. Можно было б подводу послать... А Ивана иначе как Леоновичем и не называет.

— Был Ясек, а стал Леонович. Никуда не денешься. А тут и Нюночка поспела, аж пищит — замуж хочет,— засмеялась Надя.

— Перестаньте,— прервал Надю Иван. Ему было неприятно слушать это.— Нона — девка как девка.

— И я говорю, Надя, перестань,— подал свой голос Леха.

— А разве я неправду сказала? — удивилась Надя.— Ты, Иван, возьми за Нону... Пускай Вавила потрясет чулком...

— Ну вот, а я что говорил? — развел руками Леха, с собачьей преданностью глядя на Ивана.

Беседа шла своим кругом. Дядька Никита не забывал про водку, и бутылки потихоньку пустели, и по мере того, как они пустели, звонче становились голоса и то мрачное, что таит в себе кладбище и что тяжелым грузом ложится на людей, сплывало, как сплывает с реки утренний туман под дуновением ветра. Люди сидели вокруг могил, обсуждали то, что было в их жизни сегодня или будет завтра.

Ивану вспомнились слова отца: «Когда умру, приходите на мою могилу. И обязательно с поллитром...» Ни про какую смерть, конечно, он тогда не думал, Иван теперь знал, что шло это от здоровья... Кто боится смерти, тот боится и вспоминать про нее, боится дразнить ее.

— И Агеиха приехала на кладбище... С Тamarой... Старая уже стала, больная. А такая баба была,— сказала Грипина.

— Роди и выкорми, как она, десятерых, посмотрим, какая будешь,— подколот ее Никита.

— Что ты, десятерых... Храни господь..

— Ничего, Леха справится.

Никита похлопал Леху по широким плечам. Тот раскрыл рот, заулыбался.

— Ну и трепло ж ты,— незло упрекнула его Лекса.— И стареет, а на язык никакого удержу нет.

— Человек стареет — язык в отмолодь идет,— заулыбался, давась словами, Никита.— Левон тоже никогда не стеснялся...

— Байду встретили... Ходит по кладбищу,— вспомнила Надя.

— Ага... — подхватила Грипина.— Добренький, аккуратненький... Здороваается со всеми. Святой, да и только...

— Святой,— взорвалась Надя.— Перстенок с пальцем вырвет и будет доказывать, что так было...

— Ай, какой перстенок!.. Человек, может, умирать на свою землю приехал, а вы на него как на волка,— возразил Леха.

— Ты лучше помолчал бы... — Грипина так взглянула на него, что Леха смолк, ссутулился, как будто стал меньше ростом.— Я как увижу его, так всегда вспоминаю начало войны... Как приехали немцы и всех мужчин, кто остался, собрали возле кузницы, выстроили... Он уже тогда в полиции был. Крутился возле переводчика. Он и Мишу моего к машине подтолкнул.

— Меня он тоже на машину подсаживал. Говорит: всех вас отпустят, только на работу свозят. Отпустили! — Никита потрянул головой, сжал зубы... — Вначале завезли в Березань, а оттуда прямо в Могилев, в лагерь... Не-е-е... Если б я его встретил где в войну да и сразу после войны, убил бы, и ничего со мной не сделали б. А теперь... Отсидел двадцать лет, вернулся, ползает...

Иван слушал этот разговор, то ровный, то перескакивающий от одного к другому, неожиданный в своей непоследовательности, но понятный и близкий ему. И хотя он сам редко вмешивался в разговор,

он чувствовал себя хорошо. Ему было известно все, о чем говорили здесь, он был здесь свой и знал, что навечно привязан к этим людям, к этому старому кладбищу...

— Я, когда буду умирать, попрошу, чтоб похоронили возле холостяка... — Это Надя, и рот и зубы приоткрыты в улыбке.

— А может, возле женатого? — переспросила Грипина.

— А ну их, женатиков этих... Им и там дети покоя не дадут.

— Ну, дети тебя, видимо, не очень беспокоят, — замотала головой Грипина. — Не бойшься ты бога, девка... У него ж их трое, жена...

— Не надо, тетка Грипина, искать святых. Надо быть самой святой. — Надя все еще шутила, но щеки ее уже зарделись от злости.

— Нет, Наденька, не говори. Дети есть дети. Детям нужен отец...

— Дети... Какие это дети? Самому младшему пятнадцать лет... И что вы ко мне пристали?.. Может, у нас любви!

— Ты спроси у Лексы, легко ли ей было одной, без мужика?..

— Зачем я буду спрашивать? Я сама знаю... — тихо сказала Надя и приподняла голову, переводя взгляд с одного лица на другое. — А мне что делать? Вы об этом думали? — Казалось, что она сейчас заплачет. Но не заплакала. Притихла, сложила руки на коленях.

— Ты хочешь украсть чужое счастье... — поджала губы Грипина и взглянула на Ивана: я правильно сказала? Иван сочувственно посмотрел на Надю: как та терпит. Та выпрямилась.

— Почему украсть и почему чужое? Я хочу свое взять, свое... Разве мне не положено счастья?.. Разве я виновата, что у меня его не было? А теперь оно появилось, малюсенькое-малюсенькое, и снова я виновата. Только голодный знает, какой вкусный хлеб. Вот вы говорите: «Греха не боишься»... А вы, вы греха боитесь?.. Вы, тетка Грипина? Вы хоть раз были на Мишиной могиле, хоть знаете, где он лежит? Ваш первый муж, дядька Миша... Вы сегодня вспомнили его... Он ведь из Могилева из лагеря удирал домой... К вам бежал... И если б по дороге не убили, прибежал бы. Так вы хоть раз побывали на том месте? Не бойтесь, Леха после этого не бросил бы вас...

Иван со страхом смотрел на лицо тетки Грипины, как оно из багрового стало серым, потом начало бледнеть, бледнеть... Губы у нее жалобно задрожали, глаза заморгали.

— Ты Мишу не трогай. Слышишь, не трогай... Он у меня вот здесь сидит... — Она ткнула рукой в грудь и заплакала, засморкалась. — Он мне и теперь снится. И ты на меня не гляди так, словно первый раз видишь. Не гляди! — Это уже Лехе, тот заерзал, забормотал: «Я что, я ничего...» И снова, уже сквозь слезы, всем: — Я в этом году съезжу, возьму и съезжу...

— Перестаньте. Что это вы разошлись? Люди ведь кругом, — не выдержала наконец Лекса.

Ей было жаль Надю, однако ж и Грипина говорила правильно. Она-то всегда любит поучать других, но здесь... Где тут та единственная правда? И она набросилась на Никиту:

— И ты молчишь. Разливал бы уже, что ли...

— Это мы можем, — расплылся тот в улыбке. — Если б что другое, а это мы вмиг...

— Это нам как пить дать, — заговорил и Леха.

Он рад был, что перебранка между женой и Надей кончилась, и сейчас старался загладить все, словно ничего и не произошло, и подсовывал им поочередно банку с рыбными консервами, сыр, масло... Но обе женщины молчали.

С кладбища возвращались тихо. Впереди Леха с Никитой. Никиту немного водило из стороны в сторону, он часто моргал, хватал Леху за руку — рассказывал про войну.

У Грипины было постное обиженное лицо, губы завязаны узелком. Она не оглядывалась назад на Ивана с Надей, но по напряжению в спине ее и высоко поднятой голове было видно, что она старается показать, будто ей наплевать на то, что наговорила ей Надя. Потом она начала что-то быстро говорить Лексе. Лекса молча слушала ее, но лицо у самой было задумчивое, далекое от всего того, что говорила Грипина. Она наклонилась, взяла в руку притоптанный ногами кустик жита — комок черной земли с примороженными желто-зелеными стрелками и длинными белыми нитками корешков. Узелок этот чем-то напоминал цыпленка, который только что успел вылупиться из яйца, с помятыми крылышками и мокрым пушком, с кусочками прилипшей скорлупки.

— Хорошо берется,— сказала Лекса, не обращая внимания на трескотню Грипины, и та снова натопырилась, прижмула губы.

Надя шла, глядя себе под ноги. Если б она была уверена в своей правоте! Если б... Она б и слушать не стала никого. Она искала поддержки, не сочувствия, что ей то сочувствие. Грипине хорошо говорить... Гладкая, как телка, щеки горят. Не скажешь, что бабе сорок пять... И Лекса... Столько одна натерпелась, пока детей вывела в люди...

7

Лекса неприметно отстала от всех: остановилась поправить платок и не захотела догонять. Не вслушивалась, но слышала, что говорил Никита и из-за чего смеялись Леха и Иван, видела, что Грипина и Надя молчат, и знала, почему они молчат, а сама жила своим.

Последние годы с ней это случалось часто. Она видела все, что делалось вокруг нее, и в то же время была очень далека от этого, погружалась в другую жизнь, и этой другой жизнью были воспоминация. В человеческой памяти есть свои капризы, свои не всегда понятные законы, которые могут заявить о себе тогда, когда об этом не просят...

Вот и теперь Лекса шла по мокрой и мягкой стежке и видела, что на лугу еще только-только начинает пробиваться первая зелень, слышала, как тяжело ступают идущие впереди мужчины и как чавкает вода у них под ногами, а думала совсем о другом.

Это было на второй год после смерти Левона... И тогда она шла. Но была зима и шла она совсем одна.

...Уже темнело, когда Янка, Ядзин муж, прошел с Лексой за ворота, еще раз сказал:

— Может, лучше останься, заночуй. Куда ты на ночь глядя? Еще заблудишься...

— Нет, Яночка... Там же дети. Я сказала, что сегодня приду. Приду и Малину приведу...

Она сморщилась, махнула рукой на хлев, где, вздувшись горой, лежала мертвая корова, ее Малина, и заторопилась, скоренько-скоренько пошла по улице, чиркая бахилами по втоптанному снегу.

До леса Лекса дошла мигом. Дорога была торная, и она подумала, что, пока стемнеет, будет дома. На выезде из лесу встретила две подводы. Лошади с серыми от инея мордами тяжело ступали по снегу. Рядом с лошадьми шли мужчины.

Лекса пропустила подводы.

Снег был рассыпчатый, сухой, но идти было легко. Лекса старалась не сходить со скользкого ледничка, протертого полозьями, шла, семеня ногами, смотрела прямо перед собой и ничего не видела: «Как я теперь без коровки? Что дам детям?» В тысячный или бог знает в какой раз вспоминала те весенние дни, когда с минуты на ми-

нугу ждала Левона — он поехал за Барановичи и должен был привести корову — и как наконец дождалась его: слегка подвыпивший, с веселой улыбкой он ехал верхом на Малине, положив на спину вместо седла поддевку и зацепив ремень за рога, а высокая Малина спокойно шла по улице, словно давно привыкла возить на себе людей. И в самом деле, была она очень спокойная. И пахали на ней, и дрова возили, и сено...

Вспоминала и тот проклятый день, когда пастух пригнал стадо с поля и сказал, что Малина отелилась и теленок мертвый. Малина пришла вялая, мокрая. Вытерла она ее тогда, напоила теплым пойлом, а сама побежала в кусты, где Малина отелилась. Не пора ей еще было телиться. Восьмой месяц пошел теленку. Был то бычок — ладный уже, черно-бурый, с белой отметинкой на мордочке. Закопала Лекса его, поплакала немного. Стукнуло ей тогда: теленок есть, а где же место? Обыскала вокруг — нигде нет. Назавтра спросила пастуха.

— Кажись, вышло... — сказал он. — Может, собака стянула. Она возле коров была.

Два дня Малина стояла в хлеву, мычала, тосковала о теленке. На третий день выпустила ее во двор, на солнце. Корова повеселела, захотела в поле, и у Лексы словно камень с плеч свалился. Скинула так скинула. Жаль бычка, да что поделаешь. То ли ударил кто, то ли еще что.

Если б знать, надо было б тогда ехать за Макухой, везти его домой, пускай бы посмотрел... Может, и понял бы... Конечно, понял бы, ведь на то он и ветеринар. Если б знать... А то выпустила корову во двор, она отогрелась на солнце, а дурной бабе уже показалось, что все хорошо. Повеселела — и все тут, иди, коровка, в стадо... И вот тебе на. Почти целый год ходила корова, и ничего не было заметно. Все как надо. И паслась нормально, и доилась хорошо, и молоко все отдавала... Только к быкам не пошла... Снова же успокоила себя: и так три года — три теленка, пусть в девках походит. Да вот тебе девка... Не стала есть. Привезла Макуху. Приехал без инструментов. Посмотрел, пощупал: приводи на медпункт. Привела, да уже поздно. Сгнило все внутри.

— Ах, Малина, Малина... — шептала Лекса и видела перед собой ее большие сине-зеленые глаза, слезы в глазах, слышала ее тяжелый, словно человеческий стон... — Малина, Малина. Загонишь ты меня в гроб. Сколько той страховки дадут? Ну, пускай полторы тысячи... А где же я остальное возьму?.. Тысячи две еще... Куда же я без коровки с такой семьей?.. Что скажу Ивану, когда он встретит у порога, удивленно разведет ручонками: «Хлеба в шкафчике нема, бульбы в печи нема, а Иван есть хочет» — и будет смотреть своими синими оченятами?

Лекса не замечала, что посыпал снег и потемнело в лесу. Остался позади поворот на будневскую дорогу, и сразу стало труднее идти. Снег здесь был по колено. Едва заметными ямками обозначились на нем чьи-то следы. «Неужели это мои, когда к Ядзе шла?» — подумала Лекса.

Ей давно уже стало жарко, и она расстегнула верхнюю пуговицу на жакете, расслабила узел платка на голове.

«Догадуются ли начистить бульбы да поставить варить? — подумала про детей. — А то будут сидеть, как куры, голодные...»

Не заметила, как начал крепчать ветер. Он уже упруго раскачивал вершины деревьев, стряхивая с них снег. И от снега, который сыпал и сыпал, и от темноты, которая укрывала все, в лесу сделалось глухо. Лекса почувствовала внезапный холодок страха. «Где ж Флёрков мосток?» — подумала она.

По времени она должна была б уже выйти из лесу на укрытую кустами луговину, за которой и был тот Флёрков мосток, вернее, то, что осталось от него,— полусгнившая лага, переброшенная через канаву. На выходе к канаве дорога спускалась в болотистую низину, ельник переходил в осинник. Где ж он, тот осинник? Вокруг ельник и ельник.

Лекса пошла быстрее, все еще не желая верить, что сбилась с дороги. Но лес становился все гуще, а дорога все уже и вроде бы мягче. Лекса остановилась, чтобы осмотреться, передохнуть. Но что она могла увидеть? Темные тени деревьев за дорогой сливались в сплошную черноту, казалось, там кто-то прячется, кто-то выглядывает. «Как же я сбилась? — думала Лекса.— Нигде ведь не сворачивала. Шла прямо и прямо...»

Она спешила... Зацепилась за какую-то рогатину под снегом, упала. Снова зацепилась... Шла, присматриваясь, и словно впервые видела этот стройный высоченный ельник.

Спина у Лексы повлажнела, но при этом появилось какое-то холодное спокойствие, будто это не она заблудилась, а какой-то другой, чужой ей человек. Это спокойствие принесло с собой и пустоту и безразличие ко всему на свете. Даже о детях она начала думать без тревоги... «Не маленькие уже, сами могут за собой присмотреть. Бульба есть, дрова есть...»

Ветер немного утих, небо посветлело. «Видимо, будет мороз... Если посветлело, будет мороз».

Снег набился в бурки, он таял там, и ноги стали мокрыми. Было мокро и под коленями: несколько раз Лекса провалилась в какие-то ямы.

Чем дальше месила снег Лекса, тем больше накапливалось злости, злости на всех и больше всего на него, Левона: «Сам ушел, а меня оставил мучиться. Одну с детьми...» Вспомнила, как один раз в жизни Левон поднял на нее руку и она, перепуганная, схватила с постели сонного Ивана и закрылась им. Теперь она знала, что он никогда не ударил бы ее, но тогда перепугалась... Он ездил в район — целый день на осеннем дожде, по гнилой, раскисшей дороге, и когда впотьмах возвращался домой, в Анатольевском болоте увяз конь, да так, что самому пришлось вытаскивать и телегу и коня. В хату ввалился после полуночи, мокрый, грязный, голодный. А в хате ни хлеба, ни бульбины... Ей бы помочь ему раздеться, сбегать к кому-нибудь за хлебом, а она, дурища, начала его ругать. И теперь, в лесу, в снегу, вспоминала тот день, чтоб вернуть ту злость, но злости не было, была одна только жалость к Левону и к себе.

Никакой дороги давно уже не было. Был снег, мягкий, сыпучий, справа и слева деревья, две стены, меж стен — узенький коридор. То там, то тут тяжелые лапки перегораживали коридор... Зацепишь лапку — на голову снег, как с крыши.

Коридор вывел на какое-то поле. Над ним густая белая пелена. Лекса остановилась, прислушалась, но вокруг было глухо и тихо. «Надо идти,— сказала себе Лекса.— Надо идти...»

Она стояла под елкой — высокой, с широко раскинутыми ветвями. Снега здесь было меньше, сугроб полукругом лежал поодаль от комля, ноги чувствовали твердость близких корней.

«Надо идти»,— повторила себе Лекса, а сама стояла, прислонившись к стволу. В голове шумело, веки сами слипались от усталости. Лекса уснула, будто провалилась в темную яму. Она не знала, сколько времени проспала так, стоя, но вдруг не то во сне, не то наяву ей послышались голоса. Она тут же узнала голоса детей. Сразу же

очнулась. Вокруг было тихо. «Может, они ждали-ждали меня и вышли искать. А может, и сами заблудились?» И Лекса снова полезла в снег. Вскоре она выбилась на неширокую дорогу. Вначале идти было легко. Потом снова она почувствовала слабость. Начал болеть живот. Потом боль пошла внутрь, под грудь. «Только этого не хватало», — подумала Лекса.

Она уже ничего не боялась, ни о чем не думала. Только: «Дойду до той березы и передохну», — но дойдя до березы, не останавливаясь, шла дальше. «Дойду вот до той... Еще до той...»

Однако за березами стояли другие березы; как копны сена, возвышались кусты. У Лексы дрожало все — и руки, и ноги, и саму ее всю трясло. «Ну за этими елочками...» Зацепилась за какой-то сук и полетела руками и лицом в снег. Долго лежала. Потом поднялась, прошла немного, прислонилась к стволу березы, потихоньку начала съезжать вниз, пока совсем не села. Так хорошо было сидеть. И тут всплыло в памяти: «Хлеба в шкафчике нема, бульбы в печи нема, а Иван есть хочет...»

Лекса сразу открыла глаза. Ей показалось, что за березами что-то чернеет. Она вскочила, рванулась вперед. Это было гумно! Дальше за ним неясными темными пятнами выступали еще строения. Лекса долго смотрела на них и вдруг заголосила — тоскливо, во весь голос. Теперь она знала, куда ей идти. Теперь она знала, что будет жить и что никто не снимет с нее этой тяжести — думать о детях и кормить их.

Хорошенько выплакавшись, она пошла к дому.

«Боже мой, когда это было? И было ли на самом деле?» — думала Лекса, отрываясь от прошлого... Почувствовала, как кто-то тронул за руку, и повернула голову. Это был Иван. Он встретил ее взгляд, улыбнулся.

«Ничего ты не понимаешь, — ласково подумала она — Мне сегодня хорошо. Слово мы собрались всей семьей. И Реня, и Лида, и Алеша, и Валик... И словно Левон с нами... Я знаю, ты любишь его, хотя его давно уже нет. А будешь ли ты меня так же помнить?.. Будешь...» — успокоила она себя, вспомнив, как ждала его эти дни, даже телеграмму хотела дать, и он, будто угадав ее мысли, появился вчера. Она посмотрела на него, шевельнула губами: «Хорошо... Все хорошо».

8

Защемило в груди, когда в клубе Иван увидел невысокую сцену с непокрашенным полом, черный динамик на стене, «уголок животновода» с аккуратно расставленными брошюрами и журналами всех времен, лозунги над сценой и на стенах и лампы — на случай, если погаснет свет. Василь сидел посреди сцены с баяном на коленях, мешковатый и сонный. Наклонив голову к самому баяну, Василь что-то наигрывал. Больше в клубе не было ни души. Василь заметил Ивана, обрадовался. Поставил баян на стул, спустился вниз со сцены.

Когда-то они учились вместе, в пятом классе даже сидели за одной партой: Иван — маленький заморыш, худенький, желтолицый, и Василь — здоровяк-переросток. Само собой получилось, что Василь взял опеку над Иваном, защищал его от старших, Иван же помогал Василью по математике, в которой тот был слабават. Так они подружились.

— Приехал к матери? — спросил Василь. Голос у него был густой, говорил как в бочку.

Иван улыбнулся, кивнул.

— Ту добре...— Василь сразу переключился: — Надо стулья убирать, пока никого нет. Танцы будут.— Василь оставался Василем. Он не любил напрасно тратить слова.

— Как твои мужики растут?— спросил Иван. У Василя были близнецы.

— Растут здоровые, как медведи,— засмеялся Василь.

В клубе постепенно люднело. Мальчишки расхватили шашки и шахматы. На стульях у стен вертелись девчонки-школьницы, натягивая на острые голые коленки коротенькие юбочки.

— Василь, включи радиолу,— канючили они, но Василь словно и не слышал их — тихонько гонялся на баяне за своим мотивом, а тот никак не давался. Василь снова и снова ловил его, пока наконец не поймал, и довольный расплылся в улыбке, проиграв его несколько раз от начала до конца..

— Успеете еще ноги отбить,— сказал девочкам.— Лучше пошли б да юбки понадтачивали, пока кавалеров нет.

— А нам хорошо и в таких,— трещали те.

Вдруг распахнулась дверь, и в клуб беспокойной, шумной гурьбой ввалились веселые пьяноватые люди. Всех вела тетка Ольга. Были здесь Иванова мать, и Грипина, и Надя, и Леха.

Тетка Ольга с непокрытой головой, волосы собраны в узел. Она в новом темно-зеленом платье, руки раскинуты в стороны, плывут в воздухе, в правой платок, пальцы левой свободные... Тетка Ольга как вошла, так и потянула всех за собой в круг; высоко подняв голову, глядя то вперед, прямо перед собой, то под ноги, притоптывала и напевала:

Праслужыў я у пана
Першае лета,
Выслужыў я ў пана
Курку за гэта.
Мая курочка
Залатавурачка
Па двару ходзіць
Кураняток водзіць..

Вслед за ней, как цыплята за курицей, двигались другие танцоры и тоже пристукивали каблуками, размахивали руками.

Иван глядел на тетку Ольгу и не узнавал: кажется, и фигура у нее еще ничего, и голос приятный...

Мае цяля хвастом меле,
Мой індэк шалды-балды,
Мой гусь траву кусь,
Мая курачка
Залатавурачка..

— Музыка! Василь, музыку! — закричали все.

— Давай подыспан!..

— Подыспан!

Василь уселся поудобнее и рванул баян.

Кто-то дотронулся до плеча. Иван повернулся. Дочка Вавилы — Нона!

— Гляжу, пропадает человек. Вокруг музыка, веселье, а он киснет. Думаю, пойду, расшевелю...

— И хорошо сделала...

— Тогда пошли танцевать.

Иван уже и не помнил, когда танцевал эту падеспань, так это было давно, но быстро привык и незаметно вошел во вкус. Ему

нравилось и это плавное прохаживанье с притоптыванием, и кружение, и смена партнеров, и нехитрая, такая знакомая музыка.

— Ты легко танцуешь,— сказал Иван Ноне.

— Неужели? — кокетливо спросила она.

— Если б можно было, я хотел бы всю жизнь танцевать... с тобой...

— Нельзя.

— Почему?

— Ноги не выдержат...

...Потом Иван танцевал с матерью. Она смотрела на него снизу вверх, улыбалась неустойчивой, расслабленной улыбкой.

— Откуда это вы всей толокой? — спросил Иван.

— Ольга позвала к себе. Ну, а от нее сюда.

Мать словно чувствовала какую-то неловкость, будто делала что-то недозволенное. Ему стало жаль ее. Она старалась танцевать легко, вспоминая свою молодость, но ничего из этого не выходило: тяжелые, будто набрякшие ноги не хотели слушаться, и она переставляла их, как протезы. Они точно одеревенели и руки тоже, одна из которых неумело лежала у него на плече, другая — вялая, шершавая — в его руке. Ему сразу стало горячо. Когда кончился танец, вышел во двор.

«Все. Скажу завтра: пускай собирается и едет ко мне. Хватит с нее», — думал он.

На пруду квакали жабы. Пахло разбросанным на огородах подсохшим навозом...

Присел на лавочку на другой стороне улицы, закурил.

«Так не поедет же... Говорил ведь уже. И что услышал? «А что я там буду делать? Разве что твою комнату стеречь? Так ее и так никто не украдет»...»

Василю, видимо, надоело играть на баяне, и он включил радиолу — на улицу вырвались звуки бодрого фокстрота...

— Ага, еще один минчанин, — услышал Иван, как только снова переступил порог клуба.

Широко улыбаясь и протягивая руки, к нему шел Иван Емельянович, все такой же маленький, толстенький, с хорошо заметным, будто приклеенным животиком. Продолговатое лицо его округлилось, расплылось. И сегодня, как и много лет назад, он был в темном мятом костюме, который пузырился на коленях и был весь в каких-то светлых пятнах.

Иван Емельянович взял Ивана под руку и повел через зал в угол, под динамик. Там уже был Вавила — веселый, с красным лицом.

— Давай, давай сюда! — замахал он им рукой и, как котят, смахнул со стульев двух мальчишек, которые сидели рядом.

Сели. Слово за слово поплыла беседа. И тут Иван Емельянович начал жаловаться:

— Не хотят дети учиться. И все тут. Ты ставишь тройку, понимаешь, тройку! — и ему хоть бы что; ставишь ему двойку! — ничего, — говорил он и сердился, разжигал себя. — Только и слышишь: «В институт я не пойду, а на завод возьмут и с тройками, и трактористом возьмут...» Вот и все... А ты распинайся, доказывай, уговаривай... Он чудесно разбирается в том, что ему надо, а чего не надо. Зачем ему химия? Зачем ему биология? Он будет электриком, а электрикам, видите ли, знать химию необязательно! Зачем ему литература, если он будет шофером? А вот мотоцикл уже теперь надо, я не говорю о новом костюме, телевизоре. Это понятно само собой, отцовы ботинки ему на ногу не лезут...

— Я, Емельянович, думаю, что это мудро — приучать детей к работе, — вмешался в разговор Вавила. — Нечего до двадцати лет по улице собак гонять. Дети теперь ушлые пошли. Не то что мы, до пятнадцати лет без штанов бегали. И к ним надо подстраиваться.

Вавила передохнул, глянул на Ивана, потом на Ивана Емельяновича. Ему нравилось, что его внимательно слушают.

— Я возьму своего младшего. Захотим когда мы с жинкой выпить... Есть на что, слава богу, — и я зарабатываю, и она доярка. Раньше как увидит, что собираемся выпить, встанет из-за стола и за дверь. И пришлось нам, — Вавила засмеялся, — ухитриться: как только появится охота выпить, идем в истопку... Там у меня чисто, и полка как столик, и окно большое, и закуска близко. Выпьем там, и все. А он пускай учит свои тракторы. А батька наш прятался ли когда от сына? Сами посудите... Да что говорить. Это ведь молодежь... Ей, может, хочется чего-нибудь другого. — Вавила вдруг зашептал: — Чего ты сидишь тут? Или тебе другой работы нет? Шел бы да прижал девку какую. Я в твои годы подметки на ходу отрывал. Во, хоть бы Нона моя... Разве плохая девка? Я знаю, и ты ей нравишься.

— Ну что вы! — Иван сразу не нашелся что сказать.

— Ты не гляди, что она танцует с Потаповым, — по-своему понял Иваново замешательство Вавила. — Я шепну ей, она в момент отошьет его.

Иван сморщился, заерзал, стараясь отодвинуться дальше от Вавилы.

— Я ведь не слепой, я сам прикидываю. Самое для тебя время про семью подумать. Квартирка у тебя есть... Пускай себе и одна комната, но для начала хватит... Пока то да се, можно и о машине подумать. Колеса на три могу хоть сегодня дать...

— Я думаю, что на ней будет кому ездить... — Иван встал.

Поднялся и Вавила.

— Подумай об этом.

Вавила стоял, широко расставив толстые кривоватые ноги. Иван глянул на его огромные, не сорок ли шестого размера, сапоги, с широкими голенищами, и ему показалось, что Вавила и в самом деле стоит не на ногах, а на колесах...

— Хорошо, подумаю, — ответил он весело и пошел к двери.

Он снова сидел на лавочке, снова курил. Кто-то вышел из клуба и через улицу направился к лавочке. Это была Нона. «Видимо, отец послал следом», — со злостью подумал Иван.

— О чем вы с отцом разговаривали? — спросила Нона сразу, присев рядом с Иваном. Голос ее дрожал.

— Да так, разное... — Иван не знал, что говорить.

— Нет, ты скажи, что он тебе говорил? Что он плел тебе? Молчишь? — Она говорила поспешно, глотая окончания слов. — Можешь молчать... Я и сама знаю... Сватал меня, да? Сватал? Ну, скажи, сватал? — Нона схватила Ивана за руку, потянула к себе, стараясь заглянуть в лицо. — Сватал?

— Да нет, что ты выдумываешь...

Нона отпустила Иванову руку и вдруг заплакала.

— Я знаю, ты мне можешь ничего не говорить... Как только встретит нового человека, сразу тынет в хату. Жениха мне ищет... Торгует, как телкой. Стыдно людям в глаза смотреть. Ну, я ему наторгую...

— Напрасно ты так. Ни о чем таком мы не говорили... — начал Иван, — и ты не принимай так близко к сердцу, не переживай. Старые, они как малые...

Нона немного успокоилась, хотя, видно, ему не поверила.

Он увидел Веру, как только она вошла, и сразу поднялся ей навстречу.

— Где ты так долго была?

— Управлялась по хозяйству,— ответила она и начала развязывать платок, потом сняла пальто.— Они же поехали в Долгий Лог, а я и гостя и хозяйка.

Он взял из ее рук пальто, повесил на вешалку.

Она была пострижена «под мальчика», и эта прическа приятно округляла ее продолговатое лицо.

— Ты хочешь танцевать? — спросил он, подавая ей свою расческу.

— Я миллион лет не танцевала,— ответила она и улыбнулась.

Он знал, что все в клубе смотрят на них, ловят каждое их слово, замечают каждое их движение и завтра и послезавтра будут обсуждать, оценивать, прикидывать все и так и этак, но его это не интересовало. «Как она переменялась. Я совсем не знаю ее»,— подумал он, а вслух спросил:

— Что попросить?

— Вальс... Я миллион лет не танцевала вальс...

Почему-то его резанули эти ее «миллион лет». Какая-то подделка слышалась в этих словах.

Иван подошел к Василию, попросил поставить пластинку.

— Вместе приехали? Или каждый по себе? — отрывистым басом спросил Василь.

— Каждый по себе.

— Но отсюда поедете вместе?

Василь шутил, и сердиться на него не хотелось. Да и за что сердиться? Иван тоже улыбнулся.

— Не знаю, все может быть...

— Ты можешь не знать, а я знаю. Никуда ты уже не денешься,— сопел Василь, перебирая пластинки.— Иди к ней, а то хлопцы уведут. Эти долго гадать не станут.

Иван пошел к Вере.

В динамике что-то зашумело, зашипело, ударили первые звуки очень знакомого старинного вальса. Они пошли танцевать. Закружились, замелькали люди, поплыли стены, и сам Иван поплыл словно по реке на быстрине... Вдруг Вера сказала:

— Взгляни, как Нона на нас смотрит.— И снова сказала это неестественно игривым голосом.

— Это тебе кажется,— сухо ответил он.

— Нет, ты взгляни... И на Вавилу.— Вера не заметила его сухого тона. Или не захотела замечать?

— Это тебе кажется,— повторил Иван.

— Он готов нас съесть.

— А ты боишься?

— Мне нечего бояться.

Голос ее стал тише. Она попробовала улыбнуться — ничего не вышло, лишь в уголках губ тревожно задрожали морщинки. Она нахмурила брови.

— Я боялась только одного: чтоб тебя не украли...

— Разве я такой маленький, что меня могут украсть?

— Теперь я знаю, что ты не маленький.— Вера внимательно смотрела ему в глаза.

Ивану стало жаль ее.

- Давай уйдем,— сказала она,— как только окончится вальс...
— Василь будет крутить, пока не рассыплется пластинка. Ведь мы с ним сидели за одной партой...
— Тогда пожалеем его. Уйдем после второго раза.
— Хорошо.

На улице было темно и душно.

— Куда пойдем? — тихо спросил он.

— Не знаю. Пойдем по селу,— так же тихо ответила она.

Они стояли у колодца. За ними, во дворе, была Петрова хата. Сколько лет Иван не был в ней? Последний раз забежал, идя в армию... Ему захотелось зайти, посмотреть. Для него это было очень важно. Он словно хотел сверить себя и с этим домом и с тем, что было в доме и что было в нем, Иване. Он хотел возвратиться к себе давнишнему...

— Зайдем? — спросил он.

Вера молчала, будто не знала, что делать, потом медленно открыла калитку.

Ее неуверенность как бы оживила тревогу Ивана. С какой-то грустью он переступил порог когда-то такой знакомой хаты. Теперь хата казалась чужой, и он почувствовал себя в ней чужим. Отвык от нее.

Стол в углу, лавки вдоль стен, дальше, за дощатой перегородкой, печь...

В другой половине было просторно. Выбросили большую печь и вместо нее поставили грубку с прямым, высоким, под самый потолок, белым дымоходом.

Сняли пальто.

— Присаживайся где-нибудь,— сказала Вера, а сама осталась посреди хаты.

Она не знала, что делать дальше. Куда исчезла та веселость, смелость, с которыми она зашла в клуб? Стояла посреди хаты потупившись, кусая губы, стриженная «под мальчика» и сама похожая на мальчишку, который залез в чужой сад, зацепился за гвоздь и порвал новые штаны. Ему очень жаль этих новых штанов, и он собирает в кулак все свое мужество, чтоб не заплакать перед отцом, который все знает. Оставшись один, он давно бы заревел.

Иван подошел к Вере, положил руку на плечо и мягко сказал:

— Не надо.

— Хорошо, что ты приехал,— заговорила она.— Ты даже не представляешь, как это хорошо, что приехал.

— Я давно не видел тебя...

— Ты только ничего не думай, Иван.

— Я ничего не думаю.

— Ты знаешь, о чем я говорю...

— А ты не говори.

И все же и он и она думали об одном и том же. Оба чувствовали, что между ними стоит что-то. Это было не только Верино замужество. Это еще было время, которое стояло между ними. Она столько времени не видела его и теперь боялась его. Если б она знала, что он думает, ей, наверно, было бы легче.

Иван взял Веру за плечи, повернул к себе. В глазах ее стояли слезы...

— Я ничего не думаю, Вера... Я не хочу думать. Ты мне нужна... Понимаешь, ты. И я тебя нашел.— И он начал целовать ее и почувствовал, как зазвенел в душе нежный голосок ручейка под весенним снегом.

Они тихо переговаривались. Говорила Вера, а Иван слушал, порой вставляя свое слово. Слушал и чувствовал, что за это время, как они вместе в Вериной хате, все кругом для него изменилось. Когда они пришли из клуба, их разделяла стена. Теперь этой стены не было. Теперь перед ним была Вера — не та Вера, которую он знал раньше, про которую вспоминал в армии и после армии. Это была совсем-совсем другая Вера... Его Вера. Он не мальчик, но такого с ним никогда не было. Чтоб человек сразу стал таким своим. Может, потому, что он долгие годы ожидал ее? Может, потому, что он любит ее давно, так давно, как знает себя...

Он ждал, что оно придет. Так, видимо, птица ожидает прихода весны. Он не хотел верить, что судьба обошла его. Но потом утратил надежду и начал приучать себя к мысли, что это не каждому дается. Как талант, как красота, как сила... И приучил, но тоску из сердца не выгнал. И тогда оно пришло... Но вместе с радостью и успокоенностью пришло и острое сожаление. Сожаление о той далекой Вере и о нем самом том, давнем. Теперь они были совсем другие люди.

Вера говорит тихо, немного глуховатым голосом:

— Ты не знаешь, что со мной было, когда ты ушел в армию. Выбежал из нашей хаты и пошел на улицу не через калитку, а напрямик, через гряды. Не знаю, почему ты так сделал, но мне казалось, что ты специально пошел через гряды, чтоб я тебя дольше видела. Выйду во двор, увижу твои следы — и в слезы. Прошу Клавдию: «Закопай ты эти следы или засыпь, а то я помру». А она смеется: «Дурища, говорит, вот снег пойдет и засыплет все, заровняет, и не узнаешь, было или нет. Он в армии, у него есть о чем думать. Он даже и не знает, что ты так надрываешься». Смеялась, смеялась, потом сердиться начала: это же надо, школьница, восьмиклассница, вместо того чтоб учиться, дурью из-за хлопца мучается. Вот пришла зима, повалил снег и правда — засыпал твои следы. Вначале думала, что хоть слово напишешь, ну, просто так, как знакомый, разве так нельзя?.. Бывало, иду из школы — все девчата и парни впереди бегут, а я плетусь сзади... И думаю, думаю... Ну, не может быть, чтоб он ничего, ничего не чувствовал. Я столько о нем думаю, даже дерево почувствовало б это, а он ведь человек... Тебе смешно, правда? Скажи, смешно?

— Нет, не смешно, — ответил Иван.

— А увижу твою мать, сердце в пятки уходит. Хочу спросить, присылал ли ты письма, и боюсь: еще подумает что. Адам тогда почту носил. Встречу его и спрашиваю, нет ли нам писем. «Нет, нету». — «А кому есть?» Не говорит. Набралась смелости и забежала к вам. Два раза... Зимой выдумала погреться, летом — воды попить. Тогда, кажется, впервые и увидела тебя в военной форме. Ты с каким-то своим товарищем, носатым таким... Веселье, здоровые. И какой-то незнакомый ты был на той фотокарточке. Ты слушаешь меня?

— Слушаю.

— Это плохо, когда женщина так рассказывает о себе? А? Плохо?

— Не знаю. По-моему, нет... Просто мы потихоньку отвыкаем от искренности. Все таим в себе, прячем, бережем, не зная кому и зачем.

— Потом пришла весна, согнала снег — и снова все началось сначала... Закрою глаза и вижу, как ты перебегаешь двор, берешься одной рукой за плетень, прыгаешь. Хлопаешь рукой по штанине — то ли пыль отряхиваешь, то ли колючки... На дворе стало тепло, трава пошла... Просто места себе не находила. Особенно под вечер. Кажется, так и шла б неизвестно куда. С горем пополам окончила восемь

классов. А тут и Митя совсем перебрался к нам. Ты же знаешь, как он водку любил. Каждый вечер под градусом да под градусом. А под градусом-то или драться, или ссориться. Клавдия тоже цаца добрая. Терпела все, пока неженатые были. А как перешел — она ни на какую уступку. Он слово — она два. Как начнут драться — не разнять. А тут как раз подвернулись курсы бухгалтерские. Я и поехала... Клавдия родила первого сына, и Четыресорок остепенился. Но я уже окончила курсы и махнула в Заполярье... Есть там небольшой город. Одна б то я никогда не решилась ехать за свет, но подбила подруга. Я, как за веточку, раз-раз и поехала. Работу нашла быстро. Я в вэче, она на комбинате... Сижу, кручу арифмометр, свожу сводки. А морозы там страшные. Градусов сорок — сорок пять. Выбежишь во двор, раза два вдохнешь — и назад. Словно иголками прошивает. И темно. Глухой темени, такой, как у нас, нет, а так, серо вокруг и днем, и вечером, и ночью. Ни день, ни ночь. А вверху над фонарями — белые столбы мигают, переливаются... Прибежишь со двора, а тут печка горит. Дверцу откроешь — ближе к теплу. Возьму стул, сяду напротив печки, и кажется уже: никакой это не северный городок, а наш Буднев и я дома... И ты скоро придешь задачки решать...

Он погладил ее по волосам, дотронулся губами до щеки. Щека была горячая.

— Один раз пошли мы на лыжах в сопки. День такой ясный, где-то уже под весну. Маня, офицеры из нашей части, я.. Поднялись на первую сопку, солнце увидели. Как желток висит на небе. Спустились за сопку — его не стало. Идем и идем. Смех, шутки... Я в хвосте шла. Они впереди, а я за ними плетусь. Какой из меня лыжник... Иду себе, думаю... Сосенки вокруг — небольшенькие, кривые, как у нас на болоте. Кое-где береза — опять же кривая. Спустилась вниз, а наши все где-то впереди, за сопкой. Остановилась я поправить лыжу. Оглянулась вокруг — одна осталась. И такая тишина. Крикнула — голос никуда не полетел. Белый снег кругом, белое, словно вата, небо над головой. И почувствовала я страх. Кажется, никогда я никуда не выйду, голоса человеческого не услышу... Бросилась вперед по следам. И не иду уже, а бегу, спотыкаюсь, и бегу, и плачу. Вижу, кто-то спускается навстречу. Ну, слава богу. Это был он, Толя. Увидел слезы, пожал плечами: «Что такое?» Говорю: «Ногу подвернула». Разве скажешь, что испугалась?.. Так с ним вдвоем и возвратились в город. Потом еще ходили на лыжах, на танцы в офицерский клуб... Очень трудно человеку одному. Еще пока не замечаешь, что ты один, — ничего. Кажется, живешь — и все тебе. А когда почувствовал, что один, тогда тяжело. Поссорилась я с хозяйкой, у которой жила. Попросила Толю: помоги квартиру найти. «Хорошо», говорит... И вечером приходит с друзьями: «Собирай манатки и пошли»... Связали постель в узел, чемодан — и пошли. Приводит он к себе в комнату... Там уже стол готов: водка, шампанское... Я в слезы, а он смеется: «Чего ты? Все равно этим кончится не сегодня, так завтра». Я подумала, что и правда так оно будет... Назавтра пошли в загс, а еще через два дня он уехал... Он все пропадал в командировках. Мотался по всей Мурманской области. Я снова одна, и снова мне страшно, как тогда, на лыжах... И вижу, что нет у меня любви к нему. Ищу любви — не нахожу. Чего-то мне не хватает. Чего — и сама не знаю. Просто я не знала тогда, чего не хватает. Потом поняла, что как раз души и не хватало. Приехал он как-то из командировки, я ему говорю: «Давай разойдемся». И разошлись. Побывала я еще немного на Севере, а потом вернулась обратно в Белоруссию...

Вера замолчала. Иван ожидал, что она сейчас заплачет, и боялся этого, но она засмеялась. Неестественно веселым смехом.

- Вот и все.
 Без всякого перехода Иван тихо сказал:
 — Хорошо, что ты приехала...
 — Ей-богу?
 — Ага...
 — Ну, а ты... хоть кого-нибудь и хоть просто так... думал ли ты обо мне?..
 — Думал... Только до сегодняшнего дня ты была где-то далеко.
 — Может, это была и не я?
 — Может, и не ты. Зато теперь ты, и мне кажется, что и всегда была ты. Не знаю почему, но сегодня я, может, впервые по-настоящему почувствовал радость оттого, что живу на свете. Живу — значит, действую, ошибаюсь, люблю, ненавижу.
 — Не боюсь ринуться с кулаками в драку...— добавила Вера.
 — И с кулаками. Без этого нельзя. Жизнь сложна, а люди разные... И снова же... эта радоница, кладбище... Сегодня я впервые задумался над тем, что на кладбище лежит больше людей, чем ходит в живых.

Было совсем светло, когда Иван собрался идти домой. Пели жаворонки. Вера провожала его, держа руки у щек: они у нее горели. Иван задержался у калитки.

- Иди! И так не знаю, как я сегодня буду смотреть в глаза твоей матери.
 — Как и всегда...
 — Что ты?! Разве она примирится с тем, что ты был у разведенки?
 — Примирится,— ответил Иван, но для себя отметил, что «разведенка» — материно слово и оно у нее не очень-то в чести.

10

Проснулся Иван поздно.

Мать кончала топить печку. Плотнo сжав губы, она орудовала у печки, хватала в руки то один ухват, то другой, и из печки слышалось то жалобное позвякивание сковороды, то глухой стук чугунокoв о под, то сухое потрескивание сложенных в кучу головешек. По тому, как грохала она дверь, открывая и закрывая ее, не боясь разбудить его, Иван чувствовал, что она сердится.

Теперь, на утреннюю трезвую голову, Иван ясно понял, что в его жизни произошел поворот и этот поворот принесет новое в отношения между ним и матерью. Он видел ее злое, нахмуренное лицо, хлопотливо-решительные движения, и ему было жаль ее ненужной злости. Жалость эта точила его и позже — перед завтраком и за столом, когда ели, оба молчаливые, настороженные.

Когда поднялись из-за стола, мать больше не выдержала:

- У Веры ноченьку провел?
 — Ага...
 — Новый дом нашел?
 — Мама...
 — Что? Не нужна уже мама. Дожилася-а-а,— мать ухватила за голову и заголосила: — А неужели ты девку найти не мог? Разведенку нашел... Она в прошлом году приезжала, так Потапов вертелся возле нее, а в этом году — на тебе, мой сынок...
 — Мама! Зачем ты выдумываешь?
 Он схватил ее за плечи, повернул к себе... И она сразу замолчала, словно и не голосила только что. Глаза ее смотрели спокойно и твердо.

— Я не хочу тебя учить, сынок,— заговорила она, боясь, что он не будет слушать.— Ты не маленький, и все вы теперь ученые, даже слишком ученые. Только ты не думай, что ты чистое золото...

— Я этого не думаю.

— Запомни: там, где не угодил один, нелегко будет угодить и тебе... Бывает, что люди сходятся случайно, а расходятся всегда не без причины...

— Не надо об этом, мама,— сказал он тихо.— Я это знаю. И... хочу, чтоб ты знала, что мама у меня одна.

Мать всхлинула, припала к его груди:

— Я не хочу ничего выдумывать про Веру. И работающая и горя хлебнула. Но как подумаю... Полсвета обошел, а девуку... не мог найти.

— У тебя, мама, уже седые волосы,— сказал он, не слушая ее.

— Чтоб с вами да не поседела,— снова встрепенулась она.— Дай зеркало...

Иван подал зеркало. Она долго разглядывала себя, поставила зеркало на стол.

— Где твой чемодан... Надо собираться.

Как всегда, она проводила его за ворота, но стояла, не хотела выпускать чемодана из рук. Бросила взгляд в один конец села, в другой, словно чего-то ждала от Ивана, словно он должен был что-то сделать и не сделал, или, может, сама хотела что-то сделать и недо-ставало ей для этого сил. Наконец передала чемодан, и их руки встретились — ее, теплая и шершавая, и его, крепкая и быстрая, какое-то время помедлили, прежде чем разойтись, и у Ивана екнуло что-то внутри.

— Так что я хотела сказать, сынок. Ага. Когда я умру, так ты все равно приезжай. На радоницу. Она всегда приходится на одно время, это легко запомнить. Она всегда бывает на второй вторник после пасхи...

— Зачем ты об этом, мама?

— Она всегда приходится на второй вторник после пасхи...

Мать словно не слышала его и не видела, словно разговаривала сама с собой. И Иван подумал, что ему очень посчастливилось попасть домой в такой день, когда все вместе — и слезы, и радость, и живые, и мертвые, когда к каждому человеку приходят мысли о том, кто он, куда и откуда идет и есть ли у него на этом свете еще что-нибудь, кроме него самого...

Они поцеловались, и Иван пошел.

*Авторизованный перевод с белорусского
В. ЩЕДРИНОЙ.*



ЮРИЙ ТРИФОНОВ

★

НЕТЕРПЕНИЕ

Роман

ГЛАВА I

К концу семидесятых годов современникам казалось вполне очевидным, что Россия больна. Спорили лишь о том, какова болезнь и чем ее лечить. Категорические советы, пророчества и проклятья раздавались в стране и за границей, на полутайных собраниях, в многотысячных газетах, модных журналах, в кинжальных подпольных листках. Одни находили причину темной российской хвори в оскудении национального духа, другие — в ослаблении державной власти, третьи, наоборот, в чрезмерном ее усилении; одни видели сразу в домашних ворах, иные в поляках, третьи в бироновщине, от которой Россия за сто лет не могла отделаться, а великий писатель полагал, что виноват маленький тарантул, *piccolo bestia*, то бишь Биконсфильд, забежавший в Европу. Были и такие, что требовали до конца разрушить этот поганый строй, а что делать дальше — будет видно. Да что же происходило? Вроде бы все шло чередом: росли города, бурно раскидывались во все стороны железные дороги, дельцы нагребали состояния, крестьяне бунтовали, помещики пили чай на верандах, писатели выпускали романы, и все же с этой страной творилось неладное, какая-то язва точила ее. Всю Россию томило разочарование. Разочарованы были в реформах, разочарованы в балканской войне, власть разочаровалась в своих силах, народолюбцы разочаровались в народе. Появилось много людей, уставших жить. «Русская земля как будто потеряла силу держать людей!» — говорил с горечью писатель, что стращал всех тарантулом.

Понять, что происходит, современникам, как водится, не удавалось: не замечая причин, они со страхом и изумлением наблюдали следствия. Лишь десятилетия спустя эта пора душевной смуты, разочарования и всеобщего недовольства будет определена как назревание революционной ситуации. А начиналось все это порядочно давно. Еще в те, наверное, времена, когда никому и в голову не могло прийти, что что-либо начинается. В 1866 году (едва ли тут было начало!) в царя, освободителя и реформатора, стрелял злоумышленник...

Спустя двенадцать лет зимою в Одессе молодой человек по имени Андрей Желябов должен был принять тяжелое решение: расстаться с женой, с которой прожил шесть лет и которая, он знал это, очень сильно его любила. Но у них был сын и о нем следовало думать.

Да и жена была еще молодая женщина, певица, музыкантша, нравилась мужчинам, отец — влиятельный господин, сахарозаводчик, гласный городской думы, который другому зятю устроил бы отличную жизнь и судьба жены могла бы перемениться. А какая жизнь с ним? Полунищенство в Одессе, два стула и кровать, крестьянская воловья работа у родителей в Николаевке от зари до зари (однажды видел, как, лежа на меже, плакала), тревоги, неустройства, непутевые друзья без гроша в кармане, какие-то подозрительные женщины, развязные, с наглым взглядом, с папиросками, разговаривающие с нею свысока, ночью громыханье сапог, обыски, уходы, уводы, исчезновения — сначала на четыре месяца, потом на семь месяцев, унижение перед родителями, чтобы взять на поруки... Да зачем же все это терпеть? Конца не видно. Впрочем, видно. И даже — явственно.

Вот уже никого из старых друзей нет в Одессе: Волховский в Сибири, Петро Макаревич, Сережка Жебунев и Соломон там же, в Тобольской губернии, Сережкин брат Володька под надзором на Харьковщине, а Никола, третий из Жебуневых, удрал в Париж. И Аня Макаревич где-то там, в Европе, а Иван Ковальский казнен.

Поэтому, если рассуждать спокойно и здраво, руководствуясь логикой, а не чувством...

— Зачем ты пришел сюда?

— Мы должны расстаться.

— Мы и так расстались. Это все знают. Летом сбежал от нас к Желтоновскому, прекрасно там жил на бахче, торговал арбузами, мне все известно, тебя видели на базаре в Брацлаве... Зачем ты нас мучаешь?

Из соседней комнаты, тихо приподняв занавеску, вышел маленький мальчик. Он был очень бледен, с круглой, обритой по-казацки головкой. Остановился и смотрел с каким-то робким и страстным вниманием на отца. Мать протянула руку, как бы зовя мальчика к себе и одновременно загоразивая ему дорогу к отцу.

— Что мне нужно? Во-первых, вот что...— Он смотрел на мальчика. — Взять то, что я оставил летом в мешке. Где-то там, возле окна, под полом.

— Ничего нет, я не хотела рисковать и все выбросила. Еще что?

— Еще то, что я уже сказал: расстаться.

Он произнес это твердо, глядя на мальчика. Только твердость была спасением. Потому что все уже кончено, надо немедленно и навсегда. И мальчик, который еще колебался, не знал, подойти ему к отцу или нет, сделал шаг к матери, она обняла его и прижала загорелой красивой рукой. Другой рукой закрыла лицо.

— Андрейка, ступай в комнату,— сказала мать.

Он ощупал в кармане железную немецкую игрушку, бородастого рождественского гнома, купленного по дороге сюда. Сжал в кулаке, сломал. Они должны его возненавидеть. Мальчик вышел, она сказала сломанным голосом:

— Тебе нужно непременно добить... до конца...

— Ты ничего не понимаешь! У нас выхода нет.

Она плакала. Он терпеливо ждал, сидя на стуле у окна. Смотрел на улицу. Нужна была ее ненависть, безоглядная, полная, тогда, может быть, они спасутся. Ольга сказала с внезапной улыбкой.

— Я знаю, о чем ты думаешь! Понимаю все твои благородные хитрости. Но ты себя не обманывай. Дело простое! Ты меня никогда не любил!

Ждала возражений, хоть каких-то, из вежливости, чтобы немедленно обличить. Это было неправдой. Но он промолчал.

Вдруг вспомнилась та осень в Городище шесть лет назад, когда он приехал в имение будущего тестя, еще ни о чем не догадываясь, еще полный ожесточения от неудачи с университетом — одесские власти были согласны его восстановить и даже ходатайствовали, но министерская сволочь в Петербурге ни за что не соглашалась и пришлось терять второй год, — и там, в Городище, обе ученицы, Оля и Тася, горячо ему сочувствовали и жалели его, и первые несколько дней он только и делал что рассказывал всю эпопею в подробностях. Сейчас, вспоминая то, как он рассказывал, да и саму эту историю с профессором Богишичем, он понимал, что тщеславился и петушился сверх меры, хотя гордиться было нечем. Подумаешь, событие! Профессор, старый болван, сделал замечание Абрашке Беру (Абрашка задремал на лекции): «Вы что, в кабаке? Не хватает еще подушек! Вон!» Абрашка пытался что-то пицать в свое оправдание, но Богишич заорал: «Молчать! Вон!» — топал ногами, как генерал на денщика, ну и, разумеется, оставить такое скотство без последствий было нельзя. Сначала бойкот, потом ждали объяснений, ректор пытался замять, Богишич уклонялся, но министр, граф Толстой, требовал грозных кар. Смешно все это. Во-первых, вздор: какие в кабаке подушки? Полуграмотный серб, по-русски-то говорить не научился, но такие слова, как «молчать!» и «вон!», уже знал прекрасно.

Тася дразнила: «А, так и надо! Не вступайтесь за какого-то Бера!» Он вступался не за Бера, а за принцип. Студент есть человек со своим кодексом чести, и никому не должно быть дозволено топтать на него ногами. Ольга, старшая сестра, слушала с молчаливым восторгом. И от восторга — даже пятна на щеках под смуглым румянцем. «Признайтесь, Андрей, вы были руководителем? Громче всех кричали «дойлой!». Ничего подобного, он как раз написал в письменном объяснении — начальство добивалось узнать, кто коновод: «Коноводом не был, потому что их нет между студентами». Тася хохотала: «И нам боится сказать! Почему вы нам-то не скажете? Из университета только двоих исключили, вас и Белкина: значит вы и есть коновод!»

До приезда в Городище было два учительских опыта: в Одессе учил грамоте еврейских девочек, раздражался, не хватало терпения, и в лето накануне городищенского жил в Симбирской губернии, в имении Горки, учил мальчишек Мусиных-Пушкиных. Там была трудовая жизнь, вставали с петухами, купались в холодной воде, работали в поле, косили, сгребали сено и при этом: литература, история, Колумб, Галилей, Петр Великий, собирая в окрестностях преданий о Пугачеве. Хозяин имения, дядя мальчишек, старик не злой, но убежденный крепостник, вечно задирался: «А почему полагаете, молодой человек, что история движется революциями? Откуда сие известно, кто доказал?» Споры бывали изрядные. Старик порою очень сердился, называл Андрея «висельником», «Сен-Жюстом». В Городище все было иначе. Отец Ольги и Таси страдал почти теми же муками, что и Андрей, хотя излечить их надеялся по-своему. Все разговоры за обедом вертелись вокруг гласности, земства.

А после занятий — в рощу, к реке или к тайному месту, в карьер, где ломали камень лабрадор. Там было темно, жутковато. Тасе вскоре наскучило. Они ходили вдвоем. Среди каменных стен Ольгин голос звучал сказочно низко, она пела украинские, из опер и удивительно хорошо один романс: «Не уходи, побудь...» Глаза северянок, блеклые, не видны ночью, но украинские, черные, светятся. И в них было сострадание, постоянное, с первого дня. А за что было его жалеть? Он здоров, могуч, верил в себя, ничего не боялся: на набережной поколотил однажды сразу троих моряков, пьяных греков. Но вот тогда — в первый год их жизни — она его непрерывно жалела. У нее

это слилось: жалость, гордость им — тоже непонятная — и какая-то совершенно слепая, безответная преданность. Сразу была готова бросить дом, отца, все самое дорогое, фортепьяно, ноты, сестру и — куда угодно за ним. Тесть, умный хохол Яхненко, сказал однажды не то смеясь, не то со скрытой родительской горечью: «Ну и любишь ты своего карбонара!» Это и было и есть самое тяжкое — потому что истинное.

Мать, которая не слишком-то Ольгу привечала, признавала ее худой хозяйкой, называла барыней, косоручкой, все же отдавала должное: «У нее без тебя жизни нет». И когда перед вторым арестом все как-то напряглось, он стремился в Одессу, она протестовала, плакала, умоляла прекратить, пожалеть, мать чутьем поняла, что дело плохо, и пыталась уговаривать и мирить. Уж лучше с барыней, с косоручкой, чем с теми озорниками, страшными, от которых ее сыну одни напасти и беды.

Озорников мать в глаза не видела, если не считать Мишу Триго-ни, который залетел однажды в Николаевку, когда кончил керченскую гимназию и до отъезда в Одессу были свободные дни. Но Миша тогда еще настоящим озорником не был. А вот отец прибыл как-то в Одессу по делам имения, где служил управляющим, и застал в доме сына шумное сборище. Недавно прошли внезапные аресты: Феликса Волховского, Жебуневых, Глушкова, Петра Макаревича. Никто еще толком ничего не знал. Просочился слух, что выдает Трудницкий. Вот это и обсуждалось, с возмущением, изумлением, стараньями догадаться и что-то себе объяснить. И у Андрея уже начались неприятности: в сентябре был обыск, допрос, выясняли — по доносу этой твари Соляниковой, соседки Петра Макаревича, — бывал ли он на собраниях у Петра. Удалось отделаться, убедить, что не бывал, ошибка, он благонамереннейший молодой человек, зять гласного думы и члена городской управы. Конечно, имя Яхненко кое-что значило, Андрея отпустили в тот же день, но тревога не исчезала, наоборот, росла. В любую минуту все могло повториться гораздо более грозно. Ведь собрания на квартире у Петра действительно были, и он, Андрей, действительно там витийствовал, просвещал рабочий люд, почитывал разные книжонки и брошюрки, за которые по головке не гладят, а дают не глядя ссылку, а то и крепость. Было, было! И с тем же Петром и Соломоном Чудновским книжки эти добывали из-за границы через евреев-контрабандистов и сплавляли дальше, на север, — тоже было.

Ольга требовала тотчас покинуть Одессу, уехать в Городище, отец, не понимавший половины того, о чем толкуют, но чуявший главное — опасность сыну, звал с собой пароходом до Феодосии, отсидеться дома.

Они не понимали! Ладно отец, человек далекий, но Ольга! Она-то должна сообщать, что уехать из Одессы ему, оставшемуся на воле, было невозможно. Все нити, еще не оборвавшиеся, держались на нем. Он передавал, предупреждал, сообщал в другие города, писал шифром Ане Макаревич, жене Петра, — она спаслась от ареста случайно, перед августом уехав из Одессы в Киев. И вот примчалась, взволнованная, и вместе с Машей Антоновой, женой другого арестанта, Волховского, сразу же к Андрею, на Гулеву. Узнали, что Волховского перевезли в Москву, в Бутырки, и от Кравчинского уже пришла весть, что будут пытаться освободить. Ну, и Маша, конечно, не могла усидеть в Одессе ни минуты.

В эту кутерьму и смуту, в разговоры о Трудницком, о том, как быть и куда податься, попал отец. Тут, конечно, были и вино и карты, Ольга садилась к фортепьяно и пела без воодушевления — сосед, чиновник, обязан был полагать, что у господина Андрея Ивановича и его

супруги Ольги Семеновны гости, веселье. Отец смотрел на все это с некоторой оторопью. Поражало его, что когда одна молодая дама плакала и вытирала слезы, другая в это же время что-то рассказывала, смеясь, а его невестка Ольга сидела за фортепьяно и пела. Особенно удивительной показалась ему Аня Макаревич, франтиха, во всем парижском. Такой высокой белолицей красотки с длинными косами, властным, уверенным разговором — она перебивала мужчин, жестами приказывала замолчать — бедный Иван Желябов в жизни не видел и не предполагал, что эдакие царицы бала могут быть в друзьях у его сына. Аня рассказывала о швейцарском житье-бытье два года назад в Цюрихе, куда Трудницкий увязался со всеми — кажется, был в кого-то несчастно влюблен, но тщательно тайл в кого. «А может быть, Анечка, в тебя? — спрашивала Ольга. — Ведь в тебя все влюбляются».

Ольга цепляла ее весь вечер. Она ее не любила. Что-то неукротимое, женское и как всегда у женщин: не просто нелюбовь, а скрытая ненависть. Когда бывали ссоры с Андреем — а они начались как раз той осенью из-за его отказа уехать, — Ольга называла Аню «твоя Розенштейн». Ей казалось, что между Андреем и Аней что-то непременно было, не могло не быть: ведь они знакомы с гимназических времен, а в Олином представлении ни одна женщина не в силах устоять перед Андреем, и он, в общем-то равнодушный ко всем, готов пойти навстречу любой. В тот вечер она говорила Ане всякие колкости, даже грубости, но Аня, умница, ее просто не слышала. На одном сошлись: Аня тоже считала, что Андрею нужно исчезнуть. Но это было невозможно. Ведь еще ничего не сделано. Не от чего бежать!

Заплакал Андрюшка, он чем-то тогда болел. Ольга пошла к нему со словами: «Забыли, забыли про нас! Как всегда...» Это «как всегда» было произнесено с нажимом. И Аня сказала тихо: «Я понимаю твою Ольгу, она слишком женщина. Она женщина *par excellence*¹ в отличие от всех нас. И она будет драться за тебя, зубами вцепится, не отдаст, и — права». Ему это не понравилось. Что значит — права? «Права как женщина. Потому что ты — такой, как ты, понимаешь? — довольно редкое сочетание молекул. Таких без борьбы не уступают». Он сказал, что не понимает, зачем за него надо драться, будто он гроб господень... Подумал: вот Маша тоже женщина *par excellence*, влюблена в Феликса безумно, сейчас кинется в Москву в надежде взорвать тюрьму вместе с московским кремлем, а ведь у них тоже ребенок, Сонечка, трех лет, куда ее денут, непонятно, и сама больная, слабая, суставной ревматизм или что-то другое тяжелое. (Бедная Маша, ее уж нет! В прошлом году умерла где-то в Европе, куда сбежала с горя, так и не освободив своего Феликса. Но попытку, отчаянную и чисто женскую по безумию и непрактичности, она все-таки сделала: наняла за десятку лихача, помочь брался Всеволод Лопатин, условились с Феликсом, его везли на допрос, он бросил в глаза жандарму пригоршню табака, выпрыгнул из саней, схватили, борьба, лихач унесся пустой, и все кончилось конфузом и несчастьем.) Тогда, в октябре, он еще не мог знать всего этого, но по Машинему окаменело-слезному лицу видел, что так и будет. Знал, что она пойдет на все, до конца, когда другие станут колебаться.

И он подумал: а Ольга? Способна ли на такое, беззаветное, когда дело пойдет о животе и смерти? Маша старше, у нее опыт, привлекалась еще по нечаевскому делу, но ведь в этой последней решимости, в жертве всем — собою, Сонечкой — не опыт и не теории, а любовь. То самое, о чем говорила Аня. Вдруг он спросил как бы шутя: «Оля, ты меня станешь вызволять, когда меня, такого-сякого?..» — и пальца-

¹ По преимуществу (франц.).

ми изобразил решетку. Ольга, засмеявшись, покачала головой: «Ну нет уж! Пусть тебя товарищи вызволяют. Это их дело». Виктор Малинка куражился: «А что? Вызволим! Пустяки!» Аня же произнесла очень веско: «Я с тобой совершенно согласна, Ольга. Но вот Маша как раз и есть товарищ Феликса».

Потом, когда все ушли, это замечание поминалось долго и Аня называлась не иначе как «эта ехидная Розенштейн». Отца очень интересовало, кто такая Аня, и Андрей шепотом объяснил: «Это наша атаманша. Приказывает, кого казнить, кого миловать». Про Малинку отец тоже спросил, Андрей ответил: «А это главный наш палач». Отец обиделся. Вот после этого вечера, наслушавшись всяких страстей, дурачеств и шуток, встревожившись, но толком ничего не уяснив, отец рассказал матери, что сын озорует, связался с дурной компанией, все больше бабы, разбойницы, голову ему закрутили.

А Ольга накалялась все сильнее ненавистью к Ане, хотя та вскоре уехала в Херсон, потом в Киев, но от нее приходили известия, ей что-то передавалось через Андрея, забыть о ее существовании никак не удавалось, а в ноябре того же 1874 года произошел второй допрос с обыском в связи с Рафаилом Казбеком, петербургским студентом-технологом, которому Андрей отослал для передачи Ане зашифрованное письмо. Вот это письмо и было захвачено у Казбека. Андрей сообщал важное: ту версию, которую гнул на следствии Петр Макаревич и которую Аня в случае ее ареста должна была бы повторить. Письмо до нее не дошло, но схватить Аню не успели, она скрылась.

После перехваченного письма Андрей уже не мог отрицать знакомства с дворянином Петром Макаревичем, но говорил, что на квартире у него не бывал, почти с ним не встречался и более того — избегал встреч. Причина, которую Андрей после некоторого колебания высказал жандармскому полковнику Кнопу, была вполне натуральная и житейская: с юных лет он был увлечен теперешней женой Петра Макаревича, дочерью симферопольского купца Анной Макаревич, урожденной Розенштейн. И хотя он в данное время женат, старое чувство не угасло и причиняет боль. Письмо, отосланное через Казбека Анне Макаревич, было вызвано порывом давних лет, а разъяснений о лицах, упомянутых в письме, он по тем же причинам интимного свойства дать, разумеется, не сможет.

Начальник одесского жандармского управления полковник Кноп был человек малопроницательный, а может быть, не слишком злобный. Теперь появились люди куда чудовищней. Четыре года прошло, а как все переменялось! Два громадных процесса, убийства, казни... Кноп поверил и даже как бы одобрил рыцарские побуждения Андрея. Он любезно попрощался с тестем, крепко и многозначительно, с каким-то задорным подмигиванием пожал руку Андрею, и они вышли на улицу. Отчетливо запомнился день: ясный, холодный, с сильным запахом осеннего моря, какой бывает в Одессе в ноябре. Медленно шли по солнышку, тесть был взволнован, дышал тяжело — в минуты волнений его астма усиливалась, — но старался шутить и никак не показывал своего истинного состояния. А ведь, пожалуй, был сильно напуган. Сначала говорил, как бы ободряя Андрея, что, мол, ничего страшного, пустяки, каждый порядочный человек в наши дни непременно должен побывать в кутузке (на самом-то деле ободрял себя), а затем свел на любимую тему: единственное, за что стоит бороться и принимать муки, — это расширение самоуправления и земство. Андрей и не думал спорить. И то и другое было близко его сердцу. Однако как бороться? Какими средствами? Только гласностью! Но не бессмысленной возней в кружках, в артелях, не пропагандой в народе, ибо сие болтовня и сотрясение воздуха. Андрей и тут не спорил,

сам подходил к той же печали — только с другого края. Да, конечно, болтовня в народе ни дьявола не поможет, так же, впрочем, как и болтовня в верхах.

Тесть вскинулся: «Вы называете труды земства болтовней в верхах?! А кто добился постройки сиротского дома? Кто заставил начать ремонт набережных? А назначение мировых судей?» Ольга ждала их в тревоге, а они спорили, теперь уж до крика, и дважды прошли мимо дома. Почему-то не было никакой радости от того, что гуляет на свободе, по солнышку, а мог бы сидеть под замком. Ведь все товарищи там, а он — только потому, что удачно женился... И не мог слушать спокойно яхненковских поучений. Две тысячи рублей залога и роль спасителя еще не дают права... «Какое добро народу сделали вы вашей хваленой пропагандой, книжонками и листками? — кричал тесть, багровея, размахивая короткими, панскими, по наследству от панов доставшимися ручками. — А мы, презренные либералишки, земские краснобай, делаем добро реальное! А не метафизическое! Народу не нужны журавли в небесах, дайте ему синицу в руки». Андрей, озлившись, тоже орал: «Благоустройство тюремной камеры! Вы кладете половички на каменный пол и вешаете занавески на окна». — «А что вы предлагаете?» — «Разбить на окнах решетки, а не вешать на них занавески». — «Да как вы это сделаете, сударь мой?» — «Я еще не знаю!» И правда не знал. И не знает, кажется, до сих пор.

За обедом спор продолжался, но менее воинственно, без грубостей: Ольга пугалась, когда отец с мужем начинали петушиться. Ей казалось, что может дойти до ссоры. Но никогда не доходило и дойти не могло: и после второй отсидки, и во время Балканской кампании, когда работали в комитете по организации добровольческих дружин, и на собраниях украинофилов, «Молодой громады», всегда и везде между Яхненко и зятем обнаруживались разногласия, всегда они в чем-то упорно друг другу не уступали, но вражды не было, разрыва никто не хотел, потому что сохранялось какое-то взаимное невысказываемое уважение. Пожалуй, так: старик ненавидит очень много из того, что ненавидит Андрей. Но выводы из этой ненависти они делают разные. И кроме того, тесть не желал, чтобы Ольга и Андрей расставались. Мать Ольги и вся яхненковская родня очень скоро решили, что произошла ошибка, но старик упорствовал до последнего даже тогда, когда уж и Ольга сдалась. Все надеялся, что зять образумится. Кто-то слышал, как Яхненко с горечью говорил про зятя: «Ведь в любой стране с его умом, ораторским дарованьем он стал бы членом парламента, министром. А у нас? Загонят куда-нибудь за Можай, в ссылку, и будет там гнить...» За глаза-то рассуждал здраво, а дома за рюмкой наливки плел в целях воспитания душеспасительную ахиною. «Я, конечно, не марксид, хотя не чужд социалистских идей. Но революции я не понимаю! Что в ней хорошего? Ведь революция — это *révolte*, мятеж, взрыв. А взрыв есть уродство, противоестественность. Природа не терпит взрывов, она живет медленно. Взрыв есть адово исчадие, землетрясение, извержение Везувия». — «Но рождение человека — это взрыв, и смерть человека — взрыв. Накапливаются силы смерти или силы новой жизни — и происходит *révolte*. Шестьсот лет, начиная с татарщины, русский народ медленно превращался в рабов. Хотите, чтоб так же медленно шло раскрепощение?» — «Да бросьте, сударь! Рабы, татарщина — это мы любим вспоминать. А наше казачество? Запорожская республика? Да ведь такой вольницы мир не видел!»

Спорили, упирались, каждый оставался на своем, а ведь было ясно, что тут не просто прения под наливку, а набросок судьбы и жизни, и все-таки две тысячи под залог подписал не колеблясь.

Через два дня после вызволения из лап Кнопа Ольга встретила Андрея в слезах: «Ты меня обманывал! Ты мне лгал! Я была права, у тебя роман с этой жидовкой, с Анькой Розенштейн! Совести у нее нет: муж в тюрьме...» Откуда сие? Накануне приходил человек от Кнопа и втайне расспрашивал ее про Андрея и Макаревичей, сообщив, что Андрей сам признался — даже в письменной форме, — что у него интимные отношения с Аней Макаревич. Полковник-то вышел подлецом. Но это значило и то, что там не успокоились и будут рыть дальше. Он объяснял, бесполезно — рыдания и слезы весь день. Терпения у него никогда не хватало, и он, разозлившись, ушел из дому и ночевал на Молдаванке у знакомых столяров.

Встретил на улице тестя, и тот, славный мужик, тоже стал корить вполголоса: «Голубчик, разве так делают? Вы же конспиратор, такие вещи надо уметь скрывать...» Смешной человек! Не стал ничего объяснять, махнул рукой: «Хорошо, в другой раз...»

Через неделю пришли жандармы, новый арест. Он отсидел в тюремном замке четыре месяца, вышел в марте семьдесят пятого — опять под поручительство тестя и под залог трех тысяч рублей. Тесть являл знаменитое казачье упорство: бился за Андрея до последней пули. Уехали с Ольгой в деревню, в Крым. Нет, слом произошел не в деревне, которую Ольга будто бы не смогла вынести — так она говорила своей родне, — и не позже, во время балканской трескотни и одурения, поездок в Киев, встреч с громадянами, Драгомановым, суеты вокруг журнала «Громада», и даже не тогда это случилось — окончательно, — когда он встретился в Киеве с Аней. Провели вместе целый день, ночь. Петр был в Петербурге, где шло следствие по делу об одесском кружке. Аня его жалела, говорила, что он долго не выдержит, слаб, немужествен, очень дурно влияет мать, которая проклиняет всех его друзей, и вообще по складу характера он не революционер, а бухгалтер. Она говорила о нем, как говорят о добром знакомом, но не о муже.

Зато с восторгом рассказывала о «киевских бунтарях» — Стефановиче, Мокриевиче, Костюрине, Дейче. Те затевали какую-то неслышанную авантюру, о которой Аня рассказала глухо: с помощью самозванства и подложных манифестов будто бы от имени царя поднять крестьянское восстание за душевой передел земли. Намечали для этого опыта какой-то уезд в Малороссии, кажется Чигиринский. Андрей про себя посмеивался. Он знал мужика лучше всех этих дворян и полудворян, преисполненных к мужику пылкой любви. Они-то знали мужика «по Бакунину», верили в то, что мужик всегда готов восстать против панов, что он смотрит на землю как на божий дар, и одного этого достаточно для того, чтобы восстание вспыхнуло: нужна, дескать, малая искра. Ой, как все это было далеко от истины! Но отговаривать не брался, тем более что никто с ним в открытую не советовался. Его знали тут мало, и только Аня, старая подруга, была с ним более откровенна. Она была окрылена важной миссией: поехать в Европу, достать части для типографского станка, чтобы отпечатать «царские манифесты». Ехать надо было через два дня. И вот тогда, ночью — это была, кажется, ее последняя ночь в Киеве, — когда они подумали, что все равно о них так говорят, тут ничего исправить нельзя, они направились друг другу, это правда, но никогда ничего не было, кроме шутильвых поцелуев, однажды он носил ее на руках, но теперь они расставались, может быть, навсегда, и, кроме того, они взрослые люди, отвечавшие за свои поступки, ему было двадцать четыре, ей двадцать два, и они расставались, расставались, и самое главное — это бесконечное доверие, и вот потому, уставшие от разговоров, любви и некоторого страха, потому что могли внезапно прийти люди, они лежали молча,

окно было открыто, и пахло ранней весной, ночной весной, и она вдруг сказала: «По-моему, самое большое счастье — полюбить человека, которому ты можешь всегда, во всем, каждому его устремлению сказать: «Да! Да! Да!»

Он понял: это мечта. Поняв, поразился: совершенно то самое испытывал он. Почувствовал внезапную спокойную благодарность. «Может, еще будет у нас с тобой». Она согласилась: «Может быть. Если хватит нашей короткой жизни».

Нет, не Аня Макаревич со всем ее бесстрашием, и умом, и женской погубительной прелестью была причиной того, что с Ольгой — слом. Причина — в нем, в том, что он передумал, чем перестрадал за последний год и что сделало его другим человеком. Когда это происходит не вокруг, не в обстоятельствах жизни, а в самом человеке, тогда — конец и возврата нет. Он не мог вернуться к Ольге, так же как не мог бы вернуться к себе — прежнему...

В прошлом, семьдесят седьмом году, привезли в Петербург, в Дом предварительного заключения: в июле, сразу после боголюбовской истории. Градоначальник Трепов, посетивший тюрьму, приказал выпороть заключенного Боголюбова за то, что тот не снял перед ним шапку. Тюрьма еще кипела, протесты не отгремели, кто-то, избитый и покалеченный, лежал в больнице, кто-то сидел в карцере, арестанты отказывались гулять. Он сразу попал в атмосферу безысходной борьбы, которая всегда идет в тюрьмах, большей частью скрыто, но иногда прорываясь наружу с дикой и отчаянной силой. Вот такой взрыв, извержение вулканической ярости произошло за несколько дней перед его привозом. Триста заключенных бесновались в своих одиночках, тюрьма трещала, выла, стонала, надзиратели растерялись, но затем началась расправа: врывались в камеры и усмиряли кулаками, сапогами, а то и прикладами. Ах, любят у нас молотить беззащитных! И вот теперь Андрею рассказывали — на прогулках и перестукиванием в «клубах», через стулчаки, — как шло усмирение. Многих «доусмиряли» до потери сознания, кого сволокли в больницу, кого в карцер.

Феликс Волховский попал в больницу. Его-то уж изуродовали со всем ни за что: на Феликса временами нападала глухота, так бывало и в Одессе, кажется, это велось за ним еще с первой тюрьмы десять лет назад. Когда началось буйство и тарарам, Феликс как раз был глух, ничего не знал и стучал в дверь по какой-то своей случайной надобности. Надзиратели не слышали: были заняты избиениями смутьянов. Тогда Феликс стал колотить в дверь что есть силы, и надзиратели, решив, что и здесь бунтуют, ворвались в камеру и принялись, ни слова не говоря, увечить. Вот уж, наверное, была сласть! Увечить оторопевшего, не готового к сопротивлению да к тому же больного, слабого... Андрей, увидев Феликса, содрогнулся. Феликс сгорбился, стал совсем седой. Но улыбка осталась прежняя — мягкая, виноватая. И в рассказе о том, как его избивали и тащили в карцер, а он ничего не понимал, была не злость, а насмешливость. «И долго же я, дурак, добивался: за что? Меня бьют, а я спрашиваю: за что, за что? И бьют-то ведь, подлецы, непременно по голове, словно это ни на что не годная для человека посудина...» И еще он сказал тогда в первую же минуту, как встретились: «Ну вот, ты здесь! А ведь все началось — помнишь? — когда Соломон предложил тебе вступить в наш кружок и ты думал три дня. Мы еще смеялись: добросовестный малый, обсуждает вопрос серьезно. Ты уж нас прости! Завлекли мы тебя, злодеи, в геенну огненную. А то сидел бы сейчас со своей Оленькой в саду да груши околачивал...»

Первые недели три совсем не было сна, ночами напролет вспоми-

нал, размышляя: случайно он здесь или нет? Чем дальше думал, тем тверже укреплялся: нет, не случайно. Иного быть не могло. Не Соломон его сбил тем осенним днем, не седой умница Феликс Волховский соблазнил, как прельстительная сирена, а его собственная жизнь и все, что творилось вокруг. Не попал бы в кружок Феликса, ушел бы к киевским «бунтарям», к херсонским пропагандистам, одесским сен-жебунистам, ведь все кругом клокотало, топорищилось, рвалось куда-то, и избежать общей участи было немыслимо — так же, к примеру, как избежать из-под ливня сухим... И все же — откуда пошло, где начало? Ну, крестьянин, простолюдин, отец — крепостной, дед и вовсе раб, вековые обиды, темная, нечеловечья жизнь, но ведь он-то, Андрей Иванович, с девяти лет вольный казак, керченский гимназист, окончил с серебряной медалью, потом студент юридического факультета, уважаемый молодой господин... Откуда же эта непобедимая боль, эта невозможность примириться?

Было так (никому не рассказывал никогда): вечером в дедовском доме, на птичьем дворе в имении Кашка-Чекрак, рыдала тетка Люба, упав на пол, прижимаясь к дедушкиным ногам: «Тятенька, миленький тятенька, спасите!» Дед запер дверь. Снаружи кто-то бухал что есть силы, кричали, стучали в окно, Андрей видел бородатого громадного мужика, Полтора Дмитрия, приказчика, которого все боялись. «Отворяй, скогина! Все равно наша будет!» — орал Полтсра Дмитрия, видимо, пьяный, но дедушка отвечал: «Я вас застрелю!» А стрелять-то было не из чего, Андрей знал, было ужасно страшно и очень жалко тетю Любочку, мамину сестру, она швея, самая красивая из всей фроловской семьи, добрая, шила ему рубашки — и куда-то ее хотят забрать. Андрей закричал: «Тетя Любочка!» — заплакал, кинулся к тетке, но бабка оттащила в другую комнату, заперла там. Он колотился, кричал, стучал кулаками в дверь: «Не трогайте мою тетеньку! Не трогайте мою тетеньку!» Слышал, как за стеной шумели, тетя Люба вскрикивала, потом стало тихо, он выбрался через окошко, побежал, увидел: Полтора Дмитрия вел тетю Любу за руку, и она, такая маленькая рядом с ним, шла медленно и спокойно, с распущенными волосами и даже не делала попытки вырваться, а с другой стороны шел конюх Степан по кличке Черкес. Андрею было восемь лет, но он все понял: тетю Любу вели к помещику Лоренцову. Андрей слышал раньше, как тетя Люба жаловалась дедушке: помещик пристаёт, грозится выдать за горбатого Миньку, если она не согласится к нему «ходить».

Что значило «ходить» к помещику, Андрей в точности не знал, но примерно догадывался: это значило насилие, нечто еще более страшное, чем избивание и даже секуция, которой подвергся однажды дядя Василий, служивший у Лоренцова лакеем. Андрей слышал вопли дяди Василия, которого пороли на конюшне. Секуция занимались Полтора Дмитрия (рассказывали, что одного татарина заперол до смерти), Степка Черкес и второй конюх. Особенно ненавидели все Полтора Дмитрия, дедушка называл его почему-то «мамон» и говорил, что своей смерти «мамону» не видать; и верно: помещичьего холуя подстерег однажды другой желябовский дядя, брат отца, живший близ Кашка-Чекрака на оброке и считавший себя человеком полувольным, независимым, и в драке проломил холую голову. Но это было позже. А в тот вечер, когда тетю Любу тащили к Лоренцову и Андрей видел ее слезы, метанья бабки, слышал бессильные проклятья деда, дал себе зарок: когда вырастет, убить Лоренцова. Лоренцов был грек, высокий, толстый, с каким-то сонным, синего цвета лицом, всегда полузакрытыми, в тяжелых веках глазами. Отец его, простой каменщик, делал надгробные памятники, разбогател, купил дворянство и право иметь крепостных, и вот теперь этот новый помещик — сын могиль-

щика — должен был лишиться своих рабов, воля была близка, о ней все говорили, мечтали. «Хотят натешиться напоследки,— говорила бабушка.— Чуют, что власть их кончается, вот и сильничают впрок».

Приехали из Султановки отец с матерью: они работали на другого помещика, Нелидова, отец был управляющим имения, хотя все еще числился в оброке. Лоренцову принадлежало семейство дедушки, все Фроловы, и жить в Кашка-Чекраке на птичнике было куда хуже, чем в Султановке, но Андрей провел здесь почти все детство, любил деда и бабу, особенно деда, и не хотел уезжать к отцу. Да отец и не слышал. Он все учил тестя с бабкой, как жить. Мать с ним не соглашалась. Мать очень убивалась из-за Любы, убеждала отца и деда идти в суд в Феодосию, а не то грозилась подговорить беглого солдата, чтоб он Лоренцову отомстил. Отец сердился: «Экие вы все, Фроловы, брыкастые! Ну чтоб ей, дуре, не сходить потихоньку, никому бы беспокойства...» А дед ему зло: «А вы, Желябовы, холопы!» Мать тоже на отца напускалась, тот ворчал: «Подумаешь, добро! Ты вон стоила пятьсот рублей и пятак медный, а за сестру и того не дали». Этим он часто мать корил, иной раз в том смысле, что дорого за нее плачено (что, мол, спишь? поворачивайся! пятьсот рублей стоишь!), а иной раз в том смысле, что дешева матушка, небогат товар: пятак медный. Цена была истинная, за которую помещик Нелидов по слезной просьбе отца и за его деньги купил мать у Лоренцова. И вот совещались семейно: как быть? Тетка Люба сгнула куда-то, бабушка сказала: «Провалилась со стыда». И Андрею представлялось страшное: тетка Люба забирается на гору, где пролом, куда бегать не велено, и нарочно проваливается.

Отец с дедом переругались, отец сказал: «От вашей дурусти и гниете тут в курином дерьме». Сел очень гордый в бричку казенную, нелидовскую, забрал мать, и уехали. А дед в тот же день пошел в Феодосию жаловаться на помещика. Как они его ждали с бабушкой! Два вечера все сидели на горке, над почтовой дорогой, и смотрели, смотрели. Дед обыкновенно, когда возвращался из города, еще издали поднимал шапку на палке, и Андрей, увидав его, мчался навстречу версты две. А тут — нет и нет, на третье утро пришел мрачный, согнувшийся. Только и сказал: «Рази с ими поспоришь?» Оказывается, Лоренцов прискакал к мировому еще раньше и объявил, что дочка птичника напилась пьяная, учинила драку, пришлось ее поучить, что оба конюха подтвердили. Клятвы насчет того, чтоб убить Лоренцова, помнилась крепко и долго, лет до двенадцати, пока однажды в Султановке мать не сказала: «Все они собаки, мучители». И он задумался. Понял вдруг, что если убивать, то не грека с синей мордой, а кого-то другого или уж всех.

И так же теперь, слыша рассказы про Трепова, про то, как надзиратели готовились к порке Боголюбова и нарочно на глазах арестантов складывали на середине двора пучки розог и жестами показывали, как будут пороть, ощущал ту же самую пытку: ненависть и бессилie.

Думал: а если бы с ним так? Генерал бы замахнулся и сбил шапку? И потом — секуция, объявленная во всеуслышание... схватили за руки, поволокли, заголили — а? Жить можно? Нет, ничего бы такого не было. Генерала бы тут же убил кулаком в висок, пускай стреляют, жить нельзя. Они ведь так считают: дворянина пороть не положено, а мещанина, крестьянского сына даже рекомендуется. Боголюбов-то из донских казаков, его можно. Так вот, попробуйте: кулаком в висок. Несколько дней на прогулках, в «клубах», записками на шнурках, которые выбрасывались из окон, «конями», обсуждался вопрос: как отомстить за Боголюбова, что делать с Треповым? Начальство

струхнуло, было ясно, но одного крика и ломанья тюрьмы недостаточно. Мерзость не должна была сойти с рук. Предлагались такие планы: в какой-нибудь определенный день бросаться и бить чем попало всех представителей администрации, которые появятся в камерах, или же написать заявление на имя градоначальника о том, что плохая пища, не разрешают держать инструменты, и, когда Трепов придет к кому-нибудь из написавших заявление в камеру, напасть на него, задушить или хотя бы изуродовать. Последний план предлагался старейшим революционером, шестидесятником Муравским, известным всей тюрьме по кличке Дед. Андрей двое суток бредил — входит Трепов: «Вы писали заявление?», покорно кивать, тихо подойти и — кинуться. Двое суток кулаки сжимались, лихорадило, будто заболел. Вдруг пришло сообщение: все прекратить, партия «Земля и воля» берет организацию мести на себя. Месть грянула на всю Россию, но через полгода.

Нельзя забыть этот дом, бубнящий стенами, гудящий трубами, как улей, одиночество крохотных сот и одновременно чувство единенья со всеми и, значит, правоты, несокрушимости. Каждый день отпадала жизнь, отмирала долею молодость — и все же, все же! Нигде не было таких людей, как там. Были знаменитости, о которых Андрей слышал раньше, — Ипполит Мышкин, пытавшийся освободить Чернышевского; Войнаральский, сын княгини, бросивший все свои деньги на пропаганду; Рогачев, артиллерийский офицер, ставший пыльщиком и бурлаком, легендарный храбрец и силач; Сергей Ковалик, сын полковника, мировой судья, замечательный конспиратор и умница; и были никому не известные прекрасные люди, какие-то изумительные женщины, старые друзья по Одессе и Киеву. Их согнали сюда, тщательно изловленных — да они и не хоронились особо! — по всей России, вина только в том, что слишком самоотреченно любили народ, мечтали к нему приблизиться, чему-то его научить и чему-то у него научиться. Ах, злодеи, разбойники! Их томило чувство долга. Они изнывали от желания отдать народу то, что задолжали сами, что задолжали их родители, их предки до седьмого колена. Ждала суда, например, дочь петербургского генерал-губернатора Перовского, юная, но, говорили, решительная и много успевшая девица, ведущая родословную от графа Алексея Разумовского. А в предварилке сидел Коля Морозов, очкастый, невероятно худой и хилый на вид юноша — Андрею показали его на дворе, — сын богатейшего ярославского помещика и потомок чуть ли не Петра Великого. Можно представить, какой величины долг накопился у этих господ!

Они наплевали на все, чем жили прежде, покинули дома, забыли родителей. Им казалось, что революция близка, социальный взрыв неминуем: стоит только прикоснуться к народной пучине, всколыхнуть ее, расшатать. Где-то дают «Прекрасную Елену»? Граф Толстой написал новый роман? Это, что ли, про барыню, изменившую мужу? Шепот, робкое дыханье, трели соловья? Все вздор и невозможность, пока рабочие на фабриках по двенадцать часов, три губернии голодают, крестьянство обмануто, выкупные платежи непосильны, и грядет главное страшилище, сатана: капиталист. По камерам ходило стихотворение, сочиненное кем-то из арестантов: «Стук по стенам, стук по трубам, ночной разговор. Заседания по клубам, в воздухе — топор... Жизнь без дела и движенья, в камере мороз, и желудка несваренье, и понос, понос...» Вот и все, на что сгодился Фет.

Многие из тех, кто по три-четыре года сидел в ожидании суда, привыкли к этому смраду, к жизни без дела и движенья и, самое страшное, к бессмыслице тюремного прозябания. Нет, не сдались, не стали на путь «откровенных показаний», чтобы усладить судьбу (предателей из нескольких сот, привлеченных к процессу, оказалось

лишь четверо или пятеро: подлец Низовкин, на чьей квартире в Петербурге собирались; Гориневич, выдавший киевлян, ему уже отомстили Виктор Малинка с Дейчем и Стефановичем, облили серной кислотой, пробили голову, но тот, ослепший от кислоты, с развалившимся лицом и пробитым черепом, остался все-таки жив и стал теперь особенно страстным предателем; и еще двое или трое), но для большинства эта мнимая жизнь стала бытом, самые упорные к ней приспособились и готовились показывать и дальше титаническую выдержку и слоновье терпение. Многие получали письма, посылки (Андрею никто не писал, лишь однажды к рождеству прислала открытку Ольга), к другим приходили на свидание — жены, невесты, матери, женихи с испуганными и печальными лицами появлялись иногда на галереях в сопровождении медных жандармских касок, — и каждый раз, когда Андрей, проходя на прогулку, видел эти скованные тайным ужасом, жалкие фигуры свободных людей, спрашивал себя: хотел бы он, чтобы здесь появилась мать или Ольга? И каждый раз твердо: нет, не хотел бы. Не хотел приспособиваться к этой полужизни, не желал ее длить: если бы, думал, пришлось тут жить еще год, он бы не вынес, разбил бы голову себе или надзирателю, чтобы уж сразу конец.

И еще: с новой, неиспытанной раньше силой понял вдруг, что счастье таких свиданий в одном — когда встречаются люди, близкие беспредельно, понимающие один другого до конца. То, о чем говорила когда-то Аня. А если уж нет, тогда — лишние муки, ненужные слезы. Ну что, кроме страданий, принесла бы мать? А Ольга — ненавидела бы товарищей, проклинала бы всех...

... И с завистью, которую скрывал даже от себя, смотрел на людей, у кого было это счастье. Однажды увидел пару, он из камеры ДПЗ, она с воли, где находилась до суда на поруках. Получили право на свиданье как жених с невестой: Тихомиров, желтый и больной на вид, сидевший уже четыре года, и Перовская, дочка генерала, совсем молоденькая, с детским наивным личиком. Они шептались, сидя на скамейке близко, почти прижавшись друг к другу. Жандарм стоял в двух шагах и тупо глазел на них с хамским любопытством. Все равно по их лицам было видно, что счастливы. Познакомился он с ними позже, во время суда, но увидел впервые и отличил как-то остро, до боли, тогда на галерее, когда шел с надзирателем вниз: они-то, конечно, его не заметили.

В октябре началось долгожданное, о чем мечтали как об избавлении: суд. В первый день всю массу подсудимых длинной вереницей в окружении жандармов повели подземным ходом (образцовая тюрьма, все предусмотрено!) в здание окружного суда. Двигались медленно, потому что было много больных, ослабших, иные только из лазарета, иные на костылях, но все были возбуждены, переговаривались, шутили, радостно узнавали друг друга, знакомились, передавали новости, и этот гам и взбудораженность продолжались в зале, где толпа подсудимых, человек около ста сорока, заняла места для публики, а нескольких наиболее лютых, по мнению судей, преступников посадили на возвышении за особой загородкой, которую тут же назвали «Голгофой». Первый день ушел на опросы: звание, вероисповедание, возраст, занятия, обязательная болтовня. Некоторые на вопрос о последнем местожительстве отвечали: «Тюрьма». Другие, говоря о возрасте, отвечали так: «Когда был арестован, было девятнадцать, теперь двадцать три». На второй день прокурор Желиховский, злобнолицый гномик, едва видный за попитром, начал чтение обвинительного акта, но никто не слушал, да и слышно не было: весь зал разговаривал.

Доносились иногда отдельные фразы: «...старались сблизиться с рабочими, преимущественно фабричными... и посредством возмутительного содержания книг, привозимых из-за границы... Приверженцы Бакунина полагали, что пропагандисты должны немедленно «идти в народ», организовывать его для революции... Лавров же признавал... Чудовищные учения Бакунина и Ткачева... С наступлением лета члены петербургских кружков...»

Смысл стараний Желиховского был ясен: представить две сотни привлеченных к делу людей, якобы связанные с ними другие союзы и, может быть, даже тысячи как единое громадное общество. Уже и название было придумано: «Большое общество пропаганды». Во всех жандармских управлениях, полицейских участках были отысканы и собраны в кучу аресты, обыски, доносы, выражения недовольства, факты и фактики, даже письма подозрительного содержания, полученные позорным путем перлюстрации: а в такой стране, как Россия, это добро, как известно, не переводится! Горы фактов, даже гигантские, были никому не нужны. Требовалось доказать существование общества. Ведь нет большего пугала для правительства, чем это слово: общество. Нашлись и истоки злодейской организации, они вели к кружкам Долгушина, Натансона и, разумеется, к зарубежным пропагаторам. И вот, сшитое из лоскутьев многомесячным, кропотливым трудом Желиховского, развертывалось перед сенаторами, перед кучкой родственников, немногочисленной публикой и гудящей толпой обвиняемых это нелепо-величественное одеяло: обвинительный акт. По мелочам, по лоскутьям, оно было, может, и правильное, но все вместе — громадная ложь. Еще до суда в камерах обсуждалось: как вести себя на процессе? Многие полагали, что надо вовсе отказаться от судебного следствия и последнего слова, не поддерживать всего этого вранья, лживой комедии. Состав суда, адвокатов — всех к черту. Не признавать! Другие считали, что надо воспользоваться возможностями открытого суда, крикнуть на весь мир. Среди «голгофцев», сидевших в Петропавловской крепости, большинство было за то, чтобы не выступать, и только Мышкин заявил, что пусть с ним делают что хотят, но он не откажется от последнего слова.

В первый же день Андрей встретился с Петром Макаревичем, которого привели из крепости, и они сидели вчетвером вместе: Андрей, Петр, Феликс и бедный, совсем хворый, с рукой на перевязи Андрей Франжоли. Феликс и в Одессе четыре года назад выглядел болезненно и старообразно, всегда был полуседой, сутулый, но ведь Франжоли был красавчик. Петр необыкновенно похудел, как-то изжелта потемнел лицом, был мрачен, желчен и все шептал Андрею: «Дело мое дрянь... Я чувствую, будет каторга...» Андрей угадывал что-то больное, скрытое, какую-то неясную зависть к себе — только со стороны Петра, одного Петра! — ибо ему каторга вряд ли грозила, но не обижался, не удивлялся. Все одинаково молоды, у всех разрублена жизнь. То была даже не зависть, а печаль по этой жизни, просто печаль. Петр почему-то ничего не спрашивал про Одессу — впрочем, ему многое мог рассказать Костюрин — и только на второй, кажется, день вдруг сказал: «Я получил известие, что Аня в Париже».

И прошел еще час или полтора — на трибуне длилось чтение акта, бубнил какой-то лысый сенатор, — и Петр, наклонившись к уху Андрея, сказал тихо: «Ты знаешь, я очень долго думал: хорошо или плохо то, что Аня меня не любила? Не возражай, не надо. Я догадывался и раньше, но за три года все стало ясно. Ведь почти никаких вестей, не рвалась сюда, ничем не рисковала, чтобы хоть как-то... Я уж не говорю — как Маша, которая сделала несчастную попытку...» Андрею хотелось сказать: «Аня рисковала не здесь, а там. И рисковала от-

чаянно», но промолчал. Он понял, что — невозможно. Ему доверялось самое горькое, что наболело за годы и, может быть, так откровенно лишь потому, что Петр чувствовал — и у него чем-то похоже. Но у него было все-таки иное. Петр сказал: «Я вот к чему пришел: это хорошо. Это прекрасно. Потому что, будь не так, было бы невыносимо страдать, зная о других страданиях. А так вдвое легче! А? Ты согласен?»

Андрей посмотрел сбоку и по горестно-обгорелому лицу, померкшим глазам понял, что страдания были невыносимы и — еще продолжают.

Что можно было сделать? Как помочь? Обреченность была в нем самом, в Петре, он уже с этим смирился и так жил. Однажды он сказал Андрею: «Знаешь, я придаю большое значение фамилиям. Фамилии даются неспроста. В каждой есть тайный смысл, надо только его раскрыть. — Он говорил серьезно, как что-то очень продуманное. Мелькнуло даже: не тронулся ли потихоньку? — Возьми, пожалуйста, наших иуд. От Трудницкого — большие трудности, от Гориновича — горе, от Низовкина — низости...» Андрей спросил: а что, по его мнению, означает фамилия Макаревич? Петр, подумавши, вздохнул печально: «Означает одно: куда Макар телят не гонял...»

Все время думал о каторге. И как накликать: получил лишение прав состояния и пять лет каторжных работ на заводе. По ходатайству суда, правда, каторга заменилась ссылкой в Тобольскую губернию. 23 января был объявлен приговор: Мышкина в каторжные работы на десять лет, так же как Рогачева, Ковалика, Войнаральского. Еще несколько человек получили каторгу на меньшие сроки. Андрей, как многие, был оправдан. Полгода сидеть в одиночке для того, чтобы услышать: невиновен. Некоторые сидели по два, три года и тоже, как оказалось, были невиновны. А кто же ответит за годы, вырванные из жизни? О, господи, твоя воля! Из тех российских вопросов, над которыми смеялся Феликс: «за что?» Никто не знает, за что, и никому не ведомо, кто ответит. Говорили, что всем оправданным надо срочно бежать из Петербурга, потому что правительство может хватиться и что-нибудь перерешить. Тоже российская достопримечательность: никому нельзя доверять. Сегодня освободят, а завтра опять спадают для порядка. В тот же день, когда объявляли приговор — слышали его немногие, большинство, продолжая демонстрировать презрение к суду, осталось в камерах, — пронесся слух, что кто-то стрелял в Трепова. К вечеру узнались подробности: стреляла Вера Засулич, дочь капитана, двадцати шести лет. Ни к «Земле и воле», ни лично к Боголюбову, за надругательство над которым мстила, она не имела отношения. Стреляла в приемной комнате градоначальника, почти в упор, но только ранила, бросила револьвер и спокойно отдалась в руки жандармов, которые едва ее не убили.

Все слилось: освобождение, впервые в жизни Петербург, свобода пахла сырой угольной гарью, громадные, из темного гранита дома свободно возвышались в морозном тумане, ехали свободные конки, в них сидели и свободно разговаривали люди, и одновременно — восторг перед неведомой девушкой, чувство почти блаженства. Она не смогла вытерпеть надругательства над другим. О, если бы все, если бы каждый так страдал! Потом уж рассказали: в Питер с целью отомстить Трепову приехали южные бунтари, кажется Чубаров и Фроленко, но дело затормозилось: то ли не могли понастоящему организовать слежку, то ли ждали произнесения приговора по Большому процессу, боясь вызвать озлобление властей и ответную месть товарищам. И вот две девушки, жившие в «женской

коммуне» на Английском проспекте, Маша Коленкина и Вера Засулич, решили взять дело на себя. Маша должна была стрелять в Желиховского, Вера — в Трепова, в один день. Желиховского не оказалось дома, и Маша в слезах от неудачи прибежала в «коммуну». Вера тем временем ждала своей очереди на прием к градоначальнику...

Какой-то господин в конке говорил: «Бедная наша Россия! Уж если девицы берут пистолеты и стреляют в лиц, облеченных...» Было непонятно, чем господин задет: то ли самим фактом стрельбы в лиц, то ли тем, что это берут на себя девицы за отсутствием мужчин. Это последнее соображение немного, надо сказать, царапало совесть. А где же гордые бунтари? Знаменитые вспышкопускатели? Где итальянские кинжалы и английские револьверы, которые эти господа носят при себе неотлучно наподобие кисетов с табаком? И Вера и Маша были связаны с «южными бунтарями». Андрей вспомнил, что Аня Макаревич что-то рассказывала ему про Веру Засулич, про то, что Вера случайно и кратко была знакома с Нечаевым, жестоко пострадала за это: два года тюрьмы, лучшие годы юности. И главный киевский «револьверщик» Валериан Осинский знал, наверное, о намерении девушек. К тому же как раз в это время, в январе, он был в Питере. Почему же позволили им броситься в одиночку? Тут было много неясного. И одновременно с чувством радости и острого торжества — а все-таки есть высший суд, наперсники разврата, помни-те и трепещите! — было какое-то смутное ожидание. Этот выстрел был не концом, а началом. Начиналось нечто неизведанное. Андрей еще не знал, как к этому новому относиться, но отчетливо ощущал его приход.

Владимир Жебунев тащил Андрея в дом, где можно было побыть день или два перед отъездом в Одессу или хотя бы узнать адрес, где можно остановиться. Доехали конкой до Лиговки, подошли к громадному, со множеством подъездов дому Фредерикса, взбежали на второй этаж. В квартире было полно людей. В одной комнате что-то пили и ели, в другой стоял дым коромыслом, шел жаркий спор, в третьей лобастый бородач, бурно жестикулируя, что-то рассказывал и даже изображал, чуть ли не прыгая посреди комнаты, и вокруг него стояли кружком и слушали. Он говорил о похоронах каких-то рабочих, которые погибли от взрыва на заводе, и о том, как полиция не решилась арестовать ораторов, испугавшись толпы. Произошло это несколько дней назад. «Нет, нет, господа! Времена изменились! — восклицал бородач. — Полиция чувствует себя неуверенно! И главное, изменилось настроение толпы!» И снова — о выстреле Засулич, о подлости либералов, о том, что кто-то из «троглодитов» высказывал неодобрение. Хозяйка квартиры Перовская была почти незаметна. Быстро и неслышно перебежала она из комнаты в комнату, кому-то что-то передавала, приносила папиросы, стаканы, вилки, кого-то, нагруженная одеялами, вела на кухню спать. И опять, глядя на нее, поразился: совсем девочка! Жениха ее почему-то не было видно.

Подошла и спросила: «Вам есть где ночевать?» Он ответил: «Да, есть», потому что Жебунев уже договорился, они пойдут на Васильевский остров. Одно мгновение смотрел ей прямо в глаза и увидел, что глаза-то — не девочки. Темно-синий, глубокий и какой-то излишне твердый, даже несколько неприятный твердостью взгляд. Но вот улыбнулась как любезная хозяйка, и вмиг лицо стало милым, детским: «А то пожалуйста, оставайтесь у нас. Место есть, одеяла найдутся». И шутливым жестом показала на пол. Позвали в другую комнату, она отошла. Второй разговор был, когда Андрей прощался. Перовская спросила: «Тяжело ехать домой? Почти все ваши друзья

осуждены...» Он усмехнулся: «Что ж, по этому случаю оставаться здесь?» Ему почудился укор. Но затем понял, что никакого укора, а просто она постоянно думала о тех, кто остался в крепости. Пили вино, веселились, радовались свободе, а она каждую минуту думала о тех. Сказала, что ей известно, что хотели заменить каторгу на ссылку, но царь оставил каторгу, и что Мышкина, Войнаральского в Сибирь не отправят, будут умерщвлять в какой-нибудь из центральных каторжных тюрем. «Ну, мы еще посмотрим!» — сказала она как-то неопределенно и рассеянно улыбнулась, подавая руку. — Привет Одессе! Это хорошо, что вы уезжаете сразу, правильно, благо-разумно».

Жебунев ждал на извозчике вниз. Резко похолодало, дул ледяной ветер, и когда ехали каким-то длинным мостом через Неву, Андрей продрог, стучал зубами. «Домой, домой! Не нравится мне эта Северная Пальмира. Вот уж действительно для троглодитов, не для людей...» Жебунев смеялся: «Э, братец, хитришь! Что-то другое тебе не нравится, а не Северная Пальмира». Верно, другое: все эти петербургские умники полагали, что только они обладают истиной в последней инстанции. Одни из них снова бессмысленно рвались в деревню, другие теперь уповали на пистолеты. Да ведь ничего еще не было ясно, кроме того, что на д в и г а е т с я н о в о е. Через два дня он катился в вагоне третьего класса на юг, скоро снег кончился, пошли степи, он томился, пил пиво, никому ничего не рассказывал, думал о стариках, об Ольге, пароходы в Феодосию, наверно, не ходят, море штормит, слушал разговоры о ценах на хлеб, холере, московских пожарах, о том, что Одесса изумительно развивается, американский город, давно обогнала Киев, пассажиры менялись, все гуще звучала малороссийская речь, все больше садилось евреев, трещали на быстром жаргоне, играли в карты, что-то пили из маленьких бутылочек, у поляков были надменные лица, но все равно видать, что голь перекатная, на перронах стояли бабы с детьми, то ли что-то просили, то ли торговали, мальчик с газетами бежал по вагону, крича про Бисмарка, моросили дожди и чем ближе к Одессе, тем сильнее пахло в вагоне чесноком. А в Одессе сверкало солнце, толпа кипела, все зачем-то кричали, куда-то шарахались, носильщики, чернобородые, с красными, зимними рожами, протискивались к чистой публике, а простой народ пер свою рухлядь сам...

Андрей остановился, глядел с изумлением: «Но ведь эти крикуны, торопыги — тоже народ. Нету ни конца, ни края. Вот и ныряй туда, в них, греби, раскачивай. Много ли раскачаешь? Тут землетрясения нужны, чтоб горы рухнули, моря разлились...» Никто за всю дорогу в третьем классе, где ехала беднота, не говорил ни о Вере Засулич, ни о Большом процессе, никто, наверно, и не слышал таких фамилий: Мышкин, Войнаральский.

Ольга, увидев его, вскрикнула: «Боже, какой худой!» — и заплакала. Руки ее были в муке, и, обнимая, она оттопыривала кисти, не желая пачкать его пальто. От ее волос, лица, от всего мягкого и теплого, что он сжимал, шел жадный дух свободы, окончательной свободы, той, о которой он как будто забыл, но на самом деле не забывал никогда. И так он стоял, обнимая жену худыми руками, дышал, молчал и не двигался.

Был один день, вернулось старое, призрачное. Он любил жену очень сильно. Днем ходили с Андрюшкой в гавань, вечером пошли к родственникам на ужин. Тесть был мил, сразу предложил денег, острых тем избегали: никто из родственников не задавал бестактных вопросов, как будто Андрей вернулся не из тюрьмы, а из какого-то

скучного путешествия. Единственный раз тесть не сдержался, когда кто-то, кажется Тася, заговорил о Вере Засулич. Тася спросила, не еврейка ли Засулич. Андрей удивился: «Да вас, я вижу, сей вопрос мало интересует. Вы газет не читаете. Все газеты пишут: дворянка, дочь капитана». И тут тесть, побурев лицом, сказал сердито: «Нас сей вопрос не интересует, а возмущает, если угодно знать! Устраивать из России какой-то дикий американский Запад — да что это за дело! Каждый сам себе прокурор? Чуть что не по нраву — бах-трах?! Да мы все друг друга перестреляем!»

Андрей не стал спорить: Ольга смотрела умоляюще. Сказал только, что в другой раз попробует объяснить обстоятельства этого происшествия, там все не просто. Яхненко ворчал: «Не надо мне ничего объяснять, я отлично все понимаю...» Но — опасная тема заглохла. Когда уходили, тесть придержал Андрея за локоть и спросил вполголоса: «Вы под надзором?» Андрей сказал, что не знает. Вероятно, под негласным. На самом-то деле знал твердо, но не хотел пугать. Тесть сказал: «Я вам советую уехать поскорее. На некоторое время исчезнуть, скрыться из виду совершенно! — В его глазах горела истинная озабоченность. — В городе беспокойно, Левашов всех подозревает в крамоле. Знаете что? Поезжайте за границу. Паспорта я попробую вам с Олечкой достать. Дам денег на первое время...»

Так как Андрей колебался с ответом, тесть с жаром разъяснял, по-видимому, давно продуманное и решенное на семейном совете: про какую-то родственницу, чудесного человека, она хорошо устроена, живет в Монтре. Андрей колебался только в одном: сразу отказать или, чтоб не огорчать старика, изобразить подавляемое желание, благодарность. Не было ни малейшей охоты бежать за границу. Это ведь именно бегство и в некотором смысле предательство. Старик не знал, как часто на сходках, споря с учениями западных пропагаторов, особенно Бакунина и Ткачева, он говорил насмешливо: представьте, на лугу идет драка, свирепая, бьют колем, убивают, а на другой стороне реки стоят мужики и кричат советы, как драться: «Левой бей! Правой бей! Заходи сзади!» Яхненко понизил голос: «Если не удастся с паспортами, можно найти способ через границу, понимаете ли? Есть надежные люди...» Андрей улыбнулся. У тестя был вид заправского заговорщика, правда, отчаянная решимость стоила ему волнений: он побледнел, покрылся испариной. Ах, как хотелось ему отправить зятя к тетушке в Монтре! И, наверное, безумно хотелось того же Ольге. «Нет, Семен Степанович, моя программа сейчас иная, — сказал Андрей. — Я поеду в деревню». — «Да? Как знаете... Вольному воля...» Тесть так расстроился, что сейчас же прервал разговор и отошел. На другой день утром был тяжелый спор с Ольгой, с рыданиями, просьбами, наконец с упреками в том, что по его вине разбита жизнь. Она не могла понять, почему нельзя уехать за границу. «Боже мой, но ведь можно и там заниматься революцией! — восклицала она в виде последнего аргумента. — И там есть рабочие, и там можно устраивать кружки!»

Он собирался в деревню не оттого, что надеялся на возрождение старой мечты — хотя, если быть честным, мечта тянула, была убита не до конца, и, главное, не виделось чего-то замечательного и нового, — но просто оттого, что стосковался по старикам, по крестьянской работе, по коням, земле. На юге уже пахло весной. Он не хотел ждать ни дня. В Одессе был разброд: кое-кто из разгромленного кружка Заславского пытался организовать рабочих, «бунтари» группировались вокруг Дебогория-Мокриевича и Ковалевской, но от них Андрей по-прежнему был далек (все они были нелегалы, но занимались рискованными мелочами), и была еще кучка радикалов вокруг

Ивана Ковальского... Хотя сам Иван давно стал нелегальным и пропагандировал терроризм — Андрей знал Ивана несколько лет, уважал его и был с ним в приятелях, — но вся его компания, в которую входило несколько радикальных одесских дам, была настроена на старый народнический лад. Андрей вполне мог бы к ним примкнуть и придумать сообща что-нибудь вроде поселения, деревенской коммуны, хотя его смущала некоторая маниловщина и прекраснотушие этих добрых людей: все они, как ему казалось, были мало приспособлены для работы «в народе». Старая история! Все эти дети дворян, нотариусов, милovidные вдовушки, исполненные благих порывов... Саша Афанасьева, выпускница Смольного, в пенсне, тоненькая и изящная, как с картинки журнала «Парижское обозрение», говорила: «Я буду прачкой! Я буду стирать белье!» Как будто в деревнях кому-то нужны прачки.

Но он, наверное, присоединился бы к ним, если бы дошло до дела, однако — понял сразу, после первой же встречи с Иваном Ковальским, — пока все ограничивалось разговорами на вечеринках с красным удельным вином. Ивана встретил на другой же день своего возвращения в Одессу. Встретил, конечно, на улице. Иван был человек уличный. Никто не знал, где он жил, спал, да и спал ли когда-нибудь. За год, что Андрей не видел его, Иван изменился мало: тот же неряшливый, «нигилистичий» вид, нечищенные сапоги, плед на плечах, та же медведеватая, с легким прихрамыванием походка, длинные волосы и здоровенный тугой румянец во всю щеку, каким отличаются одесские бродяги и биндюжники, проводящие дни на воздухе. Бывший семинарист и жизнеописатель сектантства (даже в «Отечественных записках» статейку тиснул), Иван был похож внешним обликом да и, пожалуй, сутью не на революционера, хоть и не расставался с громадным револьвером и кинжалом, а на беглого монаха, забулдыгу и чудака вроде гоголевского Хомя Брута.

Когда-то вместе в одном году поступали в Новороссийский университет, очень скоро Ивана исключили за невзнос платы. Иван поражал добротой, бескорыстием и какой-то особой способностью легко жить в совершеннейшей нищете. Когда выгнали из университета, он продолжал, как многие — как и Андрей, — вертеться среди студентов, на сходках, в кухмистерских, на бульварах, пропагандировал, спорил, предлагал сногшибательные идеи. Например: устроить кружок по спасению юных падших созданий, швей и портних. Зимой он заведовал буфетом в студенческой столовой, что было должностью общественной — получал лишь даровой обед в двадцать копеек, — и отличался крохоборческой честностью. Летом заведовал студенческой библиотекой, тоже бесплатно — лишь за то, что пользовался помещением библиотеки для ночлега. Часто встречали его в жару, на солнцепеке, бредущего с пачкой книг где-нибудь в районе Фонтанов, вдали от города. «Что вы тут делаете, Ковальский?» — «Да вот, несую товарищам...» Добросовестный книгоноша пер книги пехом верст десять! Потом он пропадал среди сектантов, вновь возник в Одессе году в семьдесят шестом, но был уже нелегальным, жил под чужой, польской фамилией.

Иван первый узнал Андрея, окликнул радостно и, оттащив его в переулок — они встретились на людной Полицейской, между Греческим базаром и семинарией, — стал расспрашивать о знакомых, о Феликсе, Макаревиче, о речи Мышкина и, конечно, о выстреле Засулич. Вид у него был какой-то расхлябанный, еще больше, чем всегда, «не от мира сего». Почти не слушал, а говорил сам взбудораженно, громко, нисколько не заботясь о том, что могут услышать прохожие. «Вы не представляете, какое это произвело впечатление! Что ж

остаётся нам, бедным? Стгелять, стгелять и стгелять!» И он, хохоча, с лукавым видом похлопывал себя по животу, где бугрился револьвер.

Андрей не мог сдержать улыбки. Неисправимый Фра-Дьяволо! Где ты будешь «стгелять» из своего опереточного пистолета? Одесса с ее солнцем, морем, свободой, лениво гуляющими людьми казалась ему мирнейшим и счастливейшим местом, а одесские радикалы, даже нелегальные,— милыми проказниками. Иван предложил пойти пообедать. Сказал, что знает недалеко от толкучего базара прекрасный трактирчик, где хорошо кормят за недорогою платою. Андрей видел: ему надо было что-то еще рассказать или даже показать, для чего улица не годилась, требовалось уединение. «Прекрасный трактирчик» оказался жалкой лавчонкой с крыльцом в две ступеньки и вывеской, наляпанной каким-нибудь базарным пьянчугой: изображались две жареные камбалы, огурец и по нижнему краю надпись «Белая харчевня». Что в этой харчевне было «белого», оставалось неясным. Внутри такая грязь, будто тут не мели, не чистили месяцами. И все же Андрей с удовольствием сел за грязный столик, огляделся, вдохнул чадный кухонный запах: впервые за полгода попал в харчевню, пускай в этакий хлев! Подошел половой с салфеткой под мышкой. Андрей и на этого парня с тупым и вместе наглым лицом смотрел с удовольствием.

В харчевне не было ни души. Иван вытащил из-за пазухи и показал Андрею то, ради чего они сюда и пришли: свеженапечатанную прокламацию с большим заголовком «Голос честных людей». Читать внимательно тут было не след. Андрей понял только, что это отклик на выстрел Засулич, стало быть, отпечатано днями, и пробежал несколько фраз насчет убийств шпионов, бегства из-под стражи и утверждения, что дух времени не тот, как прежде, и что настала «фактическая борьба социально-демократической партии с этим подлым правительством русских башибузуков». Вертелось на языке спросить: а что это за социал-демократическая партия? То же, что и социал-революционная? И существует ли она в яви или же это лишь мечта нескольких удальцов? Иван поспешно рассказывал: сразу после известия о выстреле в Трепова было решено чем-то отозваться на это событие, «как-то себя обозначить», по выражению Ивана. «Ведь здесь было сонное царство! Эх, тяжело жить на свете...» — приговаривал Иван. Он собрал несколько радикалов своего кружка, велел каждому написать текст, выбрали лучший — им оказался текст самого Ивана, — и в тот же день напечатали, это было не далее как вчера. Типография у них жалкая, вся помещается в чемодане в сигарных ящиках, кассы нет, и нужную литературу подолгу отыскивают в куче шрифта. А само «друкование» производится с помощью сапожной щетки или же попросту «филейными частями» — Иван привстал раза два и шлепнулся на лавку, изображая, как все это замечательно легко производить. Отпечатали уже две прокламации: одну про казнь разбойника Лукьянова, другую про недавно открывшегося предателя Краева. Но прокламацию про Краева, так же как «Голос честных людей», распространить еще не успели.

Половой принес две тарелки бурды, где плавало что-то капустное. Иван хлебал с жадностью, а Андрей вдруг почувствовал, что не может,— это было почти то самое, что давали в предварилке! Он спросил: «Вы что же, полагаете, что найден путь?» В прокламации не призывалось прямо «стгелять, стгелять и стгелять», но поступок Засулич приветствовался с восторгом. «А вы этого разве не полагаете?» — в свою очередь спросил Иван. Вся та недолгая встреча с Иваном, прокламация, харчевня, разговоры запомнились в малейших

подробностях. И какая-то мешкотная, неуклюжая взбудораженность Ивана, его привычка повторять со вздохом: «Эх, тяжело жить на свете!» — и то, что он куда-то спешил, ел с жадностью, и Андрею тоже было некогда, но успели поговорить о важном...

Ковальский сказал, что теперь многие считают: путь найден. Но он-то как раз не уверен, что это так. Тут был Осинский, который яростно пропагандировал метод, как он его называл — «дезорганизаторский». То есть убийства высших сановников, известных своей жестокостью к революционерам, казнь шпионов, освобождение товарищей из тюрем. Но все это, кстати, вещи разные. Освободить товарищей из тюрем можно и нужно, но сделать политическое убийство основной задачей партии — нет уж, увольте! Обратитесь к Сергею Геннадиевичу Нечаеву. Главное то, что народ этого пути не поймет и не примет. «Вы согласны, надеюсь!» Андрей сказал, что да и был согласен, но события последнего времени начинают его несколько колебать. Ведь дело-то в том, что правительство не хочет идти ни на какие уступки. Наоборот: жмут все крепче, давят все туже. Как же противодействовать? Ну, хотя бы как ответить на экзекуцию Боголюбова? На расправу с теми, кто протестовал? На то, что почти семьдесят человек умерли, не дождавшись суда? На зверские приговоры, каторгу, ссылки — за что? Этих людей, которые в бешенстве хватаются за револьверы, можно понять. Ведь всякий человек, у кого есть хоть капля чести и способности сострадать чужому страданию... «Но все-таки? Ваше последнее слово?» — «Мое последнее слово... — Андрей раздумывает. — Зачем же эдак? Я ведь не подсудимый». — «А-а! — торжествовал Иван. — Не можете сказать прямо «да»? То-то и есть! Кровь — дело серьезное. Вы же из мужиков, знаете, что станут говорить: «А, баре промеж себя стгеляют!» В лучшем случае — безучастие...»

Иван говорил в тот день что-то малоодобрительное и о казни шпионов. Не в том смысле, что он против мести шпионам вообще, а о том, что определить, кто из этих господ достоин веревки, кто пули, кто, может быть, крепкого мордобоя или общественного презрения, бывает довольно трудно. Могут быть и ошибки. Между тем решения о казни принимаются скоропалительно, обычно тремя-четырьмя людьми юного возраста, и приговор, конечно, однообразный: смерть. Нечаев, помните, говорил точно: «Каждый шпион должен быть задушен, потом будет прострелена голова». Теперь все как будто отрицают нечаевщину, открепщиваются руками и ногами. Мы, мол, этого дьявола знать не знаем и ведадь не ведаем, ан нет: кое-что знаете, помаленьку ведаете. Гориновичу даже и голову по уставу прострелили, только, сукин сын, оклемался. А ведь история с ним неясная. Не на сто процентов доказано, что следовало убивать, может быть, мордобоя достаточно...

«Зачем же носите револьвер и кинжал?» — спросил Андрей. Иван объяснил, что с единственной целью: собственной безопасности. Он твердо решил и повсюду об этом говорит: нельзя давать себя арестовывать. Надо сопротивляться! Когда революционеры покажут властям, что они не кролики, которых можно брать голыми руками и сажать в мешок, а потом делать с ними что угодно — морить голодом, истязать, держать без суда годами, когда каждый при аресте станет сопротивляться оружием, стрелять, убивать, если нужно, обороняться кинжалом — тогда авторитет революционеров возрастет вдвое. Вот он выбыл из Акция на кинжале: «Odevint, dum metuant». Пусть ненавидят, лишь бы боялись.

«И кроме того, запомните! — внушал Иван. — Вооруженное сопротивление есть дело святое. Это есть защита личности. Чего нам, рус-

ским, особенно и трагически не хватает, и тому есть исторические причины, это умения защищать личности!»

Слушая тогда Ковальского, Андрей и подумать не мог, что очень скоро — и нескольких часов не пройдет — Ивану придется применять свою теорию к делу. Честно признаться, относился к Ковальскому хотя и с симпатией, но не слишком серьезно. При всем его уме, начитанности, бескорыстии, Иван все же принадлежал к разряду «городских сумасшедших». Забавный тип! Жил почти Диогеновой жизнью. Страдал женобоязнью. Радикальные дамы, которые время от времени пытались брать его под свое попечение — что было задачей нелегкой, ибо он избегал всякого покровительства, уж тем более дамского, — втихомолку над ним посмеивались. Он не был ни драчуном, как Андрей, ни вспышкопускателем и заговорщиком, как Дебогорий с компанией, и вдруг — идея кровавой самозащиты! Андрею даже показалось, что это говорится во всеуслышание и, по его собственному признанию, по в с ю д у не для того ли, чтобы дошло до надлежащих ушей в виде предупреждения: этого чудака, дескать, не вздумайте трогать?

Прощаясь, Иван сказал, что торопится по важному делу, но просит непременно прийти завтра и рассказать «всем нашим» о суде, Мышкине, Феликсе, эцетера. «Вы здесь первая ласточка. Все будут ждать с громадным нетерпением». Дал адрес сестер Виттен: дом на Садовой, третий этаж. С обеими сестрами, Еленой и Верой, Андрей был знаком, обе домашние учительницы, а Елена имела в Одессе лет шесть назад особую школу: наглядного обучения. Но теперь Елены, кажется, не было в городе, она работала сестрой милосердия в каком-то военном лазарете. Иван сказал, что хозяйка квартиры сейчас Вера, но «из наших» будут человек семь, среди них Коля Витащевский, которого Андрей должен помнить, один бывший юнкер, поляк, лишь месяц назад бежавший из херсонской тюрьмы, еще кое-кто.

Договорились, что Андрей придет завтра пораньше, часов в пять, чтобы сделать полный отчет о процессе. Расстались на улице, Андрей пошел к дому, на Гулеву; Ковальский зашлепал на Старопортофранковскую — башмаки его были стоптаны немислимо, каблуков не осталось, Иван не поднимал ног, а как-то вез их по земле. Бедный Диоген! Не знал, что последний раз идет по одесскому солнышку, дышит морем, запахом известковой пыли... Зачем-то Андрей сообщил Ольге, что собирается навестить Веру Виттен. Ольга и Виттенши, как называли сестер Виттен, были знакомы, встречались у общих друзей. Ольга и Вера, обе музыкантши, обычно играли на этих встречах — у Семенюты, старого приятеля по городищенским временам, — на фортепьянах, в четыре руки. С неожиданной холодностью Ольга сказала, что с Виттеншами давно не виделась и не испытывает желания видеться. Что же произошло? Ничего особенного, кроме того, что обе с ума посходили со своим Ковальским, шутом гороховым, какие-то у них вечера, диспуты, радения, бог с ними совсем. Они и с Семенютой раззнакомились. Со всеми порядочными людьми. Ну и господь им судья, прекрасно, подальше от них.

При более подробном расспросе узналось, что осенью Вера Виттен встретила Ольгу на улице, расспрашивала про Андрея и очень удивилась тому, что Ольга не собирается ехать в Петербург и добиваться свиданья. «После этого она меня презирала. И на улице перестала кланяться. Такая дура! Во-первых, я не могла бросить ребенка, во-вторых, отец не дал бы денег на дорогу. А в-третьих, какое ее собачье дело и что она знает о наших отношениях? — Ольга рас-

сказывала в большом волнении, лицо делалось злым, губы бледнели, собирались сухим пучком. Когда злилась, сразу вдруг старела, какие-то ямки появлялись на щеках, смотреть было неприятно. — И с видом этакого превосходства: «Да, я вижу, вы не Волконская. И даже не Волховская...»

Очень не хотелось Ольге, чтобы он шел к Виттенам. Она говорила, что это опасно, что нужно проявлять осторожность — хотя бы в первые дни. Он терпеливо объяснял, что пойти совершенно необходимо. Его ждут люди, которым нужно знать, что произошло с друзьями. Он передаст приветы. Расскажет, как они выглядели. Неизвестно, вернутся ли они оттуда, из каторжных централов, из Сибири. Она не понимала. Нет, не понимала, и все. Еще раз убеждался в том, что непонимание не злостное, а глубоко натуральное, природное, победить которое нет возможности. Люди с этим рождаются и умирают. А другие люди рождаются с пониманием, и они-то, должно быть, и есть настоящие близкие люди. Было что-то похожее в христианском учении, но это дела не портило, потому что — правда. В первую ночь, когда он вернулся в Одессу, рассказывал много часов подряд, она слушала с жадностью, со слезами на глазах, прерывая рассказ поцелуями и рыданиями, потому что страстно жалела его и всех его товарищей, а потом вдруг робко сказала: «Андрюша, но ведь Мышкин стрелял в казаков, правда же? «Алешу Поповича» тоже подозревают в убийстве. Но ведь есть закон и такие дела все-таки наказываются, правда же?» На эту ерунду он ответил: а ее собственный муж, который не убивал, не стрелял, за что просидел полгода в одиночке? Тогда она еще более робким и жалким голосом сказала: «Но ведь тебя оправдали же!»

Вот это и было то самое, которое победить нельзя.

Разговор насчет Виттен произошел уже после ссоры, после ужина у родственников и отказа ехать в Швейцарию. Он понял, что никакие разъяснения не нужны. Непонимание делало свое дело: все шло к концу. Он сказал, что узнал о пароходе: 3 февраля отходит «Трувор». Он поедет к старикам в Крым.

Рано утром прибежал малознакомый студент по поручению Дебогория со страшной вестью: накануне, 30 января, поздно вечером, то есть через несколько часов после обеда в «Белой харчевне», Иван Ковальский и члены его кружка арестованы на квартире Виттен, на Садовой. Ковальский сдержал слово: оказал вооруженное сопротивление. Кажется, убил жандарма. Другие тоже стреляли.

Подробности Андрей узнал позже. Много позже, когда был суд. Кто-то из близких кружку Ковальского оказался предателем. Полиции стал известен адрес Виттен. Агент проник в квартиру — в отсутствие Веры утром того же 30-го, — обнаружил типографию в сигарных ящиках, которую только за день до того перенесли сюда, и нашел на столе кем-то предусмотрительно оставленную рукопись «Голос честных людей». У жандармского полковника Кнопа оказались в руках все улики. Он мог действовать наверняка. Для ареста преступников послал целый наряд жандармов, восемь человек со штабс-капитаном. Обычно посылались два жандарма. Но тут знали наперед: и то, что захватят всех скопом, и то, что может быть сопротивление. У Виттен собрались человек семь, были две женщины. Сидели за столом, пили чай. Штабс-капитан Добродеев во главе своего отряда, да еще с толпой понятых в арьергарде, быстро занял опорные пункты квартиры, велел всем оставаться на местах, сел к столу и приступил к опросу. Паспорта у всех оказались в порядке. Добродеев переписал адреса и затем сказал, что должен каждого обыскать. Первым подозвал к столу Ковальского. Тот подошел нерешительно, путано отвечал, делая

вид, что не понимает, чего от него хотят, и вдруг выхватил из-под пиджака револьвер и звякнул курком: револьвер дал осечку. Штабс-капитан с криком: «Жандармы! Жандармы!» — бросился на Ковальского, повалил стол, опрокинулись лампы, в темноте раздались выстрелы — стрелял тот самый бывший юнкер, Свитыч, бежавший из херсонской тюрьмы, но стрелял, по-видимому, в потолок, для острстки жандармов. Ковальского повалили, отняли револьвер. Тогда он вырвал из-за пояса кинжал, ранил жандарма, штабс-капитана ударил в висок. Свитыч и Виташевский кинулись Ивану на помощь, в то время как другие принялись жечь бумаги. Жандармы, испугавшись стрельбы, сбегали вниз. Дом был оцеплен. Снизу кричали: «Сдавайтесь!» Ковальский с кинжалом в руке пытался пробиться, ранил еще кого-то из жандармов, был схвачен, отчаянно боролся; остальные члены кружка видели с балкона, как его, связанного, избитого, втискивали в карету, и кричали прохожим, чтобы те помогли Ковальскому. Никто не помог. Ковальского увезли. Запертые в квартире долго ждали, пока прибыла рота солдат и начала правильную осаду. Прибыл будто бы сам градоначальник граф Левашов, руководил сражением, ругаясь при этом, как извозчик.

Иван в точности выполнил то, что обещал: сопротивлялся до последнего. Сначала стрелял, потом бился кинжалом, потом голыми руками. Он шел на заведомую гибель. Был ли смысл в гибели? Об этом думал Андрей, стоя на палубе гудящего мотором «Трувора» и глядя на отплывающую Одессу. Смысл был. Если сжимаются кулаки, когда думаешь об Иване, и злым парусом подымается ненависть, значит, то же испытывают другие, и в этом — смысл. Иван знал, что предан, что за типографию и за «Голос честных людей» неминуема каторга. Если уж такой святой, как Иван, не вынес, и поднял, и обагрил — что же это за мир, в котором досталось жить? Смысл этой нищей, уличной, не стяжавшей и не желавшей ничего для себя несчастной жизни оказался в ее конце. Ибо ненависть — смысл. Когда-нибудь из этого смысла непременно что-нибудь родится: например, высокие многоэтажные дома, громадное множество домов. Он смотрел на удаляющийся город, и ему казалось, что там, у горизонта, в меловых сумерках толпятся тьмы и тьмы многоэтажных домов.

Где-то на набережной стояли Ольга с Андрюшей. Он вспомнил, как несколько лет назад отплывал отсюда в Крым, изгнанный и просланенный, толпа кричала «ура», он был пьян, весел, полон надежды. Теперь провожали только жена и сын. Толпа на набережной приветствовала какую-то итальянскую певицу, уезжавшую в Ялту. Все это отодвигалось в глубь сумерек, покрывалось дымом, исчезло. Он никого уже не мог разглядеть. Ольга сказала, что приедет в Султановку в мае. Было ясно, что не приедет. Через трое суток сошел на феодосийский берег и сразу стал искать лошадей в Султановку. Почтовая карета шла на симферопольский тракт только утром следующего дня. Нанимать бричку особо не было денег, и он остался в городе, у старого рыбника Лулудаки, у которого отец всегда покупал рыбу для нелидовского имения. Старик был довольно добр и неглуп, но возбуждал неприятные воспоминания: был родственником того самого богача Афанасия Лулудаки, стипендией которого в Новороссийском университете (для молодых людей Феодосийского уезда) Андрей некоторое время пользовался. На втором курсе стипендию Лулудаки — триста пятьдесят рублей в год, не шуточки, — он почему-то получить перестал. Что там произошло, было не ясно, а может быть, просто забылось: кажется, богач помер, а его душеприказчица решила найти деньгам другое применение. Но вот что запомнилось: чувство собственной жалкости в той борьбе за по прав н у ю с п р а в е д л и -

в о с т ь, которую затеял отец. В Одессе Андрей, разумеется, и пальцем не шевельнул для того, чтобы вернуть стипендию. Готов был ночами работать в порту, на складах, добывая деньги, но не унижаться, не повторять проклятых слов «о звании моем и бедности, которые дают право...». Но когда приехал летом домой, отец тотчас надел на него и потребовал действий. «Мы эту скрягу заставим раскошелиться! Позарилась! Покойник на святое дело положил, а ты, воровка, хотишь у детей украсть?» Весь гнев выплескивался дома, а в городе, куда таскались с Андреем, отец разговаривал просительно, слезливо, но с неотступным упорством. Ходили к мировому посреднику, в фео-досийскую дворянскую опеку, писали заявления, вытребовали копии обязательств и удостоверений из университетской канцелярии — атака на душеприказчицу, некую Марию Ивановну Лулудаки, велась грозная, но та не поддавалась. И вот останавливались тогда у рыбака, который был дальним родственником помершего богача и душеприказчицу ненавидел по каким-то причинам еще лютей, чем все лишившиеся стипендии. С этим стариком, Иваном Христофоровичем, отец даже советовался, как ему лучше действовать и больней Марию Ивановну уязвить.

Вспоминать все это муторно. Ведь не вынес хлопот, хождений в присутственные места, непрерывных жалоб на бедность и несостоятельность, поругался с отцом и сбежал в Одессу раньше срока.

Иван Христофорович заметил Андрея, который слонялся по базару, коротая пустой день, обрадованно окликнул. И пришлось пойти к рыбаку и ночевать у него. Как ни странно, в этом городе, почти единственном на побережье, не оказалось верных друзей. Гостиница была не по карману. Он возвращался домой, как блудный сын, голый, одинокий, без гроша. Если бы старый Христофорыч знал, какого бродягу и шалопута он приютил на ночь! Но вид у Андрея был респектабельный, нарочно приоделся, чтоб родителей ободрить: темное хорошее пальто, совсем еще неношеное (год почти провисело в шкафу на Гулевой), пиджак с отворотами, галстук бабочкой, шляпа, трость, кожаный немецкий саквояж. И в саквояже — ничего, кроме пары белья и нескольких книг. Что ж там было? Последняя книжка «Отечественных записок», Зибер о Рикардо, статистика Кольба, которую Андрей любил перечитывать, что-то по истории. Было, конечно, и несколько брошюр в о з м у т и т е л ь н о г о содержания, возить которые было рискованно, за любую дадут Сибирь, но уж очень Андрей к ним пристрастился, помнил, с каким успехом читались. Особенно «Чтой-то, братцы». Великая штучка! На пяти страницах про все сказано: про то, как мужика лупят сперва дубьем, теперь рублем, про землю и про Земский собор. В предварилке с автором познакомился: с тихим, подслеповатым Шишко. Получил, бедняга, каторги девять лет.

И вот у старого рыбака Христофорыча...

Сначала ничего: пили вино, курили турецкие папироски, грек рассказывал про отца, тот стал приезжать в город реже, у помещика, господина Нелидова, дела плохи, хочет имение продать. Потом спросил: верный ли слух, что был какой-то суд в Петербурге и каких-то молодых людей царь опять в Сибирь сослал? Что-то слышал насчет Андрея, но, видно, не от отца. Отец, конечно, молчал. Андрей не любил лукавства и, видя, что старика разбирает безумное любопытство, ради которого и это приглашение, и молодое вино, и папироски, ответил прямо: так, мол, и так, все верно. Но — оправдан! Так что никакой опасности для купца первой гильдии нет. Старик смеялся: «Э, Лулудаки не боится! Турок не боялся, татарских абреков не боялся, холеры не боялся — теперь семьдесят лет, какой может быть страх...»

Но затем осторожно принялся выяснять: чего же молодые люди хотят и во имя чего страдают?

Андрей обычно пользовался всяким случаем, чтобы говорить людям правду, объяснять, растолковывать. Мог говорить часами, спорить с десятью противниками и не уступать — так бывало на одесских сходках, до кулаков, — мог терпеливо внушать истину, как тот «внушитель» из сказки, самым темным и непонятливым. Но рыбник, купчина и, разумеется, эксплуататор наемного труда, был неподходящим объектом для пропаганды. Кроме того, дойдет до отца, тот перелякается. Потому ответил кратко: «Во имя чего? Ну, скажем, во имя одного — справедливости».

Лулудаки опять смеялся: ха-ха, справедливости! Есть такие женщины, красивые и глупые, их все обманывают, и они всех обманывают. Вот это и есть справедливость. Худшие дела творились во имя справедливости: христиане резали турок, турки — христиан, французы бомбили Севастополь, римские владыки жгли на кострах. Самое страшное зло на земле! Страшное тем, что его нет, оно не существует...

Что-то в таком роде говорил старый грек.

Значит, по-вашему, господин Лулудаки, бороться за справедливость нет расчета? Нет, нет. Совершенно никакого расчета. Разумеется, он молод вздор, но так как выпили целую четверть вина, разговор становился забавным. Мы, греки, говорил старик, самые древние жители на этой земле, нас теснили дикие степные племена, номады, разбойники, гетуэзцы, татары, потом вы, русские. Где же справедливость? Может быть, надо бороться против вас всех? Ведь мы первые поселились на этом берегу! Нет, не надо. Мы хотим ловить рыбу в море, как две тысячи лет назад, вот и все. Потому что справедливость — то, что дает нам море и бог.

Ага, вы настоящий гегельянец! Вы оправдываете все сущее. Все действительное разумно, не так ли? Андрею было весело. Давно не было так весело, легко и как-то заманчиво жить. Черт возьми, кроме справедливости, существует еще много прекрасных вещей: например, море, вино, старики, пьяные разговоры! Итак, синьор Лулудаки, вы оправдываете любую действительность? Не понимаю, о чем вы там говорите, но что бы вы ни говорили, я это оправдываю. Да, да, я оправдываю! Оправдываю, оправдываю!

И он, смеясь и дрожа своим старым, пористым, как коричневая губка, лицом, подымал руки и взмахивал ими, благословляя что-то. Андрей радостно смотрел на него. Старик нравился ему все больше. Какой милый, веселый эксплуататор наемного труда! И он не глуп. Эти старики, прожившие трудную жизнь и кое-чего добившиеся, очень даже не глупы. Дорогой месье Лулудаки, лет тридцать назад, когда вы были простым рыбаком, вам не казалось, что все в мире так уж замечательно. Но потом вы заплатили шестьдесят пять целковых, купили свидетельство второй гильдии — не так ли? — и решили, что мир стал немного лучше. А потом заплатили еще двести пятьдесят, стали купцом первой гильдии, оптовиком, и теперь вы уверены, что на земле все в отличном порядке.

Андрей хохотал, старик подливал вина и говорил грустно: нет, мои дела не имеют отношения к моим мыслям. Я говорю на опыте долгой жизни. Двенадцать лет назад я потерял жену, моложе меня, красивую русскую женщину — разве это справедливо? Один мой сын погиб в Сербии, другой живет в Петербурге и забыл меня. В старости я одиноч, как Иов. Это справедливо? Ведь вся моя жизнь была для детей, а их нет у меня. Между прочим, это вино покупают для ливадийского дворца, я знаю поставщика, он мой друг. И вот я гово-

рю вам: справедливости нет! Ее просто нет в природе. Так как же, я вас спрашиваю, можно бороться за то, чего нет?

Они продолжали разговор утром. Старик провожал до почтовой станции, непрерывно щебеча и рассказывая неглупые истории. Они расстались друзьями и крепко обнялись.

Отец побледнел, когда узнал, что Андрей гостевал у рыбака Лудуки и проговорил с ним целую ночь. Да ведь старая жаба связана с полицией! Все выпытывал насчет Андрея у отца, не сам, конечно, а по поручению, и вот поди ж ты — Андрея усмотрел, выловил! «Ах, ах, несчастье, несчастье! — бормотал отец, крайне огорченный. — Теперь исправник прикатит. Перед господином Нелидовым неприятности...» Верно, исправник прикатил на третий день. Очень строго: «Почему не явились и не отметились? По вашему положению, вы это хорошо знаете, обязаны отмечаться в течение двух суток, не позднее. Чем собираетесь заниматься?» Андрей сказал, что приехал помочь отцу по весне в крестьянской работе, а впоследствии намерен учительствовать. Исправник угрюмо заметил: «Ну, это мы посмотрим! Надобно иметь разрешение».

Отец был напуган, мать потихоньку плакала, один дядя Павел, брат отца, сильно постаревший и ставший как будто горбатеньким, поглядывал на Андрея лукаво и подмигивал, как единомышленнику: мы, мол, с тобой люди лихие, этим не чета! Дядя Павел в молодости бегал от помещика, шатался повсюду, чуть ли не до Сибири добирался, был усыновлен крестьянином, ходил от него коробейником, потом его открыли как беспаспортного и вернули помещику в кандалах. С детства помнилось, как помещик, господин Нелидов, топал на дядю Павла ногами и орал: «В Сибирь мерзавца!» Отец ужасно пугался. А дядя Павел — ничего, не трусил, говорил, что в тюрьме бывал, кандалы нашивал, не привыкать. Работал он тогда поваром, а теперь просто доживал дни на кухне. Вся эта жалкая холопья жизнь — отец хоть и был управляющим, но холопьяго нутра не изжил — и в детстве тяготила, а теперь сделалась вовсе невыносимой. Встретил два раза Нелидова. Тот невероятно распух, видимо по болезни, едва ходил, перекатывая громадный живот. Когда-то сделал хорошее дело: первый объяснил Андрею гражданскую — не церковную, ту от деда узнал — грамоту и прочитал «Сказку о рыбаке и рыбке» Пушкина. Взял Андрея с собой в Керчь, где жил тогда, и определил в приходское училище, из которого потом Андрей перешел в уездное. В общем, от Нелидова двинулось все Андреево учение. И осталась в душе навсегда, как любовь к деду, жалость к матери, как сочувствие к слабодушному отцу, благодарность к тому большому с круглой блестящей головой и громким голосом, всегда от него пахло сладким табаком, на животе болталась цепка, он властно хватал за руку и вел куда-то, от чего захватывало дух.

Теперь стояли и смотрели друг на друга, стараясь что-то вспомнить и узнать. Но ничего не могли узнать. Очень толстый, старый человек с отвисшей губой, тяжелым, хриплым дыханием глядел на Андрея холодным и больным взглядом. Смотрел долго, потом сказал: «Жалею, что когда-то учил вас грамоте», повернулся и ушел. В первый раз Андрей увидел его, когда уезжал в Кашка-Чекрак к деду. Отец заложил бричку, сам взялся свезти: был рад, что сын уезжает! Нелидов, подойдя к бричке, сказал: «Такие, как вы, заставляют ненавидеть все лучшее, что дали России реформы!»

И в глазах — ненависть, истинная. Андрей опешил от внезапности, не нашелся ответить. Да и какой разговор? Кроме того, увидел согнувшегося, как бы ожидающего удара отца. Потом уж сообразил: было начало апреля, только что пришла весть об оправдании Засулич.

Так странно переменялось: Нелидов вовсе не деспот, мягкошляпный либерал, который и впрямь делал добро, глядел волком, ненавидел слепо, а скотина и насильник Лоренцов, которого Андрей хотел когда-то убить, встретил и разговаривал вполне благодушно. Впрочем, кроме баб и пьянства, старый пень по-прежнему ничем не интересовался. Наверное, и газет не читал. Поездка в Кашка-Чекрак удручила сильно. Дед был при смерти, одинок, несчастен. Бабушка умерла давно. Доживал дед в той же избенке при птичьем дворе на правах то ли божьего старичка, побирушки, то ли старой собаки, которую прогнать некуда и убивать жаль. Дедова невестка со своим новым мужиком — настоящий ее муж, сын деда, пропал куда-то лет семь назад, Андрей его помнил — шкиляли и туркали старика, заставляя делать непосильное и ждали, когда помрет, чтоб завладеть избой. Они его вовсе не кормили. Иногда какую-нибудь малость деньгами присылала тетя Люба из Киева, где служила в прислугах, а то мать приезжала из Султановки, привозила чего-нибудь.

Андрей помнил деда высоким, рослым, со здоровой седой бородой, с румянцем. Ходил он медленно, разговаривал не спеша и как-то очень горделиво, степенно. Все шуршал старыми книгами, раскольниковыми, в тяжелых переплетах, и, как утверждала семейная легенда, библию всю целиком прочитал дважды! Он и Андрея приучил к чтению церковных книг, заставляя учить наизусть, например, псалтырь. Шли в горы гулять или в лес за дровами, дед приказывал: «А ну, Фроленок, псалом такой-то!» И Фроленок барабанил без запинки, хоть и не понимал многого. Нравилось барабанить, потому что странно, задорно, иногда и страшновато звучало: «С тобою избодаем рогами врагов наших, во имя твое попрем ногами...» И всегда так: Фроленок, Фроленок, никогда Андрюшкой не называл. Гордился: фроловская кровь!

Все это — в давности.

Бабушка умерла, Полтора Дмитрию пробили голову, тоже помер давно, а дед, усохший, с худым лицом, поредевшей и какой-то не белой, как раньше, а сивой бородой, лежал на полатах, ждал смерти. «Встать-то можешь?» — «Могу». Поднимался медленно, накрывал плечи старым своим длиннополым сюртуком рыжего верблюжьего сукна, выходил, едва двигая ногами, на крыльцо и стоял там, качаясь, ноги гнулись, но — стоял. Не хотел помощи. Одна гордость и теплилась еще в ветхом теле. И у Андрея сжималось сердце и такая тоска однажды взяла, не знал, что делать: выскочил из избы, увидел невесткиного мужика, схватил и затряс бешено: «Если ты, собака... моему старику!..» Мужик обмер от страха, повалился наземь. Да что можно сделать со смертью и старостью? «Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались...»

Больше месяца пробыл Андрей со стариком, работал по крестьянству, вечерами разговаривал, ночами думал. Он чувствовал, как в его жизни происходит поворот, незаметный, но громадный, как звезды к лету поворачиваются все сразу, если не наблюдать внимательно, то ничего не заметишь, а если остановиться, поглядеть, подумать, тогда видно. Все как-то сдвинулось, куда-то сползло, и те звезды, что были наверху, скатились к горизонту, а наверх поднялись другие и заблестали. Надежды на скорый бунт, к которому призывал Бакунин — помер, бедный, так и не дождавшись ничего, кроме вздорной чигиринской затеи, — надежды эти угасли. Разбойники? Сектанты? Вольное казачество? Все было глухо, дремало или же было занято мелкою злобой, что довлеет дневи. Бунтари, величавшие разбойников истинными революционерами, мечтавшие о новом Пугаче и бегавшие по лесам в надежде встретить шайку душегубов, чтобы обработать

их с помощью Прудона, рассочились бесславно кто куда: одни в тюрьмы, другие за границу, третьи по домам. Разбойники продолжали помаленьку грабить обывателей, сектанты по гнездам своим бранили попов, а вольное казачество гоняло студентов и давило демонстрации. Все это переродилось и из силы превратилось в бессилие. Русская община? Дед Гаврила Фролов с его воспоминаниями о мирских сходах, о вековой правде мира?.. «Хоть на заде, да в стаде, отстал — сиротой стал». Было, было, сохранилось в преданиях, в драгоценном опыте: исконный славянский совет, свободная говорильня, право всех и каждого кричать свое мнение, то самое вече, которое изумляло византийцев, высшее русское благо, раздавленное татарской пятой, и все же перемогшее татарщину, воскресшее могучей республикой, с колоколом на торговнице, с правом каждого звонить в него, требовать суда и совета и вновь растерзанное своими же российскими злодеями. Крестьянская община, говорили историки, есть сколок того утерянного рая, древней русской вольности. Народ зачем-то берег эту память. Так вот: вернуться в великую годину к своему идеалу, к жизни по закону и по правде. Но так же, как у древнего народовластья оказались слишком немощные мышцы для борьбы с железным Ивановым кулаком, так и община оказалась слаба — призрачно слаба! — для того, чтоб возлагать на нее хоть какие-то надежды в схватке с самодержавием. Она была тенью прошлого, музеем, где хранились забытые обычаи и печальные мечты.

Пока жил у деда в Кашка-Чекраке, не знал толком, что творится в стране. Потом уж, в июне, встретившись в Одессе с товарищами и перечитав газету, понял, что возбуждение и тревога одолевали многих. Каких-то поспешных, решающих действий жаждали все: и революционеры и охранители порядка. В феврале был убит еще один шпион, Никонов, в Ростове, и покушались на жизнь прокурора Котляревского. В марте братья Избицкие в Киеве оказали вооруженное сопротивление при аресте. В мае был убит кинжалом на улице жандармский офицер барон Гейкинг, а в конце мая замечательно удался побег из киевской тюрьмы бунтарей-чигиринцев Стефановича, Дейча и Бохановского. Но власти от всего этого лишь стервенели: в апреле произвели массовую высылку студентов из Киева без суда и следствия, скопом, в северные края, а когда везли студентов через Москву, устроили зверское избиение их охотнорядцами. 9 мая объявлено было высочайшее повеление о том, что преступления против должностных лиц изымаются из ведения суда присяжных (скорый и раздраженный ответ на оправданье Засулич!) и передаются судебным палатам, Особому присутствию сената и верховному уголовному суду. А через месяц, 9 июня, явилось новое великое благодеяние: по всей России введен институт урядников.

И все же окончательной решимости броситься к тем, кто видел спасенье в терроре, в кинжальной схватке с властями, не было. Не что-либо иное, а только одно: неосновательность кинжального выхода. Не на годы, не на века решалась этим способом судьба России, а на дни, месяцы. Когда прощались с дедом, старик, собравшись с силами, пошел провожать далеко, сколько мог, и добрался до того взгорка над почтовой дорогой, где когда-то, сто лет назад, Андрей с бабушкой ждали его обычно из города. Ничто не изменилось кругом: так же убежала вниз жаркая зеленая равнина, порыжелая от ярого весеннего солнца — через месяц вся изжелтеет, сгорит, — так же петляла по холмам дорога, туманными горбами в бледность, в марево уходила даль, серым зноем палило небо, трещали кузнечики, арба ползла далеко внизу. Тут начиналась его дорога, и теперь он прощался со всем этим. Он знал, что никогда больше сюда не вернется.

А этот мир, который он покидал, был свеж, напоен солнцем, равнодушен и непобедим. Дед вдруг сказал: «Ибо не на лук мой уповаю и не меч мой спасет меня...»

Долгий день потом, идя сначала горами, потом степью, думал об этих словах забытых и соглашался умом. Но сердце томилось: «Где же взять слова, кроме лука и кроме меча?» Старик уходил из этого мира в спокойствии. Его справедливость была там, за земной гранью. Но тому, у кого не было ни малейшей надежды попасть туда и чья жизнь имела единственный смысл: добывание справедливости здесь, — как быть? Нет, он не видел ничего, кроме солнечного блеска, пыльной дороги в черном горохе овечьего помета, не ощущал ничего, кроме жары, пота, слепившего глаза, боли в ногах и желания поскорее добраться до почтовой станции.

Митя Желтоновский, старый приятель, единственный из кружка Волховского кто уцелел — таскали, выпытывали, но процесса избежал, был отпущен за недостатком улики, — позвал к себе на хутор близ Брацлава поработать на бахче. Стояла середина лета. Одесса вымирала, задыхалась в каменном зное, в дурмане известковой пыли. Ольга с Андрюшкой жила у родственников в Городище и ехать в Брацлав, конечно же, отказалась. «Разве ты можешь нас прокормить? Тут мы хоть и христарадничаем, да у родных...» В насмешке была злая правда: прокормить не мог. «Андрей, да когда ж кончиться? — едва не плача. — Где твоя совесть? Не надо было заводить семью, если не желаешь жить с нами. Андрюша, милый, ведь я выходила замуж за правоведа, а не за батрака на баштане. Два года в твоей Николаевке — ну, хватит, не могу, невозможно...» Все шло, как и быть должно. Он уехал к Желтоновскому. Работа на бахче оказалась адским испытанием: по шестнадцать часов в сутки трудился на солнцепеке, ходил за волами, носил воду, поливал, окапывал, разрежал, таскал на горбе. Для пропаганды среди крестьян, на что Андрей надеялся и чем особенно завлекал Митя, не оставалось ни сил, ни времени.

В октябре Андрей вернулся в Одессу, измученный деревенской страдой, разочарованный навсегда: как пропагандист он попросту потерял три с половиной месяца. Жизнь в деревне была трудом, тяжелейшим, конским, превращавшим человека в животное, ибо на человеческое не оставалось сил.

Когда Андрей вошел, Ольга, не поднимаясь из-за стола, за которым шила, поглядела с какой-то злобной насмешливостью: «Нагулялся? Выглядишь отлично, загорелый, худой. И борода к лицу...» Он спросил, была ли она в городе во время суда над Иваном. «Меня это мало занимало, не помню. Кажется, была в это время у Ляли в Городище» Он оставил все деньги, сколько привез, рублей около двухсот, и ушел на Молдаванку. Где-то там, то ли в квартирке Васьки с Миколой, то ли в бараке, где жил Макар Тетерка, его ждали друзья, по которым он соскучился. Потом возвращался на Гулеву, жил с Ольгой и сыном по несколько дней, ходил с Ольгой в гости к знакомым, чаще всего к Пимену Семенюте, у которого брал книги, но все это без тепла, без необходимости, а так — холодным прозябанием. Негде было ночевать, приходил. А то исчезал на неделю. Оба понимали, что конец близок, как смерть старика. И он ничего ей не рассказывал, ни с кем не знакомил, а она ни о чем не спрашивала.

И вот думал над ее словами: «Ты меня никогда не любил!» Неправда, тот студенческий бунтовщик, гуляка, драчун, которому все так легко давалось, и везло, и нравилось жить, который еще не ведал тюрьмы, горя, гибели товарищей, не носил бороды, не знал, какая бывает истинная ненависть, перерождающая человека, — тот когда-то

любил ее. Но доказать и объяснить это теперь нельзя. Ведь невозможно сказать: «Просто перед тобой другой человек, ты обращаешься не по адресу». Единственное, что должен сделать, — спасти ее и сына от судьбы, ими не заслуженной.

«Тебе ничего не нужно, кроме твоей ужасной жизни...» — «Нет, нужно многое. Но ты мне этого дать не можешь. Значит, надо расстаться, совершенно законно, чтобы ни я к тебе, ни ты ко мне не имели никакого касательства...» Она плакала, он продолжал говорить, не меняя тона: «Есть тысячи причин, по которым наш брак должен быть расторгнут. Хотя бы история с Аней Розенштейн. Не говоря уж о том, что я не даю вам средств». «Мне наплевать на все! Я ничего не хочу от тебя!» — кричала она. Прибежал из соседней комнаты сын, испуганный, тоже заплакал.

Потом зачем-то пошли к тестю на Екатерининскую. Ольга его упростила, он согласился, сам не зная хорошенько зачем. Видимо, стало очень уж жаль! Она металась, лепетала вздор. «Папа даст нам совет... По поводу того, чего ты добиваешься... — бормотала она. — Кроме того, он хотел поговорить». О чем? Ну хорошо, пожалуйста. По дороге возникло предчувствие: не надо идти. Это совсем ему не нужно. Но — шел, даже сына вел за руку и, как всегда в минуты таких предчувствий, когда угадывалось неприятное, не в силах был остановить себя, а пер уж до конца. Почти год не был он в этом доме: появилась железная ограда, медная табличка на белой квадратной колонне крыльца и — дорогое новшество из Петербурга — карселевые лампы в вестибюле. Незнакомая прислуга, дородная Гарпина в наkolке и в переднике с малороссийским узором сообщила Ольге, что «батяка у горницы, вечеряют с гостями».

Вот и неприятное: гости! Андрей помрачнел. Общаться с людьми яхненковского круга, будь они хоть самые распролиберальные дельцы, ему не улыбалось. Бессмысленные разговоры, бессмысленное испытание воли: ведь того, что думаешь, не скажешь, надо молчать дураком или поддерживать болтовню.

Гостей было трое: дальний яхненковский родственник помещик Леман с женой, постоянно жившие в Петербурге, и Гералтовский, сотрудник «Одесского вестника», с которым Андрей шапочно был знаком. В «Вестник» Андрей иногда захаживал, раньше носил туда хронику студенческой жизни, а в последнее время заходил к знакомым типографским рабочим и еще когда навещал Семенюту, который жил в том же доме, где редакция. Гералтовский был из свиты Барона Икс, фельетониста «Одесского вестника», а сию знаменитость Андрей презирал, считал пустозвоном и презренье свое распространял, разумеется, на все его «хвосты и аксельбанты», то есть на его прихлебателей. Мелкий характерика Гералтовского проявился в том, что когда тесть представлял Андрея, этот рыжеусый таракан, с которым однажды пили чай в буфете и о чем-то разговаривали, сделал вид, будто незнакомы. Ну да шут с ним. Все было явно некстати. Да и представлял тесть как-то скороговоркой, теща глядела холодно, едва кивнула, а Тася, Ольгина сестра, до сих пор девица, заметно подсохшая и пожелтевшая, улыбалась язвительно. И зачем догадался прийти?

Был какой-то разговор о войне, о Берлинском конгрессе, возмущались, как водится, тем, что русская кровь проливалась ради выгод англичанки и австрияков, сетовали на недостаток «умов» в русской дипломатии и высшей государственной службе (Гералтовский: «Вы только представьте, какой бы куш сорвал Дизраэли, если бы англичане имели такие победы и понесли бы такие жертвы, как мы, грешные!»), потом от Берлина и Бисмарка перенеслись к Вильгельму, на которого в этом году было два покушения: в мае стрелял жестянщик

Гедель, а в июне доктор Нобилинг, причинивший императору несколько тяжелых ран.

Стали говорить о том, что — какая-то мировая зараза и мы, русские, всякую заразу подхватываем, конечно, первыми. Леман уверенно объяснил: «Интернационалка мутит!» Яхненко сказал, что ни доктор Нобилинг, ни жестянщик, как это достоверно доказано, не являются социалистами. Однако пострадали-то как раз социалисты. Тест стал еще сильнее похож на Шевченко, еще больше польсел, пообвисли усы, попечальнел взгляд. Глядя печально-тяжелым взглядом на Андрея, тест рассуждал — тихим голосом, вид у старика был больной — о том, что немецкий пример должен всякую критически мыслящую личность заставить задуматься! Что же принесли два эти покушения? Ничего, кроме бедствий. Жестокий закон против социалистов, принятый рейхстагом две недели назад, — вот и весь прибыток.

— Да, мерзость, возмутительно! — подхватил Гералтовский. — Этакое немецкое, солдафонское.

— Позвольте, Доминик Францевич, что вы находите возмутительного? — заговорил, краснея, Леман, и его крупное брыластое лицо с оттянутыми вниз губами приняло выражение недоумения и брезгливости. — Странно слышать! Разумное, деловое решение, которому мы, русские, можем только завидовать. Именно этой разумности, этой железной бисмарковой крепости нам и недостает, если угодно знать. Вместо твердых мер занимаемся уговорами и увещеваньем. И — кого? Уголовный сброд, безумцев, которых надо в смирительную рубашку — и на цугундер.

— Ну уж, ну уж, только увещеванием! — засмеялся Яхненко. — Дело обстоит не так лучезарно, по-моему.

И он посмотрел на Андрея, и тому показалось — как будто даже подмигнул. Недурной старикан, прощаться с ним все-таки жаль. Андрею почему-то показалось, что весь разговор затеян нарочно для него, что было, разумеется, вздором. Гералтовский имел о нем смутное представление, а Леман, петербургский житель, редкий тут гость, и вовсе никакого. Не надо было приходить сюда. Дамы щебетали в другом конце зала, мужчины продолжали спор, постепенно все более накалявшийся. Гералтовский в запальчивости этаким либеральным чертиком наскაკивал на Лемана:

— Стало быть, Георгий Георгиевич, что же: возврат к шпицрутенам? Намордник на общественное мнение? Предварительная цензура и так далее?

— Господа, да освободитесь вы от власти слов! Россия гибнет от словоговорения. О чем я толкую? Я человек монархический, это всем ведомо, я безмерно уважаю царствующего монарха, ибо он открыл России большие горизонты — но! Но, господа! Надеюсь, тут нет агентов Третьего отделения? — Улыбаясь шутливо, он оглядел всех, оставившись взглядом на Андрее. — Эти нервические судороги, эта истерия и бессмысленные метания, которые начинаются всякий раз, когда дело идет о борьбе с политическими противниками! Где достоинство? Где твердая, неукоснительная воля? Ведь обращение правительства к обществу, эта жалкая мольба о помощи в борьбе с крамолой, о чем мы узнали двадцатого августа, — это же стыдобушка! Громадная империя, перед которой дрожит и склоняется полмира, имеющая великую армию, тайную полицию, арестные дома, крепости, централы, Сибирь, умоляет о помощи безоружных обывателей — да ведь просто хочется сказать: тьфу! Ведь бог знает что, господа. Если и думать долго, то не придумаешь ничего более подрывающего веру и уважение к власти.

— А я мыслю совершенно иначе,— сказал Яхненко.— По мне, так это мудрейший шаг за последние годы. Только совместные усилия властей и общества могут дать спасение. И — только доверие к силе общественного разума! Может быть, мы люди отсталые, провинциалы, чего-либо не понимаем...

— Я полностью на вашей стороне, Семен Степанович! — опять пылко подхватился Гералтовский.— Если бы люди имели свободу общественной группировки, они не колеблясь соединили бы свои усилия с усилиями правительства. Но невозможно же! Руки связаны.

— Позвольте, у правительства достаточно сил...

— Георгий Георгиевич, между правительством и обществом образовалась пустота. Пустота, понимаете? — Гералтовский в ажитации чертил руками в воздухе фигуры, изображая наглядно правительство, общество, а также пустоту между ними.— И в эту самую пустоту занесло с Запада нигилизм. Понимаете ли, что произошло? Свято место пусто не бывает.

— Называемая вами пустота есть отсутствие крепкой власти! Есть повальная, сверху донизу, неуверенность! — сердито прокричал Леман.— Вот вам из последних фактов: мой добрый знакомец, вполне благонамеренный человек, но с неуживчивым бурсацким характером, отчего у него постоянные безурядицы на службе, долго добивался приема у Александра Егоровича Тимашева. Писал прошения, грозил, молил, наконец добился. Когда он вошел в кабинет, министр быстро пошел ему навстречу, распахнул мундир и сказал: «Стреляйте! Я никого не боюсь! Не вы первый, не вы последний угрожаете мне, я покажу вам полный мешок угрожающих писем». Мой знакомый был совершенно фраппирован: его приняли за нигилиста и даже за «револьверщика». Но каково поведение министра внутренних дел? Распахивает мундир и предлагает: «Стреляйте!» Честно вам сказать, господа, я был потрясен этим рассказом: какова же дряблость, какова степень растерянности, если такие фортели выкидывает министр — блюститель порядка, которого считают к тому же приверженцем твердой линии. Что же, в таком случае, остальные наши блюстители? Уму непостижимо! Дело зашло очень далеко.

Этот рассказ и Андрею показался занимательным. И он решил про себя: нет, время не потеряно. Странно, что он так долго оставался спокоен, как будто спорщики говорили о чем-то не имевшем к нему касательства. Обычно он не выдерживал роли слушателя и ввязывался в драку. Но теперь было особое положение: он пришел сюда ради Ольги... И, по всей видимости, последний раз в жизни.

Между тем мужчины говорили все громче, и дамы, прервав беседу о ротондах, стали прислушиваться. Госпожа Леман, высокая, бледная, очень петербургская дама с каким-то вогнутым, странно невыразительным лицом — подбородок и лоб выдавались, а все внутри вместе с маленьким чухонским носиком было как бы провалено,— проговорила низким голосом строгую французскую фразу. Андрей понял смысл: Жорж, мол, не волнуйся по пустякам. Затем, обращаясь ко всем, госпожа Леман сказала:

— Георгий Георгиевич всегда очень волнуется, когда речь заходит о молодежи. У нас еще несчастье с племянником, киевским студентом: в мае его выслали в Вологду, провозили через Москву и он попал в эту ужасную бойню в Охотном ряду. Ему пробили голову, он оказался в лазарете, сестра Георгия Георгиевича, вдова, приезжала в Петербург, мы хлопотали. И Георгий Георгиевич с тех пор...

— Матушка, я мог бы и сам рассказать. У меня язык есть.

— А на мой взгляд,— повышая голос, проговорила дама с вогнутым лицом,— дело очень просто и не нуждается в длинных разгово-

рах. Они действуют бесчестно, а с ними стараются поступать по чести. Вот и есть ошибка.

Эту дуру уж нельзя было снести!

— Вы полагаете, сударыня, что ссылать четырнадцатилетних девочек в Сибирь только за то, что они говорят речи на бульваре,— поступать по чести? А держать без суда годами в тюрьмах, одиночках, а потом освобождать за недостатком улики — тоже по чести? Да тут честь и близко не ночевала.

Андрей и сам не замечал, как голос его злобнел и креп, точно он где-то на сходке, а не в гостиной.

— Я не знаю, о каких фактах вы толкуете... — проговорила госпожа Леман, ошеломленная не столько смыслом слов, сколько тоном и напором Андрея.

— Я эти факты знаю, знаю! Мне они хорошо известны. — Леман делал успокоительные жесты жене, как бы говоря: «Подожди минуту, сейчас мы этого господина прихлопнем». — И тем не менее ты абсолютно права. Попала в самую точку. Федор Достоевский, сам бывший бунтовщик, каторжанин, хорошо знающий всю эту музыку, писал в романе «Бесы» о том, что суть русской революционной идеи заключается в отрицании чести. Я помню это место, даже выписал нарочно, когда читал в журнале. Потому что точнее уж не скажешь!

— Господин Достоевский тем отличается, что сначала утверждает одно, а спустя некоторое время совсем иное и противоположное. Так что у меня нет доверия к этому автору, — сказал Андрей. — Когда-то он сам был старым нечаевцем, а теперь всех нечаевцев без разбора обливает грязью. В «Бесах» писал о том, что революционеры лишены чувства чести, а в дневнике своем, в «Гражданине», лет пять назад — об отсутствии чести у нас, у русских, как о черте характера. Это местечко вы забыли? Так вот вам мое мнение...

— Ответьте прежде: вы сами-то русский человек? — спросил Леман.

— Да, да, не беспокойтесь, Георгий Георгиевич, — ответил за Андрея тесть, бывший тесть, но все же милейший старикан, который глядел на Андрея со странным выражением неодобрения и восторга. — Андрей Иванович коренной русский человек, из крепостных крестьян.

— Ах вот как! Итак, Андрей Иванович?

— Мое мнение таково: русские революционеры как раз в о з р о д и л и чувство чести в народе, если хотите знать. Все эти революционные вспышки, которые мы наблюдаем, есть взрывы оскорбленного чувства чести. Понятно вам? — Он нервничал и стал говорить грубо. — Помните гоголевского поручика Пирогова, которого высек слесарь Шиллер? А потом Пирогов съел слоеный пирожок и танцевал мазурку на именинах. Так вот, пироговишне надо конец положить. И революционеры первые сказали: довольно! Нельзя сечь русского человека безнаказанно. За это — пулю в лоб. Это что вам — не чувство чести? А девушка, которая стреляла в Трепова, ни сестра, ни невеста, даже не знакома с Боголюбовым, — что ее толкнуло на поступок, может быть, безумный и ложный? Оскорбленная честь, ничего более. Не снесла поругания человеческого достоинства. Господин Достоевский не знает современной молодежи, напуган Нечаевым, а Нечаев-то — вчерашний день, его и не помнят, другие люди пришли, другие идеи владеют умами. «Бесов» нынче никто не читает, кроме полицейских чиновников.

— Вы глубоко заблуждаетесь, — произнес Леман, смотря на Андрея остановившимся взором, точно разглядывая его со стороны. —

Я слышал, вы судились по Большому процессу? Да, да, слава богу, все обошлось, это большое счастье для семьи. Но повторяю: вы заблуждаетесь глубоко.

— Верно Достоевский написал: нет у них чести, у этих людей,— вдруг заговорила из диванного угла мать Ольги.

— Мама! — сказала Ольга.

— Они семьи заводят, а жить семейно не могут. Разве это честно? Детей народят и детьми не интересуются, не видят их месяцами,— дрожащим голосом, но все более громко говорила теща.— Деньги в дом не носят, трудиться не хотят и близких своих делают несчастными...

— Мама! Что ты говоришь?

— Я проклинаю этих людей! Проклинаю, проклинаю! — рыдая, кричала старуха.

Все поднялись с мест, Гералтовский застыл с разинутым ртом, Яхненко бежал, спотыкаясь, к жене, она кричала:

— Ироды! Проклинаю! Погубили твою жизнь!

— Уходите же! — Тася махала на Андрея рукой.

— Я с тобой! Я с тобой! — крикнула Ольга отчаянно.— Мама, Андрей честный, необыкновенный человек. Что ты наделала? Я ухожу от вас, буду жить одна, не хочу вас знать...

Она словно помешалась, тянула Андрея к выходу, сын цеплялся за спиной, старик Яхненко что-то кричал. На улице было холодно, Ольга прижималась к нему. Он обнимал ее одной рукой, другой стискивал ладонь сына. Как будто знал, что все это должно было случиться, и вот случилось, и он был спокоен. И только печаль сжимала сердце. Пришли в свои темные комнаты, зажгли керосиновую лампу. Печка выгорела, он спустился вниз, во двор, чтобы наколоть немного дровишек. Ему хотелось, чтобы стало очень тепло. Ольга возилась с бельем, принимаясь за стирку. Лицо у нее было мятое от слез, но спокойное, счастливое. Он подошел к ней, обнял ладонями ее лицо и, глядя в глаза, сказал: «Оля, нам надо расстаться». Она, закрыв глаза, кивала. Сын из глубины комнаты смотрел на них.

Голос издалика: Семенюга П. П.

Я, Пимен Семенюга, часто задумывался: меняется ли человек в своей сути? К концу жизни решил, что нет, не меняется. Человек рождается как бы заклеенный особым знаком, и уж этот знак ни вытравить, ни смыть, ни переделать нельзя, а видимые изменения, которые в человеке происходят, есть лишь случайности, временное, наносное, то, что ложится поверх знака. Мы ведь судим о природе людей по нашим близким. Если нас окружают люди злые и несправедливые, мы считаем, что человечество несправедливо и зло, если же вокруг нас люди простые, добрые, мы верим в добро и полагаем, что человечество достойно лучшей участи. Кажется, я болтаю вздорности. Простите меня, я немолод, болен, истаскан и изморожен жизнью — впрочем, как всякий русский человек, переживший последнее полустолетие. Кстати, я долго надеялся на то, что женщина, которую я когда-то любил (да и Андрей Иванович был сильно увлечен ею), как-то переменится с течением лет, станет другой и я буду любить ее еще больше. Но она не менялась. Надежды были напрасны. Самое странное, что я продолжал упрямо и нудно ее любить, и Андрей Иванович, между прочим,— тоже! Он давно уж был женат, имел сына, но когда спустя лет восемь после нашего юного соперничества зашел ко мне домой — в конце семьдесят восьмого года — и увидел эту женщину, я заметил, как он вмиг потемнел от прихлынувшей к

щекам крови, глаза заблестали, это было так внезапно и открыто. Вообще, он был нервен, легко краснел, бледнел, впадал в гнев.

В тот вечер мы долго проговорили, сначала в присутствии женщины, что очень его возбуждало и тонировало, и он с необыкновенным талантом, живостью, остроумием рассказывал о своей эпопее незадачливого бахчевода, а потом остались одни, пили вино, засиделись за полночь. Забавно, что, когда прощались, он строго и требовательно сказал: «Ты должен относиться к ней гораздо лучше, чем ты относишься! Я просто велю тебе это». Я перевел на шутку, но он, кажется, не шутил. Все его поступки и даже слова имели подоплеку какой-то глубокой, внутренней страсти. Имя женщины? Это несущественно. Важно то, что была. Нет, не Аня Макаревич (Аня в то время уже навсегда покинула родину) и ни какая-либо другая из наших радикальных кружков. И то, что он расстался с женой, Ольгой Семеновной Яхненко, милой женщиной, но чересчур домашней, не имело никакого отношения к истории, о которой я говорю.

Там дело другое: человек изменился. Вот об этом и речь. Наша встреча в конце семьдесят восьмого меня поразила. По своим взглядам, настроениям, характеру жизни этот человек неизмеримо удалился от юноши, которого я помнил по студенческим временам. Тогда прошумела громкая, хотя и вполне невинная история с профессором Богишичем, тупым сербом, одним из тех служак-«братушек», которые гнули линию графа Толстого: превращали университеты то ли в казармы, то ли в управу благочиния. Андрея Ивановича высылали пароходом в Крым. Помню толпу, праздничное клокотанье, чуть ли ни пели «Марсельезу», и в этой толпе был я, тогда юный репортериска «Новороссийского телеграфа», и был наш общий с Андреем Ивановичем предмет. Она еще не сделала тогда выбора, колебалась, была опечалена его отъездом, а он жал мне руку, говорил: «Прощайте!» — и в его темных глазах я читал страстную зависть: не тому, что я был независимый человек, а он отправлялся в ссылку, а тому, что я — с нею, держал ее под руку, оставался на берегу, а он отплывал. «Прощайте, прощайте!» — говорил я, сочувствуя ему и жалея его совершенно сердечно, но все же с некоторым облегчением. Тогда, помню, случилась невероятная давка, толпа провожающих притеснилась к самому борту. Задние напирали, и, когда пароход стал отходить, люди едва не попадали в воду, были крики ужаса, возгласы «помогите!», и я помню бледное лицо Андрея, который кричал нам с парохода: «Вы невредимы? Все в порядке?» «Да, да! Прощайте, прощайте!» — кричал я радостно и махал шляпой.

Я знал его по одесским студенческим сходкам тех лет: агитатор, говорун, крикун, но не более того. И вдруг совсем иные речи. Он стал мощнее, плечистей, темная борода, крепчайшее рукопожатье. Говорил о положении рабочих: тяжкий труд и грабилька, которой рабочие подвергаются, ведут не только к нарастанию недовольства, но и к отупению, безнадежности. Артели и союзы могли бы придать рабочим силы, но правительство неусыпно бдит, давит, громит всяческое объединение. «История движется ужасно тихо, надо ее подталкивать. Иначе вырождение нации наступит раньше, чем либералы опомнятся и возьмутся за дело». «А конституция?» — спросил я. «Конституция пригодится». — «Что же ты предпочитаешь: веровать в конституцию или подталкивать историю?» Он, помолчав, ответил: «Я теперь больше надеюсь на подталкивание!»

Вот вам перемена: человек начал с того, что хотел учиться у народа, а пришел к тому, чтобы учить историю. В ту осень и зиму семьдесят восьмого — семьдесят девятого мы встречались с Андреем Ивановичем довольно часто. Раза два я бывал у него

дома на Гулевой, в убогой квартирке — по-видимому, Яхненко вовсе отринул дочь, отказался помогать ей, она зарабатывала где-то как акушерка, — но чаще Андрей Иванович приходил ко мне. Тем более что в конце ноября или в декабре он окончательно расстался с Ольгой Семеновной. Свое расставанье намеренно сделал широко известным в Одессе, об этом много болтали среди наших знакомых, жалели Ольгу Семеновну, которая его очень любила и надеялась, что все это не всерьез. Нет, он заботился о ней совершенно всерьез. Но это, как оказалось, не помогло.

В моем доме бывали одесские радикалы, бывал Валериан Осинский, когда появлялся в Одессе. Впрочем, Валериан бывал повсюду. Я не помню человека, который имел бы больше знакомств в самых разных слоях и кругах, чем Осинский. Удивительная для революционера общительность! Я хотел познакомить с ним Андрея Ивановича, но тот почему-то уклонялся. Меня это озадачивало, я спросил прямо: в чем дело? «Не люблю я этих белоручек и аристократов. У вас будет небось и Барон Икс со всей своей псарней? Не могу, не хочу видеть: противно».

Люди у нас дома бывали разные, мог появиться и Барон Икс, фельетонист, популярный в Одессе, и не самый скверный человек. Вовсе не аристократ. И уж, во всяком случае, Андрей Иванович отлично знал, что Барон Икс и Валериан Осинский — фигуры не равновеликие, и не следовало свое презренье к одному этак махом, небрежно, перебрасывать на другого. За Валерианом были уже очень крупные дела. Андрей Иванович должен был это знать, если знал и я. Ну как же: Валериан организовал убийство шпиона в Ростове, покушение на прокурора Котляревского, убийство жандармского офицера Гейкинга, и он же первый стал помещать в прокламациях печать «Исполнительного комитета», которого не существовало в природе. Овальная печать, вокруг нее значилось: «Исполнительный комитет русской социально-революционной партии», а в середине перекрецивались револьвер, кинжал и топор. Иные смеялись над этой выдумкой, другие возражали, но Валериан-то оказался прав: власти сильно испугались картинки. Все допросы семьдесят восьмого года начинались и кончались такой фразой: «Что вы знаете об Исполнительном комитете?» Никто, разумеется, ничего не знал. Но через год это название взяли себе другие люди, так что выдумка оказалась пророческой.

Валериан Осинский был, конечно, человек замечательный, блестящий, и Андрей Иванович, чуя это, избегал встреч с ним в больших компаниях: ведь Андрей Иванович, скажу по секрету, был заметно честолюбив и не терпел чьего-либо превосходства. На улице, в трактире, на рабочей сходке он был, конечно, король, но в гостиной за чаем первенствовал Валериан. Он очень нравился дамам (и та, о которой я говорил, не избежала соблазна), стройный, белокурый красавец в пенсне, с небольшой золотистой бородкой, он быстро двигался, много говорил, любил болтать вздор, чепуху, смешное, но всегда с ироническим смыслом, любил мистифицировать, сочинять небылицы, в которые сам же легко верил, *Wahrheit und Dichtung*² были у него перемешаны, и он сам, вероятно, путался где что. Он рассказывал мне, что двенадцатилетним мальчишкой спас соседа, на которого напали бандиты, хотели убить, а он прибежал с ружьем, и те скрылись. Была еще такая легенда: будто бы в Петербурге, где Валериан учился в Институте инженеров путей сообщения, он гулял однажды в Летнем саду и, встретясь на аллее с царем, не уступил ему дорогу.

² Правда и вымысел (нем.).

За это его будто бы таскали в участок, страшно на него кричали и грозили ссылкой, но он отговорился тем, что недавно в Петербурге и не знает царя в лицо: тот был в генеральской форме. Вероятно, тут была самая истинная Wahrheit, но оттого, что Валериан слишком часто фантазировал по пустякам, мы и этот рассказ восприняли как изрядной долей Dichtung.

Впрочем, дерзостью и отвагой Валериан обладал редкостной. В Петербурге слегка всполошил землевольцев своими «дезорганизаторскими» идеями вплоть до царубийства, и подлинного содружества там, кажется, не получилось. Но об этом я знаю понаслышке, не стану говорить зря. Что же касается Одессы и Андрея Ивановича, то, как ни уклонялся Андрей Иванович от общения с Валерианом, обстоятельства толкали его к нему и даже вынуждали пользоваться его помощью. Деньги, оружие, документы — все это в конце семьдесят восьмого и в январе семьдесят девятого, до дня его ареста, можно было достать у Валериана. Более могущественного человека в этот период в Киеве, Одессе и окружающих городах не было.

Андрей Иванович, еще не будучи нелегальным, не считал себя вправе рассчитывать на деньги из фонда Валериана. А денег-то у Андрея Ивановича не было. Он зарабатывал той зимой очень скудно. Иногда, встречая его на улице, я замечал, что он попросту голоден, он исхудал, лицо приобрело какой-то землистый оттенок, всегдашний румянец спал. Это были недели его последних, мучительных колебаний.

Однажды я долго уговаривал его взять деньги, вырученные от какого-то концерта. Он отказывался, говорил, что не надеется отдать скоро и поэтому не считает возможным брать, но я знал, что его терзают долги и, главное, необходимость давать жене и сыну, с которыми он уже не жил. Я настаивал, мы препирались, наконец я сказал: «Считай, что это из фонда Валериана!» Он вспыхнул: «Тогда я тем более не возьму!» Я почувствовал в его голосе озлобление. Мало того, что Валериан был обаятелен, дерзок, интеллигентен, красив, он был еще и богат, то есть не угнетаем ежедневными заботами, где поесть и где заработать. Валериан какими-то одному ему известными способами умел добывать средства для организации. Он привлек Лизогуба с его громадным состоянием. У него бывали фантастические удачи: например, какая-то богатая полька обещала ему чуть ли не двадцать тысяч рублей, если удастся освободить из тюрьмы Стефановича с товарищами. Там была сложная романтическая история, мне рассказывали: полька была, кажется, влюблена в кого-то другого, не из компании Стефановича, но тоже сидевшего в тюрьме, и ей хотелось наблюдать пример удачного освобождения, так как Валериан обещал освободить ее друга. Валериану удалось с помощью Фроленко, поступившего в тюрьму надзирателем, не только освободить Стефановича, Дейча и Бохановского, но и получить у польки обещанный приз! Наконец, поняв, что совершил оплошность, я стал убеждать Андрея Ивановича в том, что насчет фонда Валериана была шутка и что я предлагаю ему мои собственные деньги по праву десятилетнего знакомства и, разумеется, в долг: он с угрюмым видом согласился. Вероятно, продолжал считать, что занимает у Валериана.

Еще раз ему пришлось побороть гордыню и просить помощи у Валериана, когда он окончательно решил стать нелегальным и понадобился документ. Такой документ добыл Валериан — на имя Василия Андреевича Чернявского. Было это, кажется, в самом конце семьдесят восьмого года. Во всяком случае, не позже середины января семьдесят девятого, ибо в конце января Валериана схватили в Киеве. Документ был настоящий, испробован в Одессе и в Киеве в опасней-

шее время. Достать его, видимо, было очень трудно. Когда донеслась весть об аресте Валериана, мы даже не поверили сразу: так нелепо все произошло. Городовой остановил Валериана на улице и под каким-то невинным предлогом попросил зайти в участок. Валериан, ничего не заподозрив и обладая к тому же хорошим паспортом, пошел за полицейским, но в участке вместо пристава или его помощника его встретил Судейкин. Валериан пытался выхватить револьвер, но Судейкин, обладавший громадной силой, навалился на Валериана, смял его и с помощью полицейских обезоружил. Вот убили барона Гейкинга, на смену которому пришел Судейкин, а ведь барон этак-то ловко не сумел бы! Суд над Валерианом происходил в мае, я был тогда уже в местах отдаленных и читал в газете. «Осинский дрался ногами, мы принуждены были его связать,— объяснял Судейкин.— Все это время Осинский находился в каком-то исступлении, кричал, метался, изрыгал ужасные проклятья на полицию и жандармов, когда я ему сказал, что вы, господа, мастера убивать из-за угла, он заметил: «Все равно скоро всех вас, жандармов, будут убивать прямо на улицах». Через несколько времени он успокоился, тогда его развязали и приступили к допросу».

Последнее, что успел сделать Валериан перед гибелью (кроме того, что достал спасительный документ Андрею Ивановичу), была его помощь деньгами, оружием и связями Григорию Гольденбергу, убийце харьковского губернатора Кропоткина и знаменитому разоблачителю революционной партии. Но об этом пусть расскажут другие. Я же рассказываю лишь о тех, кого знал близко и считал друзьями: об Андрее Ивановиче и Валериане. Помню, когда Андрей Иванович узнал об аресте Осинского, он был очень подавлен и воскликнул с болью: «Как я ошибался! И как ругаю себя! Меня отчуждала от него глупость, мой вечный отвратительный предрассудок: то, что его отец был в больших чинах, чуть ли не в генеральских...»

А я скажу иначе: Андрей Иванович, при всем его большом и сильном уме, часто промахивался в оценке людей. У него не было интереса к подробностям человеческих характеров. Он воспринимал людей как-то общо, округлял их, не замечал ни зазубрин, ни извилий, ни того, что в ядре характера может быть скрыто еще ядро, поменьше и потверже, а в том еще более твердое маленькое ядрышко, которое и есть истинное. Словом, мне кажется, он не всегда умел разглядеть тот неуничтожимый знак на человеке, о котором я говорил прежде. Недаром же он не раз тянул в организацию лиц, которые потом оказывались сомнительной чистоты. Ну вот, вернемся к началу: к знаку. В «Одесском вестнике» в те времена вертелся некий Гералтовский, комнатный вольнодумец, который сочинил такой стишок: «Одни рождаются, чтоб делать революции, другие — чтоб испытывать поллюции». Сам он принадлежал, разумеется, к последним, хотя выдавал себя за сочувствующего революционерам, что считалось тогда в некотором роде *bon ton*. После 1 марта он даже шептал горделиво, что был близким другом Андрея Ивановича и бывал у него дома. Но четверть века спустя у нас же, в Одессе, показал себя таким подлецом и охранителем, что все ахнули — все, кроме меня. Я давно разглядел на нем знак подлости. Человек не меняется, знак остается прежним. Меняются только орнаменты вокруг знака, то приносное и уносное, что сопровождает человека всю жизнь и затуманивает мозги окружающим.

Андрей Иванович, я убежден в этом, был предназначен для судьбы, которая нашла его. То, что я поразился осенью семьдесят восьмого, увидев, как он изменился, значило лишь, что я недостаточно еще его разглядел. Человек не меняется, как это ни печально. Да

господи боже мой, зачем ходить далеко? Я чувствую по себе: мне много лет, я болен, предвижу скорый конец, но какие нелепые старые, детские ощущения я испытываю порой! Стыдно признаться. Я испытываю почти детские страхи, почти детское чувство зависти, почти детские огорчения и почти детские радости. Но главная радость моя совсем не детская: она в том, что я еще жив. Андрей Иванович стал мировой знаменитостью, я видел заграничные книги и журналы с его портретами (везде непохожими), кое-что появляется и у нас после двадцатипятилетнего молчания, но самого Андрея Ивановича давно уже нет на свете, а я еще здесь. И сегодня, в апреле 1906 года, радуясь достижениям русской свободы, я не могу без чувства благодарности думать и вспоминать о тех, кто... Я мог бы много вспоминать об Андрее Ивановиче — хотя бы о том, как он предупредил меня об аресте, я отнесся несерьезно и был наказан, или же о том, как мы прощались, он дал мне на память золотую цепочку, подаренную ему когда-то родителями Ольги Семеновны, и эта цепочка стала мне дорогой реликвией на всю жизнь, она и теперь, когда я пишу, лежит на моем массивном, из темно-зеленого мрамора чернильном приборе — но я умолкаю, ибо времена настоящих воспоминаний об Андрее Ивановиче еще не наступили.

И знаете ли, к какому странному выводу я пришел? Да, человек меняется, и порою непоправимо, но — после смерти. Посему: не будем увеличивать непоправимость.

Клио — 72

Ничего, кроме событий, фактов, имен, названий, лет, минут, часов, дней, десятилетий, столетий, тысячелетий, бесконечно исчезающих в потоке, наблюдаемом мною, Клио, в потоке, не ведающем горя, лишенном страсти, не знающем истины, текущем не медленно и не быстро, не бессмысленно, но и без всякой цели, в потоке, затопляющем все. Анна Розенштейн, по первому мужу Макаревич, проживала в Париже под именем Кулишовой и в мае 1878 года за организацию секции Интернационала выслана из пределов Франции. Жила в Швейцарии, была женою итальянского анархиста Андрея Коста. Затем поселилась в Милане, стала женою Турати, вождя итальянских социалистов, и умерла в 1925 году глубокой старухой. Ей были устроены торжественные похороны. В Италии Анна Кулишова известна гораздо более, чем на ее родине, в России. Весть о том, что Андрей Желябов казнен как царевбийца, так потрясла его бывшего тестя Яхненко, что с ним случился удар и он умер. С семьей Яхненко никто не хотел знаться, они разорились. Ольга Семеновна почти нищенствовала, обезумела, просила об изменении фамилии, отрекалась от мужа и проклинала его, спасая судьбу сына, но неизвестно, что ей удалось, есть намек, что она побиралась именем Христовым. И далее сведения о ней исчезают, как все исчезает в моем потоке...

ГЛАВА II

В декабре 1878 года, когда Андрей Желябов добывал паспорт в Одессе, чтобы начать новую, подпольную жизнь, в Петербург приехал некий Клеточников Николай Васильевич, чиновник тридцати одного года, как будто еще и не старый, но по общей невзрачности, блеклому, нездоровому цвету лица, темным очкам, манере горбиться и разговаривать тихим голосом выглядел куда старше. Зачем Николай Васильевич, внезапно сорвавшись, распродав вещи, оставив место кас-

сира Общества взаимного кредита в Симферополе, примчался среди зимы в гнилую Северную Пальмиру, он и сам толком не знал. Будто тут его только и ждали! Никто не ждал, ни единая душа, и в Крыму никто слез не лил, прощаясь. Вероятно, Николай Васильевич имел смутный расчет: как-то переменить судьбу. Уж очень все в его жизни получалось безуспешливо и досадно. Недоучился по болезни в Медико-хирургической, рано похоронил родителей, мотался бессмысленно из града в град, летал зачем-то за границу, докручивая малое родительское наследство, и все в одиночку, день и ночь со своей персоной наедине, врагу не пожелаешь, пошел служить, томился в присутствии, кашлял от крымской пыли, доктор Вернер советовал: «Попробуйте переменить климат!» А рожа у доктора кислая, гробовая: «Э, в сущности...» Да что ж климат, когда надо — судьбу.

Не успел еще расположиться в этой жизни, не распаковал чемоданов, а уже — собирайся, пора. И более глупого придумать нельзя: из сухой и теплой крымской зимы — в сляклый петербургский мороз, на тротуарах грязь наворочено, с неба ледяной трухой моросит, не то сырым холодом душит, самый смак для чашотки. Да ведь столица в России одна, выбирать не приходится.

Поселился в доме на Песках, знакомые курсистки присоветовали: знакомство сведено было в Ялте, в курзале, минутная отвига под влиянием бутылки «иоганнесберга», но адресок запомнил, записал, не надеясь, что пригодится, и даже, честно признаться, не веря в то, что девицы сказали правду. Зачем бы им, милым, этаким перестарок очкастый, морщинистый? Очень сильно оморщил за последние два года, и волос стал слетать. Кремы разные, притирания, снадобье доктора Гарднера, брюссельский эликсир — все по журналам вызнавал и выписывал, денег натратил, да попусту. И вот подъехав к дому на Песках, с извозчиком не расплатился, велел ждать: так был уверен, что девицы надули. А они-то все три дома и невероятно почему-то ему обрадовались! Там же, на Песках, нашли комнату, темноватую, в нижнем этаже, но для первого случая вполне удачную.

Искал работу, девицы помогали, доброхотствовали, звали вечерами пить чай, добрые, таскали с собой в театр, однажды и он водил всех трех в кондитерскую: угощал кофе с пирожными, замечательно вкусными, в виде миндальных трубочек с заварным кремом, но не просто белым, сливочным, а чуть с желтизной и запахом лимона. Каждая трубочка восемь копеек. Прокутил изрядно: рубль с лишком. Но Николай Васильевич не жалел нисколько, потому что к девицам все больше располагался. И ото дня ко дню убеждался, что девицы не такие уж собственно девицы, щебетуньи и профурсетки, каких в Петербурге тьмы тьмущие, а самостоятельные молодые дамы, вольные не только в поведении (они ему, как родному, многие свои огорчения порассказали!), но и в мыслях и рассуждениях. А это для Николая Васильевича всегда было самое ценное. Были у них и какие-то связи секретные, знакомства удивительные, он догадывался. Одна проговорила, будто знает студента, который дружен с кем-то, кто хорошо был знаком с кучером черного рысака, унесшего убийцу Мезенцева. Другая рассказывала про таинственную газету под названием «Земля и воля», которая вышла недавно первым номером. Держала ее в руках ровно одну минуту, тут же отняла, понесли кому-то показывать — человеку близкому ко двору, но, говорят, либеральному и порядочному, — но беглого взгляда достаточно: за одно чтение такой газетки Сибирь и рудники обеспечены. Ах, загорелось — глазком бы взглянуть! Ведь судьбу переменить не значило же опять куда-нибудь в присутствие затолкаться, штаны просиживать.

Была мечта скрытая, долго молчал, не решался, наконец попро-

сил: нельзя ли познакомиться с кем-нибудь из тех? Недоумевали: это из каких же из тех? Ну, из тех, из ваших, знакомых с теми, которые знают тех, самых главных тех. Девушки смеялись:

— Эх вы какой, Николай Васильевич, да еще Клеточников! А может, вы как раз насчет клеточки и хлопчете? Из того здания у Цепного моста?

Все смехом, шуточками. Никаких тех не знаем и знать не желаем. Мы честные девушки, нам это все неинтересно, мы любим кофе с миндальными булочками и французскую оперу... Но все же любопытно бы знать: для какой корысти те бы понадобились? Кое-как объяснил. Насчет давешнего своего: поменять судьбу. «Скучно жить на этом свете, господа!» — как сказал тезка. Прошло дня три, девушки его находят, зовут. В комнатке сидит молодой человек, коренастый, лицо спокойное, незаметное, волос русый, глаз внимательный: Петр Иванович.

— Так что же, Николай Васильевич, в Крыму, стало быть, дела не нашлось?

На столе перед Петром Ивановичем бутылка пива, стакан, тарелка с огурцом и котлетой, и он, вилку вонзя, котлету ножом казнит. А ведь не по правилам хорошего тона. И вдруг Николай Васильевич ухмыльнулся, сообразивши: если этот из тех, значит, ему только так и никак иначе — ножом.

— Дела-то есть... Да — скучные дела...

И не может оторваться от ножа с котлетой, глядит, похолодев.

Поговорили про Крым, про то да се. Николай Васильевич набирался духу, наконец спрашивает: что бы такое найти, чтобы польза была? Очень бы хотелось именно такое, полезное, потому что — жизнь уходит, здоровья нет, да и ничего, по сути-то дела, нет, а есть одна голая бесполезность. Петр Иванович подумал, подумал и говорит:

— Знаете что, Николай Васильевич? Есть у меня одно предприятие, только пока что не работа, а так. А работа набегит в дальнейшем. Вот адрес: угол Невского и Надеждинской, дом Яковлева. Живет там некая Кутузова Анна Петровна, акушерка, вдова полковника, промышляет тем, что сдает комнаты жильцам, по преимуществу молодым людям. И есть подозрение, что сия Анна Петровна оказывает услуги Третьему отделению, ибо несколько курсисток, живших в ее квартире и привлеченных к дознанию по разным пустякам, говорят, что кое-чего полиция никак знать не могла, а — знает. Вот и подозрение, то ли его подтвердить, то ли рассеять. Потому что дело серьезное, и надо людей об этой щучке предупреждать. Согласитесь поселиться у Анны Петровны под видом... да под каким особенным? Под вашим собственным и поселиться. Приискиваете работу. А может, она вам и найдет. У нее связи имеются.

— Понимаю. Скажите, Петр Иванович, а вот, так сказать... У кого подозренье-то возникло?

— Насчет Анны Петровны?

— Именно так. Кого то есть сия загадка интересует?

— Меня, меня крайне интересует. Меня, Петра Ивановича. Мне и расскажете, если что удастся разузнать.— И глазами твердыми уперся в глаза, глядит не мигая, черт какой-то. А ведь смело завернул! Рискованный господин.

Польза тут несомненная и перемена судьбы, потому что Третьим отделением пахнет. Но — у Николая Васильевича даже сердце слегка заколотилось — будет ли сил поднять? Вот о чем, сконфузясь несколько, бормотал:

— Боюсь, не по Сеньке шапка... Тут ведь особое умение, войти в доверие...

— А вы попробуйте. Очень это нужно — мне, Петру Ивановичу.

Анна Петровна Кутузова оказалась дамой, что называется, в «последнем соку». Ее щеки и шея наливного, брусничного цвета постоянно блестели оттого, что она мазала их каким-то кремом, очень жирным, похожим по запаху на крем Дриммера. По квартире бегала в капоте, с головой, обвязанной полотенцем, и только вечером капот заменялся другим капотом, более напоминавшим платье, а полотенце снималось, обнаруживая жиденькую постройку из сивовато-русых волос. С первого взгляда Николай Васильевич догадался, что та же грусть: волос падает. На эту тему и беседовали в начальных разговорах. Затем Николая Васильевича стали звать на чаек и на карточки. Анна Петровна обнаружилась лютой картежницей: могла сидеть за стуколкой до полуночи, до часу, а уж если карта ей шла, то отодрасть от нее возможность не было. Чуть ли не выселением грозила: «Нет, государь мой, вы карточки не любите, буду других жильцов приглядывать!» — хохотала, лукавила остренькими глазками, а партнеры бледнели, Николай Васильевич замечал.

Играли обыкновенно вчетвером: отставной штабс-капитан Рында, старуха Богданович или же Вавичек, вольнослушатель из поляков, и Анна Петровна с Николаем Васильевичем. Иногда четверых не набиралось, тогда Анна Петровна заставляла Николая Васильевича играть с нею вдвоем. Роняла карты, он лез под стол, шарил по полу в коварной близости от могучей Анны Петровниной ноги в лавандовых облаках. Как-то капот отпал, открылось розовое, в шелесте, в белых кружевах. Николай Васильевич, поспешно, стучаясь макушкой, выдирался из-под стола. Скоро Анна Петровна примирилась с тем, что от нового жильца ничего, кроме мелких выигрышей в стуколку, ей не перепадет. Но мелкие — зато регулярные! — эти выигрыши и были нынче ежевечерним сладострастием Анны Петровны. Она не огорчалась теперь, если и не собиралось четверо. С Николаем Васильевичем, мужчиной тихим и безответным, играть под чаек с рябиновкой было куда как хорошо, даже, пожалуй, еще насладительней, ибо с томностью ожидалась в конце непременно радость: выигрыш рубля, а то и двух. Николай Васильевич играть в карты не любил, не умел, плохо запоминал и порой во время игры отлетал мыслью далеко, задумывался почти с ужасом: «Да зачем же я сижу здесь, жалкий человек? Приговорен я, что ли, с этой дурой вечера убивать?» Анна Петровна, наслаждаясь, успевала, однако, и сама болтать и расспрашивать. То про мужа рассказывала, полковника артиллерии, из семьи знаменитого Кутузова, только не фельдмаршала, а другого, розенкрейцера, крамольника («Мы все, Кутузовы, вольнодумцы, у нас это исстари ведется!»), то заводила разговор про молодых жильцов — студентов и курсисток, которых очень жалела и всячески оправдывала. Николай же Васильевич стриженных девок не уважал, называл их стрикулистками, говорил, что, будь его воля, всех бы по монастырям заточил, пускай бы там полезное делали, монахам портки стирать — и то лучше. Анна Петровна не соглашалась. Спорили.

Но ничего и никак узнать про то, о чем просил Петр Иванович, не получалось.

Надоело Николаю Васильевичу — что он, нанялся, в самом-то деле? — и решил от тошнотворной бабы съезжать. Сказал: работа не подыскивается, жизнь тут дорогая, последнее проживешь, надо возвращаться в провинцию, то ли к себе в Пензу, то ли в Крым, в тепло. Анна Петровна всполошилась. Такой милый жилец норовит утечь! И

тихий, и непьющий, платит основательно, дурных людей не водит и, главное, каждый вечер безотказно: хоть копеечку, да принесет. Неужто в таком городе крупнейшем службы не найти? В том и лихо, что нету. Тут знакомства нужны, иначе никак, нет уж, лучше в провинцию, в простоту,— там хоть нет таких роскошных кондитерских, газовых фонарей да французских артисток. Зато люди добрые и житье дешевле. А ежели мы вам... Что? Подыщем что-либо подходящее, в случае чего. К примеру что же, Анна Петровна? К примеру, к примеру... Поглядывала лисовато красненьким брусничным глазком. Есть племянник, к примеру, Гусев. Служит в Третьем отделении, человек уважительный, может поспросить. Авось чего есть там-то?

Николай Васильевич едва не подпрыгнул. Вот! Проговорилась, старая кляча. Значит, все верно. Петр Иванович прав: вдовица оттуда. В тот же вечер Николай Васильевич побежал, как условились, в квартиру на Песках и велел сказать, что хочет видеть Петра Ивановича. Просили прийти на другой день. Петр Иванович выслушал сообщение Николая Васильевича как будто без особенной радости, а когда Николай Васильевич сказал: «Ну, слава богу, теперь можно от этой Цирцеи бежать»,— Петр Иванович поглядел с изумлением:

— Как бежать? Пока не зачислены в штат Третьего отделения, бежать никуда нельзя.

Николаю Васильевичу показалось, что ослышался? В штат? Третьего отделения? Шутка, вероятно? Никаких шуток, крайне серьезно, и даже гораздо серьезней, чем можно подумать. Поступить на службу в Третье отделение, в этот вертеп зла, в логово змей, сколопендр и всяческих гадин? Хотите, чтобы бедный Клеточников, которому и так не везет, и так судьба бьет его смертным боем, превратился бы, как Одиссеевы товарищи под чарами Цирцеи, в свинью поганую? Да побойтесь же бога, милый Петр Иванович, пожалейте сироту, не просите невыполнимого. Ведь если просить будете — отказать нельзя, а если отказать нельзя — тогда гибель, конец.

Бормотал жалобно, в мыслях паника, а в душе из глубины неведомой поднималось ликование: нет, не конец, а начало, начало! И знал уже, что согласится.

Петр Иванович внушал:

— Понимаете ли, Николай Васильевич, в чем горе: шпионов за- силье. Расплодилось их на казенный счет — сила неборимая. Взять хоть дом, в котором вы живете, угол Невского и Надеждинской: ведь там гнездо. А сколько таких домов по Петербургу? Да у нас на каждого честного человека по три шпиона, ей-богу, не менее, по улицам шныряют, в университете толкутся, в трактирах сидят, на конках катаются. Недавно в «Новом времени» стишок Некрасова покойного напечатали — не читали? «Праздному» называется. Без последней строфы, но нам-то она известна. И прочитал, глядя на Николая Васильевича твердо-голубым, неотклонимым взглядом:

Что сидишь ты сложа руки?
Ты окончил курс науки.
Любишь русский край.

Остроумно, интересно
Говоришь ты, мыслишь честно,
Что же, начинай!

Иль тебе все мелко, низко?
Или ждешь труда без риска?
Времена не те!

В наши дни одним шпионам
Безопасно, как воронам.
В городской черте.—

Вот и надо, чтобы стало им небезопасно. Стрелять их, как псов бешеных. Только в этом спасенье. Иначе честным людям житья не дадут...

Николай Васильевич догадывался, что под «честными людьми» Петр Иванович подразумевал людей определенных. Спрашивать о догадке было не деликатно. Он слышал, что месяца два или три назад в революционной партии произошел разгром, арестовано много видных людей, вожаков, и уж, конечно, делалось это не без помощи шпионов: озлобление Петра Ивановича против мерзких существ вполне понятно.

— Если бы, Николай Васильевич, удалось вползти к ним за пазуху, а еще бы лучше — в нутро, в кишки...

— Попробую, Петр Иванович,— сказал Николай Васильевич, ужасаясь собственного голоса.

Вдова обрадовалась, узнав, что жилец, подумавши основательно, дал согласие. Племянник был приглашен в ближайшие дни. Это был рослый, плотный, сильно лысый субъект пожилых лет, который по виду мог бы быть мужем Анны Петровны. Из разговора выяснилось, что он женат вторым браком, у него пятеро детей, трое от первой жены, умершей при родах, и два сына от второй жены, немки, дочери фабриканта. Пили чай с вареньем, разговаривали о событиях, Николай Васильевич ругал, как обычно, стриженных девок, Анна Петровна защищала. Племянник внезапно, безо всякого перехода и, как показалось Николаю Васильевичу, с неудовольствием произнес:

— Так что пожалуйста в пятницу к господину Кирилову!

Было видно, что тетка имеет на племянника влияние, тот выполнял ее просьбу через силу, не смея ослушаться. После его ухода Анна Петровна намекнула: он, мол, у нее в кармане, все сделает, что велит, потому что ждет от нее наследства. Николай Васильевич еще подумал: «Не дождется, бедный! Пережить этакую бабищу — задачка...» Однако ночью, лежа без сна, вспоминая и обдумывая, потя от страшных мыслей, Николай Васильевич решил вдруг, что Анна Петровна все ему наплела: никакой он ей не племянник и не ждет наследства. Да, да, наплела. Зачем бы это? И что ж этого субъекта с нею связывает, отчего он так послушен? Внезапно пришла простая догадка: да потому и послушен, что она его чином выше. Когда утвердился в этой догадке, стало еще страшней, потому что: для чего же он-то, Николай Васильевич, места не имеющий жалкий чиновник, понадобился зловещей особе? В чем интерес для нее? Неужто только лишь по рублю клевать в стучолку? Нет, другое что-то. Чувал Николай Васильевич, что вползает в какую-то странную игру, в неведомую сеть: вроде хочет кого-то запутать, поймать, а его самого в то же время ловят и путают. Сна не было, и отступления не было, и выхода никакого! Успокаивался на одной мысли: польза под конец жизни, вот она, польза, грозная, ледяная, смертью дышащая, от нее поджилки трясутся, душа замирает, хочется «мама!» крикнуть, все так, да ведь бесполезность — это уж совсем лед, кровь застывает. Заснул под утро, маялся в кошмаре: Анна Петровна представлялась в зверином непотребстве, то с мордой кошачьей, с клыками во рту, то с эполетами на плечах, а то — капот нараспах, и ляжки белеют в синеватых лягушачьих разводах...

Господин Кирилов, заведующий агентурной частью Третьего отделения, беседовал с Николаем Васильевичем не так уж долго, но как-то странно, зигзагами, точно вел не простой разговор, а нечто неприятно-многозначительное, каждое слово с задней мыслью, в некотором роде дознание. Шут его знает — может, разучился человек разгова-

ривать по-простому, непременно с подвохом да подковыркой? Например, интересовался:

— А зачем вам понадобилось в семьдесят третьем году ездить в Вену на выставку?

Так как особых причин для той поездки у Николая Васильевича не имелось, то объяснить зачем было совершенно невозможно. Николай Васильевич краснел, мялся, бормотал невнятицу, а господин Кирилов, кажется, торжествовал: ага, поймал! Внешность господина Кирилова могла бы показаться кому-то замечательной и выдающейся — большой лоб, нос длинный, греческий, усы и баки черные с проседью, — но для Николая Васильевича в этом красивом лице было отталкивающее. Белизна почти мертвенная, бескровная. Когда-то, мальчишкой, лазал в пещеры, в заброшенные каменоломни, и там в потемках находил жуков и растения, не имевшие цвета, беловатые, слепые. И вот эта белизна — принадлежность к подземному, тайному — была на лице Кирилова. Моргая тяжелыми веками, господин Кирилов вдруг спросил:

— А как здоровье, Николай Васильевич? Не жалуемся?

— Нет. Отчего же? — как бы даже обиделся Николай Васильевич, а у самого дух занялся: экий мудрец, чего спрашивает. Да что за дело его насчет здоровья интересоваться?

Кирилов тут же объяснил строгим голосом:

— Нам больные люди определено не нужны. Я смотрю, у вас наружность не сказать чтобы очень цветущая. — Бесцеремонно шурясь, оглядывал. — Чахотки нет? А то заразите людей. Может, с этой целью и подсылают: перезаразить все Третье отделение к чертям, ненавистное, а? А? — смеялся, выставляя зубы.

Николай Васильевич качал головой и руками махал: нет, нет, ничего подобного! А сам думал, содрогался: «Ну и народ! Ну и публика! Монстры какие-то. Гадины отвратительные. Как же работать? Невыносимо. Неужто все там такие?» Кирилов меж тем достал из железного шкафа листок бумаги и толкал его щелчком пальца через стол по стеклу: типографским шрифтом было напечатано: «Письменное заявление». Ниже следовало заявлять, чтобы приняли в секретные агенты с жалованьем тридцать рублей в месяц. Николай Васильевич заявил. Господин Кирилов поставил свой росчерк и, спросивши, кого на первый случай Николай Васильевич мог бы иметь в виду, велел приходить в понедельник к десяти.

24 января Николай Васильевич встретился с Петром Ивановичем и все рассказал. Об одном предупредил: если от него потребуют предательства или выдачи кого бы то ни было, он тотчас выйдет в отставку. Служить в тайной полиции! Да если б еще недавно кто-нибудь ему сказал: «Вы, Клеточников, с января начнете получать деньги в Третьем отделении», он бы посмотрел на человека с диким изумлением, как на полного идиота. А то еще, глядя, всадил бы пощечину.

Петр Иванович улыбался мягко и дружески.

— Милый Николай Васильевич! В наши дни все так быстро и неостановимо меняется, ничего удивительного. Я, например, еще недавно жил в какой-то дыре, в глухомани, с беспоповцами, читал раскольничьи книги, совершал их обряды, и вдруг я здесь, в столице, — курю дорогие папиросы, пью пиво и разговариваю запросто с сотрудником Третьего отделения. А? Разве не удивительно?

Николай Васильевич кивал уныло, как бы говоря, что он понимает шутку, но от этого ему не легче. Затем Петр Иванович сказал, где и как они будут встречаться, просил соблюдать очень точно назначенные дни и часы, а также обращать внимание на условные знаки, выставляемые обыкновенно на окна: то в виде книги, то лампы

или какой-нибудь вазы с цветком. Вдруг спросил, сильная ли у Николая Васильевича близорукость и хорошо ли он видит в очках. Николай Васильевич сказал, что близорукость порядочная, очки слабоваты, но ничего, привык.

— Очки надо менять,— сказал Петр Иванович.

— Да, да, я знаю. Я имею в виду. Как-нибудь надо зайти к доктору...

— Очки нужно менять немедленно,— сказал Петр Иванович строгим и неприятным голосом.— Ваше зрение теперь не только ваше, оно принадлежит и другим. Вот вам адрес врача.— Вырвал листок из памятной книжки и дал Николаю Васильевичу.— Деньги у вас есть, чтобы заказать сейчас же? Очки в хорошей оправе стоят пять с половиной.

Николай Васильевич, пряча листок в карман, произнес нетвердо давно заготовленное и все равно гадкое, но — выхода не было. Насчет того, чтобы получить, если есть возможность, заимообразно нужот бы рублей двадцать. Потому что за комнату платить и вообще глотнуть немного петербургской жизни, а то каждый вечер в эту ступолку, фуколку, все средства профукал. Выговорилось как-то длинно, развязно и вместе жалобно, отчего, Николай Васильевич почувствовал, лицо залилось краской. Но выхода не было. Петр Иванович кивнул все с тем же серьезным видом и, вытащив кошелек, отсчитал двадцать рублей и дал Николаю Васильевичу. Затем записал что-то в памятной книжке.

— Так,— сказал Петр Иванович.— Пожалуйста. И долги, вероятно, накопились?

— Долгов-то нет. Я долги избегаю, просто даже не терплю. А знаете ли, пойти с девушками, знакомыми — да они и ваши знакомые, на Песках, помните? — ну вот, в кондитерскую, на Невский...

— Это я вам не советую. Это нужно оставить.

— Почему оставить? Ваши же знакомые! Милые же какие, курсистки, вполне радикальные...

— Оставить, оставить, Николай Васильевич.— Петр Иванович, улыбаясь, делал рукою мягкий, успокаивающий жест, будто разговаривал с ребенком.— Вы теперь, извините за сравнение, Николай Васильевич, как женщина в интересном положении, должны всю жизнь свою перестроить. Лучше дома сидите. А то, не дай бог, споткнетесь или поскользнетесь на ровном месте. Зачем нам это нужно? Девушки этих я, конечно, знаю. Ничего в них особенного, пустынькие девицы. Забыть про них.

Вечером того же дня, 24 января 1879 года, Петр Иванович — он же Александр Михайлов — открыл тетрадь в розовой обложке с надписью «Кассовая книга «Об. З. и В.»». Сюда заносил все мелкие, иной раз и крупные, рублей до ста, а однажды, в декабре, даже двести пятьдесят, отправленные в Саратов на поселение, расходы общества «Земля и воля». Тетрадь завелась три месяца назад, первые записи были, пожалуй, комические: «Пальто два и две шапки — 39. Две пары сапог и калош — 16», «Воробью (то есть Коле Морозову) на жизнь — 20». Но среди декабрьских трат уже значились нешуточные, под маленькой пометкой «дез.» — «дезорганизация». На третьем листе на обороте сверху аккуратно записал: «Января 24. Долг Льву — 17» (утром встретились с Тихомировым). И ниже: «В долг агенту — 20».

Итак, с завтрашнего дня странный человечек — там, у Цепного моста! То, что казалось невероятнейшим, произошло. Чем же он их пронял? Почему так за него схватились — и Кутузова, и тот чиновник, будто бы родственник, и сам Кирилов? Влезть туда очень трудно, не-

мыслимо, а он — вроде бы без труда. Значит, есть в нем что-то, невидное простому зрению, скрытые таланты, что-то мыльное, вазелиновое, позволяющее скользить и проникать. Очень интересно. Безумно интересно. Главный интерес, разумеется, впереди, а пока что — молчок. Рано торжествовать. Молчок, молчок. О нем не узнает никто из самых ближайших. Тем более теперь, когда страсти накалены и возникает положение, напоминающее лебеда, рака и щуку. Общество может просто разорваться преждевременно на куски, как худо приготовленная бомба. В октябре схвачены такие бойцы, как Ольга Натансон, Адриан Михайлов, кучер Варвара, Обошешев, Малиновская, Буланов, Маша Коленкина — Маша, отважная душа, отстреливалась. Несчастье как будто сплотило уцелевших, но ненадолго. На собраниях — ничего, кроме пререканий, взаимных укоров и чуть ли не оскорблений. «Револьверщики» и «деревенщина» — вот два полюса, по которым разрывалось, треща и лопааясь, славное общество. И это значило, что о странном человечке Николае Васильевиче — ни тем, ни другим. Гробовая тайна. Ведь тут может быть самый громадный успех за последние годы, а может быть — крах, новые смерти. Что в нем привлекательного? Во-первых, то, что приезжий, провинциал, без родственников, без друзей, никаких связей и обязательств. Лучшие люди для дела — окаянные одиночки. Но это столь же прельстительно и для Третьего отделения. Во-вторых, непьющий, некурящий, смирный, вялый, слабогрудый, с курчавой бородкой и бледностью монашка. Облик очень важен. Когда такой хилый, на ладан дышащий предлагает свою жизнь для общей пользы, — это серьезно. Когда примерно то же предлагал Мартыновский или такой здоровило, как Шмеман, поневоле задумаешься: не игра ли тут, не театр ли шиллеровский?

Так размышлял, то окрыляясь надеждой и торжеством, то погружаясь в тревогу, Александр Дмитриевич Михайлов, прозванный Дворником. Перед сном, как обычно, забаррикадировал дверь шкафом и столом, под подушку положил заряженный револьвер.

Та польза, о которой хлопотал Клеточников, стала проявляться с отчетливой и необыкновенной быстротой. Не прошло и нескольких дней, как агент предупредил о готовящихся обысках у курсисток и студентов: всем удалось сообщить, но в одном случае какая-то радикальная идиотка чуть не погубила дело. Вздумала поиздеваться над жандармами, придешшими с обыском, она сказала насмешливо: «А, здрасте! Мы вас давно ждем!» Жандармы не нашли, разумеется, ничего предосудительного, кроме этой насмешливой фразы, которую сообщили начальству, и в Третьем отделении случился переполох: кто мог предупредить студентов об обысках? О готовящейся акции знали лишь Кирилов, его помощник Гусев, Клеточников и одна курсистка, предложившая услуги в качестве доносчицы. Кирилов и Гусев вызвали нового агента для суровогопытанья, и Клеточников — сам позарился своему хладнокровию! — твердо сказал, что разболтала, конечно же, курсистка. Вызвали ту, она растерялась, в слезы, все стало ясно, ее прогнали, Клеточников вышел сухим из воды. Но после этого едва не рокового случая задумались: все ли сообщения агента нужно использовать для немедленного действия? Терять такого человека — его ценность увеличивалась с каждым днем, в геометрической прогрессии — было бы преступлением.

Ну разве не драгоценность те два десятка фраз, переданных Клеточниковым в конце января, сразу же по прибытии на место службы?

«В конце 78 г. писарь с фабрики Шау (за Нарвской заставой) Федор Францев дал одному рабочему письмо от имени домашнего учителя Петра Николаева (шпиона) к Францу Матвеевичу Федоровскому (угол Казачьего и Загорского, 60/10, бельэтаж, 6 окон, три входа в

дом) присяжному поверенному (бывшему). По этому письму рабочий явился к Федоровскому. Федоровский, узнав, что рабочий этот бежал из ссылки, принял в нем живое участие, дал ему 16 р. денег, спрашивал, не знаком ли он с работающими в Вольной русской типографии, просил, не может ли познакомить с ними, так как, мол, я слышал, что они нуждаются в деньгах, и при этом, открыв шкатулку, показал векселей на 20 000, запрещенные издания и предлагал ими пользоваться. «Как бы мне познакомиться с самым главным-то, кто у них всеми делами-то заправляет — я бы с ним в компанию вступил», — говорил он.

У Федоровского несколько раз был в гостях и ночевал воспитанник учительницы Александровой (из Москвы), болтал и был обыскан ночью Федоровским. Федоровский одел его на свой счет.

Федоровский несомненно шпион. Приметы его: лет 40—45, брюнет, роста ниже среднего, католик, борода клином, есть бакенбарды...

Все так, золотые россыпи, но дело пока еще не шло о жизни и смерти. Однако скоро, в начале февраля, возникла смертельная необходимость в агенте: завертелась история с Рейнштейном, Михайлов его несколько знал, как знал многих из Северного союза русских рабочих. Рейнштейн был послан в Москву для организации рабочего союза (филиала) там, но в Москве вскоре случился провал, были массовые аресты; Рейнштейн вернулся в Питер в начале февраля, числа 6-го. Между тем в конце января был арестован вожак Северного союза Обнорский, а в середине февраля — Клеменц, один из редакторов «Земли и воли», за которым полиция охотилась безуспешно и долго. Эта цепь провалов вызвала подозрение. Обратились к агенту. Его раскопки принесли ошеломительные результаты: виновником московского разгрома, арестов Обнорского и Клеменца оказался Рейнштейн. Агент сообщил, что в Москве Рейнштейн получил несколько сот рублей от полиции и, удачно справившись с московским подпольем, он будто бы обещал за тысячу рублей так же ловко разделаться с петербургскими революционерами. Помогала ему в этих предприятиях жена, Татьяна Алексеевна, бывшая любовницей Обнорского. Вот какие прелестные новости были узнаны в середине февраля, и тут же принято решение: Рейнштейна казнить. Три Николая Васильевича странным образом сплелись в этом деле: подлец Николай Васильевич Рейнштейн, за которым началась охота, агент Николай Васильевич Клещиков и добровольцы-охотники Николай Васильевич Шмеман по кличке Немец и Михаил Родионович Попов по кличке Родионыч.

15 февраля Михайлов записал в розовой тетрадке: «Родионычу спец. дело — 100». 21 февраля другая запись: «Оружие холодное — 20». 26 февраля шпион Рейнштейн, возмнивший, что совсем не трудно заработать тысячу рублей на костях революционеров, был убит в Москве, в номере бывшей Мамонтовской гостиницы.

Когда Родионыч вернулся в Питер, он долго не мог связно рассказать, как все это произошло. Никто и не спрашивал. Потом сам стал рассказывать, и каждый раз начинали дрожать руки, краснело лицо, он задыхался, будто в приступе астмы. «Проклятая нечаевщина...» — однажды пробормотал. Совсем уж нелепость! Пришлось объяснить, что нечаевщиной здесь не пахнет, что студент Иванов, убитый Нечаевым, никаким шпионом не был, а был лишь соперником Нечаева и спорщиком, а Рейнштейн принес столько зла — да что говорить! Родионыч все это понимал, но, кажется, где-то в глубине, душою, дрогнул. Как раз в то время обсуждалось новое дело, новая неизбежная кровь: казнь Дрентельна, заменившего на посту шефа жандармов Мезенцева. Один Жорж Плеханов из членов совета угрюмо воздерживался. Покушение вышло неудачным. Леон Мирский стрелял в

Дрентельна на скаку, на Невском, не попал и умчался, это вызвало небывалое ошаленье властей: Петербург дыбом, облавы, аресты. Противники террора — Жорж среди них первый — вновь подняли шум: «Вот результаты разбойничьей тактики! Мы гибнем!» Но главный словесный террорист Коля Морозов грохнул статью в «Листке «Земли и воли», где черным по белому было сказано: «Политическое убийство — это осуществление революции в настоящем». Все это знало, что разрыванье общества продолжалось и конец близок.

И тут как раз подоспели два удачливых молодца из южан: Гольденберг и Кобылянский. В феврале Григорий Гольденберг застрелил харьковского генерал-губернатора князя Кропоткина. Кобылянский ему помогал. Это было дело Осинского, то есть предприятие «Земли и воли», и хотя Валериан был уже в тюрьме, его руки действовали, его пистолеты стреляли. Кобылянский оказался молодым коренастым поляком, он плохо говорил по-русски и, стесняясь этого, упорно часами молчал, зато Гришка Гольденберг говорил за десятерых. Его речь не была с заметным акцентом, как, например, речь Зунделевича, и вообще он не походил на еврея, был скорее хохол, темно-рыжий, смуглый, скуластый, шумливый хохол, речь его была по-южному торопливой, напевной, с резко меняющимися интонациями, как говорят в Киеве и в Одессе. Гольденберг, как видно, очень гордился делом Кропоткина, много раз пересказывал одно и то же с подробностями, и когда, размахивая руками, впадал в особенную ажитацию, на его губах даже прыгали пузыри.

Он чувствовал себя героем и любил, чтобы его водили по нелегальным квартирам, поили водочкой и он бы болтал, болтал, болтал. Было похоже, что Гришка слегка очумел. Вдруг заявил — когда собрались впятером: он, Кобылянский, Михайлов, Квятковский и Зунделевич в одном известном трактире, где можно разговаривать свободно, относительно свободно, — что он приехал в Петербург неспроста. Пусть никто из товарищей не удивляется. Он решил нанести последний удар. Убить м е д е д я. Доделать то, чего не доделал Митя. И не надо отговаривать, никаких разговоров, молчание, полное молчание. «Медведь мой! — Стучал кулаком, пузыри прыгали. — И я его никому не отдам!»

Михайлов после одной из трактирных встреч сказал Квятковскому:

— Не знаю, говорить ли нашим в совете? С одной стороны, мы обязаны сказать...

— Пока не говори.

— Не стану. Но представляешь, что будет, если они узнают не от нас? Страшно подумать!

Решили пока не говорить. Да и делом еще не пахло, разговоры, похвальба. Правда, в Гришке, при его склонности к трезвону и хвастовству, была какая-то скрытая сумасшедшая сила: мог сдуру, наплевав на всех, кинуться в самое безумное. Нельзя было выпускать его из виду ни на день. И тут явился Соловьев. В Питер приехал он раньше Гольденберга, чуть ли не в декабре, но возник на горизонте и стал разыскивать Михайлова в марте. Все они, чуть что, начинали разыскивать Михайлова. Нашел, признался в своем твердом намерении — таком же, как у Гришки. Для того и приехал, бросил Саратов, поселение, друзей, никому ничего не сказал. Как быть? Пришлось знакомить с Гришкой и Кобылянским, обсуждать вместе — прежних пятеро и шестой Соловьев.

Но совету все еще — ни слова!

Опять трактир, тот самый. Задняя комната, стол с бутылками пива, копченая рыба и — тяжесть, духота переговоров. Тяжесть от-

того, что он, Квятковский и Зунд не переступали в неведомое, оставались жить, а эти трое рвались туда, за черту. Михайлов знал, что и он будет там, за чертой, и, наверное, скоро. Но еще не сегодня. Будто как-им-то мечом, павшим с небес, разрубило надвое: трое сели на одной стороне стола, трое других напротив. И у тех, других, даже лица другие. При свете свечей — неживое что-то, застывшее. Гришка попросил водки. Квятковский стучал в стенку, прибежал Федька, половой, приносил графин, никто не пил, кроме Гришки и Кобылянского, но и эти двое не пьянели. Советовать им было не с руки. Сами должны решить как и что делать. Соловьев твердил: он не отступится, нужен лишь сильный револьвер и яд. Может ли общество дать ему револьвер и яд? Они трое не могли отвечать за общество. Зунделевич сказал: стрелять не должны ни еврей, ни поляк, начнутся погромы.

— Я знал, что вы это скажете! — У Гришки исказилось лицо.

Кобылянский отпал, Гольденберг упорствовал, но всем стало ясно, что стрелять ему не дадут. Тогда Гришка стал просить Соловьева, чтобы тот разрешил ему быть запасным стрелком, Соловьев не соглашался: в этом деле (он все продумал) надо действовать моментально и в одиночку. Чем больше участников, тем скорее провал. Михайлов со страстным вниманием глядел на этого человека: знал его раньше, но теперь ему казалось, что не знал никогда. Соловьев с его серым, испытанным от нервного напряжения лицом был похож на мелкого чиновника, проигравшегося дотла. Худыми пальцами пощипывал жидкие регистраторские усики. Разговаривал едва слышно: «Единственное, что мне нужно, — яд». Заботился не о жизни своей — о смерти.

На самом-то деле нужно было много чего: а) организовать слежку, б) квартиру, в) оружие, г) лошадь для бегства, д) кучера. Все это Михайлов держал в уме, понимая, что без помощи общества не обойтись, и видя наперед другое: получить помощь будет немислимо трудно. Ведь шло к полному разладу. Однако все же не ждал встретить такое сопротивление и такую враждебность.

Родионыч чуть ли не кричал, что своей рукой убьет «губителя народного дела». Квятковский вспылал:

— Мы тоже умеем стрелять!

В какую-то минуту Михайлов пожалел, что пришел с этим разговором, потом понял — так лучше, договорить уж до конца. Они требовали назвать фамилию. Михайлов не называл. И Плеханов, и Игнатов, и в особенности Родионыч кипели злобой к человеку, который был известен им лишь тем, что жертвовал собой, шел на мученья и смерть. Игнатов сказал:

— Я знаю, кто это: Гольденберг!

— Он сумасшедший! — кричал Родионыч. — Его надо связать и вывезти силой из Петербурга! В любом случае, удачи или неудачи, будет разгром всего движения. Вот запомните, я всех вас предупреждаю! Этот путь приведет нас к гибели!

— И это говоришь ты, месяц назад каздивший Рейнштейна?

— Да, да! Говорю я, каздивший Рейнштейна! И как раз потому, что знаю, что значит казнить, говорю о гибельности! — У него у самого был вид безумца. — И у меня рука не дрогнет...

Зунделевич, неизменно хладнокровный, толкая под столом, шептал:

— Пусть думают, что Гольденберг. Не опровергай...

Решено было: ввиду разногласий никакой помощью обществом не оказывать, но некоторые члены, как Михайлов, Квятковский или Морозов, могут, если желают, помогать в частном порядке. И кроме того: всем нелегальным за несколько дней до покушения покинуть Петербург. В конце марта стали разъезжаться. Соловьеву достали яд, ре-

вольвер, купили большие патроны: сказали в магазине, будто для медвежьей охоты.

От всякой другой помощи — лошади для бегства, тайной квартиры и прочего — Соловьев отказался. Ночь с 1 на 2 апреля он провел у Михайлова.

Это была лучшая ночь перед смертью. Ясная, месячная. Натопили печь, открыли окно и разговаривали тихо. Никто не мог услышать. Да и о чем разговаривали? Просто так, о прожитой жизни, о детстве, о родителях, друзьях. Вспоминали саратовцев: ведь недавно еще были рядом, Михайлов в селе Синенькие под Саратовом, среди раскольников, а Соловьев волостным писарем в Вольском уезде. Мечтали, наделись, верили фанатично в целительную и вековую мудрость народа. Михайлов грезил о какой-то новой, рационалистической секте, восхищался расколоучителями, Соловьев твердил о жизни «по справедливости», народной правде, которая — там, в темных избах, в гуще крестьянской. И вот — года не прошло — оба здесь в ненавистном Содоме, потому что все бесполезно, один выход: взрывать! Воздух очистится, и, может быть, вся русская жизнь потечет по-иному. Никак иначе нельзя отомстить за друзей, никак иначе — вывести народ из оцепенения, из болотной спячки, из унылости тухлой, тысячелетней. Об этом не говорили, потому что слишком говорено раньше, все было ясно, очевидно, единственно.

Соловьев говорил: самая большая боль для него — муки родительские, не отвратить. Старики живы, в Петербурге. В пятницу он с ними простился, сказав, что уезжает в Москву. Никто им ничего не объяснит, да все одно: не поймут. Отец — коллежский регистратор, лекарский помощник придворного ведомства. Постоянно в страхе. Всю жизнь боялся нанести урон здоровью влиятельных лиц, трепетал малейших ошибок, случайностей, а сын его — с громадным револьвером для убийства...

Он был старше Михайлова лет на девять, но Михайлову казалось теперь, что — младше. Бородку он сбрил третьего дня. Ведь жизнь кончена. Ничего дальше не будет: ни жены, ни детей, ни старости, ни любви. Михайлов еще надеялся, что у него — будет.

Никогда Михайлов не ощущал себя с кем-либо рядом — слабым. Всегда было сознание, что он сильнее, крепче на ногах, должен нести главный груз. И только в эту ночь...

Соловьев как будто понял, вдруг улыбнулся — в жидких усах, криво:

— Ты не гляди на меня как на мученика христианского, которого — на растерзанье... Ведь и тебе то же будет. Не завтра, так послезавтра.

— Да, — сказал Михайлов.

И стало легче.

— Вот еще что. Скверная мысль, паскудная, но никак не уклонишься, вертится тут, как все равно... — Он отмахнулся, будто от осы. — А ежели напрасно, а? Ежели толку не будет? Все так и останется, как и было? Все то же самое в этом мире, только минус я... Зачем же тогда?

Михайлов молчал. Он не мог опровергать это сомнение, такое человеческое, предсмертное, и не мог поддерживать. Он не мог ничего. Должен был молчать.

— Нет, это невозможно. Глупости, вздор! Никакая не мысль, а просто провокация на почве страха. — Соловьев и не ждал от Михайлова слов. Разговаривал с собой. — Человек так привязан к земле, что готов обманывать себя бессознательно. Я не боюсь смерти: это то, что мне твердо известно. И все ж боюсь, боюсь: это то, что я чувствую.

Вот и выскакивают помимо воли разные мысли... Еще вот. Тоже мучает. Древние христиане, которых бросали в цирках на съеденье львам,— где-то на дне их безумья, их веры, готовности страдать не было ли капли тщеславия? Это горькая капля. Нет, нет, у меня этого нет совершенно, я лишен от природы! И когда я учился на юридическом факультете... Ведь в самом деле, если есть капля тщеславия и если ничего не взорвется, все останется на прежних местах,— тогда за чем же? И огород городить нечего.

Михайлов молчал. Соловьев тоже замолчал, потом спросил:

— Ты придешь завтра утром?

...Он пришел и видел, как на тротуаре, ведущем от Певческого моста к Дворцовой площади, Соловьев, высокий, в чиновничьей фуражке с кокардой, в длинном своем пальто, стрелял в царя, тот бежал, делая прыжки в стороны, Соловьев стрелял еще, еще, все мимо, потом набросились, повалили, кто-то бил саблей, кричали.

В воскресенье, в первый день пасхи, Николай Васильевич Клеточников гулял с новым приятелем Чернышевым по Невскому. Заходили в портерные. Отказаться было нельзя: Чернышев уж очень одолел, приставал еще с пятницы, как узнал насчет пособия, тридцати рублей, полученных Николаем Васильевичем от начальства. Ведь Николай Васильевич уже неделю на новой, прекрасной должности: переписчиком в агентурной части. Куда как лучше! И работа спокойней, и место тихое, всего трое в комнате, а там-то, в сыском, всегда шум, толкотня, дым коромыслом, агенты шныряют, дверьми хлопают и, главное, не можешь знать, что тебе скажут через минуту, куда пошлют. Должность беспрекословная. А другим нравится, по роже видать: все ему мило, целый день на ногах, бегаёт саврасом, не спит путем, не обедает, где водочки хлыстанет, где пирожок, где рублик-другой казенных утаит — и доволен. Ах ты господи, пришлось помыкаться два месяца полных, пока господин Кирилов не сообразил: у каждого человека свои дары природы. Николай Васильевич по этому делу тупица. Зато почерк необыкновеннейший, алмазный. И Николай Васильевич прилежно, хотя скромно и как бы вяло, внушал: агент из него бесполезный, а вот по письменной бы части куда ни шло. Разрешилось: с конца марта, с понедельника, Николай Васильевич в агентурной части вольнонаемным переписчиком. Пока еще не в штате, но обещают. Специальное пособие дали, три червонца, денежки немалые.

А Чернышев в той же комнате сидит. Человек малого роста, да нахальства немало. Толстенький, молодой еще, глаза какие-то странные, враскорячку: один глаз зеленоватый, другой голубой. То голубым глядит, все шутит, глупости разные, а то зеленоватым уставится — холодом обдаёт. Пристал: пойдём да пойдём. Нехорошо с товарищами радостью не делиться, будто нехристь какой. Ежели вы, Николай Васильевич, человек православный и благородный, то обязанности о товарищах озаботиться, а не то что: схватил тридцатку — и домой уполз, в берлогу гнусную, холостяцкую.

Терпел, слушал, сам болтал чепуху и поил Чернышева: в каждой портерной, как шли от вокзала правой стороной, останавливались. Вечер был ясный, теплый, истинно праздничный. Народ гулял, в портерных толкотня, веселье, хмельные чиновники, заводские рабочие в котелках, приказчики, дамочки, на улицах каретная гоньба, крики, спешка, брызги черноты из-под колес, а из больших ресторанов со вторых этажей музыка летит. Николай Васильевич и сам немножко потягивал, лафитничка два, три, четыре, а то и пятый, чтоб не обидеть и не раздражить, то мозельвейна, то немецкого портера, то рябиновки под огурец, так что голова стала полегоньку пухнуть, соображение мутилось,

и возникало само собой сладкое удалство: вот она, петербургская жизнь, золотая, мечтательная! Но за всем тем помнилось: а шут его знает, кто таков? Хороших людей в этом гадюшнике не бывает. Толстяк был тоже холост, домой не спешил и намеревался, кажется, прокутить все товарищеское пособие.

Николай Васильевич положил предел шесть рублей. Да и то легкомыслие, это уж на полгода вперед. Это уж только потому, что нельзя отказать, подозрительно. Чернышев кого-то бранил, сварливо, с упорством пьяным, бессмысленным, Николай Васильевич не сразу разобрал, потом понял: Вольфа, столоначальника.

— Это жаба, хамелеон подлый, вы его бойтесь, он наушничает. Слышите?? Подальше от него. Я дурного не посоветую...

Николай Васильевич кивал, соглашался.

Вдруг, уставив зеленоватый глаз, цедил ледяным тоном:

— А я все про вас знаю, Клеточников. От меня — ни-ни, не укроешься.

— Что ж вы можете знать? — смеялся Николай Васильевич. — Я человек откровенный.

— Все ваши секретности знаю.

— Ну и знайте на здоровье.

— Ах вот вы как? — Чернышев будто бы сердился, но глазом голубым, веселым, уже шутил, проказничал. — А у кого дама сердца на Литейном проживает? Хорошенькая? Подруга есть? Велите, чтоб с подругой познакомила. Мне подруга нужна...

Николай Васильевич отшучивался, а у самого холодело: болтает зря или вправду до чего донюхался? Никому же верить нельзя, все они там гады ползучие, перекрученные. Может, он и не пьян вовсе, и ходить ему с ним, Клеточниковым, в светлый праздник по портерным никак не интересно, но — господин Кирилов послал? Неделю назад, сразу же, как перевели в агентурную часть переписчиком, Петр Иванович предложил ему посещать новую квартиру, где жила барышня Наталья Николаевна, одинокая. А он будто бы ее друг. Для всех понятно и ничего удивительного. Николаю Васильевичу очень понравилось, и барышня милая, тихая, бледненькая, на диване с книжкой, а они с Петром Ивановичем в соседней комнате. Но живет барышня не на Литейном, на другой улице.

Однако неприятное что-то колыхнулось, в голове прояснело.

— Никаких барышень, знакомых на Литейном у меня, к сожалению, нет, — сказал со вздохом.

— А где есть?

— Да нигде нету. Я до барышень не охотник, и они до меня...

Чернышев стал тут же с необыкновенной живостью и азартом тянуть Николая Васильевича к какой-то знакомой его Рихтерше, в заведении. Насилу отбился. Чернышев, выпросив в долг, под честное благородное слово три рубля, убежал.

На другой день, 2 апреля, в понедельник, Николай Васильевич едва встал, голова раскалывалась, был одиннадцатый час. На службу мог не идти, но еще страстной пятницей договорился с начальником, что придет, побросает бумажки: ведь дело поручено огромнейшее, из всех алфавитов составить один общий за десять лет. А еще обычной переписки каждый день горы. Когда ж успеть? На самом-то деле манила замечательная праздничная пустота и тишь. Самое заветное переписать. Было что: в пятницу поздним часом доставлен список подозрительных, семьдесят шесть человек, который переписать тогда не случилось. И вот — спать бы, порошок бы каких-нибудь, а он тащился, ковылял, разбитый и жалкий, изумляясь: «Что ж это за люди такие, которые каждый день вино пьют? Каково здоровье надо иметь!»

Возле здания у Цепного моста творилось странное: подъезжали кареты, пролетки, оттуда выскакивали и бежали опростелом к подъезду люди. Николай Васильевич определил: агенты. Некоторых узнавал. Зачем-то вызывают? В вестибюле кучками теснились чиновники, разговаривали вполголоса, возбужденно, на лицах — общее, одно, то ли перепуг, то ли скорбная какая-то загадочность. Ага, вот и Вольф! Подбежал и, глаза тараща:

— Покушение на государя... Слава богу, да, да, жив... жив... Схватили...

Произошло в десятом часу. Все сыскное отделение вызвано. Канцеляристы и переписчики, разумеется, не нужны.

— А вы — как же? Не знали?

— Я не знал! Я совершенно ничего не знал! — лепетал Николай Васильевич, потрясенный, прижимая обе руки к груди. — Я своим алфавитом занимаюсь... Боже мой, в светлый праздник! Злодейство!..

Шел по коридору шатаясь, держась за стенку. И правда шатало: голова-то кружилась, во рту дрянь. Но в своей комнате, пустой, усидеть не мог. Рука дрожала, буквы не выводились. Вновь спустился на нижний этаж, там теснилось все гуще, у многих похмельные дикие лица, кто-то разгонял:

— Господа, вызванных прошу разойтись по комнатам!.. Всех прочих — по домам! Не мешать, господа, не мешать, не мешать.

Кто-то рыдающим голосом:

— В честь чудесного избавления... Ура-а!

Николай Васильевич кричал со всеми. Сердце колотилось. Возникла ужасная мысль: кто стрелявший? А вдруг? Прискакали из дома градоначальника, сообщили последнее: покушавшийся приведен в сознание, назвал себя Иваном Осиповым Соколовым. Ничего более не указал. Бил его шпагой и поймал офицер из охранной стражи Кох. Государь даже не ранен. Злодею лет на вид около тридцати, светлые усики, самообладание фантастическое. Когда пришел в себя, сразу попросил папироску.

Николай Васильевич слушал, все более утверждаясь в ужасном: Петр Иванович! Он решил вдруг бежать к дому градоначальника. Но тут же понял, что безумие, не пустят, невозможность. Мечась вниз, то сбегая по ступеням, то поднимаясь, не зная куда и зачем, вдруг увидел, как быстро таким клином спускаются парадной лестницей начальственные лица: в острие клина помощник шефа свитский генерал Черевин в полной форме, за ним господин Кирилов и адъютант Черевина жандармский капитан, позади еще двое в партикулярном платье. Николай Васильевич неожиданно рванулся к господину Кирилову (безумье, похмельный бред!) и пробормотал, прохрипел, а может быть, даже крикнул:

— Позвольте, Григорий Григорьевич, содействовать! Ведь мог, часом, видеть и узнаю в лицо...

Господин Кирилов, на миг отстав от клина, вонзился металлическим взором.

— Где могли видеть?

— На Песках, в студенческих номерах то есть, собственно...

— Следуйте за мной!

Генерал Черевин с адъютантом поместились в первой карете, господин Кирилов и один из партикулярных господ сели во вторую и туда же по знаку, данному белой перчаткой господина Кирилова, всунулся Николай Васильевич. В начальственной карете пахло духами, как показалось Николаю Васильевичу, дамскими. Уловил запах крема «Греко». Партикулярный господин, видимо из агентов крупного чина, не теряя времени докладывал: профессор фармации Трапп получил

письменное предупреждение от злодейского комитета насчет того, чтобы воздерживаться от пыток арестованного при дознании, за что грозят смертью. Господин Кирилов, схватив протянутый агентом листок, пробежал быстро, ухмыляясь и как-то горделиво сверкая глазами.

— Запугивают, негодяи! Ах, маньяки! Ох, подлые души! А старик уж там, в доме Зурова, и делает все что нужно. Собственно, сделал главное: спас злодея от смерти. Яд не подействовал...

У Николая Васильевича сжималось сердце. Было нехорошо. Дыханье пресекалось. Он не чаял, когда доедут и можно вдохнуть воздуха. Лошади круто поворачивали, замедляли бег, карета наконец остановилась. В доме градоначальника встречали при входе. Повели через приемную и столовую в небольшой коридорчик, из которого дверь вела на черную лестницу. Поднявшись на один этаж, вошли в дверь с надписью: «Отделение приключений». Был длинный коридор в виде галереи, с одной стороны сплошь окна, с другой белая стена и несколько дверей. Ближайшая дверь распахнута, в комнате толпилось много солдат в шинелях, с оружием: тут, по-видимому, была караульная. Белобрысый хожалый, бежавший впереди генерала, почему-то в парадном фраке, подскочил к следующей двери и отворил ее со словами:

— Он тут!

Николай Васильевич был позади всех, остался на пороге не в силах переступить. Зачем же пошел сюда? Ведь Петру Ивановичу не смел ни словом, ни жестом обнаружить свое сочувствие и знакомство. Безумие продолжалось. Неодолимо тянуло: увидеть необыкновенного человека, которого успел полюбить, и хотя бы в зглядом сказать. Он чувствовал, как охватывает, одуряет озноб, ноги подкашиваются, и, однако, шагнул в комнату и увидел множество людей: статских, полицейских, каких-то военных в адъютантской форме. Слева у стены на кожаном диване полусидя-полулежа находился... слава тебе, господи, совсем другой! Нет, нет, не Петр Иванович, вовсе не Петр Иванович! Какой-то высокий, худой, с длинными светлыми волосами, заметно всклокоченными. Взгляд мутный, лицо измученное. Возле дивана на полу было набрызгано, стояла умывальная чашка с блевотой и в блевоте кровь. Кто-то сказал: давали противоядия. Николай Васильевич протеснился к господину Кирилову и дрожащим голосом объяснил: нет, человек незнакомый.

Господин Кирилов как бы не слышал.

Надо бежать отсюда. В коридоре какой-то молодой жандармский офицер рассказывал собравшимся, как он опрокинул стрелявшего ударом шпаги:

— Повалился, а мы его молотить!.. Молотили, молотили... Во! — показывал изогнутую шпагу.— В ножны не лезет! Сломал, к шутам! Голос был ликующий. Кто-то спокойно обещал:

— Ничего, другую дадут. Из золота...

Навстречу по коридору бодрым шагом, держа под мышкой портфель, спешил человек в вицмундире с судейским значком. Бежать, бежать!

К утру следующего дня добились — Николай Васильевич тотчас, как пришел на службу, получил сведения, — что стрелявший признал: зовут его Александр Константинов Соловьев, коллежский секретарь, из дворян Петербургской губернии, имеет отца Константина Григорьевича, мать Татьяну Алексееву, а также брата, служащего в хозяйственном комитете сената, сестер и так далее. О себе показал подробно и верно, более — ничего и ни о ком. Видимо, кто-то вчера же его опознал. Мысль о цареубийстве возникла у него будто бы после покушения на жизнь шефа. В страстную субботу заходил на Дворцовую площадь, чтобы видеть, в каком направлении гуляет государь, в воскресенье

совсем не приходил, а в понедельник произвел покушение. Ночь на 2-е гулял по Невскому, встретился с проституткой и ночевал где-то у нее на Невском. Форменную фуражку купил в Гостином дворе. Револьвер подарил один знакомый, фамилию которого сказать отказался. Яд, цианистый калий, достал в Нижнем Новгороде года полтора назад и держал его в стеклянном пузыре. Приготовил его в ореховую скорлупу накануне покушения, и, когда били, он тотчас, упав лицом на землю, раскусил орех с ядом, бывший во рту, а другой орех найден при обыске в кармане пальто.

Петр Иванович слушал сведения с окаменелым лицом. Не прерывал, не спрашивал, не видно было — новость для него или же знакомо.

И только когда о проститутке — усмехнулся слабо и двумя пальцами слегка махнул, как бы говоря: «Неправда!»

— Да. Чего я и боялся: выдохся яд, долго лежал...

Потом Николай Васильевич передал список семидесяти пяти заподозренных лиц и сообщил по памяти об арестах и обысках, произведенных ночью: обысканы пятьдесят два человека, большинство арестованы. Среди них доктор Веймар, присяжный поверенный Ольхин, все родственники и прежние знакомые Соловьева. Дворникам и швейцарам показывали карточки Соловьева и Мирского с целью узнать, не бывали ли эти лица у кого-либо из квартирантов.

Потом Наталья Николаевна пригласила в соседнюю комнату, где был накрыт стол для чая. Ели кулич и пасху творожную, замечательно вкусную и на третий день, Наталья Николаевна сама готовила. Понемногу разговорились, разохотились. Петр Иванович рассказывал, как жил среди сектантов и раскольников, как молятся по-ихнему, интересно. А у одной его хозяйки висело на стенке, у образов, такое сочинение, в рамку вделанное, рукописное: «Известия новейших времен». И там разные смешные премудрости, этак ловко напридумано, Петр Иванович запомнил и говорил все подряд. Вроде того, что благодать на небо взята, любовь убита, правда из света выехала, правосудие в бегах. Ну и так дальше. Много забавного! Кредит вроде, что ли, обанкротился. Невинность под судом. Ум-разум в каторжной работе. Закон лишен прав состояния. И конец, главное, очень интересный: а в конце концов терпение осталось одно, да и оно скоро лопнет.

Смеялись. Эх, народ, народ, никто лучше не сочинит, никакой писатель. Наталья Николаевна тоже рассказывала: как она «в народе» жила, фельдшерницей в Новохоперском уезде. Тоже много веселого. Хотя и горького наравне. И казалось: нет рядом Петербурга, обысков, страха, близкой казни того, несчастного, а только они трое за столом при свечах... Хорошо было! Славно.

Уходить не хотелось, а надо. Петр Иванович первый ушел часов около десяти, а Николаю Васильевичу как другу дома пришлось задержаться. Петр Иванович велел:

— Вы уходите в четверть двенадцатого: не раньше, не позже. Если раньше — будет неубедительно, а если позже — на квартиру навлекать подозрение.

Умнейший человек!

Что ж, кончили ужасные испытания, миновала святая, опять присутствие, рапорты агентов, переписка, запоминанье, страх почти ежеминутный, но уже привычный, как застарелая боль, и по утрам дурак Чернышев с его шутками глупыми, скабресными: «А вы, Николай Васильевич, живете тусклой половой жизнью!»

В конце апреля Петр Иванович сказал, что вскоре уедет на месяц, на полтора. Видимо, куда-то на юг, в свои края, к раскольникам. Вместо себя никого не назначил. Скучно стало. Одна радость: весна!

Голос Фроленко М. Ф.

Я, Фроленко, по кличке Михайло, пригласил Андрея Желябова на тайный съезд в Липецк, и с этого началось его восхождение на нашем горизонте. Из мало кому известного провинциального бунтовщика (да какого бунтовщика! народника, мечтателя!) он вмиг превратился в атамана, в вождя террора. И все после той истории с быком, которую я рассказывал. У меня не было доказательств, но я чуял в нем натуру бунтовщика. Все же я знал его чуть больше, чем другие. Был у него на одесской квартире, разговаривали, шумели, пели наши хохляцкие песни, и на тех «вечорницах» я слышал рассказы о всякого рода буйствах, проделках, стычках с полицией и прочих казацких подвигах. Он любил покрасоваться, малость побахвалиться: характер-то рыцарский, а рыцарство — это всегда некоторая похвальба. И тогда я услышал историю про быка.

Запомнил такую фразу: «Я понял, что нет на свете такого страшного быка, которого нужно бояться».

Дело в том, что когда меня срочно вызвали после соловьевского покушения в Петербург совещаться по поводу съезда, в городе царило небольшое обалдение и паника. Правительство в ярости (и верно — как бешеный бык) бросалось из стороны в сторону, кидало рогами то либералов, то студентов, то вовсе невинных людей, кто попадался под копыта. Введены были военные губернаторства, пошли аресты, обыски, ссылки: все враз закипело и сгустилось втрое. Ну, и те, «деревенщики», стали нас клясть: «Ага, вот ваш Соловьев! Вот к чему это приводит. Вся наша работа к бису». А мы отвечали: «А вы, други добрые, надеялись, что враг не будет сопротивляться? Эге, умники! Будет сопротивляться, будет злобствовать, будет нас убивать, но и у нас есть выход: убивать его». Разговоры наспех, в запале, один на один или, по крайности, двое на двое ничего не давали и только усугубляли сумбур. Собраться всем! Вызвать «деревенщиков», горожан, бунтарей, все наличные силы. Объясниться начистоту, окончательно организовать или уж — окончательно враздробь. Где? Сначала придумали — Тамбов, потом остановились на Воронеже, где есть славный монастырь, Митрофановский, и куда летом народу наезжает тьма. Но прежде Воронежа все мы, сторонники нового метода, то есть террора — Тигрыч, Воробей, Дворник, Александр, Зунд и еще несколько человек, — постановили сойтись где-то отдельно, чтобы столкнуться заранее. Решили — в Липецке, близ Воронежа, городишко недурной, тоже удобен: там лечебный курорт, приезжает публика.

У меня спрашивали: кого можно пригласить с юга? Не в Воронеж, а в Липецк. Нужны, мол, верные хлопцы, которые поддержат наши идеи, чтобы к Воронежу сколотить большинство. Я назвал Желябова. Его знали по Большому процессу. Были изумлены: «Да он же завязанный народник!»

Я говорил: верно, народник, но в душе бунтарь. Да чем же он проявил свое бунтарство? Ничем, в том-то и дело. Доказательств нема. В юности какие-то наивные студенческие мятежи в университете, потом кружки пропагандистов, потом процесс, где вел себя вполне смиренно и незаметно, хотя и отказался отвечать суду. Но ведь отказалось большинство, почти все. И однако я угадывал, готов был поклясться, что он отчаяннейший бунтарь! Для того чтобы убедить товарищей, я рассказывал всем одну-единственную «бунтарскую» историю: с быком Степкой. Слышал от Андрея. Однажды он работал в поле, вдруг крик матери, испуганный, он оглянулся и видит: по полю бежит страшный черный бык Степка, его вся деревня боялась, прямо на мать. Андрей

выдрал из плетня дыря, бросил в быка, попал ему по ногам, и бык упал; это дало несколько секунд, мать спаслась.

Вот, собственно, вся история, как ее рассказывал Андрей. Он говорил о том, что нечеловеческий, ужасный страх за мать заставил его в одно мгновение принять нужное решение — ничто другое, наверное, не спасло бы. Я же передавал эту байку как героическую сагу: будто бы он схватил вилы, пошел на быка и тот испугался и пустился наутек. И, как ни странно, «сказочка про черного быка» оказалась действительной. Мне сказали: «Давай зови».

Некоторые потом говорили: тореадорские басни. Я, мол, изобразил его тореадором, каким он не был. Но я-то вышел прав. Он оказался великим тореадором, одним из величайших в истории.

В Одессе я нашел Желябова и спросил, согласен ли он принять участие в продолжении соловьевского дела. Он ответил: согласен. Но когда услышал про Липецкий съезд, про то, что создается постоянная организация и будут, значит, другие дела, много дел, он заколебался и сказал, что нужно подумать.

Думали с ним долго, до глубокого вечера, и решили так: он согласен на единичный акт и останется с нами, пока этот акт не будет выполнен. Затем он свободен и может уйти. Потребовал, чтобы дали слово, что он волен поступить по желанию: уйти или остаться. Я с суровым и таинственным, партионным видом дал ему такое слово, хотя мы насильно никого не держали. Думаю, что эта оговорка — насчет единичного акта и права уйти — была лишь бессознательной хитростью, компромиссом с народнической совестью, ибо то, к чему он пришел, давно уже зрело в его сознании. Вскоре в Одессе появился Дворник — была, кажется, середина мая, — я их познакомил, а сам уехал. Надо было выручать деньги, добытые подкопом под херсонское казначейство.

А когда в июле мы встретились с ним в Липецке, я его не узнал: законченный террорист! И не просто террорист, а страстный теоретик и обоснователь террора. Мне кажется, его главная сила как личности — это сила рациональности. Он все железным образом додумывал до конца. Коли поступить так, то другим шагом должно быть это. А коли будет это, то неотложно то-то и то-то, между тем как то-то требует того-то и так далее до логической точки. Коли дано согласие на единичный акт, значит, нужно этот акт как следует подготовить, значит, нужно создать организацию, а коли создавать организацию — и так далее. И в последний год, когда мы жили отчаянно и слепо, с каким-то смертельным легкомыслием — я говорю о той зиме перед 1 марта, иначе нельзя было, иначе сойти с ума, — он по-прежнему все докапывал до дна, до предела. И видел этот предел. Спокойно говорил о том, как его будут вешать, даже описывал казнь. Соня бывала вне себя! Она стучала его своим маленьким кулачком, требовала, чтоб он прекратил, он не мог переделать себя: не мог перестать думать до конца.

ГЛАВА III

Это носилось в воздухе: должен быть ответ, отпор, что-то непременно должно произойти и где-то уже готовится. И когда появился Михайло Фроленко с предложением поехать в Липецк, он не удивился. Не удивился и тому, что во всей Одессе Михайло к первому поехал к нему, да потом еще, кажется, к Коле Колодкевичу, и только прошло время, он вдруг задумался: «Почему же ко мне-то? Ведь знают же, черти, что я социалист, народник!» Но тут было искушение. Невозможно терпеть. И Михайло, гениальный хитрец, угадал верно: бил без промаха.

Ведь все, что медленно варилось в вековом российском котле, теперь бурно и кроваво вскипало; злоба властей, взаимное ожесточение, неуступчивость, желание мести. Какая уж тут пропаганда? Какие поселения? Тут дело пошло на живот и на смерть. В начале апреля, одновременно с выстрелом Соловьева, в Ростове вспыхнул рабочий бунт: захватили участки, избивали полицию. В середине апреля в Петербурге в военно-окружном суде начался процесс над подпоручиком Дубровиным, оказавшим сопротивление при аресте и вообще, как видно, человеком дикой отваги, а 20 апреля Дубровин казнен. За что? Да вот за сопротивление при аресте, за то, что не хотел смиренной овечкой идти на заклание. Но арест-то за что? Письма какие-то найдены у Малиновской, ничего существенного, ерунда. Казнь за письма. Главное: быстро, безколебательно, по-военному.

Это «по-военному» стало главным принципом после соловьевского покушения. 7 мая открылся процесс Валериана Осинского в Киеве, а через неделю Валериан и два его товарища, Брантнер и Антонов, уже повешены. Говорят, суд приговорил к расстрелянию, но государь самостоятельно распорядился переменить на виселицу. В середине же мая начался в Киеве процесс братьев Избицких, а 28-го казнен Соловьев. Неужели эти верховные идиоты, эти тухлые полунемецкие мозги, эти опричники с генеральскими эполетами, не понимают, что кровь обернется еще более страшной кровью и падет на их голову? Нет, не понимают, не в силах, не хватает ума перешагнуть через сегодняшнюю злобу и заглянуть в завтра. Да разве же это государственные умы? Вся Россия видит, что надо выпустить пар, дать людям хоть немного свободы, научиться уважать и другое мнение: нет, уперлись, стоят тупо, ни пяди не отдают и только давят, вешают, заселяют Сибирь. Хотят доказать, что вешают разбойников и убийц. Ничего не докажете, дураки вы, захребетники народные! Вешаете вы лучших и бескорыстных русских людей, и за все это будет отплата, очень скоро.

Докатилось до Одессы: над Софьей Лешерн, подругой Валериана, глумились во время суда, а при чтении ей обвинительного приговора устроили гнусный спектакль. Прodelали весь обряд смертной казни: надели саван, закрыли голову капюшоном, наложили на шею петлю, и только после прочтения приговора сняли петлю и объявили Лешерн, что она помилована, смертная казнь заменяется вечной каторгой. Не знали, что для нее это худшая мука, она хотела умереть вместе со своим Валерианом и впала в отчаяние, узнав, что остается жить. Нет, надо было поиздеваться над женщиной в такие минуты! Разве можно простить? Что ж они думают: все эти гнусности сойдут им с рук? Валериан в апреле передал письмо из тюрьмы — Михайло рассказывал, — очень бодрое, ловкое, в его духе, но все же предполагал худой конец. «Сам, говорит, не знаю, какие прелести сулит мне будущее, все зависит от политического положения данной минуты, а оно после соловьевского покушения не очень розово». Михайло запомнил слово в слово: «Во всяком случае, что-нибудь вроде централки, а может, и вервия». Да, угадал, но того, что во время казни оркестр будет играть «Камаринскую» угадать не мог. Новое изобретение в палаческом производстве. Для толпы; чтобы не журились. Подумаешь, одним разбойником меньше!

Толпа, как обычно, стояла молча. Говорят, вешали неудачно, Валериан бился в судорогах, долго не умирал, и какой-то подлец, полковник, объяснял толпе, что мучается из-за того, что отказался принять священника. В толпе, говорят, были аресты, семерых гимназистов арестовали за то, что плакали. А несколько солдат и офицеров, находившихся в строю, упали в обморок. Вот он, ответ толпы, лучший, на

какой можно надеяться: плач да обмороки... О господи, да на что тут надеяться? Что можно сделать с этой несчастной страной?

Плач да обмороки — не оттого же, что сочувствуют и понимают, а лишь только от жалости, от вида ужасного. А вешали бы полковника — тоже бы плакали.

Михайло высказал одну простую мысль. Он ведь не теоретик, а прагматист, замечательно четкий, практический ум. С его расчетливостью ему бы не революцию делать, а коммерческие дела, мировую торговлю.

— Тут надо рассуждать здраво, — говорил он. — Ведь все равно погибнем? Верно же? Другой возможности нет? Нет. Погибнем. Но можем погибнуть из-за ерунды, из-за дряни, а можем — сделав что-нибудь крупное. Прямой расчет делать крупное.

Он показал номер «Листка «Земли и воли», вышедший месяца полтора назад, где была передовая «По поводу политических убийств», из-за которой разгорелся сыр-бор. Статью написал один из редакторов «Земли и воли», Коля Морозов, Воробей. Андрей отлично помнил его по Большому процессу: худенький хлопчик в очках, похожий на золотушного, изнеженного домашним воспитанием гимназистика. И вдруг — этот дерзкий, карбонарский слог! Понятно, почему народ заволновался, а Плеханов объявил статью незаконной, ибо она прошла каким-то образом мимо него, тоже одного из редакторов. Скандал! Тигрыч, Дворник и Воробей — за статью, Жорж с Родионым, да еще Игнатов, «деревенщики» — против. Собственно, из-за этой статьи, да еще из-за споров вокруг соловьевского дела возникла нужда съехать, наругаться всласть. Так вот:

«Политическое убийство — это прежде всего акт мести. Только отомстив за погубленных товарищей, революционная организация может прямо взглянуть в глаза своим врагам; только тогда она поднимется на ту нравственную высоту, которая необходима деятелю свободы для того, чтобы увлечь за собой массы. Политическое убийство — это единственное средство самозащиты при настоящих условиях и один из лучших агитационных приемов. Нанося удар в самый центр правительственной организации, оно со страшной силой заставляет содрогаться всю систему. Как электрическим током, мгновенно разносится этот удар по всему государству и производит неурядицу во всех функциях. Когда приверженцев свободы бывает мало, они всегда замыкаются в тайные общества. Эта тайна дает им огромную силу...»

Все верно, но на этом пути возникали опасности. Первая: чрезмерное увлечение убийствами отодвинет на второй план, а может быть, заставит вовсе забросить главную задачу — п р и г о т о в л е н и е н а р о д а. Вторая: убийства будут разжигать жажду власти, стремление к тайному господству надо всем и вся, что может привести к перерождению движения, к нечаевщине. Об этом Андрей прямо сказал Михайле. Тот ответил: партия вовсе не собирается превращаться в корпорацию убийц, в фабрику тайных казней по нечаевскому идеалу, Воробей увлекся, он романтик, поэт. Речь сейчас идет об о д н о м убийстве. И может быть, оно станет последним.

Последним? Да, последним, окончательным, убивающим все прочие убийства. Они сделаются ненужными. Если бы Соловьев не промахнулся, в стране уже сейчас, в мае, могла быть полная перемена: новое правительство, новый государственный строй. Ведь Ростов показал, что достаточно малой искры...

Последнее убийство — какой великий соблазн! И затем наступает царство разума. Торжество справедливости. Общество, организованное на новых или, правильнее сказать, забытых, истинных, народных началах. Но только — нужен толчок, удар, чтобы все затряслось, за-

качалось... И вот еще что: этот удар будет, конечно же, гибелью для того, кто его нанесет. Поэтому то, что Андрей сказал Михайле — согласен на это о д н о убийстве, а потом должен иметь право, если захочет, уйти,— было глупостью. Понял это в ту же секунду, как сказал. Куда уйти? И главное — откуда? Из-под колес паровоза? Не надо себя обманывать: уходить будет неоткуда, некому.

Михайло быстро куда-то исчез, но тут появился Дворник, Александр Михайлов. У того были сложные дела в Одессе и вообще на юге. Андрей догадывался: что-то связанное с добычей денег.

Много отличных людей встречал Андрей в жизни — и в Одессе, начиная с Феликса и Жебуневых, и по Большому процессу. Умел раскусывать сразу, сходилась легко, расставался быстро. Но так еще не бывало: чтобы мгновенно, с первой минуты почувствовать полное доверие. Этот парень, хотя и моложе несколько, года на четыре, всем своим обликом, крепостью тела, мыслями, разговором — да всем, всем, и, главное, каким-то основным, глубинным настроением души — мог бы быть Андреевым alter ego. Они все, конечно, чем-то похожи, у всех душевный настрой примерно одинаков, но этот оказался уж очень близок. И все же! Мало радости встретить точную копию себя, и, к счастью, такие ужасы бывают лишь во сне.

Михайлов, прозванный Дворником, был наделен громадной деловой силой, теориями интересовался мало, споров избегал, человек действия, в то время как он, Андрей, пожалуй, человек размышления. Практичность Михайлова была поразительной, ежеминутной. Встретились на улице, шли по городу. Расспрашивал: а это что за площадь? Куда ведет переулок? Проходной двор есть? Почему-то особенно интересовался проходными дворами. Андрей понимал смысл такого интереса, но — в Петербурге, а здесь-то зачем?

— Вы, кажется, уезжаете отсюда через неделю? — Тогда, в первый день, еще говорили «вы», но уже в следующую встречу «тыкали» друг другу беззастенчиво, как два старых приятеля.— Не понимаю, зачем вам одесские проходные дворы?

— Во-первых, неизвестно, уеду через неделю или нет. А во-вторых, привычка.

В другую встречу изумил: шли к порту, он повел каким-то немислимым путем, дворами, Андрей, старый одессит, возражал и говорил, что не выйти, тупик, но, к сраму своему, вышли, и гораздо быстрее. Какое-то двойное зрение. Он как бы анатомировал улицу, смотрел сквозь дома. И еще такое: сразу видел все, что происходит на улице, всю картину мгновенно и в подробностях.

Шли по бульвару вечером, очень жарким, уже наступила жара, публика фланировала на пяточке между памятником Ришелье и душой, они вдвоем — Фроленко уехал — проталкивались через толпу.

Вдруг Дворник шепнул:

— Вон стоит шпион...

Андрей оглянулся, увидел стоящего позади скамейки, на которой сидели люди, человека, известного в Одессе под кличкой Кузя. Это был обнищавший помещик, картежник, игрок на бильярде, о котором действительно говорили, что он имеет связи с почтенным учреждением.

— Откуда ты знаешь? — спросил Андрей.

— Я не знаю. Догадка.

— Черт возьми, ты прав! Каким же образом?

— Объяснить не могу. У меня нюх на этих господ. Понимаешь, у них у всех — даже у самых важных и представительных — есть что-то неуловимо собачье. И я чую. Ну, в общем, по роже видать.

Говорил всерьез. Андрей улыбался. Этаким Макаром: а ведь угадывает! Раза два ночевал на квартире у Андрея и опять удивил:

— Как! Ты не занавешиваешь на ночь окна? — Вид был крайне обескураженный и, пожалуй, возмущенный. — Это нужно делать непременно. Я просто тебе приказываю. Солнечный свет портит глаза, а глаза для нас — первое дело.

Все было прекрасно, на пользу, и Андрей испытывал чувство благодарности к Дворнику за то, что постоянно учился мелким революционерским премудростям, но иногда хотелось другого: поговорить о серьезном, или, как Андрей шутил, о в о з в ы ш е н н о м. Например: что думают делать землевольческие деятели, авторы замечательных статей насчет политических убийств, на второй день после революции, буде она удачно разрешится? Какова предполагается система правления? Земский собор? Народное представительство? А ежели народные представители выскажутся за сохранение монархии? При том уровне революционного самосознания и при жалком, да и забытом опыте народоправства это ведь вероятно. Как же быть? Михайлов ответил: что ж, подчинимся народной воле.

— Но... — Помедливая секунду, вдумываясь, и с торжеством: — Но оставим за собой право снова уйти в подполье и бороться за наши идеалы!

Теоретические вопросы решал быстро, не толкаясь на месте. Все для него ясно. Главная задача и трудность: дисциплина и централизация. Ведь «деревенщики» еще и оттого ноют, что боятся дисциплины, подчинения центру, а без этого — гибель, партия развалится. Будем драться не кулаком, а растопыренными пальцами.

Незадолго до отъезда в Липецк, в начале июня, в Одессу пришел номер «Нового времени» с описанием казни Соловьева. Взяли две газеты, сели на отдаленной скамейке, на набережной, и читали. Жара вдруг спала, как бывает в Одессе после знойных дней конца мая, море было ясное, штилевое. Рыбачьи лодки, пароход с сине-белым греческим флагом, клочья тумана на горизонте — все не двигалось, стыло в безветрии.

Оба читали внимательно, молча.

Никогда еще не приходилось читать — да, пожалуй, и не печаталось — в обычной подцензурной прессе такое тщательное описание в е р в и я. Репортер отмечал малейшие подробности. Каков был смысл этого скрупулезного и бесстрастного сочинения, похожего на то, как Марко Поло описывал китайские церемонии и казни Востока? Вот это и хотелось понять. И кроме того, завораживали подробности, нельзя было оторваться от мелких газетных строчек. Этот интерес, от которого пересыхало в горле, был естественным, но ненужным. В середине чтения Михайлов вдруг сказал со злобной насмешкой:

— Да черт возьми этого шута, фельетониста! Досталось свинье на небо взглянуть! — Он отбросил газету. — Нарочно, подлецы, разжигают плотоядное чувство. Намеренно же озверяют народ против нас... Прекрати! Довольцо!

Хотел вырвать газету у Андрея, тот не давал, отодвигал локтем. Стали бороться руками, Андрей левой, тот правой, как бы шутя, но на самом деле с интересом пытая силу друг друга. Напрягались, пыхтели, было немного неловко, никто не мог сдвинуть другого.

— Ну и здоровая ты орясина!

— Ты тоже хорош бугай!

Михайлов вдруг отнял руку, встал со скамьи и, хмурясь, еще красный от борьбы, сказал:

— Ладно, читай эту гадость, ежели хочешь, ты Александра Константиновича не знал. А я не то что его — я и родных его знал, сестру, отца. И не желаю эту гадость, этот садизм газетный читать.

— Я дочитаю, — сказал Андрей. — Нужно знать.

— Не нужно этого знать совершенно. Ни с какой точки глядеть — не нужно,— сердито сказал Дворник.— Сиди тут, я через полчаса вернусь.

И быстро куда-то ушел. Сквозь газетные строчки Андрей подумал: «Бойтся, что напугаюсь и в Липецк, чего доброго, не поеду».

Городишко был небольшой, чистенький, старинный, после одесского гама показался благостным и провинциальным. По улицам гуляло козы. В палисадниках старушки в плетеных креслах пили чай — совсем как на даче на Малом Фонтане. Были казистые особнячки с балкончиками, в садах за железной оградой, попадались дорогие кареты, но все равно жалкота и бедность рядом с одесскими особнячками и каретами! Номер в постоялом дворе Голикова сняли приехавшие раньше Баранников с женой Марией Николаевной Ошаниной, а то бы ничем не сняты, сезон на водах разгорался, публика подваливала.

Обыватели смехотворно жаловались: «Ну, народ! Дороговизна! Вся Россия, что ли взялась лечиться?» И это при пустых-то лавках и при том, что только в курортном саду вечерами да на главной улице, освещенной газом, слонялись гуляющие, гимназисты с барышнями да едва ступающие подагрические старики, а кругом, на всех прочих улицах, могильная тишина и мрак. За курортным садом было озеро с длинной гатью, с очень прозрачной водой. Рыбы почему-то совсем не было. Спросили у старика, который давал лодку покататься. Тот объяснил: запруда сделана антихристом, оттого и рыба перевелась. Откуда же известно, что антихристом? А никому другому, кроме него, не под силу такую длинную гать насыпать. Когда отошли от старика, важно сообщившего эту историческую подробность, Михайлов спросил:

— Понял, о каком антихристе речь?

— Нет,— признался Андрей.— О царе Петре, что ли?

— Ну конечно. Петр тут и первый завод построил, и железные воды открыл. Вот она, благодарная народная память!

Посмеялись, потом Михайлов сказал, вмиг, как обычно, переменявшись от смеха к серьезности:

— А я, как вшивый про баню, все то же: не поймут нас, надо самим действовать, на свой страх. И нас с тобой назовут антихристами. А? Сомнения быть не может: назовут, но лет через сто, двести, а то триста... Впрочем, другое: никто не понимает поистине и не поймет еще долго, но тебе скажу.— Он заговорил тише и слегка заикаясь. Всегда заикался, когда начинал волноваться.— Мы ведь антихристами стали от Христа. Это я верно тебе говорю. На меня, к примеру, евангельская история не менее влияла, чем история Гракхов или Вильгельма Телля. А цель оправдывает средства? Разве иезуиты придумали? Макиавелли? Неправда, это есть в самом Христовом учении, в подкладке, за всей красотой. Да и было бы иначе, была б одна благостыня, разве могло бы два тысячелетия победить? Нет уж, мы, антихристы, должны твердо держаться: цель и в самом деле оправдывает средства.— И, высказав серьезное, опять рассмеялся, лицо стало легким, шутливым.— А все равно ведь скажут: экую длинную гать насыпали, и рыба из-за вас перевелась.

Андрей видел: чем ближе день съезда, тем более — хотя и скрытно — Дворник нервничает. Он должен был докладывать проект устава, составленный им вместе с Тихомировым. Андрею показывал. Все было разумно, жестко: централизация, суровая дисциплина и вся ставка, разумеется, на политическую борьбу. Словом, создается организация. Не группа, не кружок, а организация, партия. Дворник боялся голов, могущих помянуть Нечаева — если и не в Липецке, где собира-

ются, в общем-то, единомышленники, то уж, во всяком случае, в Воронеже. И вот ежедневно в Одессе, дорогой и здесь, когда поселились вместе, разговоры с Андреем, обсужденья, толкованья, споры. А споры большей частью по мелочам, из-за слов, тона: Дворник нетерпелив, грубоват, Андрея иногда коробило, а иногда пропускал мимо ушей, ибо во всем главном они сходились.

Наконец к середине июня те, кого ждали, съехались.

Андрей знал почти всех: одних по Одессе, как Гришку Гольденберга, Колодкевича и Фроленко, других, как Тихомирова — Морозовым, хоть и бегло, по Большому процессу. С Дворником — будто сто лет знаком. Баранников, по кличке Семен, оказался загадочным, с гимназических лет другом Дворника, из одного города, Путивля, и с этим рослым, чернявым богатырем тоже спаялся сразу. Жена его, Мария Николаевна, только в первый день показалась чопорной, суховатой, чересчур да м о й — она старше Семена, это заметно и по облику и по манере разговаривать с ним как-то излишне твердо, — но вскоре понял, что первое впечатление обманчиво, что Мария Николаевна образованна, умна, даже не по-женски, и уж скорей в ней заметно мужское, а не дамистое. У них у всех кидались в глаза какие-то не очень привлекательные черточки: у Марии Николаевны эта надменная, будто бы аристократическая суховатость, у Дворника резкий, безо всяких полутонов и сентиментальностей тон, у Тихомирова манера разговаривать звывительно. Гришка Гольденберг раздражал громким голосом, суетой и, видимо, большим самомнением, Семен же, наоборот, был сверх меры молчалив, мог целый вечер промолчать тумбой, тоже невелика радость, но было ясно, что все это мелочи, наносное, а по сути дела они люди настоящие, крупные, может быть, даже необыкновенные. Не знал Андрей Квятковского, по кличке Александр Первый, о нем много рассказывал Дворник, не знал и молодого Степана Ширяева. Эти двое собрали в Питере недавно еще одну тайную группку, группку в группке, под названием «Свобода или смерть». Все это следовало упорядочить. Да, необыкновенные! Вдруг почувствовал это 17-го утром: с крыльца гостиницы глядел на них всех, человек десять, стоявших кружком посреди двора и балагуривших с номерными. Ждали извозчиков. Всех томило нетерпение. Дворник договорился с извозчиками накануне и ездил с одним за город, осматривал место для пикника, нашел отличный песок. Подсказали номерные: в том месте всегда купцы гуляют и молодые господа с барышнями.

— А у вас что ж, одна барышня на всех?

— Будут, будут! Подвезут своим часом! Всем хватит!

Номерные подмигивали, слабились, давали советы: взять поплотней подстелиться, а то земля сыра, не прогрелась еще. Бегом носили в пакетах и сумках то, что было заказано, складывали на скамейке: закуски, вино, папиросы и, конечно, очищенную. И вот глядел с крыльца, слушал шуточные разговоры и думал: никто и не догадывается, что за люди тут собрались. На всю Россию таких раз, два — и нету. Человек пятнадцать, не больше. Глядел как будто со стороны: все молодые, красивые, франтоватые, настоящие веселые петербургские господа! А ведь каждый из них своего рода знаменитость. За каждым громкое дело, по всей стране прокатилось, за границами отозвалось. Семен (Баранников) вместе с Сергеем Кравчинским — тот уже далеко, то ли в Англии, то ли в Швейцарии, — казнил в прошлом году Мезенцева. Михайло прославился многими подвигами, освобождал «Алешу Поповича», служил тюремным надзирателем и вывел на волю чигиринцев. Гришка застрелил князя Кропоткина. Коля Морозов, этот хрупкий нежно-румяный юноша — вон он дурачится, декламирует ка-

кую-то очередную глупость, сочинитель стишков, все покатываются со смеху, и даже номерные разинули рты,— один из самых отчаянных, решительнейший террорист. Уж наверно, его статья напугала правительство не меньше, чем любое покушение. Тихомиров, ровесник Андрея, но по виду заметно старший, мрачноватый, бледный, насмешливо глядящий на дурачества молодых, за ним четыре года тюрьмы: опыт, какого нет ни у кого. Все говорят, что он блестящий талант, мог бы, если б захотел, посвятить себя легальной печати, стать Щедриным, Михайловским, Шелгуновым. Дворник сказал, что он куда острее Михайловского и Шелгунова. «В нем нет дряблости, жира, одни мускулы». А вон Мария Николаевна, красивая, сидит на скамье, курит, улыбается вяло и снисходительно, как взрослая дама, которой немного скучно с резвящимися детьми. Кто бы сказал, что эта белолицая матрона недавно принимала участие в бесстрашной попытке отбить от жандармов Войнаральского! Дворник рассказывал: поразился ее хладнокровию. В острейший момент, когда на тайной квартире она ждала товарищей после нападения — неизвестно, удачного или нет,— она, несколько утомленная, спокойно задремала. Грандиозные нервы! Говорили, что Мария Николаевна была близка к кружку известного Заичневского, якобинца, по-прежнему уповает на заговор и переворот...

То, что тут люди разные — якобинцы, бунтари, народники, пропагандисты,— это нехудо, нестрашно. Это, может быть, даже хорошо в смысле наглядного доказательства: значит, все поняли, что выхода нет, все повернулись или, говоря вернее,— всех повернуло на одну дорогу.

Вкатились три экипажа. Стали грузиться, рассаживаться.

Морозов, который веселился почему-то больше всех, запел вдруг по-итальянски. Номерные махали руками. День разгорался. Андрей сел по знаку Дворника в первую карету вместе с Дворником, Квятковским и Ширяевым. От солнцепека, мельканья, свежего июньского зноя, залетавшего в экипаж, от запаха травы и лета и от волнения, которое забирало исподволь, слегка кружилась голова. И, сидя в карете, толкаясь плечом в крепкое плечо Дворника, глядя на молодые, бородатые, смеющиеся лица Степана и Александра, вчера еще их не знал, а сегодня — ближайšie друзья, он испытывал странное, изумительное чувство: наступал миг полной жизни, наслаждения жизнью! Заспорили о чем-то с Дворником, хохотали, боролись, мальчишками хорохорились один перед другим: кто сильнее. Экипажи ехали низкой, которая, видно, заливалась по весне половодьем, еще теперь рукавами змеились не вполне высохшие протоки, белели песчаные островки, мели.

По мосту перескочили реку, поднялись на невысокий противоположный берег и, повернув вправо, против солнца, покатали полем, по большаку. Лес синел на горизонте. Добрались, ехали не менее получаса лесом, и Дворник криком велел остановиться: тут были какие-то постройки, дощатый балаган, что-то вроде летнего ресторана, пока еще закрытого, с заколоченными окнами. Андрей спрыгнул на землю и, когда подкатил второй экипаж, вдруг подбежал к нему, схватил за заднюю железную ось и поднял вместе с седоками.

— Стой! Вылезать!

Лошадь, бежавшая тихой рысью, остановилась.

Все были изумлены, извозчик ахнул:

— Ну и сильный господин!

Андрей усмехнулся: фокус был старый, отработан не раз в Одессе еще в студенческие времена. Правда, силенок было тогда побольше, но и сейчас рванул ловко, только кожа на руке лопнула. Мария

Николаевна дала платок, чтоб остановить кровь. Дворник, уже занятый делом — нагружал извозчиков закуской и водкой, чтобы не скучали здесь часа три-четыре, сколько понадобится, — как будто не заметил Андреева геройства. Пошел быстро по тропе в глубь леса, за ним гуськом остальные. Вскоре обнаружилась большая поляна, в середине которой рощица, несколько берез, какой-то кустарник, — удобное место, где легко было скрыться за кустами и проглядывалась вся округа.

Разложили пледы, пальто, расставили на газетах бутылки, стаканы и закуску — сели, закурили. Хорош был день!

Квятковский и Михайлов стали читать по очереди: один — проект программы, другой — устав нового общества. Так как Андрей и то и другое знал, много раз обсуждал с Дворником, он слушал не очень внимательно. Опять вдруг отлетел куда-то, будто вон до той опушки, залитой солнцем, и оттуда — глядел.

И видел кучку людей, жалкую горсть, в тени берез.

Чего они хотят и что могут в этом необозримом мире, которому бросили вызов? Смешно, фантастично — но только на миг. Голос Квятковского сквозь жужжание пчел звучал с непреклонной твердостью.

— «...Поэтому всякому передовому общественному деятелю необходимо прежде всего покончить с существующим у нас образом правления, но бороться с ним невозможно иначе как с оружием в руках. Поэтому мы будем бороться по способу Вильгельма Телля до тех пор... (по тому, как Морозов сиял и, как бы поддакивая каждому слову, кивал своей пышной шевелюрой, можно было догадаться, что он принимал в сочинении документа прямое участие) ...пока не достигнем таких свободных порядков, при которых можно будет беспрепятственно обсуждать в печати и на общественных собраниях все политические и социальные вопросы и решать их посредством свободных народных представителей...»

Еще два абзаца, дополняющих ту же мысль, — и вся программа. Кратко! Хотелось бы расширить, поясней сказать о тех идеалах и будущем России, ради которых все делается, но еще прежде из разговоров с Михайловым и Тихомировым понял, что краткость, даже, пожалуй, куцеватость программы намеренная: чтобы при обсуждении не устроилась болтовня. Чем больше фраз, тем больше толкований. Тут дело практическое, утвердить одну-единственную идею, для которой собрались. «Способ Вильгельма Телля!» Пышно сказано, романтично, но это и есть то единственное: террор. Никто не возражал, все торопились дальше, к более интересному, к уставу. Андрею не хотелось с первых же минут — все-таки новичок — выступать с критикой, затевать разговор о возвышенном. А мог бы сказать: для всякой партии программа важнее устава.

Но — не стал. Потом, потом! Будет время, будут разговоры, а сейчас — организовать, чтобы ломать. Делать потом.

Постановили печатать программу в первом номере будущей газеты или журнала, что станет выпускать вновь образованный Исполнительный комитет. Затем Михайлов читал проект устава, сначала бегло все целиком, потом по параграфам, и — обсуждали. Вот тут заварилась каша. Все хотели высказаться, перебивали друг друга, в возбуждении кричали чересчур громко, и Михайлов резко обрывал. Обычное дело: насчет программы, теории — гробовое молчание, мыслей вроде бы никаких, все ясно, а тут, где мораль, где быт, практика, — сразу яростный интерес, клокотанье мнений. Гришка Гольденберг то и дело вскакивал и кричал что-то в азарте, с тарахтящей быстротой: разобрать невозможно. На зубах у Гришки пузыри, глаза таращились. Михайлов замахал руками:

— Все! Тихо! Нужен секретарь, у меня горла не хватает. Предлагаю Бориса, он мужик рассудительный. Кроме того, экипажи на ходу останавливает. Так что в случае надобности может кого из ораторов остановить...

Борисом звали Андрея. Согласились. Михайлов вновь читал все сначала, с первого параграфа.

— Итак, параграф первый: «В Исполнительный комитет может поступить только тот, кто согласится отдать в его распоряжение всю свою жизнь и все свое имущество безвозвратно, а потому и об условиях выхода из него не может быть и речи». Есть возражения против этого параграфа?

— Нет! Никаких! — разом ответили все.

Но остальные параграфы вызывали споры.

Параграф второй. Всякий новый член Исполнительного комитета предлагается под ручательство трех его членов. В случае возражений на каждый отрицательный голос должно быть не менее трех положительных.

Параграф третий. Каждому вступающему читается этот устав по параграфам. Если он не согласится на какой-нибудь параграф, дальнейшее чтение должно быть тотчас же прекращено и баллотирующийся может быть отпущен только после того, как даст слово хранить в тайне все, что ему сделалось известно во время чтения, до конца своей жизни. При этом ему объявляется, что с нарушившим слово должно быть поступлено как с предателем. (Тут Гришка требовал, чтобы было точно указано, как именно должно быть поступлено с предателем. Андрей сказал, что для всех очевидно, как поступают с предателями, их убивают, а придумывать какие-либо особые способы убийства вроде нечаевского — шпион сначала должен быть задушен, потом простреливается голова — нет нужды, это пахнет театром и одновременно изуверством. Согласились, оставили так.)

Параграф четвертый. Члену Исполнительного комитета может быть дан отпуск, срочный или на неопределенное время — по решению большинства, но с обязательством хранить в тайне все, что ему известно. В противном случае он должен считаться за изменника. (Мария Николаевна сочла этот пункт слишком мелким, чтобы включать его в устав. Дворник и Тигрыч возражали, особенно настойчиво возражал Тигрыч, из чего Андрей вывел, что он, может быть, является автором пункта. В самом деле: странно, какой может быть отпуск от революционной работы? Да еще на неопределенное время? Гришка вновь попросил слова и, опять возбуждаясь до пузырей, кричал: «Это надо исключить! Это глупость. Мы люди конченные, у нас нет никакой жизни, кроме революции, и не может быть! Что за вздор! Отпуск, канникулы?» Андрей сказал, что надо, вероятно, ввести общий и более четкий параграф о дисциплине и туда в виде мелкого пункта вставить про отпуск. Как исключение. Революционеры такие же смертные, как и все прочие, могут болеть сами, могут болеть их близкие, мало ли что, отпуск бывает внезапно и жизненно необходим. Но — никаких «неопределенных сроков». И нельзя помещать этот пункт, исключительный и рядом со всем прочим действительно мелкий, где-то в первых параграфах устава. Едва приступаем к делу и уже думаем об отпуске.)

Было еще несколько параграфов: об избрании редакции, о распорядительной комиссии из трех человек и двух кандидатов на случай ареста, о секретаре, который должен хранить документы и денежные средства, и об агентах Комитета — первой степени и второй степени. Вновь возникали споры, недоумения. Морозов удивлялся, почему аген-

ты первой степени должны пользоваться меньшим доверием, а агенты второй степени — большим, на что Тихомиров ответил:

— А пусть никто не знает, сколько степеней надо пройти, чтобы достигнуть Комитета.

— Но ведь это иерархическое устройство! То, что мы отвергаем! — восклицал Морозов. — В теории отвергаем, а на деле...

— А у нас нет другого выхода.

— Выход есть: это наша малочисленность, это дух товарищества, равенства, это подбор людей по моральным качествам...

— О господи! — Тихомиров морщился, бледнел. — Оставь ты эти слова для своих стихов. Одно из двух: мы создаем кружок душеспасительных разговоров или же боевую организацию для борьбы, для террора, о чем ты, черт побери, хлопчешь как раз больше всех! Ну? Куда же мы денемся без строгой тайны и без иерархии, которой ты так боишься?

— Иерархия поведет к разбуханию, — упорствовал Морозов. — Нижние чины будут размножаться почкованием, а верхние — надуваться от сознания собственной власти...

Спор был старый, оба волновались, говорили повышенными голосами, почти сердито. Выступили и другие: Михайлов поддержал Тихомирова, Квятковский тоже, но Фроленко сказал, что среди киевских бунтарей была попытка такого иерархического устройства, выбирался центр с диктаторскими правами, он мог иметь свои тайны, действовать по своему усмотрению. Что ж получилось? Все тайны скоро были раскрыты, даже тайны баллотировки в центр. И никто не хотел никому подчиниться по уставу. Подчинялись только в силу внутреннего уважения, подчинялись авторитету, как, например, Валериану. Гришка говорил:

— Да, да, это не для нас! Мы, русские, не умеем хранить тайны. И не любим подчиняться.

Так из-за пустого вопроса об агентах первой и второй степени затеялся долгий спор. Андрей сказал: тут дело не в иерархическом устройстве, а в том, что мы открываем военные действия. Значит, нужен командир, нужны команды. Правильных военных действий без этого вести нельзя. Наш командир — центр, ну, допустим, распорядительная комиссия, которую мы избираем. Если уж воевать с государством, у которого полумиллионная армия, артиллерия, крепости, военные корабли, тогда уж вести дело всерьез. У нас нет иной силы, кроме дисциплины и нашей готовности умереть. В стране за последние месяцы все резко переменялось к худшему. То, что созданы генерал-губернаторства, введено военное положение, массовые аресты, высылки, — все это ошеломило общество, напугало либералов. Чтобы вывести страну из оцепенения, нужен мощный удар. Тогда в народе и в обществе воспрянут силы к сопротивлению. Может быть, не один удар, а серия ударов, точно продуманных: тут нельзя полагаться на стихийные акты, должна быть система, а значит, должен быть центр...

Видел, как его слушают. Смотрели на него новыми глазами: с некоторым изумлением.

Фроленко вечером в гостинице сказал:

— С тобой, брат, что-то стряслось. Стал какой-то другой.

— Лучше или хуже?

— По мне, так лучше. И Кот-мурлыка заметил: «Наш-то Андрей ни разу за целый день не сказал слова «конституция».

Андрей грозил чернобородому Колодкевичу: ишь, шутит! Сам ретивый конституционалист, в декабре мотался в Киев на тайную сходку революционеров с земскими деятелями. Там и Валериан был, и Андрея звали, но он не смог.

На другой день избрали членов редакции — Тихомирова и Морозова, и распорядительную комиссию — Михайлова, Фроленко и Тихомирова. Кандидатура Тихомирова прошла с некоторой натугой. Морозов высказал сомнения: не много ли занятий у Тигрыча? Между ними все время шла какая-то пикировка. Воробей, кажется, надеялся на то, что Тихомиров откажется от распорядительной комиссии, но тот лысоватую голову нагнул, надулся, молчал — и был избран. А вечером Андрей навестил Фроленко, жившего в гостинице «Москва», и видел, как Гольденберг, замедно пьяный, чуть ли не в истерике кидался на хладнокровного Михайлу:

— Ответь мне: где справедливость? Создают организацию для террора, а главного террориста не выбирают ни в какую комиссию! Кто-нибудь из вас убил князя Кропоткина? Я тебя уважаю, Михайло, но ты пока еще никого не убил, извини меня. Андрей? Андрей, вообще, известный пропагандист. Я даже не знаю, что ты тут делаешь, Андрей. Удивляюсь, почему тебя не выбрали в распорядительную комиссию, если уж там Тихомиров, умный человек, но знаменитый трус; все знают, как он боится шпионов, весь Петербург над ним смеется. Семен? Семен помогал Кравчинскому, он присутствовал при казни Мезенцева, но ведь дело сделал Кравчинский. Среди вас нет ни одного настоящего террориста. И при этом меня, Гришку Гольденберга, меня, меня, — он хохотал, хватаясь за голову, — не хотят никуда выбирать! Смешно! Когда во всем мире газеты писали о моем деле! Нет, я не думаю заниматься обидами и капризностями, я просто смеюсь. Смеюсь, смеюсь, смеюсь! Со всеми вами, милые друзья, я остаюсь в добрых отношениях, буду по-прежнему вам верный Гришка и буду делать то, что мне скажут, но я смеюсь, смеюсь. Ха-ха-ха!

Так и ушел, хохоча. Куда-нибудь допивать.

— Ну и шум от него, — сказал Андрей.

— Насчет Гришки я Дворника предупреждал, — сказал Михайло. — Еще в апреле, когда толковали, кого звать в Липецк. Мы-то Гришку знаем лучше, а для северян он фигура, герой. Дворник сказал: «Руководства я бы ему не доверил, но пистолет в руки дал бы. Человек он храбрый, хотя и сумасброд».

Возвращаясь от Михайлы темной улицей к себе на постоянный двор, Андрей встретил разгуливающего в одиночку Тихомирова. Тот любил променады перед сном, пекся о здоровье. Говорил, что за четыре года тюрьмы более всего истосковался по прогулкам и свежему воздуху. Тихим голосом сказал, взяв Андрея за руку:

— Мне не нравится тут один человек. Идем скорее!

— Кто?

— Да тут как раз... Может сидеть у окна... — Понизил голос до шепота и тянул Андрея сильнее. — Мы впопыхах не видим, а он сидит и слушает, гнида. Сегодня пристал ко мне: «А вы откуда? А надолго ли? А не лечились ли у доктора Петрова?» Я сухо ответил: «Нет, не лечился». И рожа такая скверная, улыбающаяся...

Ночь была теплая. Пел соловей.

Как-то издалека, кружным путем возникла мысль: а почему девушка, дочь генерала, которая считалась невестой, не приехала в Липецк? Перовская Соня. И вспомнилось то чувство, остро уколотившее когда-то в коридоре предварилки, когда видел их вместе: зависть. Между ними что-то произошло. Может быть, как раз по той причине, о которой говорил Гришка. Нет, не трусость, трусливых здесь быть не может, трусливые отскакивают на сто верст отсюда.

— Почему ты заподозрил шпиона?

— Слишком уж назойливо он меня расспрашивал. Мне кажется, завтрашняя сходка — лишняя. Надо разъезжаться.

Андрей спросил:

— А где твоя невеста Соня?

Тихомиров посмотрел на Андрея. В темноте было видно, как его лицо — бледное — настороженно поднялось.

— Устаревшие сведения. Она давно мне не невеста,— помолчав, сказал Тихомиров.— Пойдем куда-нибудь подальше. Не хочу здесь, ночь теплая, все окна открыты — и могут слушать...

Нет, нет, Гришка не прав, это не трусость, это болезненная осторожность. Он как-то чересчур быстро постарел. Ведь ровесник, а выглядит на десять лет старше. Осторожность — это вроде подагры, глухоты: признак старости. Прошли в конец улицы, через площадь, в сад. На скамейках, замерши в темноте, ютилось что-то живое, наверное парочки. Иногда белело платье, долетал шепот. Тихомиров вел Андрея все дальше в глубь сада, где не было скамеек, не могло быть живого. Такие ночи, как эта — безлунная теплота, душность от цветов, от свежей листвы,— бывают раз или два в году.

Наконец, когда зашли далеко, Тихомиров заговорил: что произошло между ними. Его, как видно, томило. Он сказал: когда женщина слишком страстно увлечена делом, она что-то теряет от своей природы, от *Ewigweibliche*³. И вот это как будто случилось с Соней. Трещина пробежала почти сразу после освобождения по Большому процессу. Он, Тихомиров, собрался поехать на юг, повидать стариков — ведь и Андрей тотчас уехал в Одессу, к семье! — но Соня требовала сразу заняться делом, освобождением Мышкина, которого, по слухам, намеревались переводить в Харьковский централ.

— Понимаешь ли, я не мог отказаться, но несколько колебался. И она это почувствовала, и тут же возник холодок. Она мерила по себе, а ее раздирало желание действовать. Но понять — просто по-человечески — такую вещь, что мы находимся с нею в разных состояниях, она не могла. Я — после четырех лет тюрьмы, намаявшись, уставши, в мечтах поскорей увидеть родных, она же была на воле, на поручах, как дочь уважаемого генерала Льва Николаевича. Нет, понять такую разницу ей не дано! — Тихомиров говорил волнуясь. Все это еще не отболело.— «Я, кажется, должна вас уговаривать?» И выражение лица этакое суровое, революционное и в то же время презрительное, графское. Ну, я поспешил сказать, разумеется, что я ни минуты не колеблюсь. Поехал в Харьков. Что там было, ты знаешь. Не хватало средств, не было связей, когда я бросился за средствами в Питер, Мышкина провезли на юг. Словом, чепуха. Но ты бы слышал, как она меня крыла! Металась по комнате, как бешеная рысь: «Проворонили! Растяпы! Неизвестно зачем ездили!» Крику и оскорблений было много, ну и возвращаться потом оказалось трудно... Почему ее нет здесь, я не знаю. Она все еще в Харькове. Михайло за нею почему-то не заехал, кажется, считает ее чересчур яркой народницей и ручачкой. Конечно, ошибка, надо было заехать, и он еще за это поплатится!

Тихомиров засмеялся с каким-то тихим, злорадным самодовольством, но — скрытно, про себя. Весь этот рассказ был «про себя». Андрей был далек, мало знаком с нею и с ним, Тихомировым, и, наверное, только поэтому все рассказывалось с такими подробностями. Впрочем, Андрей привык к тому, что люди перед ним раскрываются. И подумал: здесь главная и, может быть, единственная мера — бесстрашие, готовность собою жертвовать — ценится более ума, образованности и многих высоких качеств. И отчего-то сделалось весело, и, возвращаясь назад опустелым садом в разгар ночи, даже насвистывал.

³ Вечно женственное (нем.).

Тихомиров опять заговорил о том, что завтрашняя сходка необязательна: все вопросы выяснились и достигнуто основное — единство по поводу политической борьбы. Не нужно искушать судьбу. Каждое новое собрание — новый риск. А зачем это нужно, когда все вокруг кишит шпионами? Андрей не мог сдержаться — какая-то дурацкая напала веселость! — и рассмеялся:

— Ну, не так уж кишит, Тигрыч, не преувеличивай.

— Кишит, кишит. Я чую, как вокруг нас сгущается подозрительность. Мне не нравится, например, половой в трактире, такой чернявый, с бородавками.

— Но мы не можем разъехаться, пока не сказано последнее слово!

— Ты имеешь в виду?.. Ну да, понимаю. Все ясно, не надо никаких последних слов. Дворник любит эффекты.

— Слова нужны,— сказал Андрей.— Потому что дело-то каково? Не шпиона закупать, не купца тряхнуть. Этот эффект через сто лет отзвонится. Дворник совершенно прав: тут надо сказать все до конца, очень четко. Так, мол, и так. Другой надежды сейчас нет. И все мы должны с этим согласиться.

Тихомиров, помолчав, сказал:

— Ну, смотрите...— И рукою слабо махнул.

На другой день в лесу Дворник произнес обвинительную речь против Александра II. Это и было последнее, необходимое слово, которое должно объяснить, почему неотклонимо и единственно то дело, что не довершил Соловьев. Михайлов рассказал кратко обо всем царствовании лживого деспота, вот уже почти четверть века дурачившего русских людей пустыми обещаниями и посулами. Да, реформы были во благо и могли бы стать началом величайшего возрождения России, свободной и процветающей, с исконным для русской земли справедливым земским управлением,— почему же не стали? Почему спустя полтора десятка лет после введения реформ российская жизнь стала не лучше, а еще гаже, мрачнее, невыносимей? Потому что все эти уступки народу и обществу были обманом, лицемерием. А на деле: простор для хищников, разграбление страны, миллионы нищих, голодающих. Для видимости простил декабристов, вернул нескольких уцелевших несчастных стариков из Сибири, но беспощадно и бесмысленно подавил поляков, залил кровью Польшу, в ту же Сибирь погнал тысячи и тысячи. Для видимости, для одурачивания мира провозглашал громкие слова о свободе и конституции, ради которых будто бы затеял освобождение братьев-славян от турок, но на деле всякий признак свободы и всякую мысль о конституции давил и душил в собственной стране. Никогда в России не было столько виселиц, как при царе-«освободителе». Казни в Киеве и в Петербурге, зверское обращение с заключенными в Петропавловской крепости, приведшее к бунту и избиениям, издевательства над женщинами, нашими подругами, Малиновской, Витальевой и Александровой, все это делалось с благословенья царя. Да что стоит хотя бы то, что сей миролюбец усилил наказание пропагандистам по Большому процессу! А кто ответит за погибших, за тех, кто сошел с ума, не дождавшись суда? Все доброе, что было сделано в начале царствования, император уничтожил за последние годы. Можно ли простить ему притеснение народа, казни и надругательства над лучшими людьми? Можно ли простить то, что развеялись и поруганы все надежды на то, что Россия может стать когда-либо свободной страной?

Ответ был единогласный: нет, простить нельзя.

Десять человек сидели кто на пнях, кто на траве: Мария Николаевна, Баранников, Тихомиров, Морозов, Ширяев, Гольденберг, Квят-

ковский, Фроленко, Колоткевич и Андрей. Один стоял посреди лужайки, заложив руки за спину, бледный, с упорным, в одну точку направленным блистающим взглядом, и — говорил. Никогда Андрей не слышал такой страстной, возбуждающей речи. И сразу, как он кончил, встал Андрей.

— Если мы хоть сколько-нибудь считаем своей целью, — заговорил он с колотящимся сердцем и с тем мощным чувством наслаждения жизнью, что уже было на днях, — защиту прав личности, а деспотизм признаем вредным... Если мы верим, что только борьбой народ может добиться освобождения, тогда мы не имеем права относиться безучастно к таким проявлениям тирании, как зверства одесского и киевского губернаторов, Тотлебена и Черткова. Но инициатива этой политики расправ принадлежит царю. Партия должна сделать все что может: если у нее есть силы низвергнуть деспота посредством восстания, она должна это сделать. Если у нее хватит силы только наказать его лично, она должна это сделать. Если бы у нее не хватило силы и на это, она обязана хоть громко протестовать. Но сил хватит, и силы будут расти тем скорее, чем решительнее мы станем действовать.

(Продолжение следует)



ЖУЖА РАБ

★

СТРАЖАМ ПРИЛИЧИЯ

С венгерского

Бомба не знала,
когда ей навстречу неслась земля,
кто
к земле припадает, скуля:
мужчина или женщина.
Голод рукою грубой
не делил человечество на две группы:
на мужчин и на женщин.
А говорят, что этот порядок вечен!
Но ни бомбы, ни горе, ни голод
нас по-рыцарски не делили
на два пола.

Слабый пол моего поколения
забыл про такое деление,
забыл, что женщина — хрупкое существо,
что без опоры ей пусто, голо..
Забыл вообще — какого он пола!
И я забыла — в утробах грузовиков грязных,
которые из милости нас подбрасывали,
на ледяных подножках военных составов,
в длинных очередях, покачивающихся устало.
Забыла, стягивая на груди широченные штаны отца.
Забыла, копая противотанковые рвы
под командой щеголя-офицера.
Забыла, взваливая на детскую спину раненого
и обмывая мертвеца,
спасаясь от живых —
ибо кое-кто все-таки знал этому цену!

Нежную кожу наших девичьих лиц
облепила грязь, исцарапал камень,
когда мы падали ниц,
хватаясь за землю руками, —
мы, привязанные к конскому хвосту озверевшей эпохи!
Разбиты в кровь наши ноги.
Нежную кожу нашего разума поранили пули лжи.
В нежные наши сердца горе всаживало ножи.
В радужной оболочке глаз
застряли, как стрелы,
ужасы, виденные не раз.

Что же теперь нам будет к лицу,
какая песня?
Пролепечем нечто загадочное
про слепившую нас цветочную благоуханную пыльцу?..
Или, может, уместней
с возведенными в небо глазами
гнусавить часами
извечное женское,
подобное бездне:
«Душа. Цветок. Страсть. Восторг.
Страсть. Восторг. Душа. Цветок...»?

А кто расскажет за нас о том,
во что нас швырнули и что с нами стало потом?
Из чего мы выбрались, не сломясь,
втапывая в грязь — грязь!
Все те же —
лишь горло шершавей и руки грубее,
и правду в глаза говорим не робея,
и от грешной земли не заслоняемся небесами.

Кто расскажет о нас,
если не мы сами?!

Перевела РИММА КАЗАКОВА.



СТАНКА ПЕНЧЕВА

★

ОСЕННЕЕ

С болгарского

1

Зимой я чувствую тепло своего дыхания,
весной замечаю биение сердца,
а летом всем телом звеню я, как колокол,
звоном веселым;
и только лишь осенью я одиночество слышу.
И только лишь осенью
я становлюсь печальней и строже,
и черты мои снова упрямо
напоминают в осеннюю пору
лик мамы...

2

Орешник весь двор засыпал листвою.
Давно конура собачья пустеет.
И старая женщина
бродит неслышно по старому дому пустому.
И комнаты словно наполнены жизнью,
и смехом, и детской возней,
и кашлем мужским,
и пением девушки с длинной косой...
Тихо бродит по дому старуха,
тянут ее за подол ребятишки,
и муж окликает —
оттуда, как прежде, оттуда, из комнаты той...
Она отворяет двери,
она затворяет двери,
и стены даруют ей голос навеки умолкших,
и скрипят половицы под ногами навеки ушедших,
и отражается кто-то в пыльном зеркальном стекле...
За столом, на котором
ложка и хлеба ломоть,
всю семью она видит, сидящую кругом,
и хлеб непсчатый приносит,
и режет его,
и кладет по куску перед каждым пустующим стулом,
чтобы хватило на всех —
погибших, умерших,
давно позабытых друзьями, врагами

и возвратившихся в комнаты эти,
к старой печальной маме...

3

Скоро
я в небо с ладони пушу свою пташку.
Скоро изморозь
меня серебром своим тонким подернет.
И солнце впервые меня отогреть не сумеет.
Словно уснувшему дереву,
мне приснятся поющие гнезда, летящие звезды,
душистые почки и ветви с плодами..
Пахнет снегом зима, бесконечная, вечная...
И я наконец возвращаюсь назад, к маме...

* * *

Пусть девушки красой цветут вокруг.
Их нечего бояться мне.
Ты полюбил меня.
Избрал меня. И вдруг
я стала всех прекрасней на земле.
И длится мой
заветный, самый длинный женский день.
Душа трепещет молодой листвою.
Спокойный ясный свет развеял тень.
Когда же нас
под корень подрубить придет пора когда-нибудь
и в печь швырнуть —
в последний час
два пламени рванутся к небу из печи
и лишь потом сольются с тьмой в ночи.

Перевела ТАТЬЯНА МАКАРОВА.



ГЕНРИХ БЁЛЬ

★

ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ С ДАМОЙ*

Роман

III

Для того чтобы узнать подоплеку описанных событий, следует познакомиться ближе с человеком, которого авт. не без робости делает объектом своего исследования; не без робости, потому что, несмотря на большое количество сохранившихся фотографий, несмотря на имеющихся в наличии свидетелей — их гораздо больше, чем в деле Лени, — образ его неясен, неясен несмотря на многочисленных свидетелей или, может быть, по их вине. Мы говорим об отце Лени — Губерте Груйтене, который умер в 1949 году в возрасте сорока девяти лет. Кроме непосредственно связанных с ним людей: Марии ван Доорн, Хойзера, Лотты Хойзер, Лени, ее свекра и свекрови и ее шурина, — авт. удалось привлечь для своих изысканий еще двадцать три человека, которые были знакомы с Груйтеном на различных этапах его жизни: почти все эти люди работали с ним; либо он был подчинен им, либо они были подчинены ему; последних оказалось гораздо больше; восемнадцать из свидетелей имеют отношение к строительству, четверо — государственные служащие, архитекторы и юристы, один — тюремный служащий, ныне пенсионер.

Поскольку за исключением одного свидетеля все остальные были его подчиненными (работали у него в качестве техников, чертежников, сметчиков, планировщиков, возраст их колеблется между сорока пятью и восьмьюдесятью годами), самое правильное было бы, пожалуй, выслушать их, уже ознакомившись с сухими анкетными данными Груйтена. Губерт Груйтен родился в 1899 году, был каменщиком, участник первой мировой войны, пробыл на фронте год (служил «вяло и неохотно» — показание Хойзера-старшего); после войны выдвинулся и некоторое время проработал десятником, в 1919 году женился на матери Лени, дочери архитектора, находившегося на государственной службе и занимавшего довольно высокий пост, — «срубил дерево не по себе». Елена Баркель принесла в приданое пакет обесцененных акций турецких железных дорог, а главное, солидный многоквартирный дом в хорошем районе, дом, в котором впоследствии родилась Лени; кроме того, именно жена «открыла все, что было в нем заложено» (Хойзер-старший), побудила его выучиться на инженера-строителя, на что ушло три года; годы эти, к большому неудовольствию самого Груйтена, назывались в семье «студенческими»; Елена любила вспоминать о «студенческих временах», она говорила о них: «Трудные, но все же радостные»; для Груйтена, однако, такие речи были «мучительны», видимо, он стеснялся своего «студенчества». После окончания института с 1924 по 1929 год он был прорабом, причем пользовался большим спросом, строил крупные объекты (свою роль здесь сыграли и связи тестя); в 1929 году открыл собственную строительную контору и кое-

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 2 с. г.

как выкручивался до 1933 года, все время балансируя на краю пропасти. В 1933 году ввязался в большие дела и в начале 1943 достиг вершины своей карьеры, после чего отсидел в тюрьме два года до конца войны, соотв., работал как простой заключенный. В 1945 году вернулся домой, окончательно излечившись от честолюбия, с тех пор довольствовался малым — сколотил бригаду штукатуров и до самой смерти в 1949 году, как свидетельствует Лени, «довольно успешно сводил концы с концами». Кроме того, он стал еще «сборщиком металлолома».

* * *

Если опросить свидетелей, не находящихся в родстве с Груйтеном, о предполагаемых мотивах его профессионального честолюбия, то окажется, что некоторые вообще оспаривают наличие этой черты у Груйтена, другие же, наоборот, считают ее «основной чертой характера»; двенадцать свидетелей оспаривают наличие честолюбия у Груйтена, десять высказываются в пользу «основной черты». Но зато все свидетели единодушно утверждают то, что постоянно утверждал и старик Хойзер: Груйтен, по их словам, не имел ни малейших способностей к архитектуре; его даже считают «неспособным к строительному делу вообще». Одним качеством он, однако, обладал бесспорно: организаторским, координаторским талантом; даже в те времена, когда под началом Груйтена оказывалось почти десять тысяч рабочих, «он не терял ориентировки» (Хойзер).

Достоин внимания также и то, что из двадцати трех свидетелей, не находящихся с Груйтеном в родстве, пятеро (двое из них принадлежат к партии «он не был честолюбив», трое — к партии «это его основная черта») не сговариваясь заявили, что Груйтен был мечтателем. На вопрос о том, что они имеют в виду, давая Груйтену столь странную характеристику, трое ответили просто: «Ну да, он был мечтатель... Мечтатель, он и есть мечтатель». Только двое согласились дополнительно высказаться о предполагаемом предмете его мечтаний. Обер-директор по строительству, ныне пенсионер Хейнкен, который живет сейчас за городом и разводит цветы и пчел (к удивлению авт., он сразу же, так сказать, ни к селу ни к городу объявил о своей ненависти к курам и через каждые два слова поизносил фразу: «Я ненавижу кур»), так вот, этот Хейнкен назвал мечтания Груйтена «вполне земными». «Если хотите знать, он был мечтателем-практиком, ведь долгое время Груйтен находился в конфликте с известными моральными категориями, мешавшими ему продвигаться», — сказал он. Второй свидетель, архитектор Керн, примерно лет пятидесяти, еще весьма деятельный — за это время он стал служащим федерального правительства, — высказался следующим образом: «Ну да, все мы считали его человеком, приспособленным к жизни, таким он, конечно, и был; не мудрено, что я, человек предельно неприспособленный (стихийное, хотя и ценное признание. Авт.), очень уважал его, восхищался им; больше всего, пожалуй, тем, как он — человек такого низкого происхождения — разговаривал с сильными мира сего, он обращался с ними совершенно бесцеремонно и чувствовал себя как рыба в воде. Но часто, очень часто, когда я заходил к нему в кабинет — а мне приходилось нередко бывать у него в кабинете, — он сидел за своим письменным столом, устремив взгляд в одну точку, и мечтал... да, да, именно это я и хотел сказать... Он мечтал. И мечтал отнюдь не о текущих делах. Для меня это был повод подумать о том, как часто мы, неприспособленные люди, бываем несправедливы к людям приспособленным».

И наконец, когда про «мечтателя» сообщили старику Хойзеру, он вдруг удивился и сказал: «Я бы до этого никогда не додумался, но теперь, услышав слово «мечтатель», признаюсь, что это не просто смелое предположение, а чистая правда. В сущности, я был свидетелем взлета Губерта, — мы ведь с ним двоюродные братья, — он поднялся в первые годы после войны (Хойзер имел в виду первую мировую войну), я ему немного помог, а потом он помог мне, причем весьма щедрым образом: основав свою фирму, он сразу взял меня к себе, хотя мне уже перевалило далеко за тридцать; я стал у него главным бухгалтером, доверенным лицом, а позже компаньоном... Ну вот, он редко смеялся, это правда. И он был игрок. Не то чтобы так, поигрывал, а еще как играл. А потом, ког-

да разразилась катастрофа, я никак не мог понять, зачем он все это сделал... Наверное, слово «мечтатель» может многое объяснить, но только (сердитый смех), но только то, что он натворил потом с нашей Лоттой, никак не назовешь мечтаниями».

Ни один из двадцати трех свидетелей, переживших Груйтена, не отрицали, что Гр. был человек широкий, «приятный в обращении, сдержанный, но приятный».

Достоверно установлена также одна фраза Гр.— ее подтвердили два свидетеля, опрошенные порознь, — эту фразу Гр. произнес в 1932 году, когда он оказался накануне банкротства, видимо, после падения Брюнинга. В показаниях Марии ван Доорн фраза эта звучит так: «Запахло бетоном, друзья мои, запахло миллиардами тонн цемента, бункерами и казармами». Хойзер передает эту же фразу в несколько иной редакции: «Запахло бункерами и казармами, друзья мои, казармами по меньшей мере на два миллиона солдат. Если мы выстоим в ближайшие полгода, то наше дело в шляпе».

Учитывая обширный материал, который собран о жизни Груйтена-отца, авт. предупреждает, что на этих страницах не могут быть перечислены все лица, давшие ему соответствующую информацию. Это, однако, отнюдь не умаляет заслуг авт. — он поистине не жалел трудов, дабы собрать как можно более достоверные сведения даже о второстепенных персонажах, которые тем не менее играли роль на периферии событий.

* * *

Предупреждаем, что к показаниям ван Доорн в отношении старшего Груйтена следует относиться с известной осторожностью; они были приблизительно одного возраста, родом из одной деревни; не исключено поэтому, что Мария была влюблена в Груйтена, по крайней мере, питала к нему нежные чувства и потому является лицом пристрастным. В возрасте девятнадцати лет ван Доорн стала домоправительницей молодоженов Груйтиенов: жене Груйтена Елене, урожд. Баркель, тогда только-только минуло семнадцать; полгода назад она воспылала любовью к своему будущему супругу, познакомившись с ним на устроенном ее отцом балу молодых архитекторов. Не установлено, однако, воспылал ли сам Груйтен такой же сильной любовью к Елене, не установлено также, правильно ли он поступил, взяв к себе в дом сразу же после свадьбы девятнадцатилетнюю деревенскую девушку, о которой каждый сказал бы, что она полна несокрушимой и нерушимой жизненной силы. Зато точно установлено, что все высказывания Марии о матери Лени носят отрицательный характер, в то время как отца Лени она постоянно видит в некоем ореоле или, вернее, в некоем свете, скажем, в свете неугасимой лампы, стеариновой или электрической свечки или неоновой лампы, зажженной перед изображениями сердца Христова и Святого Иосифа. Отдельные высказывания ван Доорн позволяют заключить даже, что при известных обстоятельствах она была бы готова вступить с Губертом Груйтиеном в незаконную связь. Утверждая, например, что брак Груйтиенов с 1927 года начал «расползаться по всем швам», ван Доорн заявила, что с радостью согласилась бы дать ему то, что не могла или не хотела дать жена. А поскольку этот весьма толстый намек сопровождался замечанием, правда, произнесенным смущенным голосом, но все же произнесенным: «В конце концов, я ведь была тогда молодая женщина», — все сомнения вообще отпадают. На прямой вопрос, намекает ли ван Доорн на то, что в браке Груйтиенов исчезла интимная сторона, которая считается основой всяких супружеских отношений, ван Доорн ответила со свойственной ей, слегка обескураживающей прямоотой: «Да, это я как раз и хотела сказать». Причем выражение ее все еще живых карих глаз — разумеется, ван Доорн не сказала больше ни слова — позволило авт. предположить, что вывод этот она сделала как постоянная свидетельница семейной жизни Груйтиенов. На заданный далее вопрос, думает ли в. Д., что Груйтен «искал утешения на стороне», она ответила твердым и решительным «нет» и добавила: «Он жил как монах, хотя вовсе не был монахом», при этом авт. почти уверен, что уловил в ее голосе подавленное рыдание.

* * *

На ранней фотокарточке покойного Губерта Груйтена (детские карточки мы здесь опускаем, первый снимок, который авт. серьезно изучил, был снимок выпускников груйтеновской школы от 1913 года) мы видим высокого стройного юношу с чуть длинноватым носом, светловолосого и темноглазого, с «решительным лицом», однако не столь твердокаменного, как все его соученики, напоминающие новобранцев; достаточно взглянуть на юношу Груйтена, и веришь тем почти мистическим предсказаниям, которые все учителя, священники и члены семьи Груйтенов повторяли слово: «Этот парень далеко пойдет». Но куда?

На второй фотографии Груйтен изображен только что окончившим учебу восемнадцатилетним подмастерьем: карточка эта от 1917 года; прозвище «мечтатель», данное Гр. много позже, находит на этом снимке свое психологическое подтверждение: Сразу видно, что Гр. — юноша серьезный; причем доброта, написанная на его лице, как бы противоречит столь же явно выраженной твердости и силе воле. Ввиду того, что Гр. всегда снимался в фас — не считая последних фотографий, которые были сделаны уже в 1949 году деверем Лени, вышеупомянутым Пфейфером, плохоньким фотоаппаратом, — по его карточкам никак нельзя установить соотношение между длиной носа и всего лица; даже знаменитый художник-портретист, который в 1941 году написал Гр. в натуралистической манере (портрет маслом на холсте, совсем неплохой, хотя и неинтересный; картину удалось разыскать в частном собрании у чрезвычайно неприятных людей, так что авт. лишь кратко обозрел ее), — даже этот художник не воспользовался возможностью написать Гр. в «три четверти»; таким образом, недоказанной осталась гипотеза о том, что Гр., если снять с него современную одежду, выглядел так, словно сошел с полотна Иеронима Босха¹.

* * *

На семейные тайны Мария лишь намекала, зато о кухонных секретах говорит открыто. «Она не любила острой еды, он же, наоборот, любил только острую еду... Из-за этого сразу же возникли трудности, обычно мне приходилось все дважды солить и перчить: для нее слабо, для него — сильно; дело кончалось тем, что он сам еще раз все солил и перчил, ведь еще тогда, когда он под стол пешком ходил, все в деревне знали, что для него лучшее лакомство не кусок торта, а соленый огурец».

* * *

Следующий снимок, достойный упоминания, это Груйтены в Люцерне во время их свадебного путешествия: госпожа Елена Груйтен, урожд. Баркель, вне всякого сомнения, очаровательное создание — она нежная, хрупкая, милая, утонченная; по ней сразу видно то, что не станет отрицать никто из близких к ней лиц, даже Мария, — видно, что она играла на рояле Шумана и Шопена, говорила довольно свободно по-французски, умела вязать, вышивать и т. д. Надо также отметить, что, судя по фотографии, в Елене, быть может, погибла интеллектуалка. Конечно, в свое время Елена не нарушила родительского запрета и «не заглянула» в Золя; можно себе представить, в какой ужас она пришла восемь лет спустя, когда дочь ее Лени заинтересовалась своим (Лени) с т у л о м. Наверное, для Елены Груйтен Золя и кал были идентичными понятиями. Вероятно, из этой женщины не получился бы врач, зато она могла бы, наверное, без особого труда защитить диссертацию по истории искусства. И все же справедливость превыше всего: при наличии некоторых предпосылок, которых у Елены не было, а именно: при менее эгегическом и более аналитическом воспитании, при меньшей заумности и более трезвом уме (если это достижимо!) и, наконец, если бы в пансионе не воспитывали кисейных барышень, — Елена Груйтен, может быть, все же стала бы хорошим врачом. Одно ясно: попади в поле ее зрения всякого рода недозволенная литература, она принялась бы скорее за Пруста, нежели за Джой-

¹ Иероним ван Акен Босх (род. около 1450—1516) — нидерландский живописец, многие картины которого носят трагический характер.

са. На самом деле Елена Груйтен читала Энрико фон Ханделя — Мацетти² и Марию фон Эбнер — Эшенбах³. Кроме того, она внимательно следила за тем ставшим ныне букинистической редкостью католическим иллюстрированным еженедельником, который считался тогда самым современным из всех современных изданий подобного типа, особенно если сравнивать его с таким журналом, как «Публика» (1914—1920 годы). Известно также, что когда Елене минуло шестнадцать, ее родители выписали в подарок дочери журнал «Нагорье». Таким образом, мы видим, что Елена штудировала не просто прогрессивную литературу, а самую что ни на есть прогрессивнейшую; наверное, именно благодаря журналу «Нагорье» она досконально узнала прошлое и настоящее Ирландии, ей были известны такие имена, как Пирс, Конноли, и даже такие, как Честертон⁴.

Благодаря сестре Елены Ирене Швейгерт, урожд. Баркель, семидесятипятилетней старушке, которая пребывает ныне в доме для престарелых привилегированного типа и «спокойно ждет своей смерти» (собственное высказывание дамы) в обществе нежных и сладкоголосых попугаев, точно установлено, что мать Лени, в ту пору еще совсем молодая девушка, оказалась «одной из первых, если не самой первой читательницей переведенной в 1912 году на немецкий язык прозы Йитса и, разумеется, Честертон. «Я это хорошо знаю, потому что сама подарила Елене эту книгу».

Авт. ни в коем случае не желает использовать начитанность или неначитанность того или иного персонажа ему на пользу или во вред; он хочет всего лишь осветить фон нарисованной им картины, на котором примерно в 1927 году уже появились первые трагические тени. Одно несомненно: глядя на фотографию, сделанную в девятнадцатом году во время свадебного путешествия Груйтен, видишь, что, какие бы потенциальные качества жизнь ни подавила в Елене Груйтен, потенциальной куртизанкой мать Лени, во всяком случае, не была, она не кажется очень чувственной, секс из нее «не выпирал», в то время как из ее мужа секс «выпирал». Вполне возможно, что оба эти человека — сомневаться в их взаимной любви у нас нет оснований — ввязались в авантюру, именуемую браком, совершенно неискушенные в вопросах пола; вполне возможно также, что в первые ночи Груйтен вел себя не то чтобы грубо, но немножко нетерпеливо.

Что касается его чтения, то авт. отнюдь не хотел бы основываться на показаниях одного из ныне здравствующих конкурентов Груйтена, которого считают «гигантом на строительном поприще» и который сказал буквально следующее: «Он и книги?! Для него вообще, наверное, существовала только одна книга — гроссбух, другие книги его не интересовали». Согласно достоверным источникам, Губерт Груйтен и впрямь читал мало, в свои студенческие годы читал по обязанности специальную литературу, кроме того, согласно достоверным источникам, он читал популярную биографию Наполеона. А вообще, как засвидетельствовали почти слово в слово Мария и Хойзер, «ему хватало газеты, а позже радио».

* * *

После того как удалось разыскать старую госпожу Швейгерт, неожиданно разъяснилось одно дотоле абсолютное неясное высказывание Марии, которое оставалось нерасшифрованным столь долго, что авт. зачеркнул его в своей записной книжке и чуть было не лопнул от любопытства. Дело в том, что Мария сказала однажды про госпожу Груйтен: «Она без конца носилась со своими, как их там, на букву «ф»...». Поскольку таинственное «ф» никак не означало фурункулы. (Мария: «Фурункулы? При чем тут фурункулы, кожа у нее была безукоризненно чистая, я хотела сказать, носилась со своими финнами».) Однако ни в одном из добытых авт. свидетельских показаний не упоминалось о связи

² Немецкий писатель, получивший известность на рубеже XX века.

³ Австрийская писательница, психологические новеллы и романы которой пользовались большим успехом с начала века до войны 1914 года.

⁴ Пирс — один из героев ирландского освободительного движения в период первой мировой войны; Конноли — борец за независимость Ирландии; Честертон Гилберт Кит — английский писатель, журналист и критик.

Елены Груйтен с Финляндией, даже самой отдаленной, поэтому под «финнами» подразумевались, очевидно, «фении»⁵, ведь сейчас нам известно, что пристрастие госпожи Груйтен к Ирландии приняло позже романтический и отчасти даже сентиментальный характер. Во всяком случае, Йитс был и оставался ее любимым поэтом.

Поскольку мы, к сожалению, не располагаем письмами, которыми обменивались Груйтен и его жена, и должны довольствоваться в высшей степени сомнительными показаниями ван Доорн, единственным достоверным источником информации кажется нам фотография обоих супругов, снятая на берегу Люцернского озера во время их свадебного путешествия. Чисто визуальный анализ этой фотографии дает некоторые негативные сведения: зрителю не кажется, что между супругами царит гармония по части эроса и секса. Нет, не кажется. Далее: на этой ранней фотографии уже ясно видно то, что подтвердилось на многих позднейших: Лени больше похожа на отца, Генрих — на мать, хотя в вопросе об острой пище (см. свежие булочки) Лени больше походила на мать, так же как и в своих поэтических и музыкальных вкусах, что было нами доказано ранее. На гипотетический вопрос, какие дети родились бы в случае, если бы Груйтен женился на Марии, можно ответить скорее негативно, нежели позитивно: от этого брака наверняка родились бы не такие дети, о которых спустя столько лет моментально вспомнили монахини и иезуиты с пергаментной кожей.

Какие бы тернии и шипы ни встречались на пути супругов в годы их брака, все без исключения свидетели семейной жизни Груйтенгов, даже ревнивица ван Доорн, в один голос утверждали: он никогда не был с ней нежлив или просто неласков, напротив, всегда вел себя по-рыцарски. Что касается ее, то она его «боготворила», на этот счет сомнений нет.

* * *

Старая госпожа Швейгерт, урожд. Баркель, — при первом взгляде на нее сразу видно, что она не имеет отношения ни к Йитсу, ни к Честертону, — откровенно призналась, что она не «очень-то жаловала» своего зятя, а также сестру после их свадьбы; ей было бы гораздо приятней, если бы сестра вышла замуж за поэта, художника, скульптора или, на худой конец, архитектора; прямо Швейгерт не сказала, что Груйтен казался ей слишком простым, эту мысль она выразила в косвенной форме: «Он был недостаточно тонкий». На вопрос о Лени она ответила всего лишь двумя краткими словечками: «Ну да» — и, несмотря на настоятельные просьбы расшифровать это междометие, так и осталась при своем «ну да». Зато Генриха она сразу похвалила как истинного Баркеля; даже то обстоятельство, что смерть ее сына Эрхарда «оказалась фактически на совести Генриха, по собственному почину Эрхард никогда бы этого не сделал», не уменьшило симпатию госпожи Швейгерт к Генриху; она назвала его «экстремистом, настоящим экстремистом, но зато одаренным мальчиком, почти гениальным». У авт. появилось странное чувство, ему показалось, будто Швейгерт не очень-то огорчена ранней смертью сына; она отделалась общими фразами: «Роковые времена — роковые судьбы», но потом высказала весьма любопытную мысль и о своем сыне и о Генрихе, которая, впрочем, нуждается во множестве оговорок и исторических поправок. Вот дословно что она сказала: «Казалось, будто они пали смертью храбрых под Лангемарком».

Если представить себе, с одной стороны, проблемы Лангемарка, вернее, мифа о Лангемарке, а с другой — разницу между четырнадцатым годом и сороковым и вдобавок примерно четыре десятка сложных и ложных теорий на этот счет, которые не стоит здесь перечислять, читатель, быть может, поймет, что авт. распрощался с госпожой Швейгерт вежливо, но холодно. Распрощался, впрочем, не навсегда. Позже через свидетеля Хойзера он узнал кое-какие подробности о загадочном для него до той поры супруге госпожи Швейгерт: оказалось, что супруг был тяжело ранен под Лангемарком, три года пролежал в госпитале — «он

⁵ Ф е н и и — члены тайного общества, боровшиеся за освобождение Ирландии от английского господства.

был просто весь изрешечен» (Хойзер) — и в 1919 году женился на ухаживавшей за ним в порядке благотворительности Ирене Баркель, в этом браке и был рожден сын Эрхард. Однако сам господин Швейгерт «стал морфинистом и так отчаянно исхудал, что буквально с трудом находил местечко, куда можно было всадить очередной шприц» (Хойзер); уже в двадцать третьем он умер в возрасте двадцати семи лет и в графе профессии до последнего дня писал «студент». Исходя из всего вышесказанного, можно предположить, что госпожа Швейгерт — натура необычайно утонченная — втайне мечтала о том, чтобы муж ее пал смертью храбрых под Лангемарком. Позже она стала маклером по продаже земельных участков и тем зарабатывала себе на жизнь.

* * *

С 1933 года дела Груйтена идут в гору; сперва его благосостояние растет постепенно, но начиная с 1935 года взлетает круто вверх, а с 1937 года еще круче; согласно показаниям его бывших сотрудников и некоторых экспертов, он работал на Западном вале «неслыханно, просто фантастически». Однако, по словам Хойзера, он «уже в 1935 году переманил к себе за бешеные деньги чуть ли не всех самых наилучших специалистов по укреплению и бункерам». Переманил задолго до того, как «сумел пустить их в дело». «Мы все время жили на кредиты, и когда я вспоминаю об их размерах, у меня и сейчас голова кружится».

Весь фокус заключался в том, что Груйтен сделал ставку на так называемый «комплекс Мажино», который, по его мнению, имели все государственные мужи; «Даже после того, как миф о Мажино развеется в дым, они не избавятся от этого комплекса (слова Груйтена, процитированные Хойзером), этот комплекс останется у них надолго, может быть, навсегда. Только у русских его нет, для этого у них слишком протяженные границы, им этот комплекс иметь нельзя, не знаю уж, к счастью или к несчастью. Поживем — увидим. Во всяком случае, у Гитлера «комплекс Мажино» есть, хотя он и проповедует маневренную войну и даже ведет ее. Но все равно сам он одержим комплексом бункеров и дотов, вот увидишь...» (начало 1940 года, высказано Гр. накануне захвата Франции и Дании).

А вот и итоги: уже в 1938 году фирма Груйтена выросла в шесть раз по сравнению с 1936 годом, когда она выросла в шесть раз по сравнению с 1932 годом; в 1940 году она выросла в два раза по сравнению с 1938 годом, а в 1943 году «ее объем уже трудно было установить» (Хойзер).

Одно качество Груйтена-старшего все подтверждают, хотя и формулируют по-разному: некоторые называют Груйтена «храбрым», некоторые — «бесстрашным», человека два-три считали его «одержимым манией величия». Люди деловые утверждают, что он, без сомнения, заблаговременно переманил и заманил к себе самых лучших специалистов по строительству оборонительных сооружений, а позже, не считаясь с затратами, нанимал французских инженеров и техников, которые участвовали в возведении «линии Мажино»; кроме того, он точно знал (цитирую слова бывшего крупного чиновника по делам вооружений, пожелавшего остаться неизвестным), «точно знал, что во времена инфляции глупо быть бережливым и экономить на окладах и заработной плате». Да, Груйтен хорошо платил. В означенное время ему минул сорок один год. Сшитые на заказ костюмы «из дорогих, но не вызывающе дорогих материй» (Лотта Хойзер) превратили «этого импозантного мужчину в импозантного барина». Груйтен-старший ничуть не стеснялся того, что он выскочка, как-то раз он сказал одному своему сотруднику (Вернеру фон Хоффгау, архитектору старого закала): «В свое время все были выскочками, и вы тоже выскочили в один прекрасный день, когда из бедного стали богатым».

Груйтен упорно отказывался построить себе виллу в той части города, в которой обязательно селились в ту пору все разбогатевшие люди (кстати сказать, он до самой своей смерти, несмотря на замечания окружающих, говорил не «вилла», а «филла»).

* * *

Совершенно неправильно считать Груйтена обычным пошлым нуворишем; кроме всего прочего, он обладал редким даром, который нельзя ни приобрести за деньги, ни унаследовать, — Груйтен хорошо разбирался в людях, и все его сотрудники (архитекторы, инженеры, специалисты по сбыту) восхищались им, большинство из них боготворило его.

Образование и воспитание сына он тщательно продумал и наблюдал за осуществлением своих планов, все сам контролировал; Груйтен-отец часто посещал сына, но редко брал его домой, потому что боялся, как бы «его дела не запачкали мальчика» (удивительное, но достоверное сообщение Хойзера). «Сына он мечтал пустить по ученой части, но формула «лишь бы он стал профессором, там посмотрим» его не устраивала. Груйтен желал, чтобы сын походил на того профессора, которому мы когда-то построили виллу» (Хойзер; согласно его показаниям, речь шла об одном довольно известном филологе, специалисте по романским языкам, библиотека которого, равно как и эрудиция, а также «открытое и душевное отношение к людям» произвели на Груйтена неизгладимое впечатление). К успехам сына Гр. относится чрезвычайно ревниво. Когда тому минуло пятнадцать, он с неудовольствием заявил, что мальчик «выучил испанский не так хорошо, как хотелось бы».

К чести Груйтена надо отметить, что он никогда не считал Лени «глупой гусыней». Ярость Лени после первого причастия ни в коей мере не рассердила его, он громко рассмеялся (а это, как показывают все свидетели, случилось с ним чрезвычайно редко) и прокомментировал этот факт следующим образом: «Вот она-то хорошо знает, что ей надо» (Лотта Х.).

В то время как жена Груйтена постепенно блекла и со временем стала слезливой и, пожалуй, немного ханжой, он все еще был мужчиной «в самом соку». Одно-го он не знал и так и не узнал до конца своих дней — чувства неполноценности. Конечно, и у него были свои любимые фантазии, в отношении сына несомненно и уж совершенно несомненно в отношении испанского языка сына. Даже через тринадцать лет после того, как между ним и женой прекратились всякие супружеские отношения (см. показания ван Доорн), он ее не обманывал, во всяком случае не обманывал с другими женщинами. Как ни странно, он питал явное отвращение к похабным анекдотам, отвращение, которое не считал нужным скрывать. А между тем по необходимости он нередко проводил вечера в «холостых компаниях», где часа в два-три ночи неизбежно настает та стадия, когда один из собутыльников требует привести ему «пылкую красотку». Кое-кто посмеивался над неприязнью Груйтена к анекдотам и «красоткам», но он относился к этим насмешкам с полным хладнокровием (показания Вернера фон Хоффгау, который целый год сопровождал Гр. на вечера в холостых компаниях).

* * *

Что же, в конце концов, за человек Гр.? — спрашивает читатель, явно теряя терпение. Что это за человек? Ведет, так сказать, целомудренный образ жизни и зарабатывает на подготовке к войне и на самой войне? Оборот в его фирме в денежном выражении (согласно показаниям Хойзера) возрос примерно с одного миллиона в год в 1935 году до одного миллиона в месяц в 1943 году. Что это за человек, который в 1939 году, когда оборот его фирмы, как-никак, исчислялся в миллион за один квартал, всеми силами стремился удержать сына вдалеке от своих дел, приносивших ему баснословные барыши?

* * *

В тридцать девятом — сороковом годах в отношения между отцом и сыном, когда тот приезжал домой, вкралась некоторая раздражительность, пожалуй, даже горечь; сын в это время как раз спустился с трех гор «абендланда» и очутился в четырех часах езды от отчего дома, где-то на болотах, которые он осушал, хотя сей молодой человек и научился читать Сервантеса в подлиннике, научился по настоящему желанию отца, отвалившему за это жирный куш

одному испанскому монаху-иезуиту. От июня месяца до сентября сын приезжал домой примерно раз семь, а от конца сентября 1939 года до начала апреля 1940 года примерно пять раз. Он не захотел воспользоваться предложенной ему в открытую «протекцией», хотя для отца было бы «плевым делом» (все закавыченные слова из показаний Хойзера-старшего и Лотты) добиться отправки сына в какое-нибудь подобающее место или же полностью освободить его от армии как сотрудника фирмы, работающей на оборону.

Что это за сын, который в ответ на вопрос о его самочувствии и армейском житье-бытье вынимает за завтраком из кармана книгу под названием «Рейберт. Учебник. Служба в сухопутных войсках. Спец. издание для бойцов противотанковой обороны. Второе издание, переработанное и дополненное майором др. Аллмендигером»; вынимает эту книжицу и читает вслух то, что не успел переписать в письмах, а именно: пятистраничный раздел под заголовком «Воинское приветствие», в котором подробно рассматриваются все варианты отдания чести — на ходу, на бегу, лежа, стоя, сидя, верхом на лошади, за рулем машины, — а также точно описывается, кто, кого и как должен приветствовать.

При этом следует отметить, что отец Генриха был не из тех отцов, которые день-деньской сидят дома и ждут визитов сына. Нет, отец Генриха — тем временем он получил личный самолет (Лени летала на нем с наслаждением!) — был человеком не просто загруженным, но и перегруженным различными сверхответственными заданиями; с огромным трудом, да и то от случая к случаю он выкраивал свободный час, чтобы повидаться со своим возлюбленным сыном, отменяя с этой целью важные совещания и отказываясь под всякими малоубедительными предлогами (зубной врач и т. д.) от встреч с министрами (1). И что же? В благодарность он должен был выслушивать разглагольствования этого Рейберта, обработанные и дополненные неким майором Аллмендигером, разглагольствования о приветствиях в армии, которые читал вслух его возлюбленный сын. Тот сын, которого он хотел бы видеть директором института истории искусств или, в крайнем случае, археологического института в Риме или во Флоренции.

Нетрудно понять, что «кофепития», завтраки и обеды в доме Груйтенов стали для всех участников «не просто неудобными; с каждым месяцем они делались все более мучительными, превратились в нервотрепку, в кошмар» (Лотта Х.).

Лотта Хойзер, урожд. Бернтген, невестка много раз цитированного выше доверенного лица и главного бухгалтера Отто Хойзера, служила секретаршей у Груйтена; некоторое время в фирме работал чертежником также и ее муж Вильгельм Хойзер. Поскольку Лотта была секретаршей Груйтена в те решающие месяцы 1939 года и время от времени участвовала в «кофепитиях» вместе с сыном Гр., приехавшим из армии на побывку, здесь, пожалуй, следует привести попутно и характеристику Груйтена-отца, данную ею; Лотта считала Гр. «совершенно неотразимым — пусть в конечном счете он был преступником». Старик Хойзер был не прочь похвастаться «любовными, хотя, конечно, чисто платоническими, отношениями» его невестки с Груйтенем, «под мужским обаянием которого она, разумеется, находилась, ведь разница в возрасте у них была неполных четырнадцать лет». Возникла даже весьма любопытная теория (как ни странно, создатель ее Лени, хотя теория эта дошла до нас не прямо, а через третье лицо — через довольно ненадежного свидетеля Генриха Пфейфера). Согласно этой теории, «Лотта, наверное, была для отца сущим искушением. При этом я вовсе не считаю, что она была и с к у с и т е л ь н и ц е й».

Итак, Лотта называет трапезы в кругу семьи Груйтенев, на которые сам Груйтен, как утверждают, прилетал то из Берлина, то из Мюнхена, иногда даже из Варшавы, «ужасающими, совершенно невыносимыми». Ван Доорн называет их «кошмарными, просто кошмарными», Лени ограничивается кратким определением: «Скверно, скверно, скверно».

Буквально всеми свидетелями, даже такой пристрастной, как ван Доорн, удостоверено, что приезды сына «форменным образом губили» госпожу Груйтен, «эти распри были ей не под силу». Так же недвусмысленно высказалась по это-

му поводу и Лотта Хойзер, она заявила: «Мы тогда имели дело с отцеубийством в интеллектуальной форме»; политический смысл цитаты из упомянутого Рейберта «так тяжело задел Груйтена именно потому, что сам он находился в центре политики, узнавая и зная чрезвычайно важные политические секреты: он знал, например, о строительстве казарм в Рейнской области задолго до ее ремилитаризации, знал о запланированном строительстве гигантских бомбоубежищ... Естественно, он не желал слушать о политике у себя дома».

* * *

Лени пережила эти горькие девять месяцев не так тяжело, как другие персонажи, возможно, потому что она скользила по поверхности событий и приблизительно в июле 1939 года вняла мольбам одного молодого человека, вернее, вняла бы, если бы он обратился к ней с мольбами; правда, Лени и в то время не знала толком, тот ли он самый, кого так страстно звала ее душа, знала только, что поймет это, когда он обратится к ней с мольбой. Молодой человек был ее двоюродный брат Эрхард Швейгерт, сын жертвы Лангемарка и той дамы, которая, говоря о своем сыне, утверждала, что он как будто «пал смертью храбрых под Лангемарком». По причине «врожденной нервности и крайней впечатлительности натуры» (мать Эрхарда) этот молодой человек не смог одолеть столь сурового барьера, как экзамены на аттестат зрелости, и был отвергнут даже такой безжалостной организацией, как «Имперский трудовой фронт», отославшей его временно домой; после этого он предпринял попытку получить «отвратительнейшую профессию» (по свидетельству в. Д., слова самого Эрхарда), профессию школьного учителя, и с этой целью добровольно подверг себя даже специальному «тесту на одаренность»⁶, но тут вдруг попал в другую, еще более суровую организацию, где встретился с двоюродным братом Генрихом, который взял его под свое покровительство и, пользуясь пребываниями дома по увольнительным, довольно-таки недвусмысленно сводил со своей сестрой Лени. Он покупал билеты и «посылал их в кино» (в. Д.), а потом, условившись встретиться с ними после окончания сеанса, «нарочно не приходил» (см. выше). В итоге Эрхард торчал большую часть своего свободного времени, вернее, почти все время у Груйтенов, а матери спорадически наносил визиты настолько краткие, что сия особа до сих пор не может с этим примириться; она прямо-таки с пеной у рта отрицает, что между ее сыном и Лени был роман, который мог бы «кончиться чем-то серьезным». «Нет, нет и нет... с этой, с позволения сказать, девушкой ни в коем случае». Однако если что-то и можно утверждать с уверенностью, то именно тот непреложный факт, что начиная со своей первой увольнительной, то есть примерно с мая 1939 года, Эрхард боготворил Лени; тому есть достоверные и авторитетные свидетели, в частности Лотта Хойзер, которая решительно утверждает: «Эрхард был бы безусловно лучше тех, кто появился потом, во всяком случае, лучше того, кто появился в сорок первом году. Хотя, быть может, не лучше, чем тот, которого Лени полюбила в сорок третьем году». Согласно ее собственному признанию, Лотта много раз пыталась заманить Лени и Эрхарда к себе в квартиру и оставить их там вдвоем, чтобы «у них, черт возьми, наконец-то сладилось. Эрхарду, этому дурню, прости господи, стукнуло двадцать два, он был здоровый и необычайно милый парень, а Лени было семнадцать с хвостиком, и она — я говорю это вам совершенно ответственно — созрела для любви, была женщиной, уже тогда была восхитительной женщиной; все упиралось в Эрхарда, невозможно себе представить, до чего он был робок».

* * *

А сейчас во избежание каких-либо недоразумений следует охарактеризовать Лотту Хойзер. Год рождения — 1913, рост — 1 м 64 см, вес — 60 кг, волосы темно-русые, с проседью, сухие, как порох; человек, мыслящий диалектически,

⁶ Специальные тесты в нацистской Германии, которые давали право на поступление в университет без аттестата зрелости.

но не обученный диалектике, сказал бы о ней, что она обладает удивительной прямоотой, еще большей, чем Маргарет. Поскольку во времена Эрхарда Лотта поддерживала самые тесные контакты с Груйтенем, она кажется нам гораздо более надежной свидетельницей, нежели ван Доорн, которая, как только разговор заходит о Лени, склонна к своего рода культу личности. На вопрос об ее отношениях с Груйтенем-отцом, отношениях, вызывавших много толков, Лотта также ответила с присущей ей прямоотой: «Конечно, уже в ту пору у нас с ним все могло быть, признаюсь. Да и он уже тогда мог бы быть таким, каким стал в сорок пятом; я не одобряла почти все, что он делал, но понимала его — не знаю, ясно ли вам, что я хочу сказать... Жена у него была чересчур пугливая, чересчур запуганная этой пакостью с военными заказами, они вселяли в нее ужас и парализовали ее волю; была бы она более активной, менее созерцательной натурой, она спрятала бы своего сына где-нибудь в Испании или... уж не знаю где... заперла бы его в какой-нибудь монастырь или отправила к этим фениям — ведь она могла туда съездить и все разузнать; разумеется, моего мужа и Эрхарда тоже можно было вытащить из-под колес немецкой истории. Но во избежание кривотолков скажу: Елена Груйтен была не только милым созданием, но и хорошей, умной женщиной, и все же — не знаю, поймете ли вы, что я хочу сказать, — все же ей было не под силу тягаться с этой самой немецкой историей, и с политикой, и с военным бизнесом, и с ужасающей силой саморазрушения, которую сознательно разжигал в себе мальчик. То, что вам говорили о нем люди, правильно (имя Маргарет не было названо. Авт.). Он действительно взвалил себе на плечи весь абендланд... А что он, так сказать, обрел? Малюсенький комочек дерьма, если хотите знать, комочек дерьма плюс неопишемую гордыню. Слишком много в нем было от бамбергского всадника и слишком мало от героев Крестьянской войны. Девчонкой, лет в четырнадцать, когда я еще училась в школе — это было в двадцать седьмом году, — я прослушала курс лекций о социально-политической подоплеке Крестьянской войны и записала все слово в слово... Разумеется, я знаю, бамбергский всадник не имеет ничего общего с Крестьянской войной... Но попробуйте все же остричь ему кудри и побрить его... Что получится? Что от него останется? Иосиф Прекрасный, так сказать, в дешевом варианте? Иосиф Прекрасный для бедных. Одним словом, в этом юноше было слишком много от бамбергского всадника, а мать его, увы, была точь-в-точь тепличная роза, возвращенная на химусе¹ — она как-то дала мне книгу об этой штуке, — да, она была на самом деле прекрасная женщина, и все это было, конечно, прекрасно; наверное, несколько инъекций гормонов вывели бы ее из спячки. Ну, а Генрих? Перед этим юношей невозможно было устоять; я не знала ни одной женщины, лицо которой при встрече с ним не расплывалось бы в блаженной улыбке; да, только женщины и умные гомосексуалисты чувствуют на расстоянии истинного поэта. Разумеется, то, что он натворил, было самоубийством чистой воды, в этом нет сомнения, и я спрашиваю себя: зачем он втянул в эту историю Эрхарда?.. Но, может, тот и сам хотел в нее втянуться? Кто знает... Два бамбергских всадника, которые решили умереть вместе! Ну что ж, они добились своего; их поставили к стенке, и знаете ли, что крикнул Генрих за секунду до залпа? «Н... на Германию!» Печальный конец, а ведь этому юноше дали единственное в своем роде образование и воспитание; впрочем, коль скоро он уже оказался в этом вонючем нацистском вермахте, это, ей-богу, был не худший исход. Между апрелем сорокового и маем сорок пятого представлялось достаточно возможностей погибнуть. У Груйтена-старшего были большие связи, и он раздобыл дело сына, дело это послал ему один важный генерал, но Груйтен ни разу в него не заглянул; он только просил меня рассказать ему самое главное... Знаете, что сделали мальчики? Предложили датчанам пушку со всеми потрохами; они хотели продать ее по фиктивной цене, по цене железного лома, марок за пять, что ли. А знаете, какие слова произнес этот тихий, стеснительный Эрхард на заседании трибунала? «Мы умираем во славу почтеннейшей профессии — торговли оружием».

¹ Х и м у с — пищевая кашица в желудке.



Авт. счел необходимым еще раз встретиться с господином фон Хоффгау Вернером, пятидесяти пяти лет, который после временной работы в бундесвере, где он «подвизался в качестве специалиста-строителя», открыл в боковом флигеле небольшого родового замка, окруженного рвом с водой, скромную архитектурную мастерскую, «занимающуюся исключительно невоенными объектами, а именно: проектированием дач». Хоффгау — обходительный седовласый господин, холостой (сам он избегает характеризовать себя как человека пассивного, хотя мог бы); архитектурная мастерская служит для него, согласно непросвещенному мнению авт., всего лишь удобным предлогом, чтобы часами созерцать лебедей на пруду, хозяйственную деятельность арендаторов в пределах и за пределами имения, а также для того, чтобы совершать длинные прогулки по горам, по долам (точнее говоря, по свекловичным полям), сердито поднимая глаза к небу каждый раз, когда над окрестностями появляется самолет «старфайтер». Х. избегает встреч с братом, живущим в замке, избегает «из-за небезызвестной сделки, которую тот провернул под прикрытием моего имени, но без моего ведома в отделе, возглавляемом в ту пору мной». При этих словах на лице Х., жеманном и несколько оплывшем, появляется выражение горечи, но не по конкретному поводу, а скорее абстрактной общечеловеческой горечи, которую он, как показалось авт., заглушает напитком, весьма и весьма опасным при неумеренном его потреблении, — хорошо выдержанным шерри. К своему изумлению, авт. обнаружил уйму пустых бутылок из-под шерри в мусорной куче у флигеля Х. и пугающе много бутылок того же напитка в шкафу «с чертежными принадлежностями». Потребовалось несколько вылазок в деревенскую пивнушку, чтобы добыть те сведения, какие не соглашался дать Х., подкрепляя свой отказ фразой: «Я нем как могчла»; сведения эти авт. получил, правда, в виде циркулирующих в деревне слухов.

Нижеследующее сообщение составлено авт. из отдельных высказываний примерно десяти деревенских жителей, с которыми он вел беседы во время трех своих визитов в пивную Хоффгаузена; симпатии всех опрошенных были безусловно на стороне пассивного Вернера, но зато их почтение, почти благоговение, — на стороне весьма и весьма активного брата Арнольда, о котором в деревне говорят буквально с дрожью в голосе. Согласно свидетельству деревенских жителей, Арнольд, работая в возглавляемом братом штабе проектирования аэродромов бундесвера, стоял как депутатом бундестага, банкирами и лоббистами различных группировок комитета обороны, нажал на самого министра обороны и провел сделку, заключающуюся в том, что «знаменитый с давних пор Хоффгаузенский лес» и, соответственно, многочисленные прилегающие к нему угодья были избраны для постройки аэродрома НАТО. По свидетельству деревенских жителей, сделка эта была миллионов на пятьдесят, возможно, на сорок или уж как минимум на тридцать и проводилась «в штабе Вернера, но про тив его воли, зато с о г л а с и я комитета обороны» (житель деревни Бернгард Хеккер, фермер).

Хоффгау, навеки благодарный Груйтену за то, что тот спас его, «в те времена еще человека молодого, от вермахта, сделав своим личным референтом... позже, когда дела его стали дрянь, я оплатил ему добром за добро», поколебался еще немного, а потом все же проинформировал авт. о загадочной истории Генриха — Эрхарда. «Раз вы принимаете ее так близко к сердцу, раскрою вам один секрет. Госпожа Хойзер не знала дела в полном объеме и не была в курсе предшествующих событий. Она получила только документы судебного разбирательства, да и то частично, и еще сообщение лейтенанта команды, привоившей приговор в исполнение. В действительности вся эта история была настолько запутанной, что я с трудом могу точно воспроизвести ее... Итак, сын Груйтена не желал пользоваться отцовской протекцией; Груйтен, однако, вопреки его желанию оказывал ему протекцию, в частности, он позаботился, чтобы Генриха и его кузена дня через два после оккупации Дании перевели в Любек, в финчасть, — для него это был сущий пустяк. Однако он — я опять-таки имею в

виду Груйтена-старшего — недооценил упрямства сына; тот хотя и отправился вместе с кузеном в Любек, но быстро разобрался во всем и вернулся в Данию, вернулся без приказа и без разрешения... Проступок: этот при доброжелательном подходе можно было квалифицировать как самовольную отлучку, а при недоброжелательном как дезертирство; но эту историю еще удалось бы, наверное, замять, а вот другую уж никак нельзя было замять: мальчики пытались продать одному датчанину противотанковую пушку, и хотя датчанин не согласился на сделку... Она была чистейшим актом самоубийства, к тому же совершенно бесмысленным... Но все равно, налицо было преступление... и никакие высокие чины здесь уже не могли помочь. Свершилось то, что должно было свершиться. Я буду говорить с вами совершенно откровенно и признаюсь, что хотя мы вели в то время в Дании большое строительство и были знакомы почти со всем генералитетом, мне, личному референту Груйтена, с трудом удалось выцарапать дело его сына, ну, а когда я его прочел, то решил... ну, скажем... почистить его, интерполировать или, если хотите, отредактировать и только потом передать господину Хойзер, тогдашней секретарше Груйтена; уж слишком много раз поминалось там выражение «грязная сделка», а я щадил чувства патрона».

* * *

Лотта Х., которая не может без тяжких вздохов подумать о том, что ей придется расстаться со своей миленькой квартиркой в центре, с садом на крыше, вспоминает «об этой истории» с не менее тяжкими вздохами; говоря со мной, она вздыхала, курила сигарету за сигаретой, непрерывно проводила рукой по своим прямым, коротко стриженным волосам с проседью и все время прихлебывала маленькими глотками кофе. «...Да. Да. Они погибли, в этом сомнений нет, и не все ли равно, почему так случилось: из-за дезертирства или из-за того, что они пытались загнать эту самую пушку?.. Они погибли, и не знаю даже, так ли они этого хотели. У меня создалось впечатление, что во всем этом было слишком много интеллигентщины, думается, они были удивлены и напуганы, когда их поставили к стенке и раздалась команда «пли!». Как-никак, у Эрхарда была Лени, а Генриху стоило только пальчиком поманить — и любая девушка стала бы его. По-моему, эти мальчишки начудили вполне в немецком духе; заметьте, вся история разыгралась в Дании, где у нас в то время осуществлялись самые крупные проекты. Ну, хорошо, назовем это, если хотите, символ-лическим проступком, с тремя «л» непременно. Мой муж, которого нацисты угробили под Амьеном несколько дней спустя, был совсем другой человек; он хотел жить, и отнюдь не только символически. Он бы не стал умирать ради разных символов. Мой муж боялся смерти, вот в чем штука; в нем было заложено много хорошего, но в монастырской школе, где он пробыл до шестнадцати, чтобы стать пастырем божьим, это подавили; ну, а потом он опомнился, сообразил, что все это ерунда, но было уже поздно. К тому же у него остался комплекс неполноценности — он ведь не имел аттестата зрелости... Чувство неполноценности они ему внушили; мы с ним встретились позже в юношеской организации «Свободная молодежь», где пели хором «Смело, товарищи, в ногу...» и т. д. Но мой Вильгельм был не из тех, кто взял бы в руки винтовку. Никогда в жизни! А вот нацистские кретины все-таки заставили его взять винтовку и угробили его во имя какой-то ерунды... Даже у нас в фирме были люди, утверждавшие, что его собственный отец сговорился с Груйтеном и тот вычеркнул Вильгельма из списка лиц, которым давалась броня, люди шептались, что я оказалась чем-то вроде жены Урия; но я никогда бы этого не сделала, просто не могла бы сделать... Нельзя предать такого верного человека, как Вильгельм, и я долго не могла, понимаете ли... быть с тем, с другим... после смерти Вильгельма. Ну, а теперь поговорим о патроне. Да, уже в ту пору между мной и ним могло что-то быть. Чем он меня приворожил? Тем, что из этого долговязого сухопарого парня, деревенщины с лицом пролетария, получился долговязый сухопарый барин, настоящий барин; не строитель, не архитектор, а стратег, если хотите знать... Вот что меня поражало в нем, кроме худобы и высокого роста, — талант стра-

тега. С тем же успехом он мог стать банкиром, так ничего и «не поняв» в деньгах. Не знаю, ясно ли вам, о чем речь. У себя в кабинете он повесил карту Европы, втыкал туда булавки и время от времени флажок, ему достаточно было бросить беглый взгляд... мелочи его никогда не интересовали. И конечно, он овладел одним очень действенным приемом, его он просто заимствовал у Наполеона... По-моему, на своем веку он прочел одну-единственную книгу — биографию Наполеона, самую что ни на есть популярную... Прием был на редкость прост, и, возможно, для него это был не только ловкий ход, в нем выражалась отчасти сентиментальность, а он и вправду был сентиментален. Начал он в двадцать девятью, и, пожалуй, с чересчур большим замахом: сорок рабочих, десятники и так далее... Но, несмотря на кризис, ему удалось всех сохранить, никого он не уволил; главное, он не боялся всяких там фокусов с банками, с векселями, не отказывался даже от кредитов, за которые драли ростовщические проценты... И вот в тридцать третьем у него были примерно те же сорок человек, которые никому и ни за что не дали бы его в обиду; все стояли за него, и он тоже никого из них не давал в обиду и помогал им во всем, даже когда у кого-нибудь из них случались неприятности на политической почве; сами понимаете, в последующие годы все они здорово пошли в гору, как сержанты у Наполеона; он предоставил им самостоятельную работу — крупные заказы; и он знал каждого из них по имени, буквально каждого, знал, как зовут его жену и детей, встречаясь с ними, подробно расспрашивал обо всех семейных новостях: он помнил, например, когда кто-нибудь из ребят оставался в школе на второй год, и так далее. А когда он приходил на стройку и видел, что там прорыв, он брался за лопату и за кирку или садился за баранку грузовика и делал срочный рейс. И всегда он оказывался там, где это было действительно необходимо. Результаты не заставили себя ждать. И открою вам еще одну тайну: деньги его не интересовали. Конечно, они ему были нужны для трена: дорогие костюмы, машины, возможность не считать каждый грош, время от времени званный вечер... но как только у него появлялись по-настоящему большие деньги, он снова вкладывал их в дело, даже влезал в долги. «Быть в долгах, Лотта, по уши в долгах, — сказал он мне как-то раз, — это самое правильное». Ну, а что касается его жены, то она, видно, сразу поняла — в нем «что-то есть», но что в нем действительно было и что вылезло потом наружу, привело ее просто в трепет; она хотела сделать из него большого человека, хотела иметь открытый дом и так далее, но она вовсе не хотела быть замужем за начальником генштаба. Позвольте мне щегольнуть парадоксом, может, вы и поймете, что я хочу сказать: из них двоих он витал в облаках, а она была женщиной земной, хотя могло показаться как раз наоборот. О боже, я считала преступным все, что он делал... Разве можно было строить нацистам убежища, аэродромы и казармы; еще по сей день, когда я приезжаю на лето в Голландию или в Данию и вижу на пляжах вырытые нами блиндажи, к горлу у меня подступает тошнота.. И все же, то было время сильной власти, время для властолюбивых, а он был человеком властным, хотя власть сама по себе интересовала его не больше чем деньги. Только одно привлекало его — игра, да, он был игрок... Но для игры он оказался слишком уязвимым; у них был сын, и мальчик не соглашался, чтобы его держали в стороне от этого дерьма».

Попытка авт. переключить Лотту на вторую тему интервью — на отношения Лени с этим Эрхардом — вначале не удалась. Она опять закурила и сделала нетерпеливый жест рукой.

«Мы еще к нему вернемся, дайте мне сперва выговориться. Ну так вот: пусть вам будет ясно — мы с Груйтиеном, если хотите, уже тогда подходили друг к другу, он был со мной нежен, не знаю уж, как это назвать, во всяком случае, для сорокалетнего мужчины его отношение ко мне, двадцатисемилетней женщине, было трогательным; он дарил мне цветы и два раза поцеловал мою руку у локтя и, наконец, сенсация: однажды он протанцевал со мной полночи в гостинице в Гамбурге; это было на него не похоже. Вам никогда не приходило в голову, что выдающиеся люди, как правило, скверные танцоры? Надо вам сказать, с чужими мужчинами я держалась довольно чопорно, не то что с собственным мужем;

у меня в характере есть проклятая черта, от которой я долго не могла отделаться — я была верной женой. Сущее наказание. Никакая это не доблесть, скорее глупость... Представьте себе меня в ту пору — долгие ночи я лежала одна, за стеной спали ребята, а мужа, моего Вильгельма, они угробили под Амьеном во имя какой-то чепухи! И никто, ни один человек не дотронулся до меня до сорок пятого... И все это вопреки разуму. Целомудрие и прочую ерундику я ни во что не ставлю. До сорок пятого прошло целых пять лет, и только в сорок пятом мы решили съехаться... А теперь, если хотите, поговорим о Лени и Эрхарде; повторно, невозможно вообразить себе стеснительность этого юноши... да и стеснительность Лени тоже. Это надо иметь в виду. Он начал боготворить ее с первой же минуты. Для него Лени была чем-то вроде таинственно ожившей флорентийской *bionda*⁸. Даже предельно сухой рейнский диалект Лени, даже ее свержсухая манера держаться не могли охладить его пыла. Ему было безразлично и то, что она, по его понятиям, оказалась совершенной невеждой; у нее в голове застряли лишь какие-то обрывки гормональной мистики Рахели, но когда она их выкладывала, ему это не очень-то нравилось. Боже, чего мы только не делали, все мы — и Генрих, и Маргарет, и я, — чтобы у них сладилось. Сами понимаете, времени было в обрез; с мая тридцать девятого по апрель сорокового он приезжал, наверное, в общей сложности раз восемь... Ну, конечно, мы с Генрихом не говорили об этом вслух, только переглядывались, ведь и слепому было ясно, что они влюблены друг в друга. Прелестная парочка, вот именно, это была прелестная парочка, быть может, не стоит особенно жалеть, что они не спали друг с другом. Я покупала им билеты на такие вонючие фильмы, как «Товарищи в море», или на такую идиотскую картину, как «Осторожно, враг подслушивает», я даже послала их на «Бисмарк»; расчет у меня был простой: сеанс, черт возьми, длился три часа, в зале было темно и тепло, как в утробе матери, они, конечно, держались за руки и, возможно, им приходило в голову поцеловаться разок-другой (очень горький смех. Прим. авт.), ну, а уж коли они поцеловались бы... дело само пошло бы на лад... Но все было напрасно, совершенно напрасно. Он возил ее в музей и объяснял, как можно отличить подлинное полотно Босха от полотна, которое ему ошибочно приписывают; он хотел, чтобы она перестала брэнчать на рояле Шуберта и играла бы Моцарта, давал ей стихи, наверное, Рильке, точно не помню. А потом он ее все же пронял — начал сочинять стихи и посылать ей. Да, Лени была восхитительным созданием — для меня она такой и осталась, — я сама была в нее немножко влюблена; вы бы только посмотрели, как она танцевала с этим Эрхардом, когда все мы собирались вечером — мой муж и я, Генрих, Маргарет и эта парочка... Во время их танца все окружающие хотели только одного: чтобы откуда ни возьмись появилась кровать под балдахинном, на которой они могли бы любить друг друга... Ну вот, он писал ей, стало быть, стихи, и, что уж совсем невероятно, она показывала эти стихи мне, хотя они были, надо признать, довольно-таки... смелые; он, например, воспевал в весьма откровенных словах ее грудь, называя ее «большим белым цветком на древе молчания», и при том говорил, что «оборвет лепестки» на этом цветке; и еще он написал настоящему прекрасному стихотворению о ревности; его, пожалуй, можно было бы напечатать: «Я ревную к кофе, который ты пьешь, к маслу, которое намазываешь на хлеб, ревную тебя к зубной щетке и к кровати, на которой ты спишь». Словом, вы видите, это были весьма откровенные стихи... Да, но только на бумаге, все только на бумаге!»

Выслушав вопрос авт. о том, не могла ли между Лени и Эрхардом возникнуть близость, которая так и осталась тайной для нее, Генриха и всех остальных, Лотта неожиданно покраснела (авт. признает, что, несмотря на все это трудное дознание, краска на лице Лотты доставила ему большое удовольствие), — покраснела и сказала: «Нет, я это знаю довольно точно, ведь через год с лишним, когда Лени сошлась с Алоисом Пфейфером, за которого потом сдуру выскочила замуж, он похвастался своему брату Генриху, что, мол, Лени досталась ему нетро-

⁸ Блондинка (итал.).

нутой, все сказал своими словами, а тот по наивности передал мне». Краска на щеках Лотты все еще не проходила.

Отвечая на вопрос, не хвастался ли этот самый Алоис Пфейфер своему брату Генриху, так сказать, чужими, не принадлежащими ему трофеями, Лотта в первый раз проявила некоторую неуверенность. Подумав, она сказала: «Да, конечно, он был хвастун... Неужели я ошиблась? — Потом, однако, решительно покачав головой, добавила: — Нет, нет, это исключается, хотя у них обоих было вполне достаточно возможностей... Нет, нет, — повторила она и покраснела снова, к вящему удивлению авт. — После того как он погиб, Лени не почувствовала себя вдовой. Не знаю, понимаете ли вы, что́ я хочу сказать. Если желаете знать точно, она почувствовала себя платонической вдовой».

Это высказывание показалось авт. достаточно серьезным, он восхитился откровенностью Лотты, хотя она его и не вполне убедила. Тем не менее он пожалел, что сравнительно поздно открыл свидетельницу Лотту Хойзер, урожд. Бернтген, которая умела все так красочно описывать. Больше всего авт. поразила, однако, разговорчивость, почти болтливость Лени в тот период ее жизни. Лотта предложила свое объяснение этого факта, но уже гораздо более неуверенным тоном, намного тише и не столь бойко, время от времени задумчиво поглядывая на авт. «Ясно было, что Лени любила Эрхарда, любила его и ждала с нетерпением, не знаю, понимаете ли вы, о чем идет речь, иногда мне даже казалось, что инициативу вот-вот захватит она сама. А теперь я хочу рассказать одну примечательную историю; однажды я была свидетельницей того, как Лени прочистила засоренный унитаз, тогда она меня просто потрясла. Как-то в воскресенье вечером в сороковом году мы сидели в квартире у Маргарет, потягивали вино и немножко танцевали... Мой Вильгельм тоже был с нами... И вдруг выяснилось, что засорился унитаз. Отвратительная история, доложу я вам. Кто-то бросил туда какую-то штуковину, как потом выяснилось, довольно большое яблоко, видно, подгнившее, и оно застряло в канализационной трубе. Ну вот, мужчины отправились, чтобы устранить неполадки; первый взялся за это неприятное дело Генрих — он поковырял железным прутом в унитазе. Тщетно! Потом настала очередь Эрхарда, он оказался более сообразительным: парень принес из прачечной шланг и попытался прочистить трубу с помощью давления воздуха; презрев брезгливость, он всунул шланг в отвратительную жижу и стал что есть сил накачивать воздух... Самым брезгливым оказался мой муж, который, между прочим, был когда-то водопроводчиком, потом техником и только под конец стал чертежником. Что касается меня и Маргарет, то нас просто тошнило от отвращения. И знаете, кто решил проблему? Лени. Недолго думая она засунула руку — правую руку — в унитаз; до сих пор я вижу ее красивую белую руку, покрытую до самого локтя желтоватой жижей... Она сразу вытащила яблоко и швырнула его в помойное ведро, и вся эта ужасная жижа в одно мгновение с журчанием сбежала в сток. А Лени стала мыться; весьма основательно, скажу я вам, а потом она несколько раз протерла руки одеколоном. И тут она сказала одну фразу, поразившую меня тогда в самое сердце: «Наши поэты были самыми смелыми ассенизаторами». Я хочу сказать, что, когда надо было, она могла прожить железную хватку, а этим я хочу сказать, что в конце концов она, возможно, железно схватила бы и его; он-то был бы только рад. И еще мне вдруг пришло в голову, что никто из нас никогда не видел мужа Маргарет».

* * *

Ввиду того, что показания Лотты Хойзер не совсем совпадали с показаниями Маргарет, сию несчастную пришлось снова подвергнуть допросу.

Правильно ли, что она танцевала с лицами, перечисленными Лоттой, и что они несколько раз собирались у нее на квартире? Не находилась ли она в близких отношениях с Генрихом уже задолго до того случая, который можно обозначить как «происшествие во Фленсбурге»?

«Последнее, — сказала Маргарет, отхлебнув изрядный глоток виски и впад в состояние умиротворенности, в своего рода эйфорию с оттенком грусти, — пос-

леднее я решительно отвергаю, уж это я бы хорошо помнила и не стала бы отрицать. С какой стати? Дело в том, что я тогда совершила ошибку, познакомила Генриха с моим мужем. Шлёмер редко бывал дома, я и тогда не понимала и до сих пор не знаю, чем он, собственно, промышлял — торговлей оружием или шпионажем; во всяком случае, денег у него куры не клевали. И от меня он почти ничего не требовал, только чтобы я «ждала его», когда он отправлял мне телеграмму. Он был старше меня, ему уже минуло лет тридцать пять. И вовсе не дурен собой. Элегантный мужчина и прочее и прочее, типичный светский человек... И они с Генрихом друг другу понравились. Генрих мог быть замечательным возлюбленным, но это вовсе не значило, что он хотел стать моим любовником, — тогда еще нет. Ну, а я была из породы любовниц. А он нет. И вот что случилось. Он познакомился с моим мужем, и на него напала робость. Поэтому между нами в ту пору еще ничего не произошло... Но все остальное правильно, то есть то, что я видела его больше двух раз, танцевала с ним и что у меня в квартире собиралась вся их компания. Только Лотта могла вам это рассказать, да, это правильно, но больше, чем четыре раза в общей сложности, мы все равно с ним не виделись».

В ответ на вопрос об Эрхарде и Лени Маргарет улыбнулась и сказала: «Это я вовсе не хочу знать в подробностях. Такие дела никого не касаются. Да и частности еще ни о чем не говорят. Меня это не касалось. Зачем мне было знать тогда и зачем знать теперь, целовались ли они, держались ли хотя бы за руки и радовались этой ласке, лежали ли вместе в постели? К чему мне знать, где это могло произойти — там ли, я хочу сказать, у меня в квартире, или в квартире Лотты, или в груйтеновских апартаментах?.. Мне просто нравилось смотреть на них обоих... А какие стихи он ей писал и дарил! Лени не могла держать их в тайне; в эти несколько месяцев она впервые перестала быть замкнутой, потом она опять замкнулась в себе, замкнулась уже окончательно. Неужели так важно установить, кто у нее был первый: Эрхард или этот дурак Алоис? Что это даст? Бросьте вы свои расспросы. Она его любила. Нежно и страстно. И если у них еще ничего не произошло, то произошло бы в следующий его приезд. Ручаюсь. А как это кончилось, вы сами знаете — кончилось в Дании у кладбищенской стены. Хватит! Спросите у самой Лени».

* * *

Спросите у самой Лени! Легко сказать! Ее не спросишь. А если спросишь, она не ответит. Старик Хойзер называет историю с Эрхардом «трогательной и чисто романтической, но, увы, с плохим концом».

Рахель умерла, а этот Б. Х. Т., конечно, ничего не знает об Эрхарде. Нам точно известно, что Лени часто посещала монастырь, следовательно, Рахель наверняка многое знала. Что касается Пфейферов, то они вошли в жизнь Лени позже, и уж и м-то она наверняка не рассказывала о том, что ей было «дорого». Ван Доорн, к которой авт. со вздохом обратился как к своей последней надежде, назвала эпизод с Эрхардом «дорогим» сердцу Лени.

И тут авт. пришлось несколько изменить свои слишком скоропалительные выводы насчет ван Доорн, которые он сделал, основываясь на ее показаниях о госпоже Груйтен. Если речь идет не о супругах Груйтен, суждения ван Доорн бывают чрезвычайно тонкими и почти скрупулезно точными. Когда авт. разыскал ван Доорн в ее деревенском уединении, среди астр, герани и бегоний, бросавшую корм голубям и гладившую своего пса — не то пуделя, не то дворняжку, — она сказала: «Зачем касаться этого сокровища в жизни Лени? Все это походило на сказку, и они были как в сказке. Мы читали на их лицах влюбленность и доверчивость. Я видела несколько раз, как они сидели в столовой — это та комната, которую Лени сдает теперь португальцам, — она вынула из буфета самый лучший сервиз, и они без конца пили чай, хотя Лени терпеть не могла чая, но с ним она пила чай. Вслух он не жаловался на военную службу, но так откровенно проявлял свое отвращение, свою антипатию к ней, что Лени, помню, положила руку ему на плечо — хотела его утешить, и по нему было видно, что прикосновение это вызвало целую бурю в его душе, если хотите, во всем его существо. Не раз ему

представлялся случай завладеть ею целиком и полностью. Она была в ожидании, вся — ожидание, если позволите, я выражусь грубее — она прямо заждалась... Да, она была готова на все... И раз уж мы заговорили на эту тему, я сообщу вам, что Лени стала немножко нетерпеливой, да, да, нетерпеливой... вы меня понимаете... но она не раздражалась по пустякам и не сердилась на него... И если бы ему удалось пробыть с ней хотя бы два-три дня подряд, все было бы по-другому... Я осталась старой девой, у меня нет никакого опыта с мужчинами, но я многое повидала на своем веку и я говорю вам: ужасно, когда мужчина приезжает с обратным билетом в кармане и когда он все время думает о расписании поездов и о казарменных воротах, через которые должен пройти в определенный час, минута в минуту. Или если он думает о командном пункте на фронте... И вот еще что... Ну да, я старая дева, но я пережила годы первой мировой войны молодой девушкой, а годы второй — зрелой женщиной: побывки — это ужасное дело и для мужа и для жены. Ведь каждый понимает, чем они будут заниматься; получается что-то вроде первой брачной ночи, выставленной на публичное обозрение. Да и народ у нас... во всяком случае, деревенские... да и городские тоже... не отличается особой деликатностью, каждый отпускает шуточки и делает разные прозрачные намеки. Помню, Вильгельм, муж Лотты, всегда краснел до ушей, потому что был человеком деликатным... И думаете, я не знала, что происходит, когда мой отец приезжал с фронта на побывку?.. Ну так вот: чтобы Эрхард завоевал Лени, ему надо было дать немножко времени. Как он мог это сделать при вечной спешке? Конечно, он мог добиться своего, так сказать, нахрапом. Но это было не в его характере. Стихи у него были достаточно ясные, чересчур ясные. «Ты такая земная, и я землю стану»... Трудно выразиться яснее. Ему не хватало только одного — времени; да, у него не было времени. Вы только представьте себе, в общей сложности они пробыли вдвоем, наверное, часов двадцать, не больше... И при этом он не был человеком нахрапистым. Лени на него не обижалась, просто погрустнела, она ведь была готова. Да. Даже мать ее все понимала и хотела этого, поверьте. Я ведь видела: мать вытаскала для Лени ее самое нарядное платье — шафрановое, с круглым вырезом, и сережки — коралловые сережки, словно вишенки, и наша девочка надела их. А мать все старалась, подсовывала ей изящные лодочки и духи. Словом, она хотела разодеть ее как невесту. Даже мать все знала, даже она помогала влюбленным... Но им не хватило времени, только времени... Если бы они провели вместе еще один день, один-единственный день, она стала бы его женой, а не женой этого... Жаль. Для Лени это было очень скверно».

* * *

Авт. пришлось еще раз нанести визит госпоже Швейгерт; привратница спрашивалась по телефону, и Швейгерт сказала: «Пусть войдет» — не то чтобы недовольным тоном, но явно нелюбезным, после чего, попивая чай, но не предлагая чаю авт., «покорилась необходимости» ответить еще на несколько вопросов; Швейгерт явно усматривала большую разницу между словом *продемонстрировать* и словом *представить*; впрочем, ее можно было и не демонстрировать, госпожа Швейгерт давно знала эту девицу, имела некоторое представление о ее образовании и воспитании; разумеется, с его стороны это была лишь «игра во влюбленность»; мысль о возможности длительной связи, именуемой браком, Швейгерт вновь отвергла как ни с чем не сообразную, равно как и мысль о возможности длительной связи ее сестры с отцом девушки. А потом вдруг Швейгерт рассказала, как Лени посетила ее однажды по собственному почину, пила у нее чай и «вела себя, тут надо отдать ей справедливость, — сказала Швейгерт, — вполне воспитанно; что касается темы беседы, то, как ни странно, речь шла исключительно о вереске; девушка спрашивала, где и когда цветет вереск и «не цветет ли он сейчас?». Разговор шел в конце марта, можете себе представить, я уже подумала было, грешным делом, что девица тронулась. Цветет ли вереск в конце марта? Это было в тот военный сороковой год. Цветут ли верес-

сковые поляны в Шлезвиг-Гольштейне? Девушка не имела ни малейшего понятия о разнице между прибрежными и альпийскими лугами, так же как и об их «совершенно не схожих почвенных структурах». Далее госпожа Швейгерт заявила, что, в общем-то, все кончилось благополучно; видимо, ей казалось, что расстрел сына спецкомандой немецкого вермахта был меньшим злом по сравнению с другой грозившей ему опасностью — браком с Лени.

Следует, однако, признать, что госпожа Швейгерт на свой особый безжалостно-хладнокровный лад внесла ясность в закулисную сторону некоторых событий, к примеру, объяснила или, по крайней мере, помогла прояснить запутанную историю с «финнами» — фениями. А теперь заметим себе, что Лени решилась на неприятный визит к матери Эрхарда и на разговор с ней по поводу вереска в Шлезвиг-Гольштейне в конце марта 1940 года, присовокупив к этому показания ван Доорн, согласно которым Лени была на все готова, а также высказывание Лотты Хойзер, согласно которому она была даже готова взять инициативу в свои руки; наконец, вспомним о ее переживаниях, связанных с вереском, в одну летнюю звездную ночь, и сделаем из всего вышеизложенного закономерный вывод: Лени была одержима мыслью поехать в горы к Эрхарду и искать там полной близости с ним на вереске. Правда, учитывая объективные ботанические и климатические условия, следует считать, что это предприятие должно было потерпеть фиаско из-за сырости и холода, хотя по данным, которыми располагает авт., в марте в Шлезвиг-Гольштейне некоторые участки поросших вереском склонов бывают — пусть короткое время — сухими и теплыми.

* * *

В конце концов удалось загнать в угол Маргарет, и она, так сказать, «расколотась»: Лени, оказывается, спросила у нее однажды, как поступить, если стремишься к близости с мужчиной. Маргарет указала Лени на просторную и тихую в ту пору семикомнатную квартиру Груйтенов, причем покраснела не Лени, а Маргарет; Лени же долго качала головой, а когда Маргарет, потеряв терпение, прямо сказала ей, что, мол, для этого существуют, как-никак, гостиницы, Лени сослалась на столь печально кончившееся приключение с молодым архитектором (оно произошло незадолго до этого разговора) и сделала одно заявление, которое Маргарет воспроизвела после некоторых колебаний, так как сочла, что оно было «самым откровенным признанием Лени за всю ее жизнь»; Лени сказала, что «это» может и должно произойти не «в постели». «Давай-ляжем-с-тобой-в-постель» — не то, что мне надо», — сказала Лени, хотя и согласилась, что «в семейной жизни без постели, конечно, не обойдешься». Но с Эрхардом она не хотела в первый же раз лечь в постель. Лени собиралась поехать во Фленсбург, потом раздумала и решила отправиться туда только в мае. Таким образом, ее решающее свидание с Эрхардом осталось всего лишь мечтой. Мечтой, разбитой всем ходом войны. А может, все-таки нет? Точно этого никто не знает.

* * *

Год, прошедший между апрелем сорокового и июнем сорок первого, согласно высказываниям всех свидетелей, членов и не членов семьи Груйтенов, следует обозначить как мрачный. Лени распростилась в тот год не только со своим хорошим настроением, но и со своей разговорчивостью, даже потеряла аппетит. Страсть ее к автомобильной езде также пошла на убыль, равно как и любовь к полетам — в тот год она трижды летала с отцом и Лоттой Хойзер в Берлин. Регулярно раз в неделю Лени садилась за руль и преодолевала те несколько километров, которые отделяли ее от Рахели. Иногда она оставалась у нее довольно долго. Однако о ее тогдашних беседах с Рахелью ничего не известно, о них не может рассказать и Б. Х. Т.; с мая 1941 года Рахель не заглядывала в книжничестический магазин, а Б. Х. Т. так и не удосужился посетить ее — то ли по лености, то ли по свойственной ему инертности.

Итак, представим себе огромный фруктовый сад — сад при женском монастыре — в летние, осенние и зимние месяцы 1940—1941 годов, а в нем моло-

дую девушку восемнадцати с половиной лет, которая носит только черное и у которой железы внешней секреции выделяют один-единственный сложный продукт — слезы.

Через несколько недель после гибели Эрхарда пришла похоронная и на Вильгельма Хойзера, мужа Лотты, в связи с чем круг плачущих увеличился — к нему примкнул старый Хойзер, его жена (тогда она еще была жива), Лотта и ее пятилетний сын Вернер; плакал ли младший сын Лотты, находившийся в то время в утробе матери, до сих пор покрыто мраком неизвестности.

* * *

Ввиду того, что авт. не хватает ни сил, ни эрудиции для обстоятельной беседы о слезах, лучше всего обратиться к соответствующему справочному изданию, где будет рассказано о слезообразовании, а также о химических и физических свойствах слез. Семитомная энциклопедия, вышедшая в свет в весьма несолидном издательстве в 1966 году, нижеследующим образом определяет понятие «слезы».

«Слезы (лат. lacrimae) — жидкость, выделяемая сл. железами; увлажняет конъюнктивальный мешок, предохраняя его от засыхания, вымывает мелкие инородные тела, попавшие в глаз; она (по-видимому, жидкость. Прим. авт.) стекает в слезно-носовую канал. Вследствие рефлекторного раздражения (воспалительные процессы, инородные частички) или вследствие душевных волнений выделение с. жидкости увеличивается (плач)».

В той же энциклопедии о плаче говорится следующее.

«Плач, как и смех (см. смех), — выражение сильных чувств в кризисных ситуациях, преимуществ. печали, умиления, гнева или радости. Психологиически (подчеркнуто не авт.) — попытка душевной разрядки. Сопровождается слезоотделением, всхлипыванием или конвульсивными сотрясениями; связано с вегетативной нервной системой и с мозговым стволом. Насильственный плач и не поддающийся внешним воздействиям истерический плач наблюдаются при депрессивных состояниях, маниакально-депрессивном психозе и явлениях рассеянного склероза».

Возможно, некоторых лиц заинтересует в этой краткой, фактографической заметке понятие, обозначенное (см. смех), и они захотят объяснить себе также и этот рефлекс; так вот, дабы избавить всех любопытствующих от приобретения энциклопедии и от разыскивания нужного слова в оной, мы приведем здесь соответствующий текст.

«Смех антропологически (это, как и все последующие подчеркивания, сделано не авт.) — выдыхательные движения как физическое выражение сильных душевных переживаний в кризисных ситуациях (см. плач). Психологически: улыбка мудреца, улыбка Будды, улыбка Моны Лизы как самоутверждение своего «я». Мимическое выражение чувства радости, реакция на шутку, юмор. Характеризует различные состояния психики и свойства характера: С. детский, надменный, иронический, задушевный, непосредственный, отчаянный, злобный, кокетливый. Патологически: при заболеваниях нервного пути и при психозах — инстинктивный, судорожный С., сардонический, С. как произвольная примаса, истерический смех конвульсивного характера. Социально — С. является заразительным (сфера подсознательного, проявляемая в движении)».

Поскольку мы волей-неволей вступаем сейчас в сугубо эмоциональный, а главное, в трагический период жизни персонажей книги, рекомендуется оснастить это сообщение некоторыми важными понятиями и отметить попутно, что в энциклопедии отсутствует слово «счастье»; за словом «сцифоиды» идет сразу слово «счет» и «счетная линейка». Зато нам удалось обнаружить слово блаженство — «высшее проявление законченного и длящегося ощущения счастья. Достижение Б. суть естественное стремление каждого человека, а то, в чем он его находит, выбор Б., определяет весь его жизненный уклад. По христианскому учению истинное Б. заключается лишь в вечном Б. (см.)».

«Вечное блаженство — состояние совершенной безгреховности и беспечальности, абсолютное вечное счастье: все религии видят в В. Б. цель всего сущего на земле. В католической религии В. Б. прежде всего выражается в овладении безграничн. духовными ценностями Провидения в себе самом; за сим следует В. Б. людей (и ангелов) — саморастворение в благе и приобщение к Его милостям и благодати. В. Б. начинается уже в земной юдоли как чувство христианской благодати (благочестия) и находит свое полное воплощение в вечном блаженстве после воскресения Христова (Второе Пришествие) и в день Страшного суда, на который будет призвано все живое.

По е в а н г е л. учению В. Б. — абсолютное единение с волей божьей, истинное предназначение человека, его благо и спасение».

Поскольку Сл. (слезы) и П., Б. и В. Б. уже достаточно объяснены и поскольку любые дефиниции можно без труда разыскать в первом попавшемся справочном издании, нам не стоит долго задерживаться на описаниях различных душевных состояний. В случае надобности авт. просто отошлет читателя к соответствующим заметкам в энциклопедии, а в самом тексте ограничится сокращениями.

Как сказано выше, Сл., С. и П. являются внешним выражением кризисных ситуаций, посему на этих страницах, быть может, стоит поздравить всех тех, кто прошел свой жизненный путь бескризисно, не знал и не помышлял о кризисах, кто никогда не проливал Сл., не знал, что такое П., ни разу никого не оплакивал и, согласно предписаниям благопристойности, подавлял в себе неуместный С. Счастлив тот, чей конъюнктивный мешок не исполнял свои прямые функции, тот, кто преодолел все препоны с сухими глазами, тот, чьи слезно-носовые каналы так и остались без употребления. Счастлив также и тот, чей мозговой ствол не выходил из-под твердого контроля, кто, постоянно утверждая свое «я», смеялся и улыбался, лишь предаваясь мудрому созерцанию. Итак, да здравствуют Будда и Мона Лиза, которые во веки веков самоутвердились в своем «я».

Учитывая, однако, что нам необходимо разъяснить как-то слово «боль», авт. цитирует соответствующее определение из энциклопедии, но не целиком, а некую выжимку из него, все же лишь одну фразу: «Степень восприятия Б. для каждого индивидуума различна прежде всего потому, что к физической Б. присоединяется Б. душевная. Оба эти переживания создают субъективность болевого ощущения».

Поскольку, однако, Лени и все вышеупомянутые лица ощущали не только Б., но и страдания, следует привести из энциклопедии хотя бы одну основополагающую фразу о страданиях, только тогда мы будем иметь полный набор нужных нам дефиниций. «Оно (С.) воспринимается человеком тем сильнее, чем более обширные сферы чувств затрагивает и чем более чувствительной является натура данного человека». Как мы видим, смех и страдания начинаются на одну и ту же букву, поэтому далее во всех описаниях душевных состояний смех будет обозначаться сокращенно С₁, а страдания — С₂, блаженство — Б₁, а боль — Б₂.

* * *

Одно совершенно ясно: у всех членов семей Груйтенгов и Хойзеров, включая сюда и Марию ван Доорн, которая в равной степени связана с обоими кланами, были, как видно, задеты важные жизненные центры. Здоровье Лени пошатнулось. Она исхудала и людям посторонним казалась даже «малокровной», ее роскошные волосы не то чтобы поредели, но потускнели, и никакие силы мира не могли вернуть Лени ее превосходный аппетит: ни разнообразные супы Марии — правда, теперь она колдовала над ними со Сл. на глазах, но тем не менее продемонстрировала все аспекты своего кулинарного искусства, — ни наисвежайшие булочки, доставляемые все той же Марией. На фотографиях Лени этого периода, тайком сделанных одним из служащих ее отца, а потом перешедших в собственность Марии, Лени кажется довольно болезненной девичей, бледной от Б₂ и С₂, совершенно обессиленной от П. и чрезвычайно далекой от всякого подобия улыбки и С₁. Неизвестно, была ли Лотта Хойзер так уж права, отрицая вдовство Лени; быть может, Лени все же чувствовала себя в глубине души вдовой, в глубине души, недоступной Лотте. И, быть может, вдовство это было не таким уж плато-

ническим. Во всяком случае, Лени «как индивидуум» проявила явную восприимчивость к горю. И все остальные тоже. Отец Лени не только впал в задумчивость, в его облике появилась печаль, и он теперь уже, согласно свидетельским показаниям, «не вкладывал всю душу» в дело.

Старый Хойзер был тоже сломлен, Лотта (согласно ее собственным показаниям) была «уже совсем не та», госпожа Груйтен медленно угасала у себя в спальне, «время от времени съедая несколько ложек супа и половину ломтика подсушенного хлеба» (в. Д.). И тут встает вопрос, почему предприятие Груйтена не только продолжало процветать, но и расширяться. Единственным более или менее приемлемым объяснением этого факта является объяснение старого Хойзера: «Дело было так прекрасно создано и налажено, ревизоры, плановики и инженеры, которых взял на работу Хойзер, были настолько честны, что машина крутилась, во всяком случае крутилась в тот год, когда Губерт полностью вышел из игры. И я тоже. Наконец-то пробил час ветеранов... Их стало тем временем несколько сотен, и они держали все в своих руках».

* * *

Авт., как человек щепетильный, считает невозможным пользоваться показаниями Лотты Хойзер для освещения этого смутного периода в жизни старшего Груйтена; к сожалению, он должен отказаться от ее сообщений, таких четких и восхитительно лаконичных.

Если говорить современным языком, то в описываемый период, то есть с апреля сорокового года приблизительно до июня сорок первого, Лотта стала «постоянной спутницей Груйтена», эту фразу можно и переиначить: Груйтен стал постоянным спутником Лотты, ибо они нуждались в утешении, которое в конечном счете не могли друг другу дать.

И вот эти два человека заматались, переезжая с места на место: беременная вдова и печальный барин, который так и не прочел документов о злосчастном конце своего сына и племянника, выслушал лишь краткий их пересказ из уст Лотты и Хоффгау: человек, который время от времени бормотал себе под нос: «Н... на Германию» — и ездил с одной стройки на другую, из одной гостиницы в другую; якобы все осматривал, а в действительности и не взглянул ни разу в чертежи, бухгалтерские книги, сметы, ни единого раза не взглянул ни на одну из строек. Он разъезжал по железной дороге и на машинах, иногда летал на самолете и с грустью баловал пятилетнего Вернера Хойзера. Сейчас В. Хойзеру уже тридцать пять, он очень элегантно, по последней моде обставил свою квартирку, без ума от Энди Уэрхола и кусает себе локти, что не «покупал» его пластинки раньше, он под-обожатель, секс-обожатель и владелец конторы по продаже лотерейных билетов. Вернер Хойзер прекрасно помнит долгие прогулки по берегу моря в Швеннингене, Мер-де-Бене, помнит, как «дедушка Груйтен» крепко сжимал его руку, как плакала мать, помнит стройки, рабочих в странных одеяниях (наверное, узников концлагерей. Прим. авт.). Время от времени Груйтен, который в ту пору был уже неразлучен с Лоттой, жил по несколько недель дома, сидел у постели жены, подменяя Лени, и с отчаянием пытался делать то же, что и Лени, — заинтересовать свою жену какими-нибудь ирландскими текстами, безразлично какими — сказками, сагами, песнями. Но ему это так же не удавалось, как и Лени; госпожа Груйтен устало качала головой, посмеивалась.

Старый Хойзер быстрее преодолел свою Б₂, уже с начала сентября он не проливал больше сл, вновь «включился в дела» и каждый раз с неудовольствием выслушивал ни с чем не сообразный вопрос Груйтена: «Неужели наша лавочка до сих пор не взлетела на воздух?» Нет. Не взлетела. Наоборот, предприятие все еще расширялось: ветераны держались. Крепко держались.

* * *

Надо ли считать, что Груйтен уже в сорок один год был человеком конченым? Что он не мог перенести гибели сына, несмотря на то, что в те годы смерть так и косила сыновей у всех окружающих, и несмотря на то, что этим окружаю-

щим все было нипочем? Начал ли он читать книги? Да. Одну книгу. Груйтен откопал свой старый молитвенник 1913 года издания, который ему подарили к первому причастию, и решил «искать утешения в религии, хотя не имел с ней ничего общего» (Хойзер-старший). Единственным результатом этого чтения было то, что он стал бросать деньги направо и налево целыми «пригоршнями». Это засвидетельствовано как Хойзером, так и его невесткой Лоттой. А также ван Доорн, которая вместо «пригоршнями» сказала «пачками» («И мне он сунул целую пачку денег, я выкупила тогда отцовский двор и немного землицы»). Груйтен стал ходить в церковь, но «выдерживал там несколько минут, не больше» (Лотта). «На вид ему можно было дать все семьдесят, а его жене, которой только что исполнилось тридцать девять, пожалуй, всего лишь шестьдесят» (ван Доорн). В ту пору он часто целовал жену, иногда Лени, но никогда не целовал Лотту.

Начался ли в нем уже процесс распада? Бывший домашний врач Груйтенов доктор Виндлен — теперь ему восемьдесят, он уже давным-давно не считается с такой условностью, как врачебная тайна, и, сидя в своей старомодной квартире, где отдельные предметы обстановки, например белые шкафы и белые стулья, все еще напоминают о прежней практике, с жаром разоблачает лекарственную лихорадку, охватившую человечество, называя ее «тем же идолопоклонством», — так вот, этот доктор Виндлен утверждает, будто Груйтен был «совершенно здоров, именно здоров; все у него было в норме — печень, сердце, почки, кровь, моча... И он почти не курил, разве что одну сигару в день... И не пил тоже, может быть, бутылочку вина за неделю... Болен? Да нет же, никаких симптомов... И понимал, что делает. Ну, а то, что он казался иногда семидесятилетним стариком, еще ни о чем не свидетельствует... Не спору, психически и морально он был сломлен, стопроцентно сломлен, но органического у него ничего не было. Из библии он извлек одну-единственную фразу: «Приобретайте себе друзей богатством неправедным». И это тоже указывает на его здравый рассудок».

* * *

Интересовали ли Лени в тот период по-прежнему конечные продукты пищеварения? Видимо, нет. Но зато она все чаще посещала Рахель и рассказывала людям о своих визитах в монастырь, как сообщила Маргарет, рассказывала «странные вещи».

«Я ничему этому не верила, но как-то раз отправилась вместе с ней и поняла, что все — чистая правда. Гаруспику теперь уже от всего отстранили, она даже перестала быть «сестрой при туалете». В церковь ее и то не пускали, пускали, только когда не было хора и официального богослужения. У нее отняли старую келью и поселили на чердаке, под самой крышей, в чулане, где раньше хранились метлы, веники и половые тряпки. Знаете, что она у нас попросила? Сигарету. Я тогда еще была некурящая, а Лени дала ей несколько сигарет. Рахель тут же закурила, жадно затянулась, а потом погасила сигарету — я уже не раз видела, каким манером люди гасят сигареты. Сестра Рахель знала свое дело! Тут она была мастером! Чистая работа! Как в тюрьме, как в больницы уборной. Она очень осторожно состригла ножницами горящий кончик сигареты, поковырялась еще немного в пепле — не попала ли туда, упаси бог, крошка табака, — а потом спрятала окурочек в пустой спичечный коробок. При этом она не переставая бормотала: «Господь близок, господь близок, он здесь». Нет, она не казалась безумной и в голосе у нее не звучала ирония, сестра Рахель говорила серьезно... Она не была сумасшедшей, только немного опустилась, как будто ей из экономии не давали мыла. Больше я туда носа не показывала, честно говоря, боялась... Нервы у меня уже тогда сдали, ведь Генриха казнили и его двоюродного брата тоже; когда Шлемер был в отъезде, я моталась по разным злачным местам для солдат и, подцепив какого-нибудь парня, уходила с ним; уже тогда я была на пределе; да, уже тогда, в девятнадцать лет. На эту монашку невозможно было смотреть, ее заперли, как мышшь, приговоренную к смерти. Я это сразу поняла. В ту пору Рахель еще больше усохла; она жевала хлеб, который принесла Лени.

и все время приговаривала: «Брось это, Маргарет, брось». «Что?» — спросила я. «То, что ты делаешь». Нет, я была не в силах с ней разговаривать, нервы у меня уже никуда не годились... А Лени ходила к ней еще много раз. Рахель тогда сказала странную фразу: «Почему они меня не убьют? Все проще, чем прятать». И она без конца повторяла Лени: «Ты должна жить, черт возьми, ты должна жить, слышишь?» И Лени плакала. Она любила сестру Рахель. Ну, а потом люди, конечно, узнали... «Что узнали?» (вопрос авт.). «Узнали, что Рахель была еврейкой. Орден просто-напросто не сообщил о ней властям, сделал вид, будто она исчезла при каком-то очередном перемещении. Орден прятал Рахель, но не очень-то щедро кормил. Ведь ей не полагалось продуктовых карточек. Впрочем, у монастыря был большой сад, и монахи откармливали свиней на убой. Нет, мои нервы этого не выдерживали. Она стала похожа на маленькую старую усохшую мышь... Да и Лени пускали к ней только потому, что она проявляла огромную энергию, и еще потому, что все знали: Лени — сама наивность. Она так и не разобралась, что значило тогда слово «еврей», слово «еврейка». А если бы даже разобралась, если бы поняла, в какую опасную историю влипла, то сказала бы: «Ну и что?» — и по-прежнему ходила бы к Рахели. Могу поклясться! Лени была храбрая... Все еще была храбрая. Самое тяжелое было слушать, как сестра Рахель говорила: «Господь близок, господь близок» — и смотрела на дверь с таким видом, словно господь вдруг войдет, вот-вот войдет... Меня это пугало, а Лени — нет... Лени тоже выжидательно поглядывала на дверь... Наверное, и она не удивилась бы, если бы господь явился собственной персоной... Мы посетили ее в начале сорок первого, когда я уже работала в госпитале. Рахель посмотрела на меня и сказала: «Плохо не только то, что ты делаешь... еще хуже то, что ты принимаешь, это самое скверное, давно ты это принимаешь?» Я ответила: «Две недели». Она сказала: «Тогда, значит, еще можно отвыкнуть». И я ответила: «Никогда в жизни я не отвыкну!» Речь шла, конечно, о морфии... Разве вы этого не знали? И даже не догадывались?»

* * *

В утешении не нуждалась, видимо, только одна госпожа Швейгерт, которая в то время зачастила к Груйтенам — навещала свою умирающую сестру, пыталась внушить ей, что «судьба не может сломить человека, она только придает ему крепости», а то, что муж сестры, Груйтен, «до такой степени сломлен», доказывает лишь его расовую неполноценность. Обращаясь к своей сестре, которая слабела не по дням, а по часам, Швейгерт ничтоже сумняшея призывала ее равняться на «гордых фениев». Сама она вспоминала Лангемарк. А когда в ответ на вопрос о причинах столь явной скорби Лени ван Доорн — она единственный источник всех вышеприведенных сведений, — когда ван Доорн прямо заявила, что Лени, по всей вероятности, оплакивает сына Швейгерт Эрхарда, та очень оскорбилась, смертельно оскорбилась. Ее возмутил тот факт, что какая-то «вересковая девица» (новый вариант формулы «с позволения сказать, девушка». Прим. авт.) «осмеливается оплакивать ее сына, в то время как она, мать, его не оплакивает». После наглого выпада ван Доорн госпожа Швейгерт прекратила всякое общение с семьей Груйтенев, заметив на прощание: «Нет, это уж слишком, это действительно слишком... Вереск!»

* * *

Ну, конечно, и в тот год показывали фильмы и Лени ходила иногда в кино. Она посмотрела картину «Товарищи в море», картину «То была веселая балльная ночь» и еще раз сходила на «Бисмарк».

Авт. сомневается, что фильмы эти принесли ей утешение или хотя бы отвлекли на время от мрачных мыслей.

А как обстояли дела с такими нашумевшими боевиками, как «Смелая солдатская женка» или «Мы идем на Британию»? Может быть, они утешили Лени? Вопрос остается открытым.

По временам все трое Груйтенев — отец, мать и дочь — лежали в своих

постелях, каждый у себя в комнате с затемненными окнами; не выходили из комнат и при воздушных тревогах; «дни напролет, а то и недели они лежали не двигаясь, впериw взгляд в потолок» (ван Доорн).

Тем временем все Хойзеры — Отто, его жена, Лотта и ее сын Вернер — переехали в груйтеновский дом, и тут произошло одно событие, которое, хотя его и надо было ожидать, более того, точно предвидеть, было воспринято как чудо, и чудо это способствовало общему выздоровлению: в ночь с 21 на 22 декабря во время воздушного налета Лотта родила ребенка, мальчика, весом в три кило с четвертью. Роды начались немного раньше, чем предполагалось, акушерку не успели предупредить, и она была занята в другом месте (позднее выяснилось, что она принимала девочку); энергичная Лотта, как это ни странно, проявила слабость и беспомощность, ван Доорн тоже, и тут свершилось еще одно чудо: госпожа Груйтен встала с постели и начала отдавать приказания Лени ясным, энергичным и в то же время спокойным голосом; пока Лотта корчилась в последних схватках, в доме кипятили воду, дезинфицировали ножницы, заранее подогревали пеленки и одеяла, мололи кофе, доставали из шкафа коньяк; на улице стояла морозная темная ночь, самая темная ночь в году, и в эту ночь исхудавшая госпожа Груйтен («В чем только душа держалась». Ван Доорн) наконец-то показала, на что она способна; в своем неизменном небесно-голубом халате она то подходила к комоду, проверяя, на месте ли весь необходимый инструмент, то протирала лоб Лотты одеколоном, крепко держа ее за руку; в нужную минуту без всяких ахов и охов она широко развела ноги роженицы и помогла ей принять рекомендуемую полусидячую позу, после чего бесстрашно извлекла младенца, обтерла Лотту водой с уксусом, перерезала пуповину и позаботилась о том, чтобы ребенка, «потеплее закутав», опустили в корзинку для белья, которую Лени тщательно выложила подушками. Фугаски, падавшие совсем недалеко, ничуть не помешали госпоже Груйтен, а уполномоченного по противовоздушной обороне, некого Хостера, который тупо долдонил, требуя, чтобы погасили свет и чтобы все спустились в убежище, она так ловко отбрила, что свидетели этого происшествия Лотта, Мария ван Доорн и старый Хойзер, не сговариваясь, в один голос заявляют: «Она выпроводила его не хуже полицейского».

Быть может, госпожа Груйтен загубила в себе талант врача? Во всяком случае, она позаботилась о том, чтобы «материнское лоно очистилось» (слова госпожи Груйтен, процитированные Хойзером-старшим), проследила за выходом следа, а после вместе с Лени и Лоттой подкрепилась кофе с коньяком; самое удивительное заключалось в том, что активная ван Доорн «оказалась не на высоте в этой трудной ситуации» (Лотта) и под всякими предложениями, весьма прозрачными, почти все время торчала на кухне и угощала кофе обоих мужчин — Груйтена и Хойзера. Без конца повторяя словечко «мы» (дескать, «мы справимся, мы благополучно разрешимся, мы это преодолеем, мы не поддадимся, мы...») и так далее и очень осторожно критикуя госпожу Груйтен: «Надо надеяться, ее нервы выдержат, боже мой, для нее, бедняжки, это чересчур»), ван Доорн держалась на почтительном расстоянии от места происшествия, то есть от спальни Лотты, и выступила на авансцену лишь после того, как самое трудное осталось позади. Не успела госпожа Груйтен оглядеться, словно сама поражаясь проявленной ею энергии, как Мария уже вошла в спальню с малышом Вернером на руках и зашептала: «Ну, а теперь давай посмотрим на нашего маленького братца. Хочешь?» И тут старший Груйтен сказал старшему Хойзеру о своей жене: «Я ведь всегда знал и говорил, что она замечательная женщина». Сказал таким тоном, будто кто-то в этом сомневался.

Первые трения возникли через несколько дней, когда Лотта начала настаивать на том, чтобы госпожа Груйтен стала крестной матерью новорожденного, но при этом отказывалась крестить сына в церкви. Она хотела назвать его Куртом («Таково было желание Вилли, если родится мальчик; если бы родилась девочка, мы бы назвали ее Еленой»). В разговорах с госпожой Груйтен Лотта нападала на церковь, особенно «на эту нашу церковь» (смысл ее слов так и не удалось до конца расшифровать, впрочем, почти со стопроцентной уверенностью можно

предположить, что она имела в виду римско-католическую церковь, с другими церквями Лотта не была так близко знакома. Прим. авт.). Госпожа Груйтен не рассердилась, просто ей стало «очень, очень грустно», но она все же согласилась быть крестной матерью и придала особое значение тому, чтобы подарить мальчику что-нибудь весомое, существенное, имеющее длительную ценность. Она подарила ему незастроенный земельный участок на окраине города, который получила в наследство от покойных родителей, и оформила все чин чинном у нотариуса. А сам Груйтен обещал то, что он безусловно выполнит бы, однако выполнить не успел. «Я построю ему на этом участке дом», — сказал он,

* * *

Период глубочайшей депрессии, как видно, кончился. У Груйтена скорбь пассивная и апатичная сменилась скорбью активной. «С торжеством, чуть ли не со злорадством» (Хойзер-старший) он встретил весть о том, что ранним утром 16 февраля 1941 года на здание фирмы упали две фугасные бомбы. Однако зажигалки не сработали и от взрыва не возник пожар, тем самым надежда на то, что «все заведение сгорит к чертовой матери», не осуществилась. Неделю шли работы по расчистке, в которых участвовала и Лени, хотя без особого энтузиазма, после чего выяснилось, что ни одна канцелярская папка не погибла. А еще через четыре недели здание полностью восстановили. Груйтен так и не переступил больше порога своего кабинета; к удивлению всех окружающих, он стал человеком общительным, хотя не был им даже в юности. Лотта сказала: «Он стал прямо-таки компанейским человеком. Странная история! Каждый день по его настоянию часов в четыре-пять все собирались и пили вместе кофе, все без исключения: Лени, моя свекровь, дети — словом, все. А после пяти он садился с моим свекром, и тот рассказывал ему во всех подробностях о том, что происходило «в лавочке», о состоянии финансов, проектах, строительных площадках, — Груйтен требовал обзора всех дел; он подолгу совещался со своими адвокатами, а также с юрисконсультами министерств, хотел превратить фирму, которая целиком была его собственностью, в акционерную компанию. Тогда же был составлен и «список ветеранов». Конечно, Груйтен прекрасно понимал, что при его возрасте (ему было сорок два) и при его здоровье (он отличался завидным здоровьем) ему не миновать призыва в армию. Поэтому он и хотел обеспечить себе в фирме пост консультанта, приравненный к директорскому посту. Однако по совету своих заказчиков, весьма важных шишек — среди них было и несколько генералов, и все они явно благоволили к нему, — по их совету его будущий титул получил другое название: директор по планированию. Меня должны были назначить директором по кадрам, отца — уполномоченным по финансам; вот только Лени — ей как раз минуло восемнадцать с половиной — не соглашалась стать директором, никак не соглашалась. Груйтен все продумал — забыл лишь одно: обеспечить Лени материально. Позже, когда разразился скандал, мы поняли, зачем он затеял реорганизацию. Но ошибку уже нельзя было исправить. Лени и его жена оказались на мели. Ну так вот — Груйтен стал человеком компанейским... И еще один неожиданный штрих: он начал говорить о сыне; почти год имя сына не произносилось вслух, его запрещалось произносить. А теперь вдруг Груйтен заговорил о нем; он был достаточно умен, чтобы не поминать «судьбу» и всякий прочий вздор, но зато сказал: хорошо еще, что Генрих погиб не «пассивно», а «активно». Я не совсем поняла смысл фразы, вообще вся история с Данией казалась мне уже тогда, год спустя, дурацкой, просто глупой. Или, скажем, так: я сочла бы ее глупой, если бы мальчики не поплтались жизнью. Впрочем, и сейчас мне кажется, что формула «умереть ради чего-то» не изменяет самого факта смерти, не делает его лучше, более значительным или менее глупым. Да, вся эта история кажется мне дурацкой, не знаю уж, как это объяснить.

Ну, а потом Груйтен перестал на время заниматься «новой структурой предприятия» и устроил в июне «праздник» по случаю двенадцатой годовщины со дня основания фирмы; на нем-то он и хотел все объявить. Праздник состоялся

пятнадцатого числа, как раз между двумя воздушными налетами... Можно было подумать, что он все предвидел. Но мы ничего не предвидели. Ничего».

* * *

Лени опять начала упражняться в игре на рояле, и притом весьма усиленно, с «упрямым выражением лица» (Хойзер-старший); вышеупомянутый Ширтенштейн, стоя у окна, «в задумчивости (здесь и далее собственные высказывания Ширтенштейна) внимал» ей «не без некоторого интереса, но и не без скуки». «Однако в один июньский вечер я вдруг встрепенулся: я услышал самое поразительное исполнение из всех, какие знал. Игра неожиданно приобрела твердость, холодную твердость; ничего подобного я раньше никогда не слышал. И позвольте мне, старому критикану, сделать одно замечание, которое, возможно, покажется удивительным: я услышал Шуберта как бы вновь, как бы в первый раз. Не знаю уж, кто играл на рояле, мужчина или женщина, — я бы не смог определить; так вот, кто бы ни играл, пианист не только многому научился, но и многое понял. А с непрофессионалами это вообще почти не случается, они редко доходят до сути... В этот вечер не просто кто-то играл на рояле... в этот вечер создавалась музыка. После я часто ловил себя на том, что стою у окна и жду; обычно это происходило между шестью и восемью. Ну, а потом меня призвали в армию. Я долго отсутствовал, очень долго... а когда вернулся, моя квартира была занята... Я вернулся в пятьдесят втором... да, я отсутствовал целых восемь лет. Был в плену... у русских. И там меня использовали куда ниже моих возможностей, куда ниже... Жилось мне, впрочем, неплохо... Танцевальная музыка, популярные песенки... Одним словом, халтура. Понимаете, что это значит, когда серьезный музыкальный критик, «гроза знаменитостей», примерно шесть раз в день наяривает «Лили Марлен»?.. Только через четыре года после возвращения — это было уже в пятьдесят шестом — я наконец-то опять поселился в своей старой квартире... Да, я люблю эти деревья на дворе и высокие потолки... И как вы думаете, что я услышал после пятнадцатилетнего перерыва? Модерато из ля-минорной сонаты и аллегretto из соль-мажорной, услышал в таком ясном, таком четком и глубоком исполнении, какого раньше не слышал. Даже в сорок первом, когда я вдруг обратил внимание на эту музыку. Сейчас играл прямо-таки пианист мирового класса».

IV

Последующие события можно озаглавить так: «Лени совершает глупость», или «Лени сходит со стези добродетели», или «Что же все-таки случилось с Лени?».

На праздник, назначенный в середине июня, Груйтен пригласил, между прочим, всех призванных в армию «сотрудников фирмы, которые в данное время находились в отпуске на родине». Никто не мог предположить, однако, что приглашенными «сочтут себя и бывшие сотрудники фирмы. «Кстати, о них в приглашении речь не шла (Хойзер-старший). Впрочем, к тому молодому человеку не подходило даже выражение «бывшие сотрудники» — он работал у нас всего месяца полтора, да и то в тридцать шестом году, стажером. Нет, учеником он не желал числиться, это название казалось ему чересчур «примитивным», ему надо было называться стажером, да и учиться он не хотел, хотел сам просвещать нас насчет того, как следует строить... И очень скоро он от нас вылетел, после чего его забрали в солдаты. Парень был не так уж плох, но отчаянный фантазер. Причем не в положительном смысле, как Эрхард, а в отрицательном. Фантазер со склонностью к гигантомании, а это нас не устраивало. Он носился с идеей отказать от железобетона и «открыть заново» «его величество камень». Хорошо, допустим, в этом что-то было, но нам этот парень не годился прежде всего потому, что он не умел обращаться с камнем, да и не хотел уметь. Я, черт возьми, уже шестьдесят лет занимаюсь строительством, а в то время, как-никак, занимаясь им почти сорок лет; я-то понимал, что такое «его величество камень», ви-

дел сотни каменщиков, учеников каменщиков, видел, что они делают из камня... Взгляните на настоящего каменщика, на то, как он берет кирпич... Не пожалейте!.. Но у того парня камень валился из рук, да и души камня он не чувствовал... Он был просто болтун. Хотя и незлой человек. Только мнил о себе невесть что, и мы знали почему».

А тут еще случилось второе, непредвиденное и злосчастное обстоятельство. Сперва Лени вовсе не хотела идти на празднество. Любовь к танцам у нее пропала. Она «стала серьезной, очень тихой девушкой; с матерью они жили теперь душа в душу, та учила ее французскому и немного английскому. И Лени была просто влюблена в свой рояль» (ван Доорн). Кроме того, она «отлично знала всех сотрудников, работавших в фирме; там не было никого, кто мог бы опять пробудить в ней любовь к танцам» (Лотта Х.). Только из чувства долга, вняв просьбам родителей, она пошла на этот праздник.

* * *

К сожалению, здесь необходимо сказать несколько слов и об Алоисе Пфейфере, столь пренебрежительно охарактеризованном Хойзером, об Алоисе Пфейфере, сыгравшем в жизни Лени свою роль, и о его клане, а также о некоторых закулисных событиях. Отец А., Вильгельм Пфейфер, был «школьным и фронтовым товарищем старого Груйтена»; они были родом из одной деревни и до женитьбы Груйтена считались приятелями, хоть и не очень близкими; дружба их кончилась после того, как Вильгельм П. начал «так сильно действовать Груйтену на нервы, что тот просто не выдержал» (Хойзер). Все дело заключалось в том, что оба они были участниками одного сражения в годы первой мировой войны (битвы на Лисе, как потом выяснилось) и двадцатилетний Пфейфер, возвратившись на родину, «ни с того ни с сего (здесь и далее слова Хойзера) стал волочить правую ногу, словно ее парализовало. Ну, ладно, кому какое дело, пускай человек выколачивает себе пенсию по инвалидности, но Пфейфер явно перебарщивал со своей ногой. Он ни о чем другом и не говорил, кроме как об «осколке гранаты величиной с булавочную головку», который будто бы засел у него в самом чувствительном месте. Этот Вильгельм был упрямый как осел, он волочил свою ногу целых три года, волочил от одного врача к другому, от одного медицинского учреждения к другому, волочил до тех пор, пока ему не дали пенсию и не помогли выучиться на учителя. Ну, хорошо! Хорошо! К чему все эти подозрения? Возможно, что он... кто знает... возможно, у него в самом деле парализовало ногу, но одно известно: никто так никогда и не обнаружил этот самый осколок... пусть это не зависело от самого осколка, пусть это даже не свидетельствовало о том, что осколка вообще не существует... Хорошо. В конце концов он получил пенсию по инвалидности, стал учителем и так далее. Но тут произошла странная история: как только Пфейфер появлялся со своей парализованной ногой, Губерт совершенно терял равновесие. А между тем состояние Вильгельма все время ухудшалось, иногда он заговаривал даже об ампутации, а потом нога у него и впрямь отнялась... Но никто никогда так и не обнаружил этого «осколка величиной с булавочную головку», его не мог различить даже самый совершеннейший рентгеновский аппарат. И поскольку его никто ни разу в жизни не видел, Губерт в один прекрасный день сказал Пфейферу: «Почему ты, собственно, утверждаешь, что твой осколок величиной с булавочную головку, ведь никто его до сих пор не видел?» Я должен сказать, что это был сильный ход, и Пфейфер окончательно обиделся на Губерта. А потом у него вообще выработалась, так сказать, психология булавочной головки... Ребята в той сельской школе в Люссемике чуть ли не каждый день без конца выслушивали историю с осколком и с битвой на Лисе. И так длилось десять лет подряд, двадцать лет, и Губерт опять попал не в бровь, а в глаз, когда он сказал — местные жители все время держали нас в курсе дела, ведь мы трое были из одной деревни и у нас осталось там полно родни,— так вот, Губерт попал не в бровь, а в глаз, сказав: «Даже если осколок и сидит, его нога все равно сплошной блеф, но это не мешает ему волочить свою ногу повсюду. Да и с битвой тоже сплош-

ной обман, как-никак, я там был... Мы, между прочим, торчали в третьем или в четвертом эшелоне и вообще ни в чем не участвовали... Ну, конечно, гранаты там рвались и все такое прочее, но... Конечно, все понимают, что война — бессмыслица, но тогда, в четырнадцатом году, это выглядело совсем не так, да и для нас вся эта заваруха продолжалась всего полтора дня... Нельзя же построить на этом всю жизнь!» Ну так вот, — Хойзер вздыхает, — так вот, Алоис возьми и появись на том торжественном вечере».

* * *

Чтобы получить конкретную информацию об Алоисе, пришлось совершить несколько поездок в деревню Люссемих. Авт. расспросил двух трактирщиков приблизительно того же возраста, что и Алоис, которые его еще помнили, и их жен. Посещение дома священника не дало ничего; священник был незнаком с семейством Пфейферов, единственное, что он сделал, это прочел запись в церковно-приходской книге, из которой следовало, что, согласно документам, семья Пфейферов «проживает в Люссемихе с 1750 года». Ввиду того что Вильгельм Пфейфер в конце концов все же переселился в другое место — правда, уже в 1940 году и не из-за своих политических убеждений, довольно неприятных, а только потому, что «мы больше не в силах были его выносить» (трактирщик Виллерман из Люссемиха, пятьдесят четыре года, человек положительный и заслуживающий доверия), — следы семейства Пфейферов в той местности почти затерялись. А все свидетели жизни А. в других местностях относятся к нему, к сожалению, предвзято: речь идет о ван Доорн, о Хойзерах и о Лени (Маргарет ничего не знает о Пфейфере). Впрочем, показания различных пристрастных свидетелей сходятся в датах, но противоречат друг другу в интерпретации этих дат. Все предвзятые свидетели в один голос утверждают, что уже в возрасте четырнадцати лет Алоис оказался непригоден для дальнейшего обучения, в этом смысле его судьба напоминала судьбу Лени. По версии самих Пфейферов, однако, он «пал жертвой интриг небыстрых лиц». Зато ни один человек не оспаривает того факта, что А. П. был «красивым малым», хотя и об этом некоторые свидетели говорят с оттенком иронии. У Лени на стене портрет Алоиса не висит, у Пфейферов висит штук десять его фотографий. И глядя на них, следует признать, что если обозначение «красивый малый» вообще имеет смысл, то к Алоису оно подходит как нельзя лучше. У А. были голубые глаза и темные, почти иссиня-черные волосы. Иссиня-черные волосы А. часто упоминались в связи с различными грубоупрошенными толкованиями расовой теории; отец Алоиса был блондин, его мать и все предки, о цвете волос которых сохранились воспоминания или предания, также были блондинами и блондинками (здесь и далее показания родителей П.). Поскольку все известные предки Пфейферов и Толцемов (девичья фамилия госпожи Пфейфер) появились на свет в треугольнике Люссемих — Верпен — Толцем (общая площадь этого треугольника равна двадцати семи квадратным километрам), авт. не пришлось предпринимать никаких дополнительных поездок. У двух сестер Алоиса, умерших еще в детском возрасте, у Берты и Кэте, равно как у его брата, находящегося в добром здравии и сейчас, волосы тоже были русые, хотя и не золотисто-русые.

По-видимому, дурацкое переливание из пустого в порожнее на тему «черные или светлые волосы» было в семье Пфейферов, что называется, проблемой номер один: чтобы объяснить себе цвет волос А., Пфейферы готовы были даже заняться отвратительным вынюхиванием всяческих подробностей семейной жизни своих предков; в уже упомянутом географическом треугольнике (благодаря его незначительным размерам это не представляло особых трудностей) Пфейферы подняли все церковноприходские книги, а также книги записей актов гражданского состояния (окружной центр, где находится соответствующее учреждение, — Верпен) и перебрали всех своих предков женского пола, которых можно было подозревать в том, что, вступив на *via*⁹ супружеской измены, они протащили в

⁹ Путь (лат.)

славный пфейферовский род темные волосы. «Я припоминаю, — рассказывает Генрих Пфейфер, который относится ко всему, что касается его семейства, без малейшей иронии, — я припоминаю, что в 1936 году в церковноприходских книгах Толцема была наконец-то обнаружена женщина, чьи наследственные признаки могли привести к непонятно откуда взявшимся черным волосам брата; это была некая Мария, в церковноприходской книге она значилась лишь по имени, о ее родителях было глухо сказано, что они *vagabundi*¹⁰».

Генрих П. живет со своей женой Хетти, урожденной Ирмс, в однокомнатном домике, в поселке, сплошь заселенном служащими, и притом одного вероисповедания. У него два сына — Вильгельм и Карл, и он вот-вот собирается приобрести малолитражку. У Г. П. нога ампутирована по голень, он человек, не лишенный добродушия, но немного раздражительный, что объясняется, по его словам, «нервотрепкой в связи с покупкой машины».

Интересно, что в означенном треугольнике темные волосы отнюдь не являются редкостью, визуально они, быть может, даже преобладают, во всяком случае на первый взгляд, в чем авт. мог убедиться собственными глазами. Однако в семье Пфейферов существовала легенда, носившая название «знаменитые пфейферовские волосы», густые светлые волосы были предметом гордости рода. Женщина — обладательница «пфейферовских волос», считалась у них счастливицей, щедро одаренной природой, и, уж во всяком случае, красавицей. Согласно показаниям Генриха П., проделанная работа в треугольнике Толцем — Верпен — Люссемих выявила, между прочим, и то, что между различными коленами рода Пфейферов и Груйтенов существовали многочисленные связи (род Баркелей здесь ни при чем, с давних пор он поселился в городе); исходя из этого, авт. не исключает, что и Лени получила в наследство от каких-то весьма далеких родственников эти самые пфейферовские волосы. Однако справедливость прежде всего; объективно, так сказать, с парикмахерской точки зрения, волосы у Алоиса были просто роскошные — густые, темные, вьющиеся от природы. Тот факт, что они вились, опять-таки служил поводом для всевозможных толков и кривотолков, ибо пфейферовские волосы, — например, у Лени! — были прямые, гладкие и т. д. и т. п.

* * *

Объективно все дело заключалось в том, что с первого же дня с Алоисом слишком носились. Как это водится у Пфейферов, из нужды они сделали добродетель, сразу же прозвав Алоиса «наш цыган»; правда, это прозвище держалось лишь до 1933 года, с тех пор он стал «классическим типом западного мужчины». Авт. считает своим долгом отметить, что А. ни в коем случае не принадлежал к кельтскому типу, хотя в данном случае нетрудно ошибиться, так как среди кельтов часто встречается сочетание светлых глаз с темными волосами. Однако, как выяснится в дальнейшем, А. не обладал ни впечатлительностью, ни воображением, свойственным кельтам. Если пришлось бы раз и навсегда определить расовую принадлежность А., то его можно было бы причислить лишь к одной категории — к неудавшимся германцам. Итак, в детстве А. всем демонстрировали, без конца нянчились с ним, много месяцев, даже лет, называли «прелестным мальчуганом»; прежде чем он научился более или менее правильно говорить, ему уже напророчили уйму всяких головокружительных карьер, главным образом в сфере искусства: из него должен был получиться прекрасный скульптор, художник, архитектор (писательская карьера начала дебатироваться в доме П. значительно позднее. Авт.). Все, что ни делал молодой Алоис, вызывало явно преувеличенные похвалы. Потом он, разумеется, стал «прелестным причетником» (к какой церкви А. принадлежал, можно не говорить, это видно по его имени), и вот все его тетки, двоюродные сестры и т. д. уже вообразили его себе «монахом-художником» или «настоятелем монастыря, увлекающимся живописью». Установлено (показаниями шестидесятидвухлетней жены трактирщика Коммера в

¹⁰ Вродячие (*вульг. лат.*).

Люссемихе, а также показаниями ее свекрови восьмидесяти одного года, бабушки Коммер, которая славится во всей деревне своей памятью), что между 1926 и 1933 годами, то есть все то время, пока Алоис был причетником, посещаемость церкви в Люссемихе была выше, чем всегда. «О боже, ну, конечно, мы тогда чаще заходили и по будням и по воскресеньям в божий храм приложиться (какое именно религиозное упражнение скрывается за словом «приложиться», до сих пор не удалось установить. Авт.), ведь было очень приятно взглянуть на малыша» (бабушка Коммер). Авт. пришлось провести множество бесед с господином Пфейфером и его женой Марианной, урожд. Толцем. Надо сразу отметить, что жизненный уровень Пфейфера-старшего «на ступень выше», нежели жизненный уровень его сына. Г. П.-старший живет в стандартном доме больших размеров и машина у него уже есть; за это время он успел выйти на пенсию, но до сих пор волочит ногу. Пфейферы проявили редкую готовность рассказать о своей жизни, поэтому для авт. не представляло труда получить от них нужную информацию об А.; предметы, которые он когда-либо мастерил, считаются в семье реликвиями и хранятся под стеклом; среди примерно четырнадцати его рисунков два-три совсем не такие уж плохие; это раскрашенные карандашные наброски, изображающие окрестности Люссемиха. Именно предельная ровность пейзажа (разница уровней, неизбежная даже в равнинных местностях — ведь и там текут реки, а стало быть, существуют впадины, — редко достигает здесь шести — восьми метров), — так вот, эта ровность пейзажа, видимо, и заставляла А. браться за карандаш. При такого рода ландшафтах небо всегда лежит прямо на земле: мимоходом заметим — на плодородной земле; А., видимо, пытался открыть секрет освещения, которым владели нидерландские художники, — делал ли он это сознательно или бессознательно, теперь уже, конечно, установить нельзя. На двух-трех рисунках А. приблизился к разгадке этой тайны; на них он весьма оригинально использовал в качестве источника света сахарный заводик в Толцеме, приблизив его к Люссемиху и спрятав солнце в его белесом дыму. Сообщение П. о том, что подобных рисунков существовали сотни, проверить невозможно, но относиться к нему надо с осторожностью. Несколько самоделок, которые смастерил А., как то: скамейка для кактусов, шкатулка для украшений, подставка для трубок — подарок отцу, равно как и огромная лампа (резьба по дереву, лобзик), — производят, мягко выражаясь, удручающее впечатление; кроме того, под стеклом у П. хранится приблизительно шесть заслуживающих внимания спортивных грамот — легкая атлетика, плавание, наконец, похвальная грамота от футбольного клуба в Люссемихе. В Верпене А. начал проходить учение как подмастерье каменщика; но уже через шесть месяцев прервал его: госпожа П. называет эти шесть месяцев «практикой», которая «ничего не дала из-за ужасающей грубости мастера, не желавшего прислушиваться к предложениям мальчика». Коротко говоря, совершенно очевидно, что и семья П. и сам А. мечтали о более «блестящей» карьере для него.

Под стеклом у П. было выставлено еще несколько десятков стихов А., но авт. предпочитает не говорить о них подробно: ни одно из этих стихотворений, ни одна строчка, даже в отдаленной степени не обладает той выразительностью, какой обладали стихи Эрхарда Швейгера. После прерванной «практики» «Алоис с огромным творческим подъемом» (П.-старший) обратился к профессии, которая при его слабохарактерности, наверное, оказалась бы губительной для него, — он решил стать актером. Несколько успешных дебютов в любительских спектаклях, где А. играл главную роль в пьесе «Лев из Фландрии», оставили свой след под стеклом у Пфейферов, а именно: три газетных вырезки, в которых А. удостоился «необычайных похвал»; тот факт, что все три заметки принадлежали перу одного и того же автора, который сотрудничал в трех разных местных газетах, только под разными подписями, до сих пор ускользал от внимания Пфейферов; заметки совпадают почти дословно, не считая совершенно незначительных разночтений (так, в одной из них сказано «безграничный», в другой «беспредельный», а в третьей «беспорный»). Заметки подписаны инициалами Б. Г. Б., Б. Б. Г. и Г. Б. Б. Разумеется, сценическая деятельность А. потерпела крушение из-за то-

го, что окружающий мир не сумел оценить «артистизма» А., а также из-за того, что окружающий мир завидовал его «красоте» (госпожа П.).

К самым значительным экспонатам семьи П. принадлежат несколько образчиков напечатанной прозы А.: чуть выцветшие, вставленные в золотые рамки газетные полосы украшают верхнюю часть экспозиции. Госпожа П. указала на них авт. со следующими словами: «Вот видите, его уже печатали, у мальчика был настоящий талант, он мог бы зарабатывать кучу денег» (эта смесь высшего идеализма с ярко выраженным материализмом типична для семьи П. Авт.).

1. Вперед на запад

Война идет уже 8 месяцев, а мы еще не произвели ни одного выстрела. Всю глинную холодную зиму мы потратили на суровую выучку. Но вот и весна, и мы уже много дней ждем приказа фюрера.

В Польше шли бои, а мы несли стражу на Рейне; Норвегия и Дания были повержены, а нам так и не пришлось в этом участвовать; некоторые солдаты уже говорили, что мы всю войну просидим на родине.

Наша часть дислоцирована в маленькой деревушке в Эйфеле. И вот 9 мая в 16.30 пришел долгожданный приказ — вперед, на запад! Тревога! Связные носятся как угорелые, солдаты запрягают коней и складывают свои солдатские ранцы, квартирмейстеры благодарят, у девочек красные заплаканные глаза — Германия идет на запад, навстречу заходящему солнцу! Франция, берегись!

Вечером батальон выходит в поход. Перед нами движутся войска, по пятам за нами также следуют войска, а по левой стороне шоссе нас беспрестанно обгоняют моторизованные колонны. Мы идем сквозь ночь.

Утреннюю зарю в этот день не увидишь — все небо грозит от гула немецких самолетов, которые с рокотом проносятся над нашими головами, чтобы переждать утренний привет западному соседу Германии. А моторизованные части все еще обгоняют нас.

«На рассвете немецкие войска перешли границы Голландии, Бельгии и Люксембурга и продвигаются сейчас дальше на запад!» — один из мотопехотинцев, обгоняя нашу колонну, громко прокричал нам это экстренное сообщение. Восторг охватывает всех, мы приветственно машем руками нашим доблестным летчикам, которые не переставая с гулом проносятся над нами.

2. Маас. 1940 год

Кто сказал, что Маас — река? Это сплошной огненный поток. А берега по обе его стороны — огнедышащие вулканы.

Каждое естественное укрытие в этой местности, словно специально созданное для оборонительных боев, использовано. Повсюду там, где природа бессильна, врагу помогает техника. Повсюду, куда ни кинешь взгляд — перед скалами, в промежутках между скал, в нагромождении скал, — пулеметные гнезда. Крохотные убежища пробуравлены, выдолблены в камне и залиты бетоном; крышей им служат пятидесятиметровые тысячелетние горные массивы.

3. Эн. 1940 год

120 моторов поют свою стальную песнь! 120 пикирующих бомбардировщиков с воем кружат над рекой Эн!

Но никто из них не различает цели.

Сама природа защищает сегодня линию Вейгана, прикрыв ее густым туманом.

Вперед, неизвестный солдат! Полагаясь только на собственные силы, ты должен доказать сегодня, что твоя суровая выучка обеспечила тебе превосходство. Твоя воля к победе должна сломить самое упорное сопротивление врага.

Когда ты спустишься с высот Шмен де Дам, вспомни о крови, пролитой здесь. Вспомни, что тысячи немецких солдат уже шли до тебя этой дорогой.

Ты — солдат 1940 года — должен пройти ее до конца.

Читал ли ты надпись на обелиске: «Здесь был город Айет, его разрушили варвары»? Преступное безумие ослепляет твоих врагов. Даже тебя, солдата, борющегося за свое право на жизнь, они считают варваром.

Уже ранним утром 9 июня наша дивизия готова к бою. Бойцы соседнего полка получили приказ наступать на нашем участке. А мы стоим пока в резерве. Тревога! Все по местам!

Сейчас всего 4 часа утра. Еще не совсем проснувшиеся, мы один за другим вылезаем из палаток. Трудный день начался.

4. Герой

История этого героя — пример бесстрашия, смелости и безграничной самоотдачи, свойственной всему офицерскому составу. Говорят, что у офицера должно хватить мужества умереть раньше своих солдат. Но в ту минуту, когда солдат занимает свою боевую позицию, чтобы уничтожить врага, в ту самую минуту он заключает братский союз со смертью. Он начисто изгоняет страх из своего сердца, нервы его натянуты, словно тетива лука, все его чувства вдруг обостряются до предела, и, отбывая себя на милость неверному военному счастью, он явственно ощущает, пусть не разумом, а инстинктом, что счастье и благословение небес всегда на стороне храбреца! Храбрецы увлекают за собой робких, а образцом для всех служит один-единственный герой, который подает пример и в жизни и в смерти — зажигает факелы бесстрашия в душах окружающих его солдат. Таким и был полковник Гюнтер!

5

Враг сопротивляется упорно и коварно и, попав в окружение, борется до конца. Он почти никогда не сдается в плен. Сенегальцы оказались здесь в своей стихии, ведь они мастера «лесной войны». Стволы деревьев для них великолепные укрытия; они засели за искусственно возведенными или же естественными «стенами» из веток, врылись в землю на каждой тропинке, на каждой лесной прогалине, к которой устремляются нападающие. Стреляют они только с самых близких дистанций, и почти каждый их выстрел попадает в цель, почти каждый убивает наповал. Снайперы на деревьях тоже большей частью остаются невидимыми. Иногда они пропускают наступающих вперед и стреляют им в спину. С ними очень трудно бороться, они изматывают боевые резервы, связных, штабистов, артиллеристов. Давным-давно отрезанные от своих частей, чуть ли не умирающие с голоду, они убивают солдат-одиночек спустя много дней после окончания сражений. Тесно прижавшись к стволу, они стоят, сидят или лежат на дереве, зачастую еще завернутые в маскировочную сеть; так они поджигают добычу. А если кого-нибудь из этих стрелков все же удастся обнаружить, то оказывается, что дыкоть уже почуял опасность; он как куль упал с дерева и, словно молния, исчез в чащобе.

6

Надо идти вперед, мы не вправе останавливаться, и уж ни в коем случае здесь. Батальон движется по равнине без прикрытия. Кто знает, не засел ли на высотах справа и слева враг? Вперед! Случилось чудо, ничто не препятствует нашему победоносному маршу. Откатывающиеся французы разграбили и разрушили все деревни на нашем пути.

— Видишь, там, на горизонте, Шмен де Дам? — вполголоса говорит товарищ, шагая со мной рядом. Отец его погиб в первой мировой войне. — А это, стало быть, земля Айета. На ней отца ранили, когда он вез на передовую провиант.

Широкая автострада ведет через землю Айета к господствующим на местности холмам Шмен де Дам. По обе стороны автострады не найдешь ни одного клочка земли, который в годы первой мировой войны не был бы неоднократно перепахан гранатами.

Нет в окрестностях и высоких деревьев с прямыми стволами. В 1917 году здесь вообще не было деревьев, все они были срезаны снарядами. Но с той поры обрубки опять пустили корни и каждый пенё превратился в куст».

7

Мы ежесекундно всматриваемся в противоположный берег. Все надо еще раз продумать и взвесить. Последние напутствия, и выстрел разрывает тишину! Наступление! С опушки леса и из-за кустов стреляют немецкие орудия! Огневой вал с берега реки Эн медленно поднимается по склону. Теперь вся долина реки Эн скрыта в густых клубах дыма, так что видимость временно ограничена. Несмотря на сильнейший артиллерийский огонь врага, саперы тащат надувные лодки и помогают пехоте переправляться на другой берег. Начинается битва за форсирование реки и канала.

12 часов, наши войска на той стороне уже поднялись на склон, но, несмотря на это, противник все еще оказывает отчаянное сопротивление. С нашего наблюдательного пункта теперь уже нельзя следить за всеми перипетиями боя. Посланный вперед наблюдатель и два радиста с утра ушли вперед вместе с пехотой. Днем приходит приказ о занятии новых рубежей как для наблюдательного пункта, так и для огневых позиций. Солнце палит нещадно. Через короткое время мы добираемся до реки Эн. Новый наблюдательный пункт будет расположен теперь на высоте 163.

Когда дело касается прозы, авт. чувствует себя слишком необъективным и посему воздерживается от всяких комментариев.

* * *

Если сложить все существенные высказывания об А., отбросить все несущественные и вылущить из остатка некое рациональное зерно, то, пожалуй, следует признать, что из Алоиса получился бы совсем неплохой учитель физкультуры, который дополнительно мог бы преподавать и рисование. Однако читателю уже давно известно, к чему пришел А. после того, как переменял несколько профессий, — он попал в армию. Известно, впрочем, и то, что в армии побрякушки не жди. Особенно если молодой человек вынужден избрать унтер-офицерскую карьеру. А всякая другая карьера для А. была просто невозможна, ибо он так и остался недоучившимся гимназистом четвертого класса. И тут справедливости ради следует отметить, что семнадцатилетний А., который сперва пошел добровольно отбывать так называемую трудовую повинность, а потом и неприкрыто воинскую повинность, начал проявлять признаки благоразумия. В письме к родителям (письма А. выставлены под стеклом на всеобщее обозрение) он говорит следующее (приведено дословно): «Теперь я, однако, хочу выстоять, выстоять вопреки всем препонам; как бы враждебно ни относилась ко мне судьба, я больше не намерен возлагать на нее вину за все. А вас, дорогие мамочка и папочка, прошу не считать каждый раз, когда я вступаю на какой-нибудь новый путь, что я обязательно стану на нем первым из первых». Не так уж плохо сформулировано. Непосредственно эта фраза намекает на одно замечание госпожи П., которое она сделала, увидев своего приехавшего на побывку сына в военной форме; госпожа П. сказала тогда, что она уже представляет себе А. «военным атташе в Италии, а может, кем-нибудь и повыше».

В конце концов, если одобрить наше описание щепоткой милосердия и малой толикой того, что зовется справедливостью, а также принять во внимание катастрофически скверное воспитание А., надо сказать, что в конечном счете из него вышел не такой уж дрянной малый. И чем дальше он находился от семьи, тем лучше себя вел, ведь никто из посторонних не рассматривал его как будущего адмирала или кардинала. В армии его, как-никак, всего за полтора года представили на унтер-офицера. Даже если учесть, что это было накануне войны, когда продвижение по службе шло быстрее, все равно впечатляющая карьера. Во время похода на Францию А. произвели в унтер-офицеры, и вот в этом своем качестве, то есть «свежеиспеченным» унтер-офицером, он и явился в июне 1941 года на торжественный вечер груйтеновской фирмы.

* * *

Мы не располагаем достоверными сведениями о любви к танцам, вновь проснувшейся у Лени в тот вечер; в нашем распоряжении одни лишь слухи и сплетни весьма разнообразного свойства: доброжелательные, злобные, ревнивые, кисло-сладкие. Таким образом, надо исходить из фактов: между восемью часами вечера и четырьмя часами утра оркестр сыграл, вероятно, от двадцати четырех до тридцати танцев; Лени вместе с А. покинула зал после полуночи, следственно, она протанцевала примерно двенадцать танцев; это та средняя величина, от которой можно отталкиваться, сопоставив все слухи и сплетни. Однако, исходя из нее, надо отметить: Лени не просто протанцевала с Алоисом большинство танцев, нельзя даже сказать, что она протанцевала с ним почти все танцы. Лени протанцевала с Алоисом все танцы. Даже с родным отцом она не захотела сделать, так сказать, круг почета, даже приглашение старого Хойзера отвергла. Да, она танцевала только с Алоисом.

На фотографиях того времени, выставленных в доме у П. рядом с орденом и военным значком, Алоис выглядывает эдаким развеселым парнем, такие парни прямо-таки созданы для того, чтобы украшать обложки иллюстрированных журналов и сочинять цитированные выше опусы. И не только в военное, но и в мирное время. Если прибавить к тому, что о нем знали Лотта, Маргарет и Мария (как непосредственно, так и по сухим рассказам Лени, из которых они тоже кое-что извлекли), если прибавить к этому высказывания Хойзера, то Алоис рисуется нам одним из тех юношей, которые после тридцатикилометрового марша входили во французские деревни впереди своих солдат все с тем же сияющим лицом, с заряженным автоматом на груди и в расстегнутом кителе, на котором болтался их первый орден, входили, твердо уверенные, что они навек завоевали эту деревню. Убедившись с помощью своих солдат, что в деревне не прячутся ни партизаны, ни еще какая-нибудь «нечисть», юноша этого сорта тщательно мылся, менял исподнее и носки и топал дальше уже по собственному почину; во тьме он проходил еще километров двенадцать (конечно, у него не хватало ума на то, чтобы обшарить деревню и разыскать хотя бы один припрятанный велосипед, или, может, его пугали лицемерные плакаты, висевшие повсюду: «За мародерство — смертная казнь»). Одним словом, этот юноша в полном одиночестве, но с той же стойкостью топал еще километров двенадцать только потому, что, по слухам, в соседнем городишке водились женщины. При ближайшем рассмотрении оказывалось, что женщины эти — старые шлюхи, жертвы первой немецкой волны секса 1940 года; упившиеся шлюхи, измученные своей ответственной профессиональной деятельностью. После того как дежурный санитар посвящал нашего героя в некоторые статистические выкладки и давал ему возможность бросить «нелицеприятный взгляд» на плачевно старых женщин, герой пускался в обратный путь и несолоно хлебавши топал еще двенадцать километров (только теперь ему приходила в голову мысль, что какими бы длительными ни были поиски спрятанного велосипеда, их все равно стоило предпринять). На обратном пути юноша этого сорта с раскаянием вспоминал о своем католическом имени, которое его ко многому обязывало, и после марша общей протяженностью в пятьдесят четыре километра сразу же погружался в крепкий, хоть и короткий сон; просыпался он, наверно, на рассвете и начинал «сочинять», а потом снова топал вперед и «завоевывал» новые французские деревни.

И вот с этим-то юношей Лени протанцевала, быть может, двенадцать раз («Надо отдать ему справедливость, он был блестящий танцор!». Лотта Х.), а потом, примерно в час ночи, дала себя увести в близлежащий парк, разбитый на месте старого крепостного рва.

* * *

Конечно, это событие вызвало много толков и кривотолков, теорий, дебатов и споров. История была скандальная, почти сенсационная; шутка ли сказать, Лени, которая слыла «недотрогой», вдруг поддалась, и не кому-нибудь, а именно «э т о м у б о л в а н у» (Лотта Х.).

При рассмотрении сего события надо заняться таким же подсчетом, каким мы занимались, определяя количество танцев Лени с А., в данном случае попытаемся выяснить соотношение голосов и некие средние числа, то есть попытаемся изучить общественное мнение. И тогда мы получим следующие результаты: восемьдесят процентов посвященных, заинтересованных и незаинтересованных лиц считают, что А., соблазняя Лени, преследовал корыстные цели. Подавляющее большинство придерживается даже того мнения, что все это было в какой-то степени связано с офицерской карьерой А., к которой он так стремился: А. будто бы решил «подцепить» Лени, как утверждают многие, чтобы обеспечить себе крепкий тыл, то есть деньги (Лотта). Зато весь клан Пфейферов (включая сюда нескольких теток, но и с к л ю ч а я Генриха) защищает ту точку зрения, что Алоиса соблазнила Лени. Вероятно, обе эти позиции не соответствуют действительности. Как бы ни относиться к А., он не был человеком корыстным в прямом смысле этого слова, чем выгодно отличался от всего семейства П. Следует предположить, что он сразу влюбился в цветущую и к тому же в тот вечер по-особому расцветшую Лени; наверное, ему наскучили его утомительные и довольно безрадостные походы во французские бордели; «свежесть» (авт.) Лени привела его в своего рода опьянение.

Что касается самой Лени, то в ее оправдание надо сказать, что у нее просто-напросто «все перемешалось в голове» и потому она согласилась прогуляться с А. по бывшему крепостному рву — ведь, как-никак, ночь была летняя. Если учесть, что А. безусловно начал приставать к ней с нежностями и вообще перешел в наступление, то надо сделать нижеследующий вывод: Лени пала не в метафизическом смысле этого слова, а скорее в физическом.

* * *

На месте крепостного рва по-прежнему разбит парк; осмотр этой местности не составляет труда и был, естественно, предпринят авт. Вышеозначенный парк — своего рода ботанический сад, в котором примерно пятьдесят квадратных метров заняты под вереском (прибрежным). Однако, как заявила администрация парка, «план древо- и травонасаждений от 1941 года утерян».

* * *

Единственное дошедшее до нас высказывание Лени, касавшееся последующих трех дней, гласило: «Неописуемая муть». Это она сказала Маргарет, Лотте и Марии. Исходя из дальнейших наблюдений, можно заключить, что А. не был особенно деликатным любовником и, уж во всяком случае, особенно изобретательным. Рано утром он потащил Лени к одной из своих тетушек, весьма сомнительной особе, а именно к некой Фернанде Пфейфер, обязанной своим именем как франкофильским, так и сепаратистским симпатиям ее отца, что, разумеется, с пеной у рта отрицает семейство Пфейфер. В ту пору тетушка Фернанда жила в однокомнатной квартире в старом, построенном еще в 1895 году доме, не только без ванной, но и без водопровода; раковина находилась в общем коридоре. Так вот, эта самая Фернанда Пфейфер, которая все еще, вернее, опять уже (некоторое время ее дела шли в гору) живет в одной комнате в старом доме — на этот раз, впрочем, построенном в 1902 году, — все точно помнит. «Ну, конечно же, я точно помню, как оба они ввалились... И, уверяю вас, они были похожи не на воркующих голубков, а на двух мокрых куриц. Он должен был повезти ее по крайней мере в какую-нибудь уютную гостиницу после всего этого... После того, как они вели себя как эдакие любители природы... Там она могла бы помыться, переодеться, да и вообще привести себя в порядок. Но этот дурень понятия не имел, как держать себя в подобных щекотливых ситуациях». Фернанда Пфейфер показала авт. женщиной (или девушкой), которая уж во всяком случае знала, как держать себя в щекотливых ситуациях. У нее как раз и были знаменитые «пфейферовские волосы», столь ценившиеся в этом семействе. И эта уже немолодая дама — ей было тогда лет пятьдесят пять, — жившая в стесненных материальных обстоятельствах, в любое время могла выставить на стол бутылку

шерри, самого дорогого сухого шерри. Тот факт, что все П., включая Генриха, не признают Фернанду, «потому что она много раз... и к тому же безуспешно... пыталась открыть дешевое кафе...», не мешает авт. считать ее показания заслуживающими доверия. Заключительный монолог Фернанды звучал так: «И подумать только, в какое положение он поставил эту милую девушку! Ну что это за занятие — весь день просидеть у меня в однокомнатной квартире? А мне что было делать? Испариться, чтобы дать возможность этой парочке... ну, скажем... насладиться или, скажем, грешить дальше? Или торчать у них на глазах? Для нее это, ей-богу, было хуже, чем попасть в самый дешевый дом свиданий, где хотя бы нашелся умывальник и чистое полотенце и где можно было бы запереть дверь».

Наконец, уже под вечер, А. принял решение, он предложил, «презрев гнилую буржуазную мораль, пойти к родителям, пойти вдвоем, рука об руку, с высоко поднятой головой» (Ф. Пфейфер). Это предложение явно не понравилось Лени, что следовало не из ее слов, а из «презрительной гримасы на лице». Сейчас трудно установить все обстоятельства дела; быть может, у А. просто немного закружилась голова и он продекламировал несколько фраз, zapomнившихся ему со времен «Льва из Фландрии», а может быть, в нем проснулась его основная черта — идеализм, проснулась после того «чистого переживания» (так он обозначал всю историю с Лени в разговоре с тетушкой, то есть в присутствии самой Лени, что было крайне неделикатно). Вообще, он показал себя тогда как дешевый краснбай, который повторяет чужие глупости или, соответственно, сочиняет глупости; нетрудно догадаться, что Лени — идеально-земная, небесно-телесная Лени,— слушая его болтовню, хмурила лоб. Можно верить или не верить сомнительной тетушке А., но прислушаться к ее словам стоит: так вот, она считает, что Лени была не очень-то заинтересована в том, чтобы провести еще одну ночь с А. все равно где — в постели или на вереске. Когда А. вышел из комнаты, чтобы пойти в туалет, находившийся на лестничной площадке, Лени вытащила у него из кармана увольнительную и, убедившись, что он останется еще несколько дней дома, разочарованно «сморщила носик». Одно в этом сообщении совершенно явно не соответствует истине: у Лени был не «носик», а хорошо вылепленный нос безукоризненной формы.

* * *

Алоис не проявил никакого желания похищать Лени и т. д., поэтому поздно вечером, «после того как они тупо просидели у меня целую вечность и уничтожили все мои запасы кофе», было принято решение явиться с повинной в соответствующие дома. Самое скверное, что сперва они потащились к Пфейферам, которые с тех пор, как старого П. «перевели» в город, жили где-то у черта на куличках, на самой окраине.

С трудом скрывая торжество, старый Пфейфер еле-еле выдавил из себя какое-то подобие порицания: «Как ты мог поступить так с дочерью моего старинного друга?» Госпожа П. ограничилась вялым замечанием: «Так не делают». Генрих Пфейфер, которому было тогда пятнадцать лет, по его словам, хорошо помнит, что семейство П. всю ту ночь просидело за кофе с коньяком (комментарий госпожи П.: «В таких случаях мы не считаемся с затратами»), строя подробнейшие планы будущей женитьбы; Лени при этом молчала; ее, впрочем, ни о чем не спрашивали. Наконец она заснула, а П. продолжали строить планы — обсудили все в подробностях, даже размер и устройство будущей квартиры («Не может же он поселить родную дочь в квартире, где меньше пяти комнат... Он просто обязан им помочь...», «Ну и, конечно, красное дерево, иначе мы не согласны», «И не грех, если он наконец-то построит дом для себя самого или, по крайней мере, для дочери»).

Под утро (все дальнейшее также известно нам со слов Генриха П.) Лени «сделала явно провокационную попытку выдать себя за женщину легкого поведения. Она выкурила две сигареты подряд, глубоко затягиваясь и выпуская дым

через нос, и демонстративно нарисовала губы». П. заказали от соседей по телефону такси (сей факт прокомментировал сам глава семьи П.: «В таких случаях мы не считаемся с затратами». В каких? Авт.), и все действующие лица поехали на квартиру к Груйтенам, куда и прибыли (теперь мы вынуждены обратиться к показаниям ван Доорн, поскольку Лени по-прежнему упорно молчит), — куда и прибыли «ужасно рано, то есть примерно в половине восьмого». Госпожа Груйтен, которая провела почти всю ночь без сна (воздушная тревога и первая простуда ее крестника Курта), завтракала, лежа в постели («Кофе, поджаренный хлеб и апельсиновый джем... надеюсь, вы понимаете, как трудно было доставать апельсиновый джем в сорок первом году. Но для нее он готов был достать все хоть из-под земли»).

«Ну и вот, Лени вдруг появилась, что называется, «восстала из мертвых на третий день», и сразу же побежала к матери, обняла ее, потом пошла к себе в комнату, попросила меня принести ей завтрак и... как вы думаете, что она сделала? — села за рояль. А госпожа Груйтен, надо отдать ей справедливость, госпожа Груйтен соизволила подняться... думаю, вы понимаете, почему я так говорю... без всякой спешки совершила свой туалет, накинула на плечи мантилью — дивная старинная вещь, у Баркелей она передавалась по наследству, ее всегда получала младшая дочь — и выплыла в гостиную, где ее ждали Пфейферы. Обращаясь к ним, она любезно сказала: «Слушаю вас, что вам угодно?» Первая стычка произошла у них по поводу этого «вы». «О боже, Елена, почему ты вдруг начала называть нас на вы?» Госпожа Груйтен в ответ: «Я что-то не помню, чтобы я называла вас на ты». Пфейферша в ответ: «Мы просим руки вашей дочери от имени нашего сына». Госпожа Груйтен: «Гм». И ни слова больше. А потом она подошла к телефону и позвонила: пусть, дескать, узнают, где находится ее муж, и как только найдут его, пусть он немедленно едет домой».

Часа полтора в доме разыгрывался совершенно дурацкий спектакль, не то комедия, не то трагедия, что весьма характерно при таких мещанских сватовствах. Раз шестьдесят было произнесено слово «честь» (ван Доорн уверяет, что может это доказать, так как, подслушивая под дверь, каждый раз ставила галочку на дверном косяке). «Вообще, если бы здесь не была замешана Лени, я бы здорово посмеялась. Как только они поняли, что госпожа Груйтен не очень-то рвется спасти честь своей дочери путем брака с их Алоисом, они тут же перестроились и заговорили о чести сына, — теперь они изображали его эдакой красной девицей, которую соблазнили, и утверждали, будто спасти честь их сына, кандидата в офицеры — он не был кандидатом в офицеры и никогда им не стал, — можно только путем брака. Но совсем смешно стало, когда они начали набивать цену своему Алоису, расхваливая его стати: рост — 1 м 85 см, мускулатуру».

К счастью, скоро появился старый Груйтен, которого все ожидали со страхом, и повел себя «необычайно мирно, тихо, почти ласково», к величайшему облегчению Пфейферов, которые, конечно, «здорово перетрухнули» («Он ведь мог бушевать как безумный»). Груйтен сразу же оборвал Пфейферов, когда те заговорили о «чести» («И у нас тоже есть своя честь, и у нас тоже», — старый П. и его жена слово в слово и совершенно синхронно), посмотрел на А. очень задумчиво, с улыбкой поцеловал свою жену в лоб, справился у А., в какой он служит дивизии, в каком полку, впал в еще большую задумчивость, вызвал Лени из комнаты, не стал ее ни в чем упрекать, просто сухо спросил: «А ты как, девочка, считаешь: выходить замуж или нет?» После этого Лени, наверное, в первый раз взглянула на А. внимательно, задумалась и участливо кивнула, словно у нее опять возникло какое-то предчувствие (разве до этого у Лени возникали предчувствия? Авт.). Да и как ни говори, она все же с ним сбегала, добровольно поддалась ему. Словом, она ответила «выходить замуж».

«И тогда Груйтен еще раз посмотрел на А. и сказал даже с некоторой симпатией в голосе (ван Доорн): «Ну, хорошо». А потом добавил: «Ваша дивизия находится сейчас уже не у Амьена, а у Шнейдемуля».

* * *

Груйтен даже вызвался помочь А. исхлопотать увольнительную по случаю свадьбы, сказав: «Время не терпит». Задним числом, разумеется, нетрудно установить, что Гр. знал о значительной передислокации войск с конца 1940 года, а в ночь накануне переговоров с Пфейферами узнал из беседы со старыми друзьями о готовящемся нападении на Советский Союз. «На своем новом посту директора по планированию он многое узнавал заблаговременно» (Хойзер-старший). Все возражения против свадьбы, которые в тот день приводили Лотта и Отто Хойзеры, он отклонял со словами: «Ах, оставьте их в докое... Оставьте...»

Напоследок надо добавить, что, послав телеграфный запрос с просьбой разрешить ему женитьбу, А. получил согласие и одновременно приказ «безотлагательно прервать отпуск и прибыть в расположение дивизии в Шнейдемюль 19.6.1941 года».

Гражданское бракосочетание, церковное... Неужели все это надо описывать? Важно, быть может, отметить только, что Лени не соглашалась надеть белое платье, что А. в большом волнении закончил свадебный обед, что Лени ничуть не жалела о том, что ее первая официальная брачная ночь с А. не состоится — не жалела и не скрывала этого. Все же она проводила его на вокзал и дала себя там поцеловать. Как-то ночью во время особенно сильной бомбежки, уже в 1944 году, Лени, сидя вместе с Маргарет в бомбоубежище, призналась, что Алоис заставил ее за час до своего отъезда отдаться ему в тогдашней гладильной на квартире у Груйтенов, отдаться, «как подобает честной женщине, на законном основании», и, принуждая ее к этому, недвусмысленно ссылался на ее, Лени, супружеские обязанности. «И тогда А. для меня умер. Он умер для меня еще до того, как стал мертвым» (слова Лени, переданные Маргарет).

Уже 24 июня 1941 года вечером прибыло сообщение о том, что А. «пал смертью храбрых» при взятии Гродно.

Для нашего повествования важно лишь то, что Лени отказывалась носить траур и соблюдать траур; правда, из чувства долга она прикрепила кнопками фотографию А. рядом с фотографиями Эрхарда и Генриха, но уже в конце 1942 года опять сняла ее со стены.

* * *

Засим наступили два тихих года, Лени исполнилось девятнадцать, двадцать, а потом и двадцать один. Больше она ни разу не ходила на танцы, хотя Маргарет и Лотта иногда звали ее потанцевать. Зато она время от времени ходила в кино (со слов Лотты Х., которая по-прежнему брала Лени билеты); в тот период она посмотрела фильмы «Мальчишки», «Всадник, скачи во имя Германии», «Больше всего на свете». Посмотрела «Дядюшку Крюгера» и «Псы на небе»... Но ни один из этих фильмов не заставил ее пролить ни единой слезинки. Лени играла на рояле, трогательно опекала мать, снова впавшую в прострацию, и довольно много разъезжала по окрестностям на собственной машине. И еще — она все чаще навещала Рахель, захватив термос с кофе, бутерброды и сигареты.

Строгости в тылу все увеличивались, а служба Лени становилась все более формальной, поэтому в начале сорок второго, после того как в фирме провели тщательное обследование, машина Лени оказалась под угрозой конфискации. И тут все окружающие впервые в жизни стали свидетелями того, как Лени о чем-то просит: она просила отца «сохранить драндулет» (под «драндулетом» Лени подразумевала автомобиль марки «адлер»). А когда отец объяснил Лени, что это, пожалуй, уже не в его силах, она стала просить еще настойчивей, еще гораздо настойчивей; в конце концов, он «нажал на все педали и добился отсрочки еще на полгода» (Лотта Х.).

* * *

Здесь авт. позволяет себе сделать пространное отступление, в котором имеет смелость выдвинуть одну гипотезу касательно Лени и поразмыслить на тему о том, что стало бы с Лени, могло бы стать, должно было бы стать, если бы...

Во-первых, если бы из всех трех мужчин, игравших важную роль в судьбе Лени, эту войну пережил бы один Алоис.

Солдатчина явно была его призванием, поэтому он, вероятно, всегда рвался бы в бой, его наверняка произвели бы в лейтенанты, а потом в капитаны, в конце войны он — от гипотетического советского плена мы его до 1945 года избавим, — в конце войны он, возможно, стал бы майором с целым иконостасом на груди, просидел бы сколько положено в лагере для военнопленных и потерял бы свою относительную невинность или его бы насильно лишили этой самой невинности. Возвратившись из плена домой, он отработал бы два года подсобным рабочим, а может, только один год как возвратившийся позже других. Не исключено, что он отбывал бы эту повинность вместе со старым Груйтеном, которому А. униженный, безусловно, был бы милее, нежели А. торжествующий. При первой возможности он наверняка вернулся бы в армию, то есть поступил бы в бундесвер, и теперь, когда ему исполнилось бы пятьдесят два года, наверняка получил бы генеральский чин. Мог ли он стать для Лени спутником жизни или, скажем, спутником ее ночей? Авт. утверждает: нет. Впрочем, тот факт, что Лени очень плохо подходит для всякого рода гипотез, разумеется, крайне затрудняет его прогнозы. Испытала бы Лени при жизни А. другое, гораздо более глубокое чувство, о котором речь пойдет ниже, или не испытала бы? Авт. утверждает: она испытала бы его, даже если бы...

Нет сомнений, что и в свои пятьдесят два года А. был бы красавцем мужчиной; кроме того, пфейферовские волосы спасли бы его от лысины; таким образом, он мог бы в особо торжественных случаях помогать во время богослужения в боннском кафедральном соборе. Какая женщина бросит красавца генерала, который умело перекладывает церковные книги и кротко подает сосуды с водой для омовения рук и сосуды с вином? Предположим, Лени, даже не будучи верной женой Алоису, все же «осталась бы с ним» и время от времени исполняла бы свои супружеские обязанности. Что было бы тогда? Присутствовала бы она вместе с тремя-четырьмя «очаровательными детишками» и вместе с мужем — генералом-причетником на той первой (но не последней) мессе 10 октября 1956 года, которую служил кардинал Фрингс в церкви Гереона? Авт. утверждает: нет. Он не видит там Лени, видит А., видит даже его «очаровательных детишек», но не видит Лени. И еще он видит А. на обложках иллюстрированных журналов или на фотографиях рядом с распрекрасным господином Нанненом и господином Вейдеманом, видит его на приемах в честь представителей «восточного блока». Сверх того, он (авт.) видит А. военным атташе в Вашингтоне, даже в Мадриде, но при этом нигде не видит Лени, тем более не видит ее в обществе распрекрасного господина Наннена и Вейдемана. Возможно, это объясняется недостатками зрения авт., но, как бы то ни было, он видит повсюду А., но нигде не видит Лени... даже детишек ее он видит, но саму Лени не видит, хоть убей. Разумеется, зрительные возможности авт. чрезвычайно ограничены, но почему же в таком случае он явственно видит А. и не видит Лени?

Совершенно очевидно, что где-то во вселенной вращается неизвестное небесное тело, еще не открытое нами, небесное тело, на котором установлен гигантский компьютер, наверное, величиной с Баварию, компьютер, непрерывно определяющий человеческие судьбы; нам остается лишь терпеливо ждать, когда его откроют ученые.

Нет сомнения, что если бы Лени по своей доброй — или по чьей-либо злой воле — «осталась» с А., то от горя она бы располнела и весила бы сейчас не на триста граммов меньше своего идеального веса, а на десять килограммов больше. Потребовался бы еще один гигантский компьютер величиной с Северный Рейн — Вестфалию, который специализировался бы на железах внутренней секреции и определял бы, в результате каких внешних событий человеческий организм, например организм Лени, набирает лишний вес...

Видит ли авт. Лени супругой атташе в Сайгоне, Вашингтоне или Мадриде? Лени танцующую, Лени, играющую в теннис? Толстую Лени, возможно, видит, но ту Лени, какую мы знаем, нет. Как жаль, что еще не открыты небесные

приборы, с помощью которых можно было бы вычислить перевес или недoves в каждой пролитой слезе, в каждой частичке B_1 , P , C_1 и C_2 . Необычайно трудно включить Лени в какой-либо прогноз, к тому же пока совершенно ирреальный. Несмотря на то, что небесные компьютеры, безусловно, существуют, наука не хочет нам помочь (толковые словари это делают!).

Итак, если авт. с почти кристальной ясностью видит карьеру А., то вариант будущего Лени с А. он вообще не различает, честно говоря, он не понимает, как она могла бы выполнять в данном случае свои супружеские обязанности, какими бы они ни были.

Жаль, очень жаль, что небесные приборы до сих пор недоступны нам, не то мы смогли бы ответить на библейский вопрос: скажи мне, на сколько меньше или больше нормы ты весишь, и я скажу тебе, на сколько больше или меньше B_1 , P , B_2 и C_2 вырабатывает твой желудок, твои кишки, мозговой ствол, печень, почки, поджелудочная железа, скажу тебе, как твои ошибочные поступки и ложные чувства превращаются в недостающие или излишние килограммы. Кто ответит на вопрос, сколько бы весила Лени, если бы вместо первого осуществился какой-нибудь другой вариант и войну пережили бы:

- 2) один только Эрхард,
- 3) Эрхард и Генрих,
- 4) Эрхард, Генрих и А.,
- 5) Эрхард и А.,
- 6) Генрих и А.

Ясно только одно: если бы войну пережил Эрхард, еще не открытые небесные приборы были бы в восторге от веса Лени (компьютеры ведь тоже могут приходить в восторг) и от поразительного равновесия в органах ее внутренней секреции.

И наконец самый важный вопрос: поступила бы Лени во втором — пятом случаях в цветоводство Пельцера? И как бы она преодолела неизбежный в этом случае психологический конфликт?

Во всяком случае, у нас есть все основания скептически отнестись к гипотетической совместной жизни Лени с А. Между тем задуманное Лени свидание на шлезвиг-гольштейнском вереске наверняка кончилось бы удачно. Ясно также, что самый факт замужества Лени ни в малейшей степени не повлиял бы на нее, если бы она встретила потом «настоящего» человека.

Далее: насколько можно судить по имеющимся данным, Лени, выйдя замуж за Эрхарда, стала бы супругой штудиенрата (главный предмет — родной язык), супругой (или подругой) редактора одной из вечерних передач на радио, супругой издателя авангардистского журнала (тут надо особо подчеркнуть, что, став подругой Эрхарда, она все равно познакомилась бы с рядом поэтов, писавших на немецком языке, познакомилась бы и с Георгом Траклем, с которым ее познакомил другой человек). Совершенно ясно, что Эрхард любил бы Лени всю жизнь; любила бы Лени его все эти двадцать с лишним лет, сказать сейчас трудно. Но отнюдь не трудно сказать, что Эрхард никогда не настаивал бы на своих супружеских правах; поэтому даже если бы он не добился от Лени полного постоянства и верности, то наверняка заслужил бы ее привязанность на всю жизнь.

И еще одного человека авт., к своему глубокому изумлению, не видит. Генриха. Он его просто-напросто нигде не видит, ни в одной из возможных гипотетических ситуаций или профессий... Авт. не представляет себе Генриха в этой жизни, как его не представляли себе и старые иезуиты.

* * *

В связи с информацией, почерпнутой из толковых словарей, следует задать еще один вопрос: что такое высшие жизненные ценности? И кто скажет нам, для кого эти жизненные ценности выше, а для кого ниже? Словари, к сожалению, этого не объясняют, даже самые толковые. Доказано, что есть люди, для которых две с половиной марки представляют собой куда большую жизненную ценность, нежели любая человеческая жизнь, исключая только их собственную.

Есть и такие люди, которые из-за куска кровяной колбасы, из-за того, получат они его или нет, готовы безжалостно поставить на карту жизненные ценности своих жен и детей, например тихую семейную жизнь или возможность лицезреть довольное лицо вечно недовольного главы семейства. А как обстоит дело с той жизненной ценностью, которую нам без конца расхваливают под именем счастья? Черт бы его подрал! Один человек считает, что он уже почти счастлив, заполочив три-четыре окурка, из которых можно скрутить новую сигарку, или раскопав в помойке недопитую бутылку вермута. Другому человеку, чтобы стать счастливым, счастливым в любви, согласно скоростным западным образцам — то есть пробить минут десять с любимой женщиной, вернее, один раз поспешно соединиться с женщиной, особо желанной в данный момент, — необходим личный реактивный самолет и возможность обернуться незаметно для другой женщины, которая по всем божеским и человеческим законам должна составлять его супружеское счастье, на этом реактивном самолете он должен попасть в промежутке между завтраком и послеобеденным кофе в Рим, в Стокгольм или даже в Акапулько (в этом случае он, правда, задержится до следующего завтрака) и соединиться с желанным объектом; сочетания могут быть самые разные: мужчина с женщиной, женщина с женщиной и — наипростейший вариант — мужчина с женщиной.

Думается, здесь следует раз и навсегда сказать, что существует еще много ННТ (неизвестных небесных тел) с соответствующими компьютерами. Иначе непонятно: где регистрируются наши сердечные переживания и где телесные недуги? Где изображают графически, как на кардиограммах, деятельность наших конъюнктивных мешков? Кто ведет учет нашим слезам, если мы по ночам плачем в подушку? Кто, наконец, наблюдает за нашими П, С₁ и С₂? Неужели, черт подери, авт. должен заниматься всеми этими проблемами в одиночестве? И для чего вообще существует наука? Неужто только для того, чтобы посылать дорогостоящие штуки в космос и собирать лунную пыль или камни, ничего не говорящие ни уму, ни сердцу? Пока что мы не знаем даже приблизительно местонахождения того ННТ, которое могло бы просветить нас насчет относительно всех жизненных ценностей. Почему, например, некоторые женщины получают за то, что они поспешно переспали с мужчиной, две виллы, шесть машин и полтора миллиона наличными, а юные девушки в одном старом городе со множеством церквей и с прочными традициями проституции отдавались в те годы, когда нашей Лени было лет семь-восемь (все дальнейшее подтверждается статистикой), отдавались и расточали дополнительные ласки за чашку кофе ценой в восемнадцать пфеннигов (вместе с чаевыми двадцать пфеннигов, точнее девятнадцать и восемь десятых пфеннига). Но разве существуют монетки, на которых выгравировано ноль целых одна десятая или ноль целых две десятых пфеннига? Столь жалкие монетки, что на какой-то жалкий пфенниг их идет штук десять или, соотв., пять? Те девушки отдавались за чашку кофе и за одну сигарету ценой в два с половиной пфеннига, стало быть, в общей сложности за двадцать два и пять десятых пфеннига.

Вероятно, стрелка компьютера, занимающегося жизненными ценностями, все время скачет как угорелая; ведь ей, шутка ли сказать, приходится иметь дело с такими несоизмеримыми величинами, как двадцать два и пять десятых пфеннига и примерно два миллиона марок, причем обе эти суммы являются платой за одну и ту же услугу.

А на какой чувствительной шкале можно измерить жизненную ценность спички, не целой спички, не половины, а всего лишь четвертушки спички, с помощью которой заключенный закуривает вечером свою сигарету, в то время как некоторые типы — и притом некурящие — держат у себя на письменном столе совершенно ненужные им, бесполезные газовые зажигалки величиной в два кулака?

Ну и порядки! Где же справедливость?

В этой связи нельзя не отметить, что многие вопросы продолжают оставаться открытыми.

* * *

О визитах Лени к Рахели в монастырь нам мало известно, так как монахини, проживающие в этом монастыре, не заинтересованы в том, чтобы предать гласности дружбу, какая существовала между Лени и Рахелью. Всему причиной планы, на которые уже намекала Маргарет, но которые еще предстоит раскрыть подробней. Надо также отметить, что одному свидетелю, связавшему себя с авт., пришлось сильно поплатиться за свою словоохотливость; имеется в виду садовник Альфред Шейкенс; в сорок первом году после ампутации ноги и руки — ему не было тогда и двадцати пяти лет — Шейкенса направили в распоряжение монастыря как садовника и второго привратника. И этот Шейкенс хорошо знал о визитах Лени. Авт. удалось допросить его дважды, но уже после второй беседы Шейкенса перевели в нижнерейнский монастырь. А когда была предпринята попытка разыскать его, Шейкенса спровадили в другую обитель; и одна весьма энергичная монахиня по имени Сапиенция недвусмысленно намекнула авт., что орден никому не обязан отдавать отчет о своей кадровой политике.

Исчезновение Шейкенса по времени точно совпало с отказом сестры Цецилии принять авт. для четвертой беседы, на этот раз специально о Рахели; поэтому авт. подозревает здесь всякого рода козни, интриги и т. п. Он даже знает теперь, чем они вызваны: орден пытается создать культ Рахели, быть может, подготовить ее канонизацию, причисление к лику святых. И в этой связи выяснять «роль соглядатаев» (так это было обозначено), то есть в данном случае роль Лени, явно нежелательно. Пока Шейкенсу еще разрешалось говорить и пока он еще говорил — монахини не знали, о чем он говорит, — авт. все же удалось записать следующее: до середины сорок второго года Шейкенс раза два в неделю, а то и три тайно впускал Лени к Рахели; через квартиру привратника Лени проникала за монастырскую ограду, а уж территорию монастыря она знала как свои пять пальцев. Лотта, которая всегда была не очень-то высокого мнения о сей мистической и таинственной монахини, не располагает никакими сведениями по этому вопросу. Да и Маргарет, видимо, узнала от Лени только о смерти Рахели. «Она зачахла, — сказала мне Лени, — умерла от голода, хотя под конец я каждый раз приносила ей поесть. А когда она умерла, они закопали ее прямо в саду, даже без надгробия, без креста... Я пришла и сразу почувствовала, что ее уже нет. Шейкенс мне сказал: «Какой смысл вас пускать, барышня, какой смысл... Вы ведь не будете разгребать руками землю?» Тогда я пошла к настоятельнице и начала упорно спрашивать, где Рахель. Мне сказали — уехала. А когда я спросила, куда уехала, настоятельница перепугалась и сказала: «Неужели, детка, у вас нет ни капли благоразумия?» Ну вот, — продолжала Маргарет, — я рада, что не ходила вместе с Лени к этой Рахели и что мне удалось удержать Лени от объявления в газетах. Это могло бы плохо кончиться для самой Лени, для монастыря, для всех вообще... С меня довольно было слов Рахели: «Господь близок». Мне все время мерещилось, что он действительно вот-вот войдет в дверь...» (в этом месте Маргарет, несмотря ни на что, перекрестилась).

* * *

«Ну, конечно, я спрашивал себя (Шейкенс во время последней беседы с авт., когда он был еще весьма разговорчив), что это за дамочка, откуда такой шик, откуда такое шикарное авто? И думал: наверное, она жена какого-нибудь нацистского бонзы, а может, путается с кем... Кто мог тогда ездить на собственной машине? Нацистские бонзы и промышленники.

Все шло у нас шито-крыто. Конечно, я проводил ее тайком в сад через этот мой флигелек. Видите? И выпускал тем же путем. Но все-таки это раскрылось, потому что у той сестры наверху нашли чинарики, да и в келье пахло табачным дымом. А потом однажды разыгрался большой скандал, дежурный по противовоздушной обороне заявил, что в одном окне виден свет... Это кто-то из них чиркнул спичкой, будьте уверены, ведь они обе там, наверху, курили... А горящую спичку видно за целый километр, если вокруг затемнение. Известная история! Словом, у нас были неприятности, и ту крошку перевели в подвал. (Крош-

ку?) Да, маленькую старую монахиню; я ее видел только раз, когда она переезжала... она взяла с собой скамеечку, чтобы преклонять колени при молитве, и постель; распятие она не захотела брать, не захотела. Помнится, она сказала: «Это не он, это не он»... И мне сразу стало не по себе. Но шикарная блондинка продолжала ездить, она была упрямая, можете мне поверить. Пыталась уговорить меня, чтобы я помог ей похитить крошку. Она хотела ее увезти. Ни больше ни меньше. Ну вот, я сделал глупость, дал себя подкупить — она совала мне сигареты, иногда кусок масла, кофе... — и я по-прежнему пускал ее, в подвал тоже. Тут хотя бы не было видно, что они курят. Ведь окна были совсем низко, ниже уровня часовни. А потом в один прекрасный день та монахиня умерла, и мы похоронили ее в саду, на маленьком кладбище. (Похоронили в гробу, с крестом и священником?) Гроб был, священник был, креста не было. И я сам слышал, как настоятельница сказала: «Теперь она, по крайней мере, перестанет трепать нам нервы из-за этой проклятой карточки на табак».

* * *

Вот что рассказал Шейкенс. Впечатление он производил не очень приятное, но зато его болтливость сулила многое, в конечном счете, однако, ожидания на этот счет не оправдались. Сообщения болтунов имеют известную ценность только в том случае, если ими располагаешь в больших количествах, тогда можно нащупать ту грань, после которой они начинают быть «предательскими»; Шейкенс уже стал было «предавать», но тут его насильственно разлучили с авт., и даже милейшая сестра Цецилия — авт. считал, что между ними возникла обоюдная симпатия, — даже милейшая сестра Цецилия перестала существовать как источник информации.

Совершенно ясно, что на рубеже 1941—1942 годов Лени достигла кульминационного пункта скрытности и замкнутости. Пфейферам она явно демонстрировала свое пренебрежение; как только они появлялись в комнате, она тут же исчезала. Это не мешало им, однако, по-прежнему постоянно приходиться вести себя приторно-сладко и проявлять к Лени сугубое внимание; даже такая деловая особа, как ван Доорн, и та всего лишь месяца через полтора догадалась о причинах этого внимания. Пфейферы не только проверяли поведение Лени как вдовы, но и питали надежду на наследника. Лишь спустя полтора месяца после смерти А., то есть в период, когда «гордая скорбь» старого Пфейфера «дошла до того, что от гордости и скорби он чуть было не стал волочить вторую ногу — я так и не знаю, уж не обессудьте, какая нога у него здоровая, левая или правая, знаю только, что этот мошенник собирался волочить и вторую ногу тоже, но потом рассудил, видимо, что надо иметь хоть одну здоровую ногу, иначе нельзя волочить другую... Правильно? Ну вот, стало быть, они без конца являлись со своими отвратными домашними пирогами, к тому еще непропеченными; никто не желал их занимать: ни госпожа Груйтен, ни сам Груйтен, ни тем более Лотта, которая вообще терпеть не могла всю их шайку; они торчали у меня на кухне, и признаюсь, что их вопрос, «не изменилась ли Лени», я все время относил к вдовству Лени, думала, они хотят знать, не завела ли она себе хахалю и прочее; никак я не могла сообразить, в чем дело, но потом однажды меня осенило и я поняла, что они бы с удовольствием порылись у нас в грязном белье. Вот что, значит, они хотели выяснить. Я все поняла и перво-наперво здорово разыграла их: сказала, что Лени сильно изменилась, а когда они стали на меня наскакивать, как вспугнутые гуси, и спрашивать, в чем она изменилась, я хладнокровно ответила: она изменилась душевно. И тогда они опять поджали хвосты. Через восемь недель наступил такой момент, когда Толцемша — вы понимаете, все мы на ты, мы ведь родом из одной деревни, — так вот Толцемша не выдержала и спросила меня чуть ли не впрямую. Но я была сыта по горло всей этой историей и сказала: нет, тут можете не беспокоиться, с наследником у вас ни черта не вышло. Им бы, конечно, очень хотелось подбросить к нам в гнездо маленького Пфейфера... Самое смешное заключалось в том, что и Губерт проявил к этому интерес, си тоже спрашивал... Конечно, не так настырно. Губерт с удовольствием заимел

бы внука, пусть общего с ними. Ему очень хотелось внука. В конце концов он его получил, и мальчику даже дали имя в его честь».

* * *

В этом параграфе авт. попадает в чрезвычайно затруднительное положение; он бы охотно обратился за советом к энциклопедии, ведь ему срочно надо понять, что значит свойство, которое, видимо, отличает Лени, свойство, известное под названием «невинности». В энциклопедии довольно подробно говорится о понятии «вины», после этого сразу идет «винная монополия», потом «виноград», «виноградарство» и «винокурение». Статья о винной монополии до отвращения пространная, она раза в три длиннее, чем заметки о П, Б₂, С₁ и С₂, вместе взятые. Но самое поразительное, что о невинности в энциклопедии вообще не сказано ни слова; она начисто выпала. Что это, черт возьми, за порядки? Неужели нам важнее винная монополия, нежели смех и слезы, боль и горе, счастье и блаженство? Тот факт, что понятие невинности в энциклопедии отсутствует, в высшей степени прискорбен; без энциклопедии этим понятием очень трудно оперировать. Что говорить, наука часто повергает нас в беду. Но может быть, достаточно сказать, что все содеянное Лени было содеяно ею в полной невинности и не взять эти слова в кавычки? Сущность Лени, к которой авт. относится с нежностью, нельзя понять, не поняв, что такое «невинность».

Скоро также выяснилось — Лени в ту пору как раз исполнился двадцать один год, — что жизнь предоставила ей много случаев, когда она могла бы прояснить здравый смысл. Что она представляла собой в описываемую пору? «Шикарную блондинку», которая в самом разгаре войны развезжает на шикарной машине, подкупает болтливого садовника (пользуясь темнотой, он, наверное, делал попытки поухаживать за ней в монастырском саду) и в результате контрабандой пронесит кофе, хлеб и сигареты презираемой всеми монахиней, совершенно явно приговоренной к медленной смерти от тоски и печали; «шикарную блондинку», которая ничуть не пугается, когда эта самая монахиня, уставившись на дверь, приговаривает: «Господь близок, господь близок» — или, взглянув на распятие, роняет: «Это не он». Эта девушка танцевала в то время, как все юноши вокруг умирали геройской смертью, ходила в кино, когда падали бомбы, дала соблазнить себя парню, который, мягко выражаясь, не внушал особого уважения, вышла за него замуж, работала в фирме отца, играла на рояле, не соглашалась стать «директоршей» и, невзирая на то, что смертей становилось все больше и больше, по-прежнему ходила в кино и смотрела такие фильмы, как «Великий король» и «Небесные псы». До нас дошло несколько высказываний Лени, относящихся к этим двум военным годам. Кроме того, авт. узнал немало и от свидетелей. Но достаточно ли они надежные? Так, например, утверждают, что время от времени Лени можно было застать за таким занятием: стоя в комнате, она внимательно разглядывала свое удостоверение личности, в котором значилось: «Елена Мария Пфейфер, урожд. Груйтен, время рожд. 17 августа 1922 г.» — и недоуменно качала головой. Мария ван Доорн сообщила также, что волосы Лени снова приобрели свою былую красоту и что Лени ненавидела (среди всего прочего) войну, а еще пуще воскресенья из-за того, что по воскресеньям нельзя было достать свежие булочки.

Заметила ли она странную веселость отца, который был тогда «в расцвете своей эlegantности» (Лотта Х.) и почти весь день просиживал вне дома у себя в кабинете, «совещался». Теперь он был только «директором по планированию», а не владельцем фирмы, даже не совладельцем и получал всего лишь «довольно высокий оклад плюс представительские».

Доказано, что Лени изобразила презрительную гримасу и сдвинула брови, узнав, что ее свекор домогается «креста за фронтовые заслуги», а может быть, и «железного креста II степени» за участие в битве двадцатидвухлетней давности и что по этому поводу он «все уши прожужжал» своему другу Груйтену, который, разумеется, вел переговоры не только со штатскими, но и с генералами тоже. Груйтен во что бы то ни стало должен был помочь Пфейферу заполучить желанные

награды. А между тем ни один врач так и не обнаружил осколка гранаты «величиной с булавочную головку», по причине которого Пфейфер начал волочить «искалеченную ногу!» Неужели Лени даже не заметила, в какое дурацкое положение ее поставили Пфейферы — ведь они с а м и начали хлопотать о вдвоей пенсии для нее?.. Неужели она не заметила, как подписала ходатайство, не заметила, что начиная с 1 июля 1941 года — конечно, с выплатой соответствующей суммы за прошедшие месяцы — на ее счет начали поступать шестьдесят шесть марок ежемесячно? Сделали ли это Пфейферы только для того, чтобы примерно лет через тридцать жестоко попрекнуть ее? Только для того, чтобы их сын Генрих — в общем-то довольно приятный малый (он не волочил ногу, ему одну ногу ампутировали), — чтобы этот Генрих в один прекрасный день громко заявил Лени: худо-бедно, она, мол, заработала на фамилии Пфейфер минимум сорок тысяч марок, а скорее все пятьдесят, ведь она почти тридцать лет «клала себе в карман» вдвоем пенсию, много раз повышавшуюся, хоть и колебавшуюся, в зависимости от ее заработка. А потом Генрих, как видно, рассердившись на себя самого за то, что затеял этот разговор, и, главное, из ревности, ибо с первого дня он был втайне влюблен в Лени (предположение авт., не подтвержденное ни одним свидетелем), бросил ей в лицо, к тому же в присутствии посторонних (Ганс и Грета Хельцены): «А ты-то чем заплатила за эти пятьдесят тысяч марок? Один раз переспала с ним в кустах, а во второй раз... Ну да, это все знают... Во второй раз ему, бедняге, уже пришлось тебя умолять... А через неделю его уже вообще не стало, он оставил тебе незапятнанное имя... А ты, а ты... а ты!» И тут Генрих замолчал: один-единственный взгляд Лени заставил его заткнуться.

Начала ли Лени считать себя шлюхой после того, как «в лицо ей бросили тяжкое обвинение» в том, что за два раза близости с женщиной она получила приблизительно пятьдесят тысяч марок, в то время как она?.. Что — как она?

Лени не только старалась ходить пореже на работу, она почти не переступала порога фирмы и призналась Лотте Х., что ее начинает мутить «от одного вида этих кип свеженапечатанных банкнот». И при этом она не хотела отдать машину, которой вторично угрожала конфискация, хотя теперь пользовалась ею исключительно для того, чтобы «совершать прогулки по окрестностям». В то время она все чаще брала с собой мать, и они «часами просиживали в красивых кафе и ресторанах, преимущественно на берегу Рейна, улыбались друг другу, любовались парходиками, курили». Характерной чертой Груйтенов в тот период являлась их «беспричинная веселость, от которой окружающие просто-напросто сходили с ума» (Лотта Х.). Госпоже Гр. наконец-то поставили диагноз, и болезнь ее сулила мало шансов на выздоровление: рассеянный склероз, который быстро прогрессировал. Теперь Лени почти в руках несла мать к машине и выносила из машины. Мать уже не читала больше, не читала даже своего любимого Йитса, лишь время от времени она «перебирала четки» (ван Доорн), но не звала к себе священника, чтобы «получить утешение церкви».

Этот этап жизни Груйтенов — от начала сорок второго года до начала сорок третьего — все свидетели единодушно обозначают как «роскошный». «Они вели себя безответственно, да, безответственно; я обязана это сказать, иначе вы не поймете, почему я обращаюсь сейчас с Лени не то чтобы жестоко, но и не очень-то мягко... Тогда они безответственно наслаждались всем, что предлагал им черный рынок в Европе, а после открылась эта ужасная история, до сих пор не понимаю, почему Губерт в нее влез. Ведь решительно никакой надобности в этом не было. В самом деле, никакой надобности» (в. Д.).

* * *

Поводом для раскрытия «этой истории» послужил совершенно абсурдный литературный казус. Груйтен назвал позже все предприятие «чисто блокнотным предприятием», это значило, что все документы он носил у себя в бумажнике, а все записи были у него в блокноте, там же он указал свой домашний адрес и адрес фирмы. В «эту историю» Груйтен никого не посвящал, никто в ней не был

замешан, даже его друг и главный бухгалтер Хойзер. Ничего не скажешь, история была рискованная, ставки в игре — высокие. Но самого Груйтена — это вполне доказано — волновали не ставки, а игра как таковая, вероятно, до сего дня его «поняла» одна только Лени, так же как в свое время «понимала» жена; Лотта Х. тоже понимала его, правда с известными оговорками. «Одного я не могла постичь, черт возьми, — этого его стремления к самоубийству, ведь это было самоубийство, самоубийство чистейшей воды... А что он делал с деньгами? Бросал их направо и налево целыми пачками, пригоршнями, кипами. Все было так бессмысленно, так абсурдно... так непонятно. Полное безумие!»

Специально для «игры» Гр. основал в маленьком городке, примерно в шестидесяти километрах от дома, фирму под названием «Шлемм и сын». Он раздобыл подложные документы, состряпал фиктивные заказы с подделанными подписями. (Достать бланки ему было легче легкого, а с подписями он никогда не церемонился; так, например, в годы кризиса, начиная с двадцать девятого, кончая тридцать третьим, он иногда подделывал на векселях подпись жены, говоря при этом: «Она ведь все поймет, зачем же волновать ее уже сейчас»). Хойзер-старший.)

Ну так вот, игра, то есть «эта история», продолжалась как-никак месяцев восемь, а то и все девять и в среде строителей получила известность под именем «аферы с мертвыми душами». Причиной ужасающего скандала, который в конце концов разразился, были «абстрактные блокнотные записи» (Лотта Х.), в которых фигурировали огромные массы цемента, оплаченные, заприходованные по переводным векселям, но не прошедшие ни через черный рынок, ни через официальные инстанции, а также целая рота оплачиваемых, но не существующих «иностранных рабочих», не считая множества архитекторов, прорабов, десятников, вплоть до обслуживающего персонала столовых, поварих и т. д., существовавших лишь на бумаге, в блокноте Груйтена; все документы были в полном порядке, даже протоколы приемки объектов, снабженные подлинными подписями, а также банковские счета и выписки из счетов. «Дело велось с завидной аккуратностью, вернее, так казалось на первый взгляд» (доктор Шолсдорф, показания на суде).

* * *

Этого самого Шолсдорфа — ему тогда был всего тридцать один год — признали негодным к военной службе, признали даже самые дотошные медюмиссии, хотя он не симулировал («Я бы не остановился перед любой симуляцией, мне просто не пришлось к этому прибегать»), а между тем никаких органических недугов у Шолсдорфа не было, просто он казался таким исключительно хилым, чувствительным и нервным, что никто не хотел с ним связываться. А это что-нибудь да значило, если учесть, что и в 1965 году члены медюмиссий, западногерманские врачи, «с удовольствием прописали бы» всем немецким юношам «с лишним жирком» «физиотерапию под названием Сталинград». Однако чтобы «не рисковать понапрасну», один университетский приятель Ш., который занимал важный пост, устроил Ш. «для прохождения службы в тылу» в финансовое ведомство того самого маленького городишка. Как ни странно, Ш. за короткий срок досконально изучил доселе совершенно неизвестную ему область, так хорошо освоил ее, что уже через год стал на своем месте не только «необходимым, но и просто незаменимым сотрудником» (цитирую финансового советника в отставке д-ра Крейпфа, бывшего начальника Шолсдорфа, которого авт. удалось разыскать на курорте, где лечат болезни предстательной железы). Далее Крейпф показал: «Несмотря на свое филологическое образование, Шолсдорф умел прекрасно считать, более того, разбирался в самых сложных финансовых и бухгалтерских операциях и с первого взгляда различал разного рода сомнительные сделки, а ведь его истинное призвание было совсем не в том». Истинным призванием Ш. была славистика, которая по сию пору осталась его хобби. Точнее говоря, он специализировался на русской литературе XIX века... «Мне тогда делали немало заманчивых предложений как переводчику, но я предпочитал работать в финансовом ведомстве... Неужели я должен был переводить на русский язык, так ска-

зять, немецкую унтер-офицерскую или, что то же самое, немецкую генеральскую «прозу»? Неужели я должен был профанировать святое для меня дело, составляя вопросники для военнопленных? Да никогда в жизни!»

Проводя самую обычную, безобидную проверку, Шолсдорф наткнулся на документы фирмы «Шлемм и сын», вначале он не нашел в них ничего предосудительного, ровным счетом ничего. И лишь по чистой случайности заглянул в платежные ведомости, заглянул и «изумился — что я говорю: изумился, — чуть не подпрыгнул, так как увидел знакомые имена, и не только знакомые! Эти имена были для меня самым дорогим на свете...»

Справедливости ради здесь надо отметить, что Ш., возможно, все-таки вынашивал планы мести. Но, конечно, не против Гр., а против всего клана строителей; дело в том, что он начинал свою карьеру как счетовод в одной строительной фирме, куда его рекомендовал уже упомянутый влиятельный друг. Но лишь только в фирме обнаружили финансовый гений Ш., его стали сбавривать с рук, правда, всячески расхваливая. Ведь ни одна строительная фирма не может позволить себе, чтобы в ее бухгалтерские книги столь глубоко вникал какой-то там введливый филолог, от которого этого меньше всего ждешь. Сам Ш. был тогда неописуемо наивен, он и впрямь думал, будто фирмы только и мечтают о строжайшем контроле над всеми их сделками, то есть о том, чего они на самом деле больше всего опасались. Фирма благодетельствовала человека не от мира сего, полусумасшедшего филолога, взяла его, чтобы «из жалости кормить и спасти от солдатчины» (господин Флакс, глава строительной фирмы под тем же именем, которая по сию пору ворочает большими делами), а он оказался «дотошнее любого ревизора. Для нас это было смерти подобно».

И вот этот Шолсдорф, который мог среди ночи сказать, сколько квадратных метров было в каморке Раскольников и сколько ступенек вело из его квартиры во двор, — этот Шолсдорф вдруг наткнулся на рабочего по фамилии Раскольников, месившего где-то в Дании бетон для фирмы «Шлемм и сын» и обедавшего в столовке. Еще не заподозрив ничего дурного, но уже «чрезвычайно взволнованный», он увидел фамилию Свидригайлов и фамилию Разумихин, обнаружил Чичикова, Собакевича и приблизительно на двадцать третьем месте Манилова... А после произошло вот что: Ш. сперва побледнел, а потом задрожал от негодования, разглядев в списке нищенски оплачиваемых военных рабов Пушкина, Гоголя и Лермонтова. Даже имя Толстого и то чья-то рука кощунственно вписала в упомянутые платежные ведомости.

Однако здесь нам пора внести некоторую ясность: д-р Шолсдорф ни в малейшей степени не беспокоился о так называемой «чистоте германской военной экономики» и тому подобных глупостях, он «плевал» на это; его финансово-счетная точность являлась всего лишь вариантом той педантичной точности, с которой он изучал, комментировал и интерпретировал многочисленные тексты русской литературы XIX века (гипотеза авт., который до недавнего времени часто и подолгу беседовал с Ш. и, вероятно, часто будет беседовать с ним и впредь). «Вскоре я открыл, например, что в списке отсутствовал Чехов и все его герои, а также Тургенев. И тут я понял, что эту ведомость составил не кто иной, как мой товарищ по университету д-р Хенгенс, ненадежный, опустившийся субъект, но страстный тургеневед и просто-таки сумасшедший чеховед, хотя два этих писателя, по моему, имеют между собой очень мало общего. Что касается меня, то, каюсь, в мои студенческие годы я недооценивал Чехова, прискорбно недооценивал...»

Доказано, что Ш. никогда не писал доносов, об этом происшествии он, соотв., также не стал докладывать вышестоящим инстанциям. «Я считал это слишком опасным, хотя ненавижу всякое жульничество и презираю спекулянтов. Тем не менее я ни на кого не доносил, я вызывал к себе людей, отчитывал их как следует и требовал, чтобы они исправили свои первоначальные данные и доплатили соответствующие суммы... И поскольку мой отдел всегда мог предъявить наибольшее число доплат, я был на хорошем счету у Крейпфа. Вот и все. Только не доносить... Я ведь понимал, в какую адскую машину попадут люди по моему доносу. А этого я не желал никому, даже спекулянтам и жуликам. Самы знаете,

в те годы могли приговорить к смертной казни за несколько украденных свитеров... Да... Но на этот раз все вышло наружу. Дело ускользнуло из моих рук... Лермонтов — рабочий немецкой строительной организации в Дании! Пушкин, Толстой, Разумихин и Чичиков месят бетон и хлебают суп из перловой крупы. Гончаров вместе с Обломовым ковыряют лопатами землю!»

Ш., который ушел на пенсию в солидном чине обер-регирунгсрата и по-прежнему увлекается русской литературой, сейчас, кстати, современной русской литературой, получил возможность не только, так сказать, извиниться перед старым Груйтенем, но даже отчасти реваншироваться перед ним: он обучил его внука, сына Лени, довольно-таки причудливому русскому языку. И если у Лени сейчас время от времени появляются в доме цветы (она по-прежнему любит цветы, несмотря на то, что почти двадцать семь лет перебирала их, как другие люди перебирают горох), — если у нее в доме появляются цветы, то, значит, их прислал д-р Шолсдорф! В последнее время Шолсдорф с головой ушел в стихи Ахмадулиной. «Разумеется, и в том случае я не стал писать донос, вначале я просто настрочил письмо примерно такого содержания: «Настоятельно прошу Вас немедленно представить мне объяснения, ибо срочность данного дела трудно переоценить». Шолсдорф отослал это письмо, потом второе, третье, попытался разыскать Хенгенса, все было тщетно... «И поскольку я тоже подвергался регулярным проверкам, у меня нашли соответствующие материалы и тут же произвели дознание по делу фирмы «Шлемм и сын»... А потом... потом тяжелые жернова завертелись».

Ш. стал главным свидетелем обвинения; процесс длился всего лишь два дня, так как Груйтен признал себя виновным без всяких оговорок; он не терял хладнокровия и пришел в замешательство только раз, когда от него потребовали назвать «поставщика имен» («Как вам это нравится? Поставщика имен...». Шолсдорф). Ш. не стал выдавать «поставщика», хотя отлично знал, кто он такой. На второй день процесса эксперт-славист, специально вызванный из Берлина, целых два часа экзаменовал Груйтена, который утверждал, будто вычитал имена из книг; на суде было доказано, что за всю жизнь он не прочел ни единой русской книги и «наряд ли прочел хоть одну немецкую книгу, даже «Майн кампф» (Ш.), и тут уж «Хенгенс попался». Но выдал его не Груйтен. За это время Шолсдорфу удалось разыскать своего однокашника. Тот оказался в чине зондерфюрера, работал на армию, пытаясь вытягивать у русских военнопленных военные секреты. «И этим занимался человек, который вполне мог получить мировое имя как специалист по Чехову!»

Хенгенс добровольно явился в суд в своем мундире зондерфюрера, который «сидел на нем довольно мешковато, так как он носил его всего месяц» (Ш.). Да, он признался, что дал Груйтену, который разыскал его специально для этой цели, список русских имен. Умолчал лишь о том, что получил за каждое имя десять марок. Перед выступлением на суде Хенгенс консультировался с защитником Гр. и заявил: «В моем положении я просто не могу себе этого позволить... Понимаете?» Посему Груйтен и его защитник не стали упоминать на суде о неприятной денежной стороне дела, но Хенгенс сам признался в ней Шолсдорфу, с которым они пошли друговаться в ближайшую закусочную, ибо на суде между Шолсдорфом и Хенгенсом возник спор и Шолсдорф с возмущением кричал Хенгенсу: «Всех, всех ты предал, не предал только твоего Тургенева и твоего Чехова!» Разумеется, прокурор резко оборвал эту «литературную канитель».

Мораль данного небольшого эпизода ясна как божий день: подрядчикам-строителям, которые заводят фиктивные платежные ведомости, рекомендуется иметь литературное образование, а финансовые служащие с литературным образованием могут оказаться чрезвычайно полезными и нужными государственному аппарату.

* * *

В вышеупомянутом процессе был только один обвиняемый — Груйтен. Он сознался решительно во всем, но утяжелил свое положение тем, что не захотел признать мотивом преступления корыстолюбие; на вопрос о мотивах он не стал отвечать, а на вопрос о том, не занимался ли он саботажем, ответил отрицатель-

но. Позднее Лени также неоднократно спрашивали о мотивах поведения отца. И каждый раз она бормотала нечто невразумительное о «мести» (мести за что? Авт.). Гр. с трудом избежал смертной казни — его спасло решительное вмешательство «очень, очень влиятельных друзей, которые в качестве смягчающего обстоятельства напомнили о бесспорных заслугах Груйтена в деле создания военно-строительного потенциала Германии» (показания Хойзера-старшего). Груйтена приговорили к пожизненному тюремному заключению с конфискацией имущества. Лени дважды вызывали в суд, но она была полностью оправдана, точно так же как Хойзер, Лотта и все друзья и сотрудники Гр. Конфискации избежал лишь доходный дом, в котором родилась Лени. И этому она была всецело обязана прокурору, «в остальном проявившему чрезвычайную суровость»; прокурор сослался на тяжелое положение Лени как вдовы военнослужащего немецкого вермахта и на ее доказанную невиновность, после чего в «отвратительно высокопарных выражениях» вспомнил А. и опять «вытащил на свет божий его геройские подвиги» (Лотта Х.); прокурор засчитал Лени даже ее членство в нацистской организации для девушек. «Не подобает высокому суду лишать единственного достоинства смертельно больную мать (под «смертельно больной матерью» он подразумевал госпожу Гр.), потерявшую на войне и сына и зятя, и эту храбрую молодую немецкую женщину, ведущую безупречный образ жизни. Тем более не подобает, что означенное имущество было принесено в семью не обвиняемым, а его супругой».

Госпожа Груйтен не пережила скандала. Она была нетранспортабельна, поэтому ее несколько раз допрашивали в постели, но ей «хватило и этого» (ван Доорн). «Да она и не так уж горевала, прощаясь с жизнью... В конечном счете, она была хорошая, порядочная и смелая женщина. Конечно, ей очень хотелось сказать последнее прости Губерту, но тут уж ничего нельзя было сделать. И мы тихо и мирно похоронили ее. Понятно, по церковному обряду».

* * *

Лени минул двадцать один год; у нее не было больше машины, и она сочла себя обязанной уйти из фирмы. До поры до времени ее отец бесследно исчез. Сильно ли это повлияло на нее или нет? Что стало с шикарной блондинкой в шикарном автомобиле, которая на третьем году войны развлекалась как могла, играла немножко на рояле, читала больной матери ирландские сказки и посещала умирающую монахиню? Что стало с этой женщиной, которая, так сказать, во второй раз овдовела, потеряла мать и отца, исчезнувшего за решеткой? Прямых высказываний Лени того периода до нас не дошло; известно лишь, что на всех окружающих, тесно соприкасавшихся с ней, она производила очень странное впечатление. Лотта утверждает, что ей казалось, будто Лени «в какой-то мере почувствовала облегчение», ван Доорн говорит, что у Лени «камень с души свалился», а старый Хойзер формулирует свою мысль так: «В какой-то мере она вздохнула свободно». Это дважды повторенное разными свидетелями «в какой-то мере» хоть и звучит странно, но все же приоткрывает щелку в замкнутый внутренний мир Лени. Теперь мы можем дать волю фантазии. Маргарет на этот счет сказала вот что: «Она не была подавленной, скорее мне казалось, будто она опять ожила». И еще: «Загадочное исчезновение сестры Рахели подействовало на нее гораздо сильнее, чем скандал с отцом и смерть матери».

Объективно произошло следующее: Лени привлекли к отбыванию трудовой повинности. Однако благодаря вмешательству высокого покровителя, действовавшего не прямо, а через других лиц — покровитель пожелал остаться неизвестным и сейчас, хотя авт. знакомо его имя, — благодаря вмешательству высокого покровителя Лени попала в садоводство, где занялась плетением венков.

V

Люди, родившиеся позже, могут спросить: почему в 1942—1943 годах венки приравнялись в Германии к продукции оборонного значения? Ответ гласит: чтобы похоронные обряды и впредь проходили на достойном уровне. Конечно,

венки не пользовались таким спросом, как сигареты, но и они считались дефицитным товаром — в этом нет ни малейшего сомнения; кроме того, спросом они тоже пользовались и были чрезвычайно важны для ведения «психологической войны». Даже официальные учреждения потребляли в те годы огромное количество венков; венки требовались для жертв воздушных налетов и для солдат, умиравших в госпиталах; сверх того «время от времени кто-нибудь умирал частным порядком (Вальтер Пельцер, бывший владелец цветочного хозяйства и тогдашний хозяин Лени, ныне не работает, живет в основном на доходы от своей недвижимости); за государственный счет хоронили высокопоставленных нацистских чиновников, чиновников министерств и военных; им устраивали похороны по первому или второму разряду». Словом, все виды венков «от самых скромных, скупо отделанных, до гигантской величины обручей со вплетенными розами имели оборотное значение» (Вальтер Пельцер). Здесь не место отмечать немалые заслуги государства как организатора похорон; надо только сказать, что погребений в ту пору было огромное множество и венки шли нарасхват, поэтому Пельцеру удалось внести свое цветочное хозяйство в список важных военных объектов. Чем дальше продвигалась война, то есть чем дольше она продолжалась (авт. совершенно сознательно указывает здесь на связь между продвижением и длительностью войны), тем дефицитнее, само собой, становились венки.

В случае, если у «кого-то» возникнет ошибочное мнение, будто искусство плетения венков является занятием несерьезным, этому «кому-то» надо дать решительный отпор уже хотя бы ради Лени. Учтем, что виды венков бывают чрезвычайно разнообразными и что во всех видах должны соблюдаться определенные пропорции, что существуют различные формы венков и различная технология для их конструирования, наконец, что выбор тех или иных декоративных растений зависит от той или иной архитектоники венка. Прибавим к этому, что для основания венка применяется девять различных видов зелени, для окончательной отделки — двадцать четыре вида, для втыкания отдельных пучков — сорок два вида, для насадки тех же пучков или букетиков (и та и другая техника носит название «техники вплетения») — восемь видов, а для так называемого римского (выпуклого) плетения — двадцать девять. Таким образом, общее количество растений, употребляемых для венков, насчитывает сто двенадцать названий, эти названия, в свою очередь, надо разделить на пять категорий в зависимости от их применения. Итак, мы имеем пять категорий растений и сложнейшую систему конструирования венков. Но даже если мы будем твердо знать, какие растения надо употреблять для основания венка, какие для второго слоя, какие втыкать пучками (эти растения можно опять-таки либо вплести с помощью шпагата, либо насаживать с помощью специальных булавок), если мы будем знать, какие растения употребляют для так называемых римских венков, — даже в этом случае не надо забывать одно золотое правило: всему свое время и место.

Пусть человек, который пренебрежительно относится к плетению венков, считая это дело чуть ли не пустячным, скажет нам, когда следует вплести ель обыкновенную в основание венка, а когда во второй слой, где и когда надо пользоваться туйей, исландским мхом, иглицей, магонией или тсугой. Кто из этих людей знает, что зелень во всех случаях должна идти сплошным и что само плетение должно быть при всех обстоятельствах безукоризненным? Из всего вышеизложенного следует, что Лени, которая до сих пор занималась всего лишь легкой и несистематической канцелярской работой, вступила на весьма трудное поприще и занялась ремеслом, которое не так-то легко освоить, — словом, попала как бы в художественную мастерскую.

* * *

Быть может, не стоит вспоминать, что так называемый римский венок некоторое время был в загоне, а так называемый германский, наоборот, очень сильно возвысился; однако по этому вопросу возникли серьезные разногласия, и после образования «оси Берлин—Рим» Муссолини довольно-таки резко выска-

зался против дискредитации римского венка; до середины июля сорок третьего года в Германии спокойно плели римские венки, однако после «предательства» Италии от них раз и навсегда отказались (цитирую речь довольно крупного нацистского фюрера: «В нашей стране никогда больше не будет ничего римского, включая сюда венки и букеты»)... Исходя из этого, каждый внимательный читатель поймет, что в исключительных политических ситуациях даже такое дело, как плетение венков, может оказаться опасным. А поскольку римский венок возник как подражание венкам, высеченным на камне и украшавшим древнеримские фасады, под их категорическое запрещение была даже подведена идеологическая база: этот венок был объявлен «мертвым», а все остальные виды венков — «живыми». Вальтер Пельцер, который является важным свидетелем указанного периода в жизни Лени (сам по себе он человек с плохой репутацией), — так вот, этот Пельцер весьма убедительно доказал, что в конце сорок третьего, в начале сорок четвертого годов «завистники и конкуренты» донесли на него в «палату ремесленников»¹¹, и в его «деле» появилась «опасная для жизни пометка: «Все еще плетет римские венки». А это, «черт возьми, могло стоить головы в то время» (П.). Разумеется, после 1945 года, когда подозрительное прошлое Пельцера вышло наружу, он попытался представить себя — «и не только из-за венков» — «лицом, преследовавшимся при нацизме», и даже преуспел в этом, к сожалению, не без помощи Лени, что сразу следует признать. «Ведь речь шла о тех венках, которые изобрела сама Лени... Я хочу сказать, Лени Пфейфер... Ей-богу, ее гладкие строгие венки из вереска действительно выглядели совсем как венки из эмали и, поверьте мне, пользовались большим успехом у публики. С римскими венками они не имели ничего общего... Изобретение Пфейфер. Но мне это чуть было не стоило головы, ведь их сочли вариантом римского венка».

Из десяти человек, с которыми Лени долгое время работала, была тесно связана и встречалась изо дня в день, авт. удалось разыскать пятерых, в том числе самого Пельцера и его старшего садовника Грундча. Пельцер и Грундч были начальниками Лени, факт остается фактом. Однако авт. нашел еще трех человек, которые находились с Лени примерно в равном положении.

Пельцер живет в собственном доме с явными архитектурными излишествами, в доме, который сам он называет коттеджем, но который в действительности скорее походит на виллу, к тому еще чрезвычайно пышную (слово «вилла» он, не в пример Груйтену, произносит правильно); дом из желтого клинкерного кирпича только кажется одноэтажным (в полуподвальном этаже у Пельцера оборудован шикарный бар, зал, где он устроил своего рода музей венков, а также комнаты для гостей и богато оснащенный винный погреб). Наряду с желтым (клинкерный кирпич) преобладающий цвет дома — черный; в черное выкрашены решетки, двери, ворота гаража, оконные переплеты. По мнению авт., люди, считающие, что дом этот смахивает на колумбарий, не так уж не правы. У Пельцера есть жена, довольно меланхоличная на вид особа по имени Ева, урожд. Прумпаль; ей, наверное, лет шестьдесят пять, и ее красивое лицо портит выражение озлобленности.

* * *

Альберт Грундч — ему восемьдесят — все еще, «как улитка, сидит в своей раковине на кладбище»; «раковина» — это каменный (кирпичный) сарай, где у Грундча две комнаты и кухня; от этого жилища рукой подать до двух теплиц — его собственности. Грундч в отличие от Пельцера не нажил на расширении кладбища (и не пожелал наживаться, добавим в скобках); он с ожесточением защищает «морген»¹² земли, который я ему сдуру подарил когда-то (Пельцер). Честно говоря, городское садоводство и администрация кладбища вздохнут с облегчением, когда старик ум... когда он исчезнет... одним словом, выражаясь деликатно, когда он отправится к праотцам».

¹¹ Нацистская организация для контроля и слежки. Были палаты писателей, художников и т. д.

¹² Морген равен 0,25 гектара.

Ныне, однако, Грундч живет посреди кладбища, которое уже давным-давно поглотило не только несколько гектаров земли, принадлежавших некогда Пельцеру, но и другие садоводства и гранитные мастерские, живет совершенно автономной жизнью; он получает свою пенсию по инвалидности («И тут мне тоже пришлось из-за него попотеть»), не вносит никакой квартплаты, а табак и овощи для собственного потребления выращивает сам; Г. — вегетарианец, поэтому ему почти ничего не приходится покупать на стороне, проблема одежды для него тоже практически не существует — он уже целый век донашивает штаны Губерта Груйтена, которые тот заказывал в 1937 году и которые Лени подарила Грундчу в 1944 году. Теперь Г. (далее цитаты из самого Г.) занят исключительно тем, что выращивает цветы «специально к праздникам» (гортензии на Красную горку, цикламены и незабудки к Дню матери, маленькие елочки в горшках, украшенных лентами и свечками, к рождеству, чтобы ставить их на могилы. «И чего только люди не притаскивают на могилы своих близких — уму непостижимо!»).

У авт. создалось впечатление, что администрация городского садоводства совершенно напрасно рассчитывает на скорую смерть Г., ей придется еще малость подождать. Утверждения некоторых (рабочие городского садоводства), будто Г. «день и ночь торчит либо у себя в сарае, либо в теплицах», не соответствуют действительности; наоборот, после закрытия кладбища, то есть когда прозвучат все звонки, а это случается довольно рано, Г. использует территорию кладбища, ставшую за это время просто-таки необозримой, «как свои частные владения». «Я совершаю далекие прогулки, время от времени, присев на скамейку, выкуриваю трубочку, а когда на меня находит подходящий стих, то привожу в порядок какую-нибудь запущенную или вовсе заброшенную могилку, устилаю ее чем-нибудь подходящим — мхом или еловыми ветками, иногда кладу поверх какой-нибудь цветок, и, поверьте мне, за все это время я встретил всего лишь два жуликов, промышлявших цветными металлами, и ни души больше; конечно, в городе время от времени появляется какой-нибудь сумасшедший, который не хочет верить, что мертвый и впрямь мертв; сумасшедшие этого рода перелезают через кладбищенские ограды, чтобы и ночью плакать, проклинать все на свете или молиться на могиле, а то и просто ждать. Но за пятьдесят лет я встретил всего двух или трех таких сумасшедших... И тут я, разумеется, удалялся с миром. И еще; примерно раз в десять лет на кладбище прячется парочка, не ведающая ни страха, ни предрассудков, парочка, которая понимает, что на всем белом свете найдется совсем немного таких уединенных уголков... И в этих случаях я, разумеется, удалялся с миром... Конечно, я уже не знаю толком, что происходит за пределами кладбища... Но поверьте мне, здесь замечательно даже зимой, когда идет снег; я тогда гуляю по ночам, закутавшись с ног до головы, и попыхиваю трубой... Тишина прямо необыкновенная, все они лежат мирно-мирно... Ясное дело, у меня были трудности с девицами; каждый раз, когда я хотел зазвать их к себе, они здорово кочевряжились, и, заметьте, больше всего кочевряжились самые отпетые шлюхи. Тут уж никакие деньги не помогали».

Когда речь зашла о Лени, Г. проявил признаки смущения: «Ну конечно, Пфейфер... Вспомнить о ней? Разве я вообще могу о ней забыть! Ну, разумеется, все мужчины имели на нее виды, решительно все, включая хитреца Вальтерхена (Г. имеет в виду Пельцера, которому уже успело минуть семьдесят), но никто ни на что особенно не надеялся. Она была недотрога, и при этом не какая-нибудь там жеманная девица, поверьте мне, я был среди них самый старый — мне уже тогда было пятьдесят с гаком, и я вовсе не питал никаких надежд; только один из всех нас сделал попытку приблизиться к ней — Крем; мы звали его «пошляк и дурак Герберт», и она его так здорово отшила, холодно и насмешливо, что он, по-моему, запомнил это на всю жизнь. Какие шаги предпринимал Вальтер, я не знаю... Уверен только, что и он ничего не добился. А все остальные были женщины, понятно, женщины, отбывающие трудовую повинность. И женщины разделились на две партии: за и против. Не против нее, а против того русского, с которым мы потом узнали, что он-то и был избранником ее сердца. Вся эта история, представьте себе, длилась почти полтора года, и никто — никто из всех

нас — не заметил ничего особенного, они вели себя умно и осторожно. Правда, игра была рискованная, они рисковали головой. Даже задним числом меня, черт возьми, дрожь пробирает, когда я представляю себе, как эта девушка рисковала. Деловые качества? Хотите знать, какие у нее были деловые качества? Может быть, я человек пристрастный, ведь я ее любил, по-настоящему любил, иногда как дочь, которую так и не довелось иметь... Или... ведь я был на целых тридцать три года старше ее... или как возлюбленную, которая тебе и не снилась... Ну вот, у нее оказался просто прирожденный талант — этим все сказано. У нас работали только два обученных садовода, считая самого Вальтера — три. Но у Вальтера в голове были одни только бухгалтерские книги и цифры барышей. Стало быть, двое: Хельтхоне (она была, так сказать, интеллигентный садовод, кончила лицей, училась в университете, а потом увлеклась садоводством, романтическая особа: земля, труд и так далее... конечно, она была человек знающий, тут ничего не скажешь), ну, а потом я. Все остальные были необученные. И Хойтер, и Кремп, и Шелф, и Кремер, и Ванфт, и Цевен — почти одни женщины, и уже не первой молодости; во всяком случае, ни у кого не возникло желания повалить их где-нибудь между ящиками с торфом и связками шпагата. Уже через два дня мне стало ясно, что Лени Пфейфер никак не годится для изготовления каркасов, тут требуется грубая сила, это относительно тяжелая работа. Занималась ею бригада Хойтер—Шелф—Кремп, им указывали число венков и давали кучу зелени, материал зависел от качества снабжения, под конец, кроме дубовой листвы, бука и обычных сосновых веток, мы ничего не получали. Ну, а потом сообщались размеры венка, большей частью они были стандартные. Для торжественных похорон у нас в ходу были условные сокращения: Б₁, Б₂ и Б₃, что означало бонза первой, второй и третьей категории. Для внутреннего пользования и для гробсбухов существовали также обозначения Г₁, Г₂ и Г₃, что значило военные герои первой, второй и третьей категории; когда это потом выплыло наружу, пошляк и дурак Кремп устроил нам форменный скандал, он усмотрел в этом оскорбление, и вдобавок личное, он ведь считал себя героем второй категории: ампутированная нога, несколько орденов и почетных значков... Словом, Лени не годилась для бригады, изготавливавшей каркасы, я это сразу смекнул и включил ее в бригаду по отделке, где она работала вместе с Кремер и Ванфт... И, поверьте мне, она оказалась просто гением декоративного искусства или, если хотите, мастером по украшению венков. Вы только посмотрели бы, как она обращалась с листьями лавровишен или рододендронов! Кому-кому, а уж ей можно было доверить самый ценный материал, у нее ничего не пропадало втуне, ничего не ломалось... И она сразу поняла то, чего многие не могли постичь за всю свою жизнь, — центр тяжести отделки должен приходиться на левую верхнюю четверть венка; этим самым всему венку придается радостное, можно даже сказать — оптимистическое звучание, венок как бы рвется вверх; если же центр тяжести поместить справа внизу, то венок навевает пессимизм, он как бы скользит вниз... Лени никогда не стала бы смешивать геометрические рисунки с рисунками «фантази». Никогда, поверьте мне. Она принадлежала к тому типу людей, которые руководствуются принципом: или — или. Это можно было сразу заметить даже при плетении венков. От одного лишь мне пришлось ее отучать, и притом решительно: у нее было явное пристрастие к чисто геометрическим фигурам — ромбам, треугольникам... Как-то она совершенно машинально, наверняка без злого умысла, вплела в венок шестиугольную звезду из хризантем, к тому же в венок для Б₁; уверен, что звезда совершенно произвольно вышла из-под ее рук; наверное, она так и не поняла, почему я до такой степени разнервничался и разъярился; представьте себе, что венок в таком виде вынесли бы из мастерской! Да и вообще, публика предпочитала расплывчатые, свободные рисунки, а Лени умела бесподобно импровизировать; из цветов она делала маленькие корзиночки, даже птичек... Полет фантазии! И это так гармонировало с материалом... Для венков Б₁ Вальтерхен доставал розы — он был человек оборотистый, — иногда даже полураспустившиеся благородные розы, вот тут-то Лени и могла себя показать, она изображала целые жанровые сценки; какая жалость, что все это было столь

недолговечно... Как-то она изобразила миниатюрный парк с прудом, на котором плавали лебеди. Да, поверьте мне, если бы за плетение венков давали призы, она выиграла бы их все подряд. Но самое главное — во всяком случае, для Вальтерхена — заключалось в том, что с относительно скромным материалом она достигала гораздо большего эффекта, чем другие с роскошным. Она умела быть экономной. После Лени готовый венок попадал в приемочную бригаду, то есть к Хельтхоне и Цевен, и ни один венок не выходил из мастерской, не пройдя через мои руки. Хельтхоне проверяла корпус венка и отделку и, если надо было, сама исправляла кое-что, а Цевен мы называли «главной по лентам», она прикрепляла ленты, которые присылали нам из города. И тут, конечно, надо было смотреть в оба, чтобы не перепутать все на свете... Представьте себе, вы заказали венок с надписью: «Гансу. Последний привет от Генриэтты», — а получаете венок, на котором выведено: «Незабвенному Отто от Эмили». Или наоборот. Пренеприятная история! У мастерской был свой транспорт для доставок — жалкий трехколесный велосипед с моторчиком. На этом велосипеде венки развозили по часовням, госпиталям, казармам, нацистским комитетам и похоронным бюро... Этой чести Вальтерхен никому не уступал, тут он мог бить баклуши и получать денежки, а главное, удирать на время из мастерской.

* * *

Ввиду того, что Лени никогда не жаловалась на свою работу ни Лотте, ни ван Доорн, ни Маргарет, а также ни старому Хойзеру, ни Генриху Пфейферу, следует предположить, что работа и впрямь доставляла ей удовольствие. Огорчало Лени только то, что пальцы и руки у нее покрылись болячками; израсходовав материнские и отцовские запасы перчаток, она начала выпрашивать «старые перчатки» у всех родственников.

Возможно, что за работой Лени вспоминала покойную мать, вспоминала отца и подолгу думала об Эрхарде и Генрихе, быть может, даже об убитом Алоисе. В тот год все считали ее «милой, приветливой, но очень тихой».

Сам Пельцер говорит про нее, что она была молчаливой: «О боже, невозможно было заставить ее открыть рот... но она держала себя мило, мило и приветливо, и к тому же была моей самой главной опорой. Не считая, конечно, Грундча, этот знал свое дело досконально. И не считая Хельтхоне, но та была чересчур педантичной, черт возьми; у той на все были правила, и когда кто-нибудь отходил от них и придумывал оригинальное решение, она его поправляла. Пфейфер умела придумывать, и потом она чувствовала фактуру растений, она понимала, что с бутонами цикламенов надо обращаться совсем иначе, чем с розами, у которых стебли твердые, или чем с пионами... Признаюсь, каждый раз, когда я выдавал для венка красные розы, это наносило мне финансовый ущерб. В ту пору розы можно было выгодно спустить налево, кавалеры считали, что в амурных делах розам цены нет... Шла бойкая торговля розами, особенно в гостиницах, где останавливались молодые офицеры и их дамы. Портье вызывали меня по телефону и предлагали за букет роз с длинными стеблями хорошие деньги, а иногда товар: кофе, сигареты, масло, а если повезет, и ширпотреб... Один раз я, например, получил трикотаж... По-моему, это был просто позор, что почти все розы шли на мертвых, живым буквально ничего не оставалось».

Пока Пельцера одолевали заботы о его розах, Лени чуть было не стала жертвой бюро «по перераспределению жилой площади»: городские власти сочли, что для семикомнатной квартиры с кухней и ванной семерых жильцов слишком мало (в квартире у Лени поселились: господин Хойзер-старший, госпожа Хойзер-старшая, Лотта с Куртом и Вернером, сама Лени и ван Доорн). Как-никак город уже перенес к тому времени более пятисот пятидесяти воздушных тревог и сто тридцать бомбежек: всему роду Хойзеров решили оставить три комнаты, правда больших, а для Лени и Марии, «и то с огромным трудом и с помощью мощного блага, удалось отвоевать по комнате» (ван Доорн). Можно предположить, что высокопоставленный деятель, имевший отношение также к коммунальному хозяйству — он по-прежнему желает остаться неизвестным, — сыграл

здесь свою роль. Из скромности деятель отрицает, однако, что «оказал содействие в этом вопросе». Но как бы то ни было, после уплотнения две комнаты пустовали, и тогда «эти отвратительные Пфейферы, которых фугасная бомба выгнала из их крольчатника» (Лотта Х.), нажали на все педали: они, мол, мечтают жить под одной крышей с «дорогой невестушкой». Старый Пфейфер так же наслаждался статусом «человека, лишившегося крова», как в прежние времена своей хромотой. «У него всегда был дурной вкус, не удивительно, что он без конца повторял: «Ну, а теперь я пожертвовал отечеству все свое скромное, но зато честно нажитое состояние» (Лотта Х.). От перспективы жить с Пфейферами в одной квартире все мы, конечно, пришли в ужас, но потом Маргарет выведала у своего бонзы (?? Авт.), что старого Пфейфера вот-вот эвакуируют в деревню вместе с его классом. Только тогда мы уступили... Недели три они сидели у нас буквально на голове, но потом, несмотря на хромую ногу, старику пришлось отправиться в деревню, а с ним уехала и старушенция, остался только этот милый парень Генрих Пфейфер, но он уже записался добровольцем и со дня на день ждал, что его призовут... Все это произошло вскоре после Сталинграда» (Лотта Х.).

* * *

Добывание необходимой информации о главном враге Лени в цветоводстве было сопряжено с трудностями. После того как авт. долго и безуспешно рылся в адресных книгах и списках военнослужащих, ему пришло в голову привлечь к своим поискам Попечительство по делам охраны могил жертв войны. Послав запрос в Попечительство, он узнал, что некий Гериберт Кремп, двадцати пяти лет, был убит в начале марта поблизости от Рейна и похоронен поблизости от автострады Франкфурт — Кёльн. Ну, а после того как авт. узнал местонахождение могилы Кремпа, ему уже ничего не стоило узнать адрес его родителей. Беседа с родителями не протекала, однако, в обстановке дружбы и доверия. Родители подтвердили лишь, что Кремп работал в цветоводстве у Пельцера и что там он, «так же как и повсюду, где жил и трудился, выступал за порядок и порядочность... А потом, когда отечество оказалось в серьезной опасности, его нельзя было удержать: в середине марта он записался добровольцем в фольксштурм, хотя нога у него была ампутирована по бедро. И он пал смертью храбрых, о такой смерти можно только мечтать». Родители Кремпа, видимо, считали смерть сына совершенно естественной и ждали от авт., что тот с похвалой ответится об их чувствах. Но так и не дождались. Несмотря на это, авт. показали фотокарточку Кремпа, но и здесь он не проявил должного понимания. Авт. счел самым разумным быстро ретироваться, столь же быстро, как и из квартиры господы Швейгерт. На фотографии был изображен не очень симпатичный (автору) молодой человек с большим ртом, узким лбом, густыми светлыми волосами и с глазами, похожими на пуговицы.

* * *

Чтобы узнать адреса трех оставшихся в живых напарниц Лени, отбывавших вместе с ней трудовую повинность в цветоводстве Пельцера, пришлось всего лишь обратиться в адресный стол, где за соответствующую небольшую мзду авт. получил нужную справку.

Первой свидетельнице жизни Лени того периода, госпоже Лиане Хельтхоне, руководившей приемочной бригадой, уже минуло семьдесят лет, теперь она была владелицей фирмы «Цветы» с четырьмя филиалами. Жила Хельтхоне в необычайно красивом маленьком коттедже, в пригороде, почти на лоне природы: четыре комнаты, кухня, холл, две ванны; дом был обставлен с безукоризненным вкусом, обои подобраны в тон мебели. Кроме того, Хельтхоне почти задыхалась от книг, так что интерьер у нее был самый изысканный. Хельтхоне производила впечатление женщины практичной, но держалась очень приветливо; никто не узнал бы в этой хрупкой красной старушке с серебряными, тщательно уложенными волосами маленькую коренастую женщину со строгим выражением лица, повязанную

платком, то есть женщину, которая была изображена на групповом портрете, снятом по случаю юбилея пельцеровского заведения в 1944 году; фотографию показал авт. сам владелец этого заведения. Теперь же семидесятилетняя красивая старушка достойно и сдержанно играла роль хозяйки дома, ее серьги в форме корзиночек из хрупкого серебряного кружева, внутри которых дрожала коралловая бусинка, находились в беспрестанном движении, так же как и карие глаза, еще совсем не выцветшие. И все это как бы мелькало перед взором авт., беспокойно трепетали сережки, в сережках трепетали коралловые бусинки, трепетало все лицо госпожи Х., а на нем трепетали глаза. Make up¹³ был старательно нанесен, даже морщинистая кожа на шее и на кистях рук казалась уснащенной косметическими снадобьями, и при том никому не пришло бы в голову сказать, что госпожа Х. скрывает свой возраст. На столе появился чай, пtifуры, сигареты в серебряном портсигаре, зажженная свеча, спичечница ручной раскраски, на которой была изображена небесная сфера всего лишь с одиннадцатью знаками Зодиака, двенадцатый знак — большой стилизованный Стрелец — красовался посередине; вся сфера была голубая, только Стрелец — розовый, очевидно, госпожа Х. родилась под знаком Стрельца; портьеры у Х. были блекло-розовые, мебель светло-коричневая, орех, ковры белые, в простенках между книгами висели гравюры с видами Рейна, искусно от руки раскрашенные; всего там было шесть-семь гравюр (за абсолютную точность авт. не ручается), каждая гравюра была приблизительно шесть на четыре сантиметра, не больше; все выполнено тщательно, одним словом, ювелирная работа; на гравюрах были изображены: Бонн — вид из Бейля, Кёльн — вид из Дейца, Цонс — вид с правого берега Рейна, примерно между Урденбахом и Баумбергом, Обер-Винден, Болпард, Реес. Авт. напоминает также, что он видел гравюру с изображением Ксантена, который художник приблизил к Рейну немного больше, чем это допускает географическая добросовестность; исходя из этого, он заключает, что гравюр было не шесть, а семь. «Да, да, — сказала госпожа Хельтхоне, протягивая авт. серебряный портсигар с таким выражением лица, которое давало основание предположить, будто она ждала отказа (но авт. не доставил ей этого удовольствия и заметил, что чело ее чуть-чуть омрачилось). — Да, да, вы совершенно правы, здесь одни только левобережные виды. — И не дав авт. продемонстрировать свою сообразительность, наблюдательность и аналитические способности, она продолжала: — Да, я была и есть сепаратистка, и не только, так сказать, в душе. Пятнадцатого ноября двадцать третьего года меня ранили под Эгидинбергом, и не на той стороне, которой досталась вся слава, а на бесславной, хотя сама я до сих пор считаю ее стороной славы. Никто никогда не докажет мне, что мой край принадлежит Пруссии или что он принадлежал ей раньше, принадлежал так называемой империи, созданной Пруссией. Я и сегодня сепаратистка; только я выступаю не за французскую, а за немецкую Рейнскую область. Рейн — естественная граница этой области, и, разумеется, к ней принадлежат Эльзас и Лотарингия, а соседка этой области — Франция, конечно, Франция не шовинистическая, а республиканская. Ну вот, в двадцать третьем я бежала во Францию, там меня выходили, а потом, в двадцать четвертом, мне пришлось вновь перебраться в Германию, но уже под чужим именем, с чужим паспортом. Ну, а в тридцать третьем вообще было спокойнее жить под фамилией Хельтхоне, только бы не называться Эллой Меркс. Уезжать во второй раз я не захотела, не захотела эмигрировать. И знаете почему? Я люблю этот край, люблю людей, которые в нем живут; просто они попали в скверную историю... И можете теперь сколько угодно цитировать Гегеля (авт. не собирался цитировать Гегеля! Авт.) и говорить, что в скверную историю нельзя попасть ни с того ни с сего. В тридцать третьем я решила, что самое разумное — прикрыть мое дело, хотя оно шло хорошо. Я была архитектором-садоводом, и вот я просто объявила себя банкротом, это оказалось, впрочем, довольно трудно, так как моя контора процветала. Потом началась история с установлением национальности предков, щекотливая и опас-

¹³ Косметика, грим (англ.).

ная история, но у меня во Франции еще сохранились друзья. Там они все и устроили. Подлинная Хёльтхоне в двадцать четвертом умерла в парижском публичном доме, вместо этого записали, что умерла Элла Меркс из Саарлунса. Всю вольнку со сбором документов проделал один парижский адвокат, у которого, в свою очередь, был знакомый в посольстве. Но, несмотря на сугубую секретность, в один прекрасный день из какой-то глухой дыры под Оснабрюком пришло письмо — некий Эрхард Хёльтхоне предлагал своей Лиане «простить ее»; «Приезжай поскорей на родину, — писал он, — я помогу тебе устроить жизнь». До той поры, пока не были собраны все справки о дедах и прадедах, нам пришлось ждать, а потом мы «умертили» эту самую Хёльтхоне в Париже, что не помешало ей жить дальше в Германии и работать в садоводстве. Авантюра удалась. Можно было существовать почти спокойно, но не стопроцентно спокойно. Поэтому мне и показалось самым правильным пересидеть трудные времена у такого явного нациста, каким был Пельцер».

Чай оказался отличный, в три раза крепче, чем у монахинь, пtifуры — превосходные, но авт. уже в третий раз залез в серебряный портсигар, хотя пепельница величиной с ореховую скорлупку навряд ли могла вместить пепел от трех сигарет, не считая трех окурков. Несомненно одно: госпожа Хёльтхоне была женщина интеллигентная и умеренная, авт. не оспаривал ее сепаратистских взглядов, да и не хотел их оспаривать, поэтому ему кажется, что неумеренность в курении и в питье чая (уже третья чашка!) не отразилась на хорошем отношении хозяйки к его особе.

«Сами понимаете, я все время дрожала, хотя объективно на это вроде и не было оснований, родственники Лианы так и не объявились, но у Пельцера могли устроить строгую ревизию или специальную проверку служащих; к тому же у него засел этот проклятый наци Кремп и еще Ванфт. А Цевен, с которой я и вовсе работала за одним столом, до тридцать третьего голосовала за Немецкую национальную партию. У Пельцера нюх был феноменальный, он наверняка чувял, что со мной не все в порядке. Позже, когда он совсем обнаглел и стал довольно открыто спекулировать цветами, я испугалась и подумала, что опасность теперь уже исходит не от меня. Я могу попасться и из-за него. И я решила уволиться, но тут он как-то странно посмотрел на меня и сказал: «Вы хотите уволиться? Разве вы это можете себе позволить?» Уверена, что он ничего не знал толком, но нюх не подвел его и здесь... Я начала нервничать и взяла обратно заявление об уходе. Он-то, конечно, понял, что я разнервничалась не на шутку и что в меня есть на то веские основания; с тех пор при каждом удобном случае Пельцер произносил мое имя таким тоном, словно оно было фальшивое. Ну, а про Кремер он, конечно, все знал; знал, что муж у нее был коммунистом и что его убили в концлагере. Насчет Пфейфер он тоже кое-что пронюхал и, кроме того, напал на верный след, в то время как мы лишь строили предположения. Довольно ясно было, что Лени и Борис Львович симпатизируют друг другу; уже одно это было весьма опасно. Но это... Нет, я не ожидала, что они окажутся такими смельчаками! Между прочим, Пельцер доказал свое безошибочное чутье и в сорок пятом, когда он сразу же начал называть цветы «flowers»; с венками он, правда, просчитался, он назвал их «circles»¹⁴, и долгое время штатники думали, что он говорит с ними о тайных кружках».

Пауза. Краткая. Во время паузы авт. с трудом засунул в серебряную скорлупку пепельницы бранные останки третьей сигареты. Потом он задал несколько вопросов и с удовлетворением отметил, что в безукоризненных рядах книг, занимавших целую стену, выделялись одноклассники Пруста, Стендаля, Толстого и Кафки, они были явно потрепанные, не грязные, не захватанные руками, а просто потрепанные, как любимое старое платье, которое без конца стирают и подштопывают.

«Ну да, я люблю читать, особенно уже много раз читанные книги. Пруста я открыла для себя уже в двадцать девятом в переводах Бенжамин... А теперь

¹⁴ Circle — круг, группа (англ.).

вернемся к Лени. Разумеется, это была замечательная девочка, повторяю, девочка; теперь ей уже, наверное, под пятьдесят; правда, особенно теплые отношения у нас с ней никак не устанавливались ни во время войны, ни после... Я не говорю, что она была человеком холодным, просто она вела себя очень тихо и молчаливо, хотя и приветливо... Да, она вела себя молчаливо и была упрямая... Скоро ее перестали называть дамой; дело в том, что когда Лени к нам поступила, ей дали такое же прозвище, как и мне; о нас говорили — «эти дамы». Но уже через полгода она перестала быть «дамой». «Дама» осталась только одна. Моя милость... Удивительное дело, лишь много времени спустя до меня дошло, почему Лени казалась такой странной, я бы даже сказала — непонятной. Она обладала психологией пролетария, в этом я совершенно уверена; у нее было, например, типично пролетарское отношение к деньгам, к времени и так далее. Она могла пойти далеко, но не хотела никуда идти. И это происходило не из-за недостатка чувства ответственности и не из-за неспособности нести на себе груз ответственности. Она даже умела проводить очень сложные операции и доказала это блестяще. Роман ее с Борисом Львовичем длился почти полтора года, и никто, ни одна живая душа не подозревала об этом; никто не поймал их с поличным, ни его, ни ее. И притом, скажу вам, эта Ванфт, и эта Шелф, и пошляк Кремп были настоящие аргусы, они не спускали с них глаз. Иногда мне даже становилось не по себе, и я думала: если между ними все же что-то есть, то помилуй их бог! Опаснее всего было вначале, когда они по чисто техническим причинам не могли оставаться вдвоем. Временами я вообще сомневалась во всей этой истории; я думала: пошла бы она на все, если бы знала, чем рискует? Она была, кстати, довольно наивна и, повторяю снова, совершенно равнодушна и к деньгам и к собственности вообще. Мы зарабатывали от двадцати пяти до сорока марок в неделю — в зависимости от надбавок и сверхурочных, потом Пельцер начал выплачивать нам «шгучную премию», так он это называл: за каждый венк он платил еще по двадцать пфеннигов, которые распределялись между всеми, таким образом, набегало еще несколько марок. Но у Лени только на кофе еженедельно уходило не меньше двух недельных получек; ничем хорошим это не могло кончиться, хотя в ту пору она еще получала квартирную плату от жильцов, дом принадлежал ей. Иногда мне казалось и до сих пор кажется, что эта девушка была своего рода феноменом. Никто не знал точно, какая она — очень глубокая или очень поверхностная; конечно, я понимаю, что противоречу себе, но мне думается, будто и то и другое правильно — она была очень глубокая и очень поверхностная, только одно про нее нельзя было сказать и сейчас не скажешь: она не была вертихвосткой. Нет. Не была.

В сорок пятом мне так и не выплатили компенсацию, было не ясно, в каком качестве я скрывалась: как сепаратистка или как еврейка. Как сепаратистке мне, разумеется, не собирались возмещать убытки, а как еврейке... Попробуй докажи, что ты обанкротилась нарочно, хотела отвлечь от себя внимание. Я получила всего-навсего лицензию — разрешение открыть садоводство и цветочный магазин, и то благодаря протекции одного приятеля, который служил во французской армии. И сразу в конце того же сорок пятого я пригласила к себе на работу Лени, и у нее уже был тогда ребенок и жилось ей погано. Она проработала у меня двадцать четыре года, до семидесятого. Как вы думаете, сколько раз я предлагала ей возглавить один из филиалов, сколько раз предлагала участие в прибылях? Десять, двадцать раз? Нет. Раз тридцать, а то и больше. И уж, во всяком случае, она могла бы стоять за прилавком красиво одетая. Но Лени предпочитала торчать в холодной задней комнатке в рабочем халате и плести венки или составлять букеты. Она была лишена честолюбия, не хотела идти дальше, подниматься выше. Ни капли честолюбия! Иногда мне казалось, что Лени мечтательница. И, как говорится, «с приветом», но она была очень очень милая. И притом довольно избалованная. Здесь я тоже усматриваю ее пролетарский характер. Всю войну, работая у Пельцера простой работницей и получая максимум пятьдесят марок, она, знаете ли, держала свою старую прислугу... И, знаете ли, та ежедневно пекла ей свежие булочки; клянусь вам, иногда у

меня просто слюнки текли; да, я была «дамой» с ног до головы, но и то с трудом сдерживалась, чтобы не сказать: «Детка, дайте и мне откусить разок, дайте, пожалуйста, откусить и мне...» И она дала бы мне откусить, будьте уверены. Как жаль, что я ее ни разу не попросила... А теперь она спокойно может попросить у меня денег, ведь ей опять живется погано... Но, знаете ли, у Лени есть еще одна отличительная черта — гордость. Она гордая, как принцесса из сказки... Что же касается ее чисто профессиональных данных, то их сильно переоценивают. Конечно, она была ловкой и способной работницей, но, на мой вкус, в ее венках и бунетах было слишком много филиграни, слишком много изысков. Она занималась вышиванием, а я предпочитаю крупную красивую вязку; несомненно, из Лени вышел бы прекрасный ювелир — золотых или серебряных дел мастер, но когда речь идет о цветах — я знаю, вы удивитесь, — когда речь идет о цветах, нужна совсем другая хватка, более крепкая и мужественная рука. Ну, а этого у нее не было; конечно, в ее работе чувствовалась смелость, но дерзости в ней не ощущалось. Правда, она не прошла никакой школы и, если это учесть, успехи ее были поразительны, ведь она одолела нашу премудрость очень быстро».

Хозяйка уже не предпринимала попыток угостить гостя чаем, не открывала и не протягивала ему серебряный портсигар, из этого авт. заключил, что аудиенция закончена (на тот день, во всяком случае, что и оказалось правильным). По мнению авт., госпожа Хельтхоне существенно дополнила портрет Лени. А потом, когда авт. уже собрался уходить, госпожа Х. дала ему возможность заглянуть в маленькую мастерскую, где она снова занимается декоративным садоводством. Проектирует для городов будущего висячие сады, которые она назвала «Семирамиды». Это название кажется авт. довольно неоригинальным, особенно в устах столь страстной почитательницы Пруста. Прощаясь с хозяйкой, авт. подумал, что этот визит завершен окончательно. Правда, в дальнейшем не исключены новые встречи, поскольку лицо госпожи Х. все еще выражало приветливость, впрочем, с явным оттенком усталости.

* * *

В общих чертах нынешняя жизнь Марги Ванфт и жизнь Ильзы Кремер совпадают; обе они получают пенсию по старости, одной из них семьдесят лет, другой шестьдесят девять; обе седые, обе живут в однокомнатных квартирах с кухней-нишей, в домах, построенных ведомством по социальному обеспечению, у обеих дровяное отопление и мебель начала пятидесятых годов; на обеих квартирах лежит печать «скудости» и «запущенности», наконец, обе женщины держат попугаев, хотя здесь уже начинаются различия: у одной (Ванфт) — попугай, у другой (Кремер) — волнистые попугайчики. На этом сходство вообще кончается. Ванфт — женщина строгая, почти недоступная, из нее с трудом можно было выжать несколько десятков фраз, и казалось, будто она выплевывала каждое слово из своего узкого рта, как косточку от вишни. «Что толку рассказывать про эту мерзавку. Я все понимала и все предчувствовала. До сих пор готова надавать себе пощечин: дура я, что не дозналась до всего. Жаль, что не увидела, как ее ведут с бритой головой. Да и немного плетей ей бы тоже не помешало. Связалась с русским, когда наши парни сражались, а муж ее пал смертью храбрых... Папаша ее оказался перворазрядным спекулянт... И вот такую дрянью уже через три месяца забрали от меня и перевели в бригаду по отделке. Грязная баба, вечно выставляла напоказ свои женские прелести. Всем мужчинам задурила голову. Грундч увивался вокруг нее, как кот. Пельцер на нее облизывался, для него она была резервом номер два; даже хорошего парня Кремпа, который вкалывал изо всех сил, она сбила с толку, она стал бросаться на всех как собака. Да еще разыгрывала из себя невесту что, а на самом деле была обыкновенная выскочка, которой дали коленкой под зад. Как дружно мы работали до ее прихода, а тут в воздухе словно появилось электричество, напряженность, которая никак не могла разрядиться. Всыпать бы ей плетей — вот и была бы разрядка. А чего стоила ее мерзкая возня с цветами, как

в пансионе для благородных девиц. Всех она этим купила. Не успела прийти, как я оказалась в изоляции, в форменной изоляции. А потом это сюсюканье с кофе, всем она предлагала свой кофе. Но меня на таких штуках не проведешь. Подслащенная пилюля! Вот хитрая тварь и еще потаскушка и, уж во всяком случае, вертихвостка».

На бумаге беседа эта выглядит куда более динамичной, чем в жизни. Ванфт выдавливала из себя слово за словом, косточку за косточкой. В конце она и вовсе отказалась говорить, но все же кое-что добавила: назвала старика Грундча «фавном-неудачником или, если хотите, Паном», а Пельцера — «самым отвратительным негодяем». «Такого негодяя днем с огнем не сыщешь! А я-то за него заступалась, ручалась за него; как доверенное лицо нацистской партии (гестапо? Авт.) меня о нем все время спрашивали. Ну, а после войны? Что он сделал, когда меня лишили вдовой пенсии потому, видите ли, что моего мужа убили не на войне, а в уличных боях тридцать второго — тридцать третьего годов? Этот господин даже слова не замолвил за меня. А ведь Вальтер Пельцер был в одном эсэсовском отряде с моим мужем. Не замолвил ни слова! А сам с помощью этой потаскушки и той еврейки — Дамы вышел сухим из воды, в то время как я сидела по уши в дерьме. Хватит. Я о них слышать больше не желаю. На этом свете нет ни благодарности, ни справедливости, а другого света тоже, между прочим, не предвидится».

* * *

Госпожа Кремер — ее удалось разыскать в тот же самый день — не могла дать столь исчерпывающей информации о Лени, она только все время повторяла: «Бедное милое дитя, милое дитя, бедное и наивное, милое бедное дитя. Что касается этого русского, то скажу вам по совести: лично я относилась к нему недоверчиво и так же отнеслась бы и сейчас. Не знаю, не был ли он к нам подослан гестапо. Уж очень хорошо он говорил по-немецки и уж очень вежливо вел себя. Да и каким ветром занесло его к нам в садоводство? Почему он не работал вместе со всеми другими пленными, которые разбирали разбомбленные здания и ремонтировали железнодорожные пути? Конечно, он был славный юноша, но я не решалась долго говорить с ним, во всяком случае говорить о посторонних вещах».

Госпожа Кремер была окончательно поблекшей блондинкой, вернее, бывшей блондинкой; в молодости у нее наверняка были голубые глаза, теперь они казались почти бесцветными. Мягкое лицо ее было настолько мягким, что как бы расплылось; выражение лица было незлое, а только несколько кислое и жалостливое, но не жалкое; она угощала авт. кофе, но сама его не пила; рот у нее был широкий, говорила она быстро, но как-то без выражения и вроде бы без знаков препинания. Бросалась в глаза, более того — просто-таки настораживала, неопишуемая отработанность движений госпожи Кремер при набивании гильз табаком: точное движение руки, щепотка сыроватого желто-коричневого табака, ножницы не нужны — лишней бумаги не остается. безукоризненный глазомер. «Ну да, к этому я была приучена с детства, может быть, это первое, чему я научилась — готовила курево для отца, когда в шестнадцатом году его посадили в крепость, а потом для мужа в тюрьме, да и сама я отсидела полгода; ну и, конечно, мы свертывали самокрутки во время безработицы и во время войны тоже; разучиться я при всем желании не могла». Тут она закурила, и когда авт. увидел ее с белой, только что набитой горячей сигаретой во рту, он вдруг подумал, что Ильза Кремер была когда-то молода и, наверное, очень красива; разумеется, она предложила авт. закурить, и притом без всяких церемоний, просто-напросто подвинула одну сигарету через стол и показала на нее пальцем. «Нет, нет, с меня довольно! Я всегда была не очень-то сильная, а теперь и вовсе без сил; в войну я держалась только из-за мальчугана, из-за моего Эриха; ох, как я надеялась, что, пока он вырастет, война кончится, но он вырос раньше, и они его сразу забрали, даже не дали доучиться на слесаря; он был тихий, молчаливый

мальчик, очень серьезный. И перед тем, как его взяли, я в последний раз в жизни заговорила о политике, сказала опасную фразу. «Перебегай! — сказала я. — Немедленно!» «Перебежать?» — спросил он и нахмурил лоб как всегда. Тогда я объяснила ему, что значит стать перебежчиком. И он взглянул на меня как-то странно, я даже испугалась, не проболтается ли он о нашем разговоре, но и для этого у него не осталось времени. Уже в декабре сорок четвертого они отправили его на бельгийскую границу рыть окопы, и только в конце сорок пятого я узнала, что он убит. Убит в семнадцать лет. Мальчик был всегда серьезный и такой невеселый. Он, знаете ли, был внебрачным ребенком; отец — коммунист, мать тоже. И в школе и на улице ему это тыкали в нос. Отца замучили в сорок втором, а дедушка с бабушкой сами перебивались с грехом пополам. Ну вот. С Пельцером я познакомилась уже в тридцать третьем. Угадайте где? Ни за что не угадаете. В «Кампфбунде». Вскоре после этого он посмотрел один фашистский пропагандистский фильм. Всех нормальных людей фильм отвращал, а Вальтера увлек. Драки и разбой он спутал с революционными выступлениями; из «Кампфбунда» Вальтер вылетел и записался во «фрейкор»; уже в двадцать девятом он стал штурмовиком. Кем он только не был, даже сутенером... Вот так. Ничем не брезговал. Ну и, конечно, он был садовником и спекулянтком... Словом, на все руки мастер. А теперь прикиньте, кто работал у него в садоводстве: три ярких фашиста — Кремп, Ванфт и Шелф; двое ни рыба ни мясо — Фрида Цевен и Хельга Хентер; я — бывшая коммунистка, Дама — республиканка, к тому же еврейка! Наконец, Лени. Как определить ее политическое лицо, не знаю. Но и на ней было серьезное пятно — скандал с отцом. С другой стороны, Лени числилась вдовой солдата. А потом еще этот русский, которого Вальтер и в самом деле обхаживал... Скажите, что могло случиться с Пельцером после войны? Ничего. И с ним действительно ровным счетом ничего не случилось. До тридцать третьего он говорил мне «ты» и, когда мы ненароком встречались, шутил: «Ну как, Ильза, кто придет к финишу первым, вы или мы?» С тридцать третьего до сорок пятого он называл меня на «вы». Но не успели американцы пробыть у нас и пяти дней, как он уже взял лицензию и явился ко мне — опять я стала для него «ты» и «Ильза», он уговаривал меня баллотироваться депутатом от нашего города... В конце сорок четвертого Лени однажды пришла ко мне в гости, села вот сюда, закурила, робко улыбнулась, словно собиралась что-то сказать; я приблизительно догадывалась, о чем пойдет речь, но не хотела знать. Никогда не надо знать слишком много. А я вообще ничего не хотела знать. Она молчала и робко сидела, не говоря ни слова. И тогда я все-таки не выдержала и сказала: «Теперь уже видно, что ты беременна. Кто-кто, а я знаю, что значит родить незаконного ребенка». Бедная, милая Лени. Нет, ей трудно пришлось. До сегодняшнего дня ей живется трудно».

(Продолжение следует)

Перевела с немецкого Л. ЧЕРНАЯ.



О ЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

ФЕОДОСИЙ ВИДРАШКУ

★

БАХТА

Так стою:
Прекрасный, мудрый, твердый,
Мускулистый, плечистый.
От земли вырастаю до самого солнца
И бросаю на землю
Улыбки солнца.
На восток, на запад,
На север, на юг.
Так стою:
Я, человек,
Я, коммунист.

Эдуардас Межелайтис.

ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ

— **А** что, если рассказать о вас?
Прищуренный взгляд:

— Обо мне? Я ведь партработник. А о нашем брате как пишут: «С большой речью выступил» или просто «выступил»... Так? Или еще — образ партработника в иных произведениях. То влюблен, то жена от него уходит. Он же ведь от жены уходить не может, не так ли? Или там с председателем райисполкома не ладит... Был у меня недавно один литератор-кинематографист и интересовался «острейшими» конфликтами между руководителями стройки... Между отсталыми и прогрессивными... «Если конфликтов нет, тогда мне здесь делать нечего... Пойду искать конфликты...» Слушайте, а как быть, когда в районе первый секретарь как первый секретарь, второй — умный парень, а с председателем райисполкома они просто дружат? И дома они все довольно прилично себя ведут, нормальные семьи с детьми и заботами, с радостями и хлопотами... Как тогда быть? Есть ли этим людям место в литературе, в кино, телевидении, скажем, или нет? Уж лучше я вам просто о коммунистах, о наших людях расскажу... Впрочем, о главном двигателе КаМаЗа слышали? О молодежи? Двадцать три года средний возраст!

— А вам сколько?

— Тридцать шесть. — Смеется. — Я для них — старик Беляев... У нас тринадцать тысяч коммунистов и комсомольцев столько же. О всех, конечно, не расскажешь и всех не покажешь. Но хотя бы о нескольких.

И Ранс Киямович Беляев, первый секретарь Набережночелнинского горкома партии, начал рассказ о партийной организации.

Сам и при помощи товарищей.

Дневник стройки

В июне были достигнуты самые высокие по сравнению с другими месяцами первого полугодия темпы строительства Камского автозавода и города. По титулу КамАЗа месячное задание по освоению капиталовложений выполнено на 120, а план строительно-монтажных работ — на 136,4 процента. На сооружении промышленных объектов план строительно-монтажных работ выполнен на 152,6, объектов жилищного, социального и культурно-бытового назначения — на 108,6 процента.

ШТАБ

Небольшое серое здание. Здесь горком партии, командный пункт, штаб.

На втором этаже в зале для собраний — человек сто пятьдесят. Командиры стройки, секретари партийных комитетов. Обмениваются приветствиями, переговариваются.

Восемь часов утра. Приходит и Раис Киямович. Засученные рукава, расстегнутая верхняя пуговица ворота, чуть ослабленный узел галстука.

— Доброе утро. — Первый секретарь горкома положил перед собой папку, раскрыл ее. Взгляд в зал: все ли на месте? Спокойный голос. — Положение на стройке известно. Дневник опубликован в газете. Все читали?.. Хорошо. Переходим к делам текущим. Полковник Хаустов. Оперативная обстановка в городе за неделю. Три минуты.

Начальник милиции докладывает: обстановка стала спокойней, фактов мелкого хулиганства меньше, а крупного и раньше не было.

— Ограничение продажи спиртных напитков помогает?

— Да, помогает. На улицах практически не встречаются нетрезвые. Но есть случаи исключительные. Обнаружена машина, возвращавшаяся из Елабуги. Ездили за водкой. Выпили и влетели в кювет.

— Из какой организации?

Полковник Хаустов называет организацию и руководителя.

— Покажитесь народу, — говорит Беляев.

Встает мужчина средних лет, молчит.

— Из-за вашего загара не видно, краснеете или нет. Но я думаю, вам не ловко. Садитесь. Необходимо все это обсудить в коллективе. Немедленно, пока не повторилось и не разрослось. Договорились. — Снова вопрос к начальнику милиции: — А как БКД?

Я уже привык ко всяким сокращенным словам на КамАЗе, есть, например, УАТ (управление автомобильного транспорта), УМС (управление механизации строительства) и многие другие.

И вот БКД. Секретарь комитета комсомола Юра Титов расшифровывает. Это Боевая комсомольская дружина, она делится на ОКО — оперативные комсомольские отряды. Комсомол держит в своих руках практически всю охрану общественного порядка на стройке. Шесть оперативных комсомольских отрядов из 260 ребят, прошедших юридическую и физическую подготовку, очень помогают милиции. Интересен такой факт: население города Набережные Челны выросло на сто тысяч, а милиционеров сколько было, столько и осталось. Коля Селезнев и Виктор Андреев — члены городского штаба БКД — говорили мне, что если случается какое-то нарушение, то люди часто звонят не в милицию, а в штаб Боевой комсомольской дружины.

Сейчас на вопрос секретаря горкома: «А как БКД?» — полковник Хаустов отвечает:

— Отлично, Раис Киямович... Выходят регулярно и очень помогают.

— Есть вопросы к начальнику милиции?

Вопросов нет. Есть просьба. Надо, чтобы были разосланы сводки по объектам, чтобы общественность знала о нарушителях.

— Учтите, товарищ полковник. Все. Торговля. Докладывать можно с места. Голос из зала:

— Пусть товарищи из торговли расскажут, почему мало овощей, рабочие теряют время в очередях за огурцами...

Беляев — резко:

— Прошу объяснить!

Встал молодой человек, говорит невнятно.

— Дорогой товарищ, два директора совхоза звонили в горком, что на грядках огурцы желтеют, лук и салат стареют. А тут — очереди. Мы же вас послали в торговлю, чтобы наладить там дело...

— Я всего неделю, Раис Киямович...

— Поэтому строго и не взыскиваем... Зайдите в сельхозотдел горкома, а завтра утром доложите мне, как поправили дело. И послезавтра тоже... Потом — горисполкому. В тот понедельник начнем оперативку с вас...

Следующий вопрос — прибытие людей. Заместитель начальника стройки по быту сообщает, что с устройством на работу, в общежитиях все нормально. Начальник милиции бросает реплику: как нормально? В строительных подразделениях оформляют людей, не имеющих прописки.

— Товарищи секретари партийных комитетов, — обращается Беляев, — прошу вас, берите это под свой контроль. Лето сейчас, масса, так сказать, «гуляющей» публики, желающих попробовать, где лучше. Прикинется такой кем хочешь — только бери, поработает две-три недели от силы и поедет искать дальше. Зачем они нужны? Берите под контроль. Нам не надо засорять город.

Короткие информации о состоянии дел на отдельных объектах, о предстоящих задачах и событиях на неделю.

— Да, еще одно, — заключает Беляев, — смотрите за печатью. В «Советской Татарии» помещена статья «Замороженные миллионы». Нужно ее обсудить немедленно и принять меры!

Такие оперативки в городском комитете партии стали привычными, и никто на них никого не приглашает, все знают, что каждый понедельник в восемь утра откроется дверь зала заседаний и невысокий человек в очках скажет: «Доброе утро». До этого он успеет побывать на стройке, заметить, как убран город, с людьми поговорить. И все уже знают: придешь сюда — скажи все как есть, не приукрашивай.

Вскоре я вижу Раиса Киямовича на строительстве первого подземного перехода в Набережных Челнах. У пересечения улицы Гидростроителей и бульвара Мусы Джалиля. Бульвар — главная транспортная магистраль. 28 тысяч машин в сутки! Сюда же дорожники ведут трамвайные линии. Комфортабельные вагоны поставит Чехословакия. А сейчас надо развязать этот узел. С коммуникациями сложно. Надо все предусмотреть, чтобы не пришлось потом в центре города копать снова. И первый секретарь горкома часто бывает здесь.

Проспект Мусы Джалиля... Три с половиной километра. Четырнадцатизатяжные и пятиэтажные дома, магазины столичного размаха. Там, в самом конце проспекта, универсам со всеми необходимыми товарами, надо отдать должное снабженцам — обеспечение хорошее.

Кирпичные высотные дома — самые современные, общежития. Они сейчас для строителей, потом в них поселится заводская молодежь, выпускники ПТУ. А дом со святилищем грузовиком на крыше — это здание генеральной дирекции КамАЗа. С правой стороны бульвара большой массив сосен, их посадили школьники и комсомольцы, когда закладывали гидроэлектростанцию. Здесь, на левом берегу Камы, — степь, лесов нет, сажать надо и беречь то, что посажено... За соснами — больничный комплекс и родильный дом. Придется не один роддом построить. В 1971 году — тысяча новорожденных, а в 1972-м только за полгода — пять тысяч! До конца года жди еще пять!

А проспект будет красивым! Правая сторона выше, а левая спускается к речке Мелекеске, поэтому решили дорогу в два уровня сделать. А посередине

посадить деревья. Лицы. Аромат ведь от них какой. И сирень... Таким все это видится Беляеву уже сейчас, когда выходит он на бульвар Мусы Джалиля.

— Посмотрите, кого это привезла Ханя Гусамовна? Артистов! Подойдем, — говорят Раис Киямович.

Ханя Гусамовна Газизова — инструктор отдела пропаганды горкома. С началом строительства КамАЗа у нее появились новые хлопоты — встречать и заботиться о приезжающих рабочих культурного фронта. Она встречала и нас, первую бригаду новомировцев, весной 1971 года. А сейчас в Нижнекамске и в Набережных Челнах — кинофестиваль, посвященный пятидесятилетию Советского Союза. Из автобуса выходят Иван Переверзев, Владимир Белокуров, Николай Гриценко, Людмила Хитяева, Римма Макарова, Любовь Румянцева, Земфира Цехилова...

— Прошу вас, хотя бы на несколько минут зайдите ко мне.

В кабинете Раиса Киямовича вдоль стены — крупномасштабная схема города Набережные Челны. На темно-зеленом фоне белые кубики выстроились будущими улицами, кварталами. Голубая лента Камы, река Мелекесска, залив и большое водохранилище гидроэлектростанции. Вода подступит непосредственно к городу. На водохранилище — яхты... На другой стене такая же схема заводов, широкая двухкилометровая полоса зелени, она отделит промышленную зону от городских кварталов...

— Всех вас мы очень любим, знаем по кинофильмам... А встречаться не часто приходится... Спасибо, что приехали...

Ханя Гусамовна рассказывала потом, что артисты из Москвы провели десятки встреч в кинотеатрах и в общегородских собраниях. Было невыносимо жарко, а они выступали по несколько раз в день, и никто не жаловался на усталость. На КамАЗе усталость противопоказана.

Николай Олимпиевич Гриценко, ожидая самолет на Москву на аэродроме Бегишево, построенном недавно для непосредственной связи с Москвой (на «АН-24» — 2 часа 15 минут лету), восторгался:

— То, что мы тут видели, ни с чем нельзя сравнить. Здесь работают настоящие герои. Мы, пережившие войну, видим в здешних людях Покрышкиных, Кожедубов, Жуковых, да, Жуковых. Командующих мирными армиями наших дней... Характеры этих строителей надо воплотить в полнокровные художественные образы.

Письмо

Уважаемый товарищ Беляев!

Простите, пожалуйста, за то, что отнимаю у Вас время, обращаясь по личному делу. Я понимаю, у Вас своих, камазовских, около 35 тысяч «личных» дел, да еще сколько людей ежедневно приезжают и пишут...

И если бы у меня была профессия строителя, я не беспокоила бы Вас, просто сразу приехала бы, потому что знаю — очень нужны люди этой профессии на Вашей стройке.

Но дело в том, что я педагог. По окончании университета преподаю русский язык и литературу в школе г. Еревана Армянской ССР.

К Вам едут в основном строители и по комсомольским путевкам. Я уже давно вышла из комсомольского возраста, и у меня уже двадцатилетний стаж работы. Награждалась за работу грамотами ЦК комсомола Армении, райкома партии, Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Армянской ССР.

Последние 4 года работаю завучем школы.

И еще — вот уже два года «болею» КамАЗом. Не буду писать о том, что из газет, журналов, телепередач знаю о всех событиях, которые происходят на Великой стройке. Из писем знаю, как трудно на КамАЗе, как не выдерживают этих трудностей люди малодушные, незакаленные.

Я твердо решила приехать на КамАЗ, твердо знаю, что выдержу все трудности, как выдерживают их те, кто приезжает в Набережные Челны и остается там навсегда. Я могла бы, наверное, приехать сразу, но Вы сами рассказали историю со сварщиком,

который несколько дней искал работу, потому что из СУ-1 его отослали (не нужен, мол) и из Автозаводстроя. Это сварщик-то!.. А нужны ли Набережным Челнам учителя? Мне очень хочется работать в школе — все равно в какой: дневной, вечерней, сменной, в любых классах — начальных (все предметы) или старших (русский язык и литература). Я очень хочу работать на КамАЗе, учить и воспитывать добрых и трудолюбивых людей — настоящих камазовцев, достойных их замечательных отцов и матерей, работающих на Великой стройке.

Уважаемый Раис Киямович!

Я знаю, что у Вас тысячи больших и малых дел и Вам не до письма какой-то учительницы. Но я все-таки очень и очень прошу Вас сообщить, можно ли мне приехать на КамАЗ. Мне очень важно главное — работа! Если сейчас нет места в школе, я готова лето работать на стройке. Ведь строятся же новые школьные здания, и будут нужны педагоги (может быть, даже в сентябре этого года) — вот я и прошу считать меня одной из первых за очереди.

Я буду очень ждать ответа из Набережных Челнов: можно ли приезжать?

О т в е т

Ваше письмо рассмотрено. Городской отдел народного образования сообщает, что возможность устроиться на работу будет.

Просим приехать на беседу до 1 июля 1972 года.

Набережночелнинский горно.

— Таких писем много?

— Много, конечно, очень много...

Мунивере Хуснутдиновой, инструктору орготдела, поручена нелегкая работа с потоком писем в горком партии. Она еще не вышла из комсомольского возраста, но уже член партии, к работе с людьми привыкла еще в школе, когда была женой, а затем в комсомоле на заводе в Казани.

В ее глазах — доброта, тепло. У нее и голос, располагающий к доверительной беседе.

— К нам поступают тысячи писем. И главным образом с просьбой о приезде в Челны... Как магнит, притягивает наша стройка... Все ведь обращаются к нам как к партийному органу, это правильно... Люди идут к своей партии, и очень важно, чтобы здесь к ним отнеслись с вниманием. Даже дело не в том, чтобы сию минуту просьба нашла удовлетворение, да это и невозможно, особенно, например, с жильем. Но принять человека и объяснить ему положение надо... И еще, вы знаете, надо всегда говорить правду в глаза, не обещать зря... Самое плохое в нашей работе (она имеет в виду свою работу с письмами) — это пустое обещание.

Мунивера определяет, что делать с каждым письмом, вносит свои предложения, разговаривает с руководителем организации, где работает автор. Всю почту, поступившую за день, обязательно смотрит первый секретарь.

— Вообще письма, — говорит Раис Киямович, — помогают мне быть все время в курсе дела... Читаешь и многое можешь определить по ним. Если из какой-либо организации непрерывный поток — значит, там дела неладны. Надо принять меры. Здесь очень мало анонимщиков.

Многие приходят в горком так, без заявления, просто поговорить. Они тоже сначала идут к Хуснутдиновой, и только в том случае, если ни руководители, ни партийная организация, ни местком не в силах принять решение, она рекомендует такому человеку идти к Раису Киямовичу.

ПРИЕМ

По вторникам у депутата Верховного Совета Татарской АССР Раиса Киямовича Беляева прием граждан. Я присутствовал на одном из них.

Раис Киямович на своем рабочем месте. За столом заседаний работники

горкома — председатель партийной комиссии, заведующий промышленно-транспортным отделом, заместитель заведующего отделом строительства и городского хозяйства, Мунивера Хуснутдинова.

Заходит молодая женщина с малышом на руках. Одеты хорошо, высокая прическа, модные туфли. Случилось несчастье, осталась одна, в общежитии, с ребенком. Живет с подругами, которые любят девочку. Мать женщины готова приехать, посидеть с ребенком. Любая из девушек согласна уйти в другую комнату общежития, чтобы уступить койку матери, только требуется разрешение старших, но они...

— С Василевским говорили? — спрашивает Беляев.

— С ним нет, он суровый...

— А вы? — Вопрос к Мунивере.

— Я разговаривала с его замом. Не может помочь.

Беляев набирает номер телефона:

— Товарищ Василевский!.. Как жизнь? Давно что-то не виделись... Все идет хорошо? Конечно, конечно... Когда дела идут хорошо, зачем к секретарю горкома приходить... Когда чепе — пожалуйста... Ну, ладно... Слушай, вот у меня с просьбой две женщины, одной двадцать лет, а другой три месяца... Нужно койку в общежитии для третьей женщины, матери, — матери первой, бабушки второй... Я понимаю, что трудно... Да, видишь, случай уж такой... Может, вагончики посмотришь? — Отводит трубку, спрашивает молодую мать: — Полвагончика дает Василевский. Устроит? Ну, хорошо. Привезите мать и живите пока так. Сделать больше сейчас невозможно.

Пройдет немного времени, и стройка получит еще одного квалифицированного работника: ведь Надежда Ивановна (так зовут молодую мать) — машинист компрессора...

Открывается дверь — высокая, статная, красивая женщина.

— Садитесь.

— Спасибо.

— Что у вас?

Женщина смущается. Необычная обстановка, незнакомые люди.

— Что у вас?

— По жилищному вопросу...

— Работаете?

— Я сварщица... Сейчас пока не работаю, ребенок у меня.

— Один?

— Один маленький, а вообще-то трое... Живем в вагончике. Тесно... И от школы далеко, двоим старшим — в школу идти...

— А муж?

— Он в сантехмонтаже замерщиком... Не ходит сам никуда, стесняется...

— А очередь какая?

— Пятьдесят девятая... Но когда очередь устанавливали, не знали еще об одном обстоятельстве с маленьким... — Женщина оживает, с улыбкой, но и с большой гордостью говорит: — Некоторые, знаете, даже как-то упрекают: зачем вам маленький? Но я думаю, какое вам дело, в конце концов, может быть, я еще нескольких рожу...

На мгновение призадумался Раис Киямович. Его мать родила и вырастила одиннадцать человек. Одиннадцать! Все живы, здоровы, образованны...

— Да, действительно, какое им дело. — Смотрит на присутствующих. — А детей растить — тоже большое дело... А вам что я смогу сказать — постараюсь помочь, надо поговорить с очередниками, без них нельзя, поймут... Так и договоримся...

Входит седой мужчина лет пятидесяти. Был заместителем одного из начальников управления, что-то не заладилось, видно. Начальник нашел путь довольно простой — сокращение.

— А работу не предложили?

— Нет.

— А как же так?

— Ищи, говорит.

— Ведь есть закон — сокращенный должен быть трудоустроен, это обязанность руководителя. — Раис Княмович сдерживается от резкостей, которые явно напрашиваются. — Я не буду вашему начальнику сейчас звонить... Его пригласят наши товарищи и разъяснят, как нужно поступать. Орготделу это поручается...

После Раис Княмович возмущался: как это можно, чтобы выбросить вот так человека, не побеспокоившись о нем?.. Хорошо, не нашел общего языка, это бывает, бывает такая служебная несовместимость, с этим нужно считаться. Но расставшись с человеком, с которым ты работал, прояви элементарную порядочность!.. Он знает этого руководителя, который заставил практически своего бывшего зама идти в горком... Это тоже непорядочно — подбрасывать другим свои заботы... И как-то в нашей беседе всплыл вопрос о партийной этике, о некоторых нормах партийной жизни, не предусмотренных никакими инструкциями и директивами.

Есть писанные и неписанные нормы взаимоотношений между коммунистами, нормы партийной дисциплины, разработанные на протяжении многих десятилетий существования нашей партии. Но часто (это объясняется многообразием жизненных ситуаций) партийный работник встречается с обстоятельствами, не предписанными уставом партии, партийными решениями и инструкциями.

В одной из крупнейших организаций Набережных Челнов шел прием в партию. Принимали передовиков производства, молодых рабочих, специалистов. Все шло нормально. Рассматривался очередной вопрос: о приеме одного товарища из кандидатов в члены партии. Во время прохождения кандидатского стажа он проявлял большую активность, на собраниях говорил остро, даже в газете выступил с критической заметкой. Но, как выяснилось, исказил некоторые факты. Один из членов партийной организации заинтересовался всей историей этого вопроса, и развернулась дискуссия. Парень вел себя довольно смело и со свойственной, видно, ему честностью и прямоотой рассказал, что он сообщил корреспонденту факты, тот записал их в блокнот, торопился, перепутал и, не предупредив, поставил под заметкой его, а не свою подпись. Когда вышел номер, было уже поздно что-либо исправлять. А к автору заметки изменилось отношение многих его товарищей — что же ты, мол, неправильные вещи пишешь. И вот партийной организации нужно принять важное решение. Важное прежде всего для вступающего. Секретарь партийной организации спешил. В приемной ожидали люди, да и повестка дня была еще вся впереди. Некоторые члены организации высказываются против приема, другие — за. Бывают, мол, в жизни коммуниста и ошибки, а то, что парень высказывает прямо свои суждения, не скрывая их ни от кого, то, что он говорит правду в глаза, вступает в бой с несправедливостью и с настойчивостью доводит до конца любое дело, за которое возьмется, это его украшает, это черты настоящего коммуниста. «Кто еще желает?» — спросил секретарь. «Надо голосовать», — раздался голос.

И проголосовали.

Большинство высказалось за прием. А четыре человека — против. В числе их — секретарь партийной организации.

По установившимся традициям, каждого принятого в члены или в кандидаты партии поздравляет секретарь организации. И, естественно, секретарь вышел из-за своего председательского места. «Поздравляю от души с приемом в члены партии». Подал он парню ту же самую руку, которой две минуты назад проголосовал против его приема.

Я рассказал так подробно об этом случае для того, чтобы показать, насколько важны в партийной работе тонкости, не всегда предусмотренные инструкциями. Ведь в данном случае не было допущено никакого формального нарушения. Секретарь, как любой член партии, имеет право высказаться против, именно этим он и руководствовался в данном случае. Устав не был нарушен. Все формальные нормы соблюдены. А настроение у всех было испорчено. «Полу-

чилося как-то странно, — признался мне царень, — он голосует против и в то же время поздравляет... Когда же он был прав хотя бы перед самим собой: когда голосовал или когда поздравлял? Я ведь об этом буду думать, никто мне запретить не сможет, не правда ли?»

Мне кажется, что и секретарь не ушел спокойно домой в тот вечер.

Но вернемся в кабинет секретаря горкома.

Заходит Саша Ключев. Я его вчера видел у начальника строительства Николая Максимовича Иванцова на совете лучших бригадиров КамАЗа. Обращается к Беляеву как к своему старому знакомому:

— Здравствуйте, Раис Киямович.

— Привет, Саша. Чего это ты такой грустный в рабочий-то день?

— Да неприятность, Раис Киямович.

— Ну, давай.

Вчера он рассказывал с радостью Иванцову и своим товарищам, как уложил сто тысяч штук кирпича за сутки. А сейчас — неприятность.

— Какая?

Есть на строительстве КамАЗа практика так называемого самостройки, это строительство жилья силами рабочих строительных организаций. Строят в свободное от основной работы время и распределяют жилье только между своими рабочими. Поэтому самострой — одно из серьезнейших подспорий в решении довольно трудной в условиях растущего числа населения жилищной проблемы. Один из таких домов готов уже неделю, а его не заселяют. Причины, может быть, и объективные, Саша об этом точно не знает, а рабочие, получившие ордера, заявляют, что сами заселятся, без разрешения.

— Ты, Саша, что говоришь? Как это — самовольное заселение, это еще откуда выплыло?

— Раис Киямович, я ничего не могу сделать... Поэтому пришел к вам посоветоваться и попросить ускорить дело.

— Сам тоже там получаешь жилье?

— Да...

— Вот что, Саша. Ты бригадир и не последний человек на стройке. Разговор о самовольном заселении — вздор, только неприятности схлопочешь, и больше ничего...

— А вы узнайте, в чем дело, — настаивает Саша.

— Это уже наша забота, раз ты обращаешься, мы тут разберемся, но учти, разговоры о самозаселении надо прекратить.

— А если я не в силах?.. Люди ведь...

— С людьми поговори. Они ведь не бульдозеры, а разумные существа... Ты сам понимаешь, что этого делать нельзя?

— Понимаю...

— Раз понимаешь, разъясни и другим... А сейчас давай узнаем, в чем дело. — Нажимает кнопку селектора: — Горисполком?

— Да. Раис Киямович?

— Что у вас с самостроевским домом?

— Санэпидстанция не дает санкцию на заселение. Не все коммуникации подведены.

— Кто виноват?

— Разберемся, Раис Киямович... И списки еще не рассмотрены. Не успеваем. Жилья много сдается...

— Не успеваете? Люди сто тысяч кирпичей в сутки успевают класть, а вы — списки. Знаете, сколько весит кирпич? Не знаете. Три с половиной килограмма... Списки... Съезди к этому дому, разберись и сообщи мне... — К Саше: — Слышал? Я разговаривал с заместителем председателя горисполкома, он сейчас за председателя. В понедельник разыщи меня здесь, дома — где угодно. Горком займется теми, кто отвечает за коммуникации. Сделают... А за школу вам спасибо... Молодцы ребята. Им передай тоже... И смотри, пожалуйста, ты отвечаешь за порядок на этом доме до понедельника, ладно? Ну, будь здоров.

В этот день Раис Киямович Беляев принял по личным вопросам тридцать человек.

— Делаю ли я ошибки?.. Кто их не делает? А иногда примешь решение и думаешь, правильное оно или неправильное. Всякое бывает. Вот такой случай. В прошлом году уже почти к началу учебного года мы обнаружили, что все заверения одного уважаемого строителя в том, что школа будет готова, не подкрепляются делами. Первое сентября на носу, а детям учиться негде. Я посмотрел стройплощадку — никакого напряжения. А до этого было много заверений. Значит, простой обман. Пригласили этого товарища на бюро горкома. Слов было мало. Но очень суровые: положишь партийный билет, если не сдашь школу к первому сентября! Он принес рапорт двадцать восьмого августа. Мы круто поступили. И я часто возвращаюсь к тому заседанию. Может быть, потому, что не хотелось бы повторения. Заставлять людей работать под угрозой исключения из партии — не метод. Но что поделаешь, у нас не совсем обычные условия работы...

Стройка в сентябре

Миллион давно уже стал делом обычным. В сентябре на строительномонтажных работах ежесуточно осваивалось 1 100—1 300 тысяч рублей. Государственный план месяца — 33 миллиона 155 тысяч рублей — перекрыт.

СТРАНА СТРОИТ КамАЗ

— Не трудно ли работать такими темпами? Я не ханжа и признаюсь — тяжело. Но есть долг перед своей совестью и самолюбие, если хотите. Но долг прежде всего. Ведь какое внимание уделяется нашей стройке! К нам приезжали член Политбюро ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР Алексей Николаевич Косыгин, член Политбюро, секретарь ЦК КПСС Андрей Павлович Кириленко, заместители Председателя Совета Министров СССР, руководители отделов ЦК КПСС. Мы ощущаем повседневное содействие и помощь ЦК КПСС и Союзного правительства, нам помогает практическое участие в строительстве республиканских органов Татарии. Секретари обкома партии Фикрят Ахмеджанович Табеев и Михаил Трофимович Троицкий больше находятся здесь, чем в Казани. В горкоме имеют рабочую комнату, как и мы, челнинцы. И потом, еще одно. Как можно работать плохо на виду у всей страны? Ведь нет уголка, где бы о КамАЗе не знали, и к тому же все нас поддерживают. Вот посмотрите.

Раис Киямович дает мне папку газетных вырезок. Скупые сообщения. Вот только некоторые из них.

Для гиганта на Каме

Коллективы проектных организаций Госстроя СССР и Министерства автомобильной промышленности обязуются обеспечить досрочную и комплектную выдачу рабочих проектов пускового комплекса автозавода.

Коллективы Воронежского завода тяжелых механических прессов и Киевского завода станков-автоматов имени Горького предусматривают досрочно спроектировать, изготовить и поставить в 1973 году для Камского автомобильного завода автоматические линии, включающие в себя мощные специальные прессы изготовления картеров, крышек картеров и суппортов задних мостов. Обеспечить поставку в 1974 году на два-три месяца раньше срока 50 тяжелых высокопроизводительных механических прессов и 91 полуавтоматического станка.

Коллектив Узловского машиностроительного завода обязуется ранее намеченных сроков спроектировать, изготовить и поставить краны грузоподъемностью от 10 до 30 тонн.

Коллективы Московского объединения «Автозил», ярославского объединения «Автодизель», горьковского объединения «Автогаз» и Минского автомобильного завода обязались разработать технологический рабочий проект производства коробок перемены передач и сцепления на два месяца раньше установленного срока. Подготовить не менее 7500 квалифицированных рабочих и инженерно-технических работников для Камского завода.

Одобрен генплан

Состоялось совместное заседание Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Совете Министров СССР, Госстроя РСФСР, бюро Татарского обкома КПСС и Совета Министров ТАССР. Был одобрен генеральный план строительства города Набережные Челны и решено представить его на утверждение Совета Министров РСФСР.

Главный архитектор проекта — директор ЦНИИЭП Б. Р. Рубаненко.

Тольятти: новый завод

Рядом с Волжским автомобильным гигантом встанет еще один крупный завод. Он будет выпускать ежегодно сотни тысяч генераторов и стартеров для своего старшего соседа и для строящегося камского автогиганта. Коллективы проектного управления ВАЗа, Тольяттинского отделения Промстройпроекта, Куйбышевского отделения Электропроекта и других институтов страны недавно завершили подготовку технического проекта нового предприятия.

Перелистываю папку и вижу сотни и сотни сообщений из Москвы, Ленинграда, Киева, Тбилиси, Иркутска, Челябинска, Еревана, Баку, Кишинева, Днепрпетровска... Хотел назвать республики, города и предприятия, откуда поступают материалы и оборудование в Челны. И очутился перед той же трудностью, что и Марс Рамазанович Назыров, секретарь парткома КамГЭСэнергостроя. Он рассказывал, что попытался протянуть по карте нити от Набережных Челнов к тем местам, откуда идут сюда люди и грузы. Обнаружилось, что почти нет местности, не имеющей связи с городом на Каме. Карта оказалась сплошь в переплетении нитей. И тогда появилась эта папка: «Страна строит КамАЗ».

ЕЩЕ НЕ ПОЖЕЛТЕВШИЕ ДОКУМЕНТЫ

Естественно, они пожелтеют и станут бесценным архивом. Но сейчас аккуратно подшитые в дешевых канцелярских папках протоколы, содержащие свидетельства о первых шагах строителей КамАЗа, свежи. Хотя и они стали ветеранами стройки. Два года стаж дадут здесь право на это название.

Сведения
о составе Набережночелнинской парторганизации

Год	Город	Село
1969	3409	1591
1970	4965	1614
1971	8077	1590
1972		
(1-е полугод.)	9704	1571

Набережночелнинский горком объединяет не только партийные организации города, но и организации всего Набережночелнинского района. Так сложилось.

Подумаем немного над таблицей.

За два с половиной года коммунисты города Набережные Челны (3409 человек) должны были взять на учет, объединить в организации, вовлечь в активную работу 6295 прибывших коммунистов и уже вместе с ними принять и включить в работу 70 тысяч строителей! Сельские коммунисты должны были помочь найти для этой массы людей кров, обеспечить едой.

За документами скрывается огромная организаторская работа набережночелнинских партийцев, их бессонные ночи.

Я видел, как прибывали желающие строить КамАЗ в самый «пиковый» год создания коллектива — 1971-й. Мест в общежитиях не было. Восемь тысяч семей города Набережные Челны брали по одному, по два, а то и по три человека на квартиру, тысячи людей были размещены в селах. Коммунисты в исключительно трудный для строителей год — почти все лето и осень не переставая лил дождь — не успокаивались до тех пор, пока прибывающие по путевкам и по вызовам стройки люди не устраивались с жильем. Нередко приходилось увозить вновь прибывших в деревни за пятьдесят — шестьдесят километров от города. Устраивать людей было тогда первейшим партийным поручением.

Приезжали опытниейшие строители и партийные вожаки, выросшие и закалившиеся на других ударных объектах предыдущих пятилеток. Нынешний начальник управления строительства Автозаводстрой Владислав Александрович Фоменко управлял промышленным комплексом в Братске, главный инженер КамГЭС Владимир Александрович Альфиш работал на строительстве Балаковской ГЭС, секретарь парткома Автозаводстроя Владимир Петрович Кирюхин — опытный партийный работник из Астрахани. Все они, как и многие другие командиры стройки, жили вначале в палатках около своих объектов.

По документам можно проследить, как нарастало на стройке и в районе напряжение, как подбирались и утверждались кадры, как вновь созданные партийные организации брались за работу с ходу.

Основные работники (свыше 1200 человек) входят в номенклатуру горкома. Их утверждает бюро. Недавно на пленуме горкома, когда рассматривались проблемы предстоящего обмена партийных документов, Раис Киямович Беляев сообщил, что в Набережных Челнах 127 партийных организаций, 260 цеховых и 400 партийных групп. Они являются цементирующей, скрепляющей силой коллектива строителей КамАЗа и будущих автомобилестроителей.

Такое движение коммунистов и бурный рост коллективов в строительной практике нашей страны встречается не так часто. Рассказывали мне, что, когда представлялись сведения об участии в выборах в местные Советы, один работник республиканской избирательной комиссии позвонил в горсовет, чтобы удостовериться, на самом ли деле такой прирост избирателей (на 28 тысяч!) по сравнению с прошлыми выборами или это ошибка. Получив подтверждение, позвонил еще и в горком. Поверил с трудом.

Создание большого коллектива строителей, безусловно, сложнейшее дело. Но его укрепление, забота о его росте и воспитании — дело куда более сложное.

Некоторые руководители стройки рассуждали: сюда приехали люди из других коллективов, там их воспитывали, растили. Здесь же нужны темпы, строить надо. Партком без внимания эти настроения и принял постановление, в котором подчеркивается, что «воспитание всех трудящихся в духе идейности и преданности коммунизму, великим заветам В. И. Ленина, коммунистическому отношению к труду, полного преодоления пережитков буржуазных взглядов и нравов является первейшей обязанностью всех коммунистов, руководителей — хозяйственников, инженерно-технических работников, для которых ответственность за морально-политическое состояние коллектива равноценна выполнению производственных планов».

Мне говорили, что над проектами КамАЗа и города работает около ста институтов. Вопросы решаются оперативно на основе современного уровня развития науки и техники. И какие бы ни встретились трудности, завод будет построен и

автомобиль будет выпущен. На плечи же партийной организации, кроме главной задачи — построить и пустить завод, — легла обязанность воспитывать человека. Часть строителей, когда завод будет пущен, уедет на другие стройки, но за то время, которое они находились в Челнах, станут ли они лучше или хуже как строители нового общества, несет ответственность партийная организация.

И об этом многое говорят не пожелтевшие и не ставшие еще архивом документы.

КОГДА ПЕРЕМЕСТИТСЯ ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ

Мой собеседник — кандидат экономических наук Аркадий Андреевич Родыгин, секретарь партийного комитета генеральной дирекции КамАЗа — занят сейчас будущим заводом. Ведь недалеко то время, когда центр тяжести переместится с управления строительством на плечи автозаводцев.

Генеральную дирекцию возглавляет Лев Борисович Васильев, заместитель министра автомобильной промышленности страны, до недавнего прошлого — директор Московского автомобильного завода малолитражных автомобилей. Из бесед с ним и с Аркадием Андреевичем стало ясно, чем занимается в настоящее время генеральная дирекция автозавода, ее партком. Сам партком существует более года. Летом уже было 1700 коммунистов, а всего работающих свыше 12 тысяч человек. Это уже ядро того коллектива, который призван, как говорит Родыгин, не только выпустить первый автомобиль в 1974 году, а и наладить производство грузовиков для народного хозяйства всей страны, проследить, чтобы строящийся завод был способен бесперебойно работать и давать машины на уровне мировых стандартов.

Итак, задача дирекции и парткома — обеспечение всей технической документации, контроль за правильным воплощением ее в бетоне и металле, участие рабочих, инженеров и техников в самом строительстве, подготовка кадров, своевременный завоз оборудования. На объектах набережночелнинского комплекса будет смонтировано тридцать пять с половиной тысяч единиц одного технологического оборудования, сотни автоматических линий. И уже к началу 1974 года на заводах должны работать десятки тысяч квалифицированных рабочих... Все это задачи, которые необходимо решать сейчас.

— А как решается на заводе проблема привлечения к работе самих строителей КамАЗа?

— Это вопрос, так сказать, качества работников. Ведь не любой строитель сможет автомашину делать.

— Многие нынешние камазовцы хотели бы остаться здесь, учиться на автомобилестроителя.

— Мы учитываем их... У нас есть картотека на желающих работать. Человек прислал заявление, мы учитываем его просьбу.

— А обучение строителей будущим необходимым специальностям ведется?

— В условиях нашего города трудно обучать, для этого нужна база, то есть автомобильный завод. Обучение должно вестись на автомобильных заводах страны. Со временем и мы будем располагать своими учебными заведениями при заводе, и желающие смогут получить специальность... Одним из серьезных источников рабочей силы будут средние школы города Набережные Челны и близлежащих районов и городов. В парткоме обсуждали проблему ознакомления старшеклассников с основами автомобилестроения в школах, введения так называемой профориентации на наш завод уже сейчас...

Аркадий Андреевич делится своими мыслями о том, как трудно бывает порой воспитывать кадры на ходу, когда ограничены сроки и возможности, и как важно, чтобы коллективы, направляющие сюда людей, думали над тем, насколько эти люди подходят и по своей квалификации и по своим человеческим качествам для такого большого дела.

— Мы стараемся брать прежде всего рабочих-коммунистов. В условиях, когда формируется такой серьезный коллектив, текучесть — страшный бич. Мы

создаем сейчас ядро коллектива и стараемся, чтобы оно было без червоточины. Инженерно-технических работников берем обязательно с образованием, практиков среди ИТР только четыре процента. Свыше сорока процентов ИТР — члены и кандидаты в члены партии. Шестьдесят процентов коммунистов имеют высшее образование.

Недавно партийный комитет генеральной дирекции вместе с парткомом КамГЭСэнергостроя провели собрание коммунистов, участвующих в строительстве главного пускового объекта — ремонтно-инструментального завода.

Коммунисты двенадцати партийных организаций, подчиненных различным партийным комитетам, обсуждали по-хозяйски, сообща все необходимые меры для обеспечения своевременного пуска в строй РИЗа. Никакого узковедомственного подхода не было. Это тоже новое в не всегда легких взаимоотношениях строителей и заказчиков.

Рассказывали мне о таком случае. По решению правительства направляемые на стройку рабочие и специалисты получают доплату в размере 50 процентов своего прежнего оклада или тарифной ставки в течение полугода, пока они смогут приобрести специальность. Многие отказываются от этой доплаты: «Дайте нам фронт работ, мы будем зарабатывать, не пенсионеры, доплата не нужна!»

Коммунисты готовят коллектив к тому, чтобы он стал настоящим хозяином будущего завода.

РАССКАЗЫВАЕТ ЕВГЕНИЙ НИКАНОРОВИЧ

Первого заместителя начальника строительства Камского автомобильного завода Евгения Никаноровича Батенчука знают на стройке все. И шоферы, и бригадиры, и начальники участков, и воспитатели общежитий. Одни говорят о нем — Батенчук, другие — Евгений Никанорович, третьи — Батя, четвертые — дядя Женя. Он член бюро городского комитета партии. «Поговорите с Батенчуком», — посоветовал мне Раис Киямович.

Впервые я увидел его весной 1971 года. По селекторной связи докладывали диспетчеры, а он отдавал распоряжения.

— Евгений Никанорович, на теплоходах прибывают тысяча двести студентов. Разнарядка остается в силе?

— С ночлегом — да. Все останутся на судах, пока установят палатки. На работу будет возить автоколонна. Шестьсот — на БСИ (база строительной индустрии), шестьсот — на строительство подъездных путей.

— Евгений Никанорович, прибыл транспорт с кирпичом из Москвы, пятьсот тысяч штук.

— Сообщите Главмосстрою...

— Евгений Никанорович, из Казани прибывают семьдесят поваров...

И так без конца.

Два утренних часа Евгений Никанорович Батенчук принимает рапорты, отдает распоряжения, беседует с начальниками подчиненных ему подразделений здесь, в управлении строительства. Остальное время он на строительной площадке.

Интересно беседовать с человеком, построившим сразу же после войны гидростанцию «Красная поляна» близ Сочи, работавшим на строительстве Иркутской ГЭС вместе со знаменитым строителем Бочкиным... Евгений Никанорович возглавлял уникальное строительство гидростанции на вечной мерзлоте на Вилюе. Судя по перечню дел, в которых он участвовал, ему уже много лет, но выглядит внешне и по тому, как работает, настоящим богатырем, человеком, которому не страшны никакие трудности.

У меня есть магнитофонная запись беседы с Батенчуком в его комнате на третьем этаже здания управления КамГЭСэнергостроя.

Итак, рассказывает Батенчук.

— Я работал в Иркутске, когда меня вызвал Иван Трофимович Новиков. Нужно построить Вилюйскую ГЭС,— говорит.— Да, думал я, вряд ли семья

согласится ехать из Иркутска. Значит, обрекаю себя там на одиночество. Вот такая глупая мысль пришла. Но раз сказали, значит, надо ехать. Приехал домой в Иркутск. К моему удивлению, жена и дети восприняли это дело даже с радостью. Дочка старшая все спрашивала, сколько мы еще будем здесь сидеть, в Иркутске. Непривычно, пять лет прошло, а мы еще здесь, семь лет прошло, а мы еще здесь, сейчас уже десятый год идет, а мы еще здесь. Пора менять место жительства.

Ровно через шесть месяцев жена собрала всех и приехала в Мухтуй, хотя жить негде было. Через год перебрались в Мирный. Расположились, развернули палаточный город. Ленинградские комсомольцы разбивали будущие улицы, ставили палатки. Первая палаточная улица — Ленинградский проспект. Сейчас это действительно проспект. А тогда — одни палатки. Московские комсомольцы называли свою улицу Московской, так она и сейчас называется. Потом улица Ленина, Комсомольская улица. Так начали строить Мирный и добывать алмазы. Построили вначале небольшие обогатительные фабрики, а через несколько лет в Мирном выросла целая семья первоклассных предприятий высшего мирового стандарта. Страна избавилась от необходимости ввозить алмазы.

Строить Вилюйскую ГЭС пришлось в трудных условиях. Таких трудностей, как там, я еще не видел. Все, что нужно для строительства станции на вечной мерзлоте, приходилось возить из обжитых районов, а кругом тайга и полные бездорожье. Грузы накапливались на Мухтуе, на перевалочной базе, и когда река и болота замерзали, мы прокладывали дорогу по льду и двигались до места строительства в сторону моря Лаптевых, севернее Мирного километров на девятьсот. И это только один раз в год, по зимнику. Надо было все предусмотреть, ничего не пропустить. Если что забыл, значит, жди до следующей зимы. Построили мы эту первую в мире станцию на вечной мерзлоте за семь лет. Пустили и сдали государственной комиссии. Пятьсот человек были награждены орденами и медалями.

А на КамАЗе я уже второй год. Это громадина. Махина, которую трудно охватить. Таких строек у нас не было. И для того, чтобы охватить всю стройку, узнать ее, мне, например, потребовалось месяцев шесть. Она сложна по организации производства работ, людей, техники всей. Не так просто организовать смену, день, час работы стройки. Народ съехался со всех концов страны, есть такие, которые даже ничего не строили, а приехали, решили стать строителями.

Любой большой коллектив начинается с бригады. Хорошие, опытные бригадиры, дружные бригады — это уже большое дело. Организуй их как следует, координируй их действия — и успех обеспечен. Это как взводы в армии. Люди научились работать в дождь, слякоть, мороз. Появился рабочий широкого профиля, который умеет делать все — от сварки до укладки бетона. Это то, что нам требуется. Потом много очень опытных механизаторов. К нам поступает самая совершенная новая техника, тысячи единиц, и ребята оседлали ее.

И что еще очень, очень важно. У нас группа молодых и горячих в хорошем смысле слова партийных работников, понимающих, как мобилизовать людей на производство. Хорошая комсомольская организация. Она большая — тринадцать тысяч человек. Секретарь — Юра Титов, парень что надо и комсомольский вождь настоящий. Комсомольская организация здесь гораздо сильнее тех, что я видел на других стройках. Чувствуется молодежный задор. И влияние комитета комсомола на молодежь. Молодые считают комсомол своей организацией. Даже если они не комсомольцы.

Вы знаете, как они ведут борьбу против нытья? В большом да и в малом деле, по-моему, нытики — это самое неприятное... Видел я одного нытика на РИЗе. Все жаловался на дожди, слякоть, мороз. Кончилось тем, что рабочие сказали: «Замолчишь ты или нет?! Что ты свое и наше настроение портишь? И так все раскисло. Непогода расквасила землю, а ты нам душу расквашиваешь. Работать надо, а ты ноешь».

— Вам сейчас легче, чем в прошлом году?

— Безусловно, потому что в прошлом году я приехал и ничего не знал. В этом году я уже почти все знаю. То, что сегодня делается и что в будущем должен делать. И более организованным стал.

Возвращаемся снова к вопросам партийной работы.

— Нам очень повезло, что у нас такая партийная организация. Татарский обком в моем понятии — это активный, собранный боевой штаб. Горком наш тоже боевой. И вместе с тем не такой, чтобы излишне администрировать, что ли. Больше занимается воспитательной работой. Горком своим долгом считает, прежде всего, помочь руководителям быстрее строить КамАЗ. И мы опираемся на партийную организацию. И вообще я считаю, что тот не руководитель, который не опирается на партийную организацию. Наша беда в том, что мы еще не всем привили понятие партийности в своей работе, в своем поведении...

КОСТРЫ

Большие краны срывают своими стрелами телефонные провода, подземные кабели прокладывать нельзя — кругом роют. Единственная надежная связь — это рация.

— Шестой, я первый, ответьте первому!

— Шестой слушает.

— Через тридцать минут буду у вас. Посмотрите, как идет разгрузка сборного железобетона. Отгружено двенадцать вагонов.

— Первый, я шестой. Уже поданы вагоны под разгрузку. Все идет нормально. Не прибыл автобус с седьмого.

— Седьмой, ответь первому.

— Как у вас с керамзитом?

— Не привезли.

— Через сорок минут буду в диспетчерской. Выходите на связь со мной.

Каждый день в семь часов утра Анатолий Викентьевич Котвицкий едет по стройке. Его объекты — социально-культурно-бытовое строительство в Набережных Челнах.

И у начальника строительства Героя Социалистического Труда Николая Максимовича Иванцова, и в горкоме партии я узнал, что в начале этого года было принято решение сконцентрировать все, что относится к сфере обслуживания — школы, больницы, детские сады и ясли, магазины, столовые, прачечные, дома быта, дворцы культуры — в одно управление Соцбыткультстрой. Найти человека, чтобы взял на себя весь этот груз, было не просто. Все эти объекты — а их 60 — то ли начаты каким-либо строительным управлением, то ли еще в проекте.

Раис Киямович Беляев рассказал, что в прошлом году из Казани был направлен на работу в горком молодой инженер, известный в Татарии руководитель первых студенческих отрядов на целине (он в Кремле знамя получил!), организатор строительства крупного международного молодежного лагеря под Казанью (этот лагерь и сейчас самый лучший), выпускник Казанского инженерно-строительного института, коммунист Анатолий Викентьевич Котвицкий. Его сразу же утвердили заведующим отделом строительства горкома. Избрали членом бюро. Стал Анатолий правой рукой первого секретаря. Кто из партийных и хозяйственных руководителей не знает, как хорошо, когда на ключевом участке находится знающий, старательный человек. И как нелегко с ним расстаться, когда этот человек вырос и следует его передвинуть на более самостоятельную работу, где он, естественно, принесет больше пользы. Беляев сам внес предложение о назначении Котвицкого руководителем весьма сложного участка на стройке. «Сильный, красивый, от роду тридцать четыре года и росту почти два метра, — пошутил Раис Киямович, — выдержишь ты эту нагрузку».

— Седьмой, я первый, ответьте первому.

— Слушает седьмой, Анатолий Викентьевич.

— Я только что был у шестого... Там непонятно почему не вышел панелевоз... Прошу выяснить... Через полчаса буду у школы...

Это первая школа в Новом городе. Просторная, светлая, с тридцатью двумя классными комнатами, с актовым залом и с широким киноэкраном, с кухней и просторными буфетами, с помещениями для кабинетов точных и общественных наук и с широкими коридорами, вестибюлем и библиотекой... Школа-дворец, со своим уже назначенным директором, доброй женщиной по имени Роза Ахатовна Закирова, которая ждет, когда строители закончат и она сможет дать первый звонок в первой школе нового города Набережные Челны... А пока Анатолий Викентьевич Котвицкий ведет планерку по сдаче школы к 1 сентября (все руководство управления принесет сюда раскладушки и унесет их в канун сдачи!), я слушаю спор юных художников из Ленинграда, приехавших украсить здание художественным панно. Они говорят Котвицкому, что надо выровнять площадку, завезти чернозем, засеять траву, чтобы зазеленела трава к первому звонку. Анатолий Викентьевич беспокоится, чтобы было место для сбора пионерской дружины и чтобы в день открытия был здесь зажжен первый в Новом городе пионерский костер.

Двухпалубный речной теплоход «Москва» заполнили рабочие, получившие путевки на базу отдыха Соцбыткультстроа.

Была для меня эта река знакомой с детства, от Алексея Максимовича:

Город на Каме, где — не знаем сами...

Кама здесь, у Челнов, широка, принявшая уже свои главные горные и степные притоки. Пойма, раздавшаяся вширь на многие километры, правый берег у Елабуги — картины Шишкина, уроженца этих мест.

Час плывем по Каме. Солнечно и тепло. На правом берегу — леса, на левом, степном, берегу то тут, то там дает о себе знать стройка. Кама несет ее большие грузы, Кама дает воду, дарит людям отдых.

Выходим на берег по свежеструганному трапу, пахнет смолой и свежестью леса, дует легкий ветерок. Цепочкой вдоль реки — глубокие прохладные озера с наскоро сооруженными причалами, трамплинами и сбитыми из досок длинными столами. Под ивами большие палатки на 20, а то и на 30 человек. Уже выдают постели — матрацы, подушки, простыни... Идет самоустройство, веселое, шумное, мгновенное. А когда стемнело, между Камой и озерами зажглись костры, запахло дымом, печеной картошкой и попритихли голоса — почему-то у костров говорят тихо, задумчиво. Может быть, вспоминаются другие костры, костры детские, пионерские...

У костра, около высокого комля — мои знакомые Валерия Шамильевна и Юрий Михайлович Масленниковы. Это партийные работники. Приехали посмотреть, как отдыхают рабочие. Да и самим ведь нужен отдых. Высокий мужчина в белой рубашке с коротким рукавом сложил руки крест-накрест и, ссутулившись, как все высокие, говорит тихо с Масленниковым:

— Пойдем завтра чуть свет ягоды собирать... Километра полтора нужно отойти, и там лес, поляны, и ягоды есть, в прошлое воскресенье целый бидон набрали часа за два...

Потом присел у костра, молчит. Это Котвицкий.

Города, где я живу,
По которым прохожу...

Звучит музыка над лагерем, там, за озерами, танцуют.

А неподалеку гитаристы выжимают из семиструнных однообразные, тут же, может быть, сложенные слова:

КамаЗ, КамаЗ, кругом КамаЗ,
А мы посередине...

И вдруг — знакомый голос.

— А какие песни будут петь через двадцать лет?

Вопрос задала Рита Низковских. Она инструктор парткома и уже несколько месяцев вместе с комсомольским комитетом занимается организацией и проведением фестиваля союзных республик и слышит много песен, привезенных на Каму со всех концов страны.

— Наши песни будут петь, — спокойно отвечает Котвицкий. — Наши...

И пошел разговор о том, какие песни пели они сами, рожденные в канун войны, обделенные родительской лаской ровно наполовину — отцы почти всех ушли на фронт и почти все не вернулись.

— Мой отец пришел с фронта прямо ко мне в детский садик... «Моя доченька, моя доченька!» — говорил, взял на руки и понес домой, а там комната огромная, посредине стол, и больше ничего... А другой раз я как-то упала, вымазала платице, заплакала, а он, помню это почему-то очень хорошо, взял мою руку, положил ее на край стола и стал гладить, гладить и успокаивать: «Ничего, доченька, ничего, ты вырастешь большая, и мы с тобой пойдем далеко-далеко...» Он умер потом, был сильно ранен, а я все вспоминаю, как он мою руку гладил...

Это говорила, волнуясь, Валерия Масленникова.

Примолкли. Подбросили сухих веток.

— Какие песни пели мы? Да, да... Какие мы пели песни?

Взвейтесь кострами,
Синие ночи!
Мы, пионеры, —
Дети рабочих.

Звучала эта песня над костром на берегу Камы. Пели ее взрослые...

А затем разговор пошел о другом. Посмотрите, как люди одеваются, как питаются... Заходите в дом вечером, в квартиру работника поселка или села, — современная мебель, полки с книгами, телевизор, радио, газовая плита... Включите телевизор... Вам московский диктор улыбнется и скажет: «Добрый вечер» — и вы забудете, что находитесь на Урале или на Средней Волге... А самолетом от Москвы до Челнов — два часа... В этом общем как-то почти все сравнялось... Духовно же еще не все одинаковы, далеко не все. Есть настоящие люди — героические, добрые, образованные, принципиальные... А есть и нечестные, злые, просто мерзавцы еще есть. Когда их не станет?..

Какие песни будут петь наши дети через двадцать лет? Это от нас зависит. Какие песни поем мы сейчас, зависело от наших родителей, от наших воспитателей...

Вспоминаю разговор с Раисом Киямовичем.

— Вы думаете, так легко было сняться и уехать из Казани? Был я первым секретарем обкома комсомола, потом первым секретарем райкома партии... Устроены город, друзья, семья, сами понимаете... Но приглашают меня в обком, разговор о стройке, потом беседа с Фикрятом Ахмеджановичем Табеевым... «Поедете?» Ну, сами понимаете — что я скажу... Внутренне я был готов к такому разговору. И очень скоро — решение бюро. Приехал я сюда (жена у меня сразу согласилась — проблем, так сказать, конфликтных не было), посмотрел на поле, где сейчас литейный, — огромный камень и на камне надпись: «Здесь будет построен Камский автомобильный батыр». Я взволновался и подумал: на великое дело тебя послали... И знаете, первый раз в жизни сам себе клятву дал. Бывают же такие внутренние клятвы, торжественный разговор с самим собой. И я врос в эту землю. Чувствую ее не только своими подошвами, а всем сердцем. Патетика? Нет, скажу я вам. В такие минуты думаешь о судьбе поколений. Поколение моего деда обессмертило себя творением великой революции, которая поставила на ноги и тех, кто жил тогда, и тех, кто будет жить через тысячу лет... Поколение моего отца защитило социальный строй, утвержденный той революцией. Ваше поколение восстановило разрушенное войной и построило то, что мы сейчас видим. Мое поколение наполнилось силой трех предыдущих... Опыт их, знаниями, преданностью и верой. Мое поколение благодаря борьбе трех предыдущих ничего не восстанавливает, оно только строит и защищает завоеван-

ное. А следующее за мной поколение вместе со мной, и вами и нашими отцами строит этот батыр. Когда говорим, что средний возраст камазовца двадцать три года, — в этом огромный смысл и великий итог. Это поколение взяло все от нас плюс современные знания. И когда я думаю об этом, это мои звездные мгновения... Видите, и партийных работников заносит, как и поэтов, в звездные мгновения...

РАЗГОВОР О КТУ

Когда бы вы ни приехали на КамАЗ, от первой встречи с ним и до самого отъезда, а потом и по пути домой в самолете, поезде или на «метеоре» по Каме и Волге встает перед вами один и тот же вопрос: каким образом управляется эта громадина?

В прошлом году довелось наблюдать, с какой легкостью отдавал распоряжения Евгений Никанорович Батенчук, как он быстро маневрировал тысячами людей, сотнями механизмов, сложнейшей техникой, сотнями тысяч тонн прибывающих грузов, и передо мной возник образ многоопытного полковника.

Чем же обеспечивается дисциплина и организованность этого коллектива, который с таким размахом строит невиданный доселе комплекс заводов без временных помещений, с высотным, современным городом?

Я задал этот вопрос парторгу бригады бетонщиков Анатолию Андреевичу Кузнецову.

Он показал рукой на место своей работы. Представьте себе котлован почти километровой длины и метров 600 в ширину, глубиной в двухэтажный дом. Под мощными лучами прожекторов с одного конца надвигаются рыжие металлические сплетения, похожие на фантастический сбросивший листву лес. И «лес» этот буквально поглощает воздвигаемые бетонщиками подколонники. Сотни людей, гул кранов, треск электросварочных аппаратов, урчание то и дело подъезжающих и отъезжающих бетоновозов, очереди пневматических молотов... Пройдет немного времени — и здесь будет крупнейший в стране завод точного литья серого ковкого чугуна и цветного литья. А пока трудятся бригады. День и ночь, в любую погоду, под открытым небом. Разговаривать на площадке трудно, от шума почти ничего не слышно, и мы вошли в бытовку. Чисто, уютно. На стенке у входа висит газета «Социалистическая индустрия» на строительстве КамАЗа». С первой страницы улыбается Николай Шемякин. Он ушел в отпуск, и ребята то ли в шутку, то ли всерьез говорят: пусть бригадир будет с нами.

— Вас интересует, на чем КамАЗ держится? — спрашивает Анатолий. — Если коротко ответить, то на фундаментах... Они разные — классические, как говорят ученые, бетонные подколонники, и современные, внедренное здесь последнее слово техники — буро-набивные сваи, такие бетонные на металлическом каркасе. На них, на фундаментах все устанавливается, все держится.

Но есть у КамАЗа другое основание. крепче любой стали и железобетона. Это его люди, объединенные в бригады, скрепленные силой коммунистов и комсомольцев. На них держится все.

Пять коммунистов в бригаде Николая Шемякина — Виктор Ведерников, Алик Пак, Гульдия Саберзянова, Валерий Громов и Анатолий Кузнецов. Все бетонщики, владеющие и специальностью плотника-опалубщика. В бригаде три звена. Когда они создавались, решили: в первом звене будут работать Виктор Ведерников и Алик Пак, во втором — Гульдия Саберзянова и Валерий Громов, в третьем звене — парторг. Комсомольцы — а их 14 — распределяются тоже по звеньям. Каждое звено шлет своих избранных представителей в совет. Это такой орган, через который коммунисты решают все вопросы жизни своей бригады. Посмотрели, как работают на других участках. В это время бригада Раиса Салахова из Жилстроя-2 призвала всех камазовцев добиться перевыполнения задания каждый день, каждую неделю, каждый месяц, на каждом объекте, и с высоким качеством. Бригада инженера Виктора Дерезина бросила другой клич: «Вдвоем трудиться за троих!» Виктор Ведерников, недавно демобилизованный моряк, прибывал в бытовке эти лозунги с секретарем комсомольской организации

Василием Поляковым и сказал ему: «Давай, Вася, приедем и свой». И с того дня во всю заднюю стенку бытовки заперестрела надпись: «Что ты сделал сегодня для роста КамАЗа?» — И потом дружеская и настойчивая просьба бригадира и парторга: — «Ребята, давайте не подводить друг друга».

Кузнецов достает из кармана потертый блокнот. Открывает.

— Тридцать три человека у нас в бригаде. И каждому говорю: «Я за тебя отвечаю, ты за меня, давай друг друга не подводить». Ведь для длинных речей здесь ни времени, ни места... И очень уж важно, если ты бригадир, мастер или парторг, чтобы у тебя все было хорошо и с работой и в поведении твоём. У нас много молодых, вы знаете, какие они теперь, пустым словом не возьмешь. Нужен личный пример. И тогда они поддержат тебя во всем, даже когда круто, даже когда приходится применять отрицательный КТУ...

— А что это?

Анатолий объясняет, что бригада работает по общему бригадному наряду и заработок распределяется по коэффициенту трудового участия каждого ее члена. Это сплавивает коллектив, показывает на деле, что такое хозяйственный расчет, какова его польза. Совет бригады определяет коэффициент трудового участия при начислении заработка. КТУ можно повысить, когда человек действительно это заслужил своим старанием, умением, добросовестностью, тогда это положительный КТУ, можно и снизить, применить отрицательный КТУ. Был случай, когда хороший парень Н. погулял на свадьбе у приятеля и на работу не явился. Пришел на третий день. Простите, мол, так получилось, больше не буду. А из-за него смены работали с перенапряжением, чуть задание не сорвали. Как быть? И совет решил — снизить КТУ до 0,8. Это значит, что если Н. мог бы получить за полмесяца сто рублей, получит только 80. И это решение совета бригады окончательное, его не может отменить и начальник строительства. Конечно, к применению отрицательного КТУ совет бригады прибегает в крайних случаях. Чаще всего применяется положительный КТУ: 1,1, 1,2 и даже 1,3. Меры поощрения, говорит Кузнецов, действуют гораздо сильнее, чем меры наказания. И в результате не было такого случая, чтобы бригада в целом не выполнила бы плана. Как правило, все время перевыполнение — 150, 200, а то и 250 процентов.

Дверь вагончика открылась, девушка позвала:

— Анатолий Андреевич, две машины привезли вместо одной, что делать?

Анатолий извиняется, уходит, возвращается через час раскрасневшийся, рубаха нараспашку, мокрая.

— Бывает и так иногда: подвозят лишку, бетонный завод набирает силу и засыпает нас бетоном, и тогда все беседы, перекуры, отдых — долой. Вот и сейчас так. Бетон не любит, чтобы с ним медлили.

Я видел летом, как работает Анатолий Кузнецов — быстро, уверенно, его всегда зовут туда, где трудно. Мне казалось, он всю жизнь бетонщик. Но эту специальность Анатолий освоил здесь, на КамАЗе. До приезда в Челны работал на Дальнем Востоке, лес возил и старшиной на катере плавал. А здесь новое дело освоил, демобилизованный моряк Виктор Ведерников помог. Недавно в партгруппе обсуждали, как обстоят дела с учебой. Хотя кучки нет, но случается: кто-то уходит в институт, девочки — замуж. И тогда появляется новичок. А Кузнецову надо, чтобы и КТУ был в норме и с выполнением плана бригада не отставала. Поэтому научить работать новичков — первая задача и первое партийное поручение.

Парторг рассказывает о многих других своих заботах, стороннему глазу незаметных. Обеспечить фронт работ, побеспокоиться, чтобы горячая пища вовремя подоспела, а на обед чтобы машина была для рабочих, чтобы спецовку было где просушить... А потом его заботы такие, которые вроде бы для самой стройки и не очень большое значение имеют. Например, сберкасса. Сейчас она за двадцать километров от того места, где рабочие получают зарплату. А заработки неплохие, лишняя копейка всегда образуется. Была бы она, эта сберкасса тут, рядом, на книжку ее, эту копейку. Потому что город растет вместе с заводом, кто сегодня в вагончиках, завтра в общежитии, в малосемейке, а потом, глядишь, и квар-

тира появится, а тогда и мебель нужна, и всякое такое оборудование для новоселья. Или киоск газетный, скажем, книги чтоб продавали здесь поблизости, а то тоже за книгой двадцать километров не поедешь специально, а если она тут, рядом, возьмишь.

— Вот такие у меня заботы возникают, — заключает Анатолий Андреевич. Уже десять часов вечера. А завтра рано детишек провожать — двоих в школу, младшего в детсад.

— А живете где?

— В поселке, здесь неподалеку, в вагончике. Две комнаты, прихожая. Придет время — и квартира будет...

Будет!

Анатолий Андреевич Кузнецов, парторг бригады Николая Шемякина, вступивший в партию, как он мне сказал, по «ленинскому призыву» 1970 года, 22 апреля, в день столетнего юбилея Владимира Ильича, уходил тропинкой домой, чтобы завтра утром прийти снова сюда — на великую стройку.

* * *

Мы с первым секретарем горкома возвращались из колхоза «Якты юлдуз» — «Яркая звезда». Часов в двенадцать над районом пронеслась буря. Центр ее бушевал над селами Тунгузино и Кадырово, где колхоз «Якты юлдуз». Председатель — Фалес Валиев, молодой, недавно избранный. Первое такое несчастье с тех пор, как он в этом хозяйстве, и Раис Киямович заспешил туда: выдержит ли Фалес, не надо ли чем помочь? Когда приехали, председатель возвращался уже с поля, откуда вихрем снесло весь скошенный горох в овраг. Фалес быстро поднял колхозников, подоспели на помощь шефы из УМС (управления механизации строительства). Зимой, когда негде было разместить строителей, тысячу человек рабочих приютили у себя колхозники, и вот в час беды механизаторы протянули руку своим друзьям из колхоза. Урожай был спасен, и секретарь горкома доволен, что его помощь не понадобилась.

Когда приближались к Челнам, уже совсем стемнело; Беляев шутиливо обращается ко мне:

— Слушайте, почему человек так много должен спать? Почему врачи не придумают что-нибудь такое, чтобы человек меньше спал... Я, с тех пор как размахнулась стройка, встаю в четыре утра... Свежий воздух и тишина... Уже светло, потому что у нас рано светает... И думается: до чего хорошо работается утром, когда выходит из темноты все кругом... Вообще человечество страшно много спит, неоправданно много...

А в центре старого города, там, где кинотеатр «Чулпан», освещение необычно праздничное. Что такое? Вроде сегодня рабочий день, никаких торжеств, по какому случаю иллюминация? Поедем к «Чулпану»!

Там на площади все как перед большими праздниками. Мигают разноцветные лампочки, образуя слова «Мы строим КамАЗ», девушки в комбинезонах красят огромное сооружение, изображающее серп и молот. Посреди площади — помост. Сзади выстроились флагштоки.

Замечаем Юру Титова, Риту Низковских, ребят из комитета комсомола.

— Что вы тут затеяли? — интересуется Раис Киямович.

— Оборудуем площадь.

За прошедшую десятидневку 700 бригад перевыполнили производственные задания. В честь лучших из них утром подъем флагов трудовой славы. В семь часов.

* * *

В обход города и строительных объектов тянется многокилометровая бетонка. По ней круглые сутки в обоих направлениях едут машины. Если остановиться на полпути между поселком КамГЭСэнергостроя и Новым городом, идущими навстречу друг другу большими массивами новых зданий, справа и слева откры-

ется все строительство, вся мощь и красота Набережных Челнов. Ночью река электрических огней тянется от нового хлебозавода больше чем на тридцать километров до трассы водопровода. Горят прожектора над Камой, где строится плотина ГЭС, над площадками, где день и ночь, в три смены, поднимают камазовские бригады ремонтно-инструментальный, прессоворамный, литейный, сборочный... Горят огни над бетонными заводами, над поселками вагончиков... Тридцать километров огней, отраженных в волнах Камы. И гул над степью.

Мы вышли с Раисом Киямовичем из Нового города в поле. Ровное место, ничего нет. Свет — только от окон двенадцатиэтажных башен, что остались далеко позади.

Поле, еще не изрытое бульдозерами. Перед нами — пустырь. Раис Киямович показывает:

— Вот Дворец культуры. У нас их два. Один в старом городе, в поселке НамГЭСэнергостроя, другой здесь. А дальше — Дворец бракосочетаний, музей, Дом молодежи, большой городок для пионеров. Вот там. Видите? И широкий проспект. Когда построят плотину, Кама подойдет вот сюда. Челны будут прямо на берегу...

Он показывал мне свой город, потом замолчал, призадумался.

— А здесь — широкая набережная на многие километры... Навезем чернозему и посадим черемуху. Деревья эти растут большими и цветут белым-белым цветом.

Снова умолк. А потом спросил как будто самого себя:

— Слышишь, как пахнет черемуха?

Вместо послесловия

В 1972 году коллектив строителей и монтажников КамАЗа выполнил государственный план на 101,4 процента, освоил 343,6 миллиона рублей капитальных вложений — в 1,7 раза больше, чем в 1971 году. Трудящиеся Набережных Челнов уже получили около миллиона квадратных метров жилой площади...

(Из доклада первого секретаря Татарского обкома КПСС товарища Табеева Ф. А. на седьмом пленуме обкома)

Набережные Челны, 1972 год.



ПУБЛИЦИСТИКА

В. А. САЮШЕВ,

*первый заместитель председателя
Государственного Комитета Совета Министров СССР
по профессионально-техническому образованию*

★

ПУТЬ В РАБОЧИЙ КЛАСС

(Заметки о воспитании молодого рабочего)

Каждый человек ищет свое место в жизни. Иногда говорят — ищет место под солнцем, но это не совсем то же самое. Несмотря на «масштабность заявки», в этой фразе легко просматривается стремление человека к личному благоденствию, только и всего. Ну, а когда говорят о поисках места в жизни — и, конечно, под солнцем, а как же иначе! — подразумевается деятельное, активное начало: человек стремится к наиболее полному раскрытию своей личности и себе и людям на пользу.

Третьего не дано: к такому выводу неизбежно ведут размышления над привычным понятием «рабочее место». Есть оно у каждого, не только у рабочего: у летчика — кабина самолета, у хирурга — операционный стол, у академика — лаборатория, у писателя — письменный стол, у артиста — сцена (заметим в скобках, что это «ограничение» понятия «рабочее место», разумеется, весьма условно). И именно здесь, на этом самом месте, человек может сделать все, что нужно людям, и даже больше, чем обязывает его профессия, — это же его точка опоры для всестороннего проявления себя как личности среди людей, объединенных всеобъемлющей идеей сотворения нового мира.

Так вот, сперва об ищущих точку опоры. К их числу надо прежде всего отнести юношей и девушек, вступающих в самостоятельную жизнь. Пришла пора самому определить свою судьбу. Ответ на извечный вопрос «кем быть?» всегда был нелегок. Нелегко он и сейчас. Как это ни парадоксально, решить вопрос «кем быть?» сейчас еще труднее, чем в недалеком прошлом. Возможности выбора профессии в эпоху научно-технической революции настолько необъятны, настолько увлекательны, что у молодых людей глаза разбегаются — куда путь держать, где лучше, интересней работать? Человек как будто стоит на перекрестке, и в любом направлении вспыхивает и зовет зеленый огонек: иди! Иди, но не ошибись, выбирай путь по силам, по способностям, по интересам и прежде всего думай о необходимости избранной профессии людям.

А для выпускника средней школы, получившего аттестат зрелости, раздумья эти еще больше осложняются дилеммой: вуз или производство? Вуз? А уверен ли ты в правильности выбора своего пути, готов ли ты к конкурсным испытаниям, когда на одно место иной раз претендует десяток абитуриентов? Не займешь ли, хотя и временно, чужого места или не попадешь ли ты в девяtku неудачников, и тогда хватит ли у тебя моральных и материальных возможностей держать экзамен вновь и вновь через год, два? Или же согласишься с тем, что диплом еще не определяет положения человека в нашем обществе, — докажи в труде, в практической работе, чего ты стоишь. И может, даже лучше защитить диплом, приобретя сперва опыт и проверить себя в той сфере деятельности, которой ты решил посвятить свою жизнь?

Все эти психологические сложности трудно преодолеть в одиночку. Да так, собственно, и не бывает. В одном из московских институтов после конкурсных испытаний

при помощи ЭВМ выявили, что определило путь молодежи в институт; оказалось, что 43 процентам поступивших помогли найти призвание родители, друзья, знакомые, 34-м — справочная литература, 23-м — студенты и преподаватели. Наивно было бы думать, что эти статистические данные типичны для любого учебного заведения, но, несомненно, типична такая всеобщая заинтересованность в судьбе молодого человека.

И все же, как это нетрудно заметить, выбор профессии определяется не только субъективными решениями, но и объективными возможностями, требованиями жизни. И для того, чтобы человек поменьше задерживался на жизненном перекрестке в мучительном раздумье, куда путь держать, он должен знать эти возможности и требования. И ясно видеть перспективу. И понимать, где для него открывается «за далью — даль», где он найдет верную точку опоры с первых же шагов на своем жизненном пути, где он, попросту говоря, очень нужен. Выйти из этих раздумий человеку помогает производственный коллектив. В его творческой среде — широкие возможности для проявления индивидуальных способностей каждого и далеко не только как специалиста.

Подготовку кадров молодых рабочих осуществляют учебные заведения Государственного Комитета Совета Министров СССР по профессионально-техническому образованию. В этих училищах обучаются два с половиной миллиона человек. Внушительная цифра! За пятилетку очередное пополнение рабочего класса из ПТУ составит девять миллионов. Так юноши и девушки — а их, как видите, немало — решают для себя вопрос «кем быть?».

Теперь в повседневной работе училищ решается другая задача — какими быть. Задача, пожалуй, потруднее, чем та, что они уже решили. Но справятся с ней, надо полагать, успешно. Есть опыт, и он все время обогащается: за пятьдесят лет существования профессиональной школы обучено 30 миллионов человек. Но одно дело «фабзайц», отвечающий требованиям индустрии первых лет Советской власти, а другое дело — выпускник училища нашего времени. Он, помимо высокой квалификации, имеет восьмиклассное образование, а сейчас его обгоняет молодой рабочий со средним образованием. Да, таких квалифицированных рабочих со средним образованием выпускают уже учебные заведения нового типа — средние профессионально-технические училища (среднее ПТУ). Принимают в них подростков, окончивших восемь классов, дают им специальность и общее образование в полном объеме программы средней школы. Сейчас в таких ПТУ обучается 450 тысяч, в 1975 году будет уже миллион с лишним, а в дальнейшем это путь развития всей системы профтехобразования.

Автор статьи чувствует некоторую неловкость перед читателем: не смог удержать хлынувший на него поток цифр. Но что поделаешь, если что ни цифра, то явление, умолчать о котором просто невозможно. А когда эти цифры выстраиваются в один ряд, видишь то главное направление, по которому идет молодежь, и те главные изменения в облике молодого рабочего, которые определяются требованиями времени. «Фабзайцев» из ФЗУ сменили «ремесленники» из РУ, а их сменяют рабочие-интеллигенты из ПТУ — есть над чем поразмышлять, всматриваясь в эстафету поколений.

Ну как, например, не задуматься над фразой, которую иногда можно услышать из уст старшеклассников: «Я не для того учился, чтобы стать простым рабочим». Не архаично ли звучат эти слова? У нас есть еще, конечно, рабочие неквалифицированного труда (разнорабочий, грузчик, сторож, уборщица), но большинство — квалифицированные специалисты и именно их готовят профтехучилища.

Итак, выбор сделан — два с половиной миллиона сегодняшних учащихся профтехучилищ будут рабочими. Три с половиной миллиона только за первые годы нынешней пятилетки (1971—1972) ими уже стали. Какая специальность привлекла каждого из них и как они ею овладевают — интересно, конечно, но еще более интересно познакомиться с тем, как они, недавние школьники, приобретают моральный и деловой облик рабочего наших дней.

Каким же должен быть выпускник ПТУ? Можно очень коротко, всего в нескольких словах, охарактеризовать те основные черты, которые определяют требования к нему, но стоит вдуматься при этом в емкость каждого слова: специальность, всестороннее развитие, идейность и высокая нравственность. Иначе говоря, обучая будущего рабочего мастерству, нужно одновременно формировать его мировоззрение, его отношение к людям, к своему делу, его мироощущение. Да, и мироощущение! — воспитание чувств, эти-

ческих навыков, понятий тоже запрограммировано в учебных планах. Все это очень важно для становления молодого человека и понимания им своей роли в жизни общества.

Сформулированная выше краткая характеристика основных черт выпускника училища нуждается в более обстоятельном раскрытии ее. Попытаюсь это сделать.

Прежде всего о специальности. Госпрофобр (позволим себе для краткости так называть Государственный Комитет) готовит кадры для всех отраслей промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта и сферы культурно-бытового обслуживания. 1100 специальностей дают сейчас училища! Но эта цифра не стабильна. Возникают новые требования, и появляются новые специальности. Еще недавно, например, слыли уникальными профессии, связанные с электроникой, кибернетикой, а сейчас они заняли прочное место в системе профтехобразования. Из года в год вносятся поправки в учебные планы, технически перевооружаются мастерские и лаборатории. В былые времена даже вузы жаловались на то, что приходится обучать на морально устаревшем оборудовании, но сейчас базовые предприятия, для которых в основном готовятся кадры, заинтересованы в том, чтобы при обновлении машинного или сельскохозяйственного парка образцы нового оборудования немедленно поступали в училище. Ведь только в этом случае можно обеспечить высокий уровень подготовки рабочего в соответствии с последними требованиями научно-технического прогресса. А прогресс ведь идет в нарастающем темпе и тут, как говорится, надо ухо держать востро. К слову, о темпах прогресса: известно, что для эффективного внедрения в жизнь научных открытий Менделеева в области минеральных удобрений потребовалось около ста лет, а для практического приложения принципов радиолокации — всего лишь полтора десятка лет. Динамика прогресса зависит, конечно, в первую очередь от людей науки и техники, но ведь «овеществление идей» осуществляется рабочими руками и умением. Это и обязывает к постоянному повышению квалификации рабочих и, следовательно, выпускников училищ.

Но квалификация сама по себе еще не определяет производственную активность. Нужна любовь к своему делу, увлеченность своей специальностью, мастерство, и воспитать эти чувства не менее важно, чем выработать профессиональные навыки и знания.

Есть такая должность — мастер производственного обучения. Ясно как будто: учи мастерству — и дело с концом. Но это совсем не так. Прежде всего сам мастер, применяя производственную терминологию, должен быть эталоном для своих учеников. Во всем — в профессии, в отношении к делу, в моральной чистоте и физическом совершенстве, в умении всегда соблюдать свое достоинство и уважать достоинство других людей. Обязанности его выходят за рамки обучения мастерству. Он должен присутствовать на уроках теории, знать, как ведут себя его воспитанники на переменах, дома, на улице, и не только знать, но и отвечать за их поведение — помочь беречь честь смолу.

В московском ПТУ № 40 работает Владимир Сергеевич Филиппов. Тридцать лет назад он сам окончил это училище и остался работать мастером. Он токарь и учит этому делу своих учеников. «Мои мальчишки» — называет он их в глаза и за глаза, но в этом нет ни тени панибратства. Да и сами ребята сохраняют почетную дистанцию — на груди Владимира Сергеевича Золотая звезда Героя Социалистического Труда.

Приходилось наблюдать, как он проводил первый день занятий со своей новой группой. Он уже знал имя каждого, где он живет, что привлекло его в училище и что может отвлекать — слабости человеческие мальчишкам свойственны. Предупредил каждого, чтобы он не опоздал на линейку и чтобы стал в строй как на смотр — в выгуженных брюках, начищенных ботинках и по возможности при галстукке. Пусть помнит: отныне он в рабочем строю. В мастерских их ждут уже молодые рабочие завода «Коммунар» — недавние выпускники училища. Владимир Сергеевич их не приглашал, но они пришли сами: такова здесь традиция — новеньких встречают «старички». Неважно, что они ненамного старше, но они уже бывалые, достойные уважения люди, одним словом — рабочие. Мастер просит рассказать, как у них идут дела, и они говорят, стараясь соблюдать в словах и жестах необходимую степеньность. Потом они торжественно вручают своим преемникам инструменты, замечательные тем, что работают ими уже около де-

сятка лет и из года в год бережно передают их из рук в руки. После этого каждый вводит своего преемника в круг общественных обязанностей — они несложны, но важны в жизни коллектива. Любой из 24 учеников имеет конкретное поручение: один следит за чистотой станков, другой — за хранением инструмента, третий — за внешним видом учеников и т. д. При подведении месячных и квартальных итогов работы оценки дисциплинированности и поведения каждого даются по отзывам всех «ответственных». Так конкретно, а не «вообще» коллектив становится воспитателем каждого ученика.

Чувство ответственности за свое рабочее дело прививается здесь сразу же, с первой детали, которую он изготавливает: в училище есть свой ОТК, и если в детали дефекта не обнаружено, она идет в производство изделий ширпотреба. Вот так и начинается трудовое воспитание. А через год (у Владимира Сергеевича группа одnogодичников) нынешние новички придут сюда, в эту мастерскую, в роли «старичков» и помогут своим преемникам понять, какими они должны быть.

Мастер производственного обучения не просто должность и призвание, а специальность, которую дают профилированные в этом направлении техникумы Госпрофобра. Тысячи таких мастеров зарекомендовали себя умелыми педагогами и воспитателями. Многие из них почти так же молоды, как и их ученики. Но это только повышает их значение как «живых эталонов» — каждый паренек видит, что он может в ближайшее время стать таким же.

А об уровне подготовки мастера можно судить хотя бы по такому отзыву, присланному в Госкомитет проректором одного из старейших высших технических учебных заведений нашей страны:

«Разрешите поблагодарить Вас за большую помощь, оказанную Московскому высшему техническому училищу имени Н. Э. Баумана в укреплении кадров учебных мастеров квалифицированными специалистами. Выпускники Люблинского индустриально-педагогического техникума, молодые учебные мастера Анискин В. В., Соловьев С. В., Толочко Н. И., Усанов В. Ф., успели зарекомендовать себя с положительной стороны, хорошо помогают преподавателям кафедры «Технология конструкционных материалов» вести учебный процесс с первокурсниками всех специальностей училища. Виктор Анискин успешно сдал вступительные экзамены и сейчас является студентом вечернего факультета МВТУ имени Баумана, а его однокашники поступили на подготовительное отделение».

Отзыв лестный! Отраднa высокая оценка уровня профессиональных знаний, которые дают мастерам производственного обучения — будущим инженерам. На этом же уровне они готовят и рабочих.

А что говорят о себе и своей профессии сами ученики?

Всегда бывает трудно уговорить юношу или девушку рассказать о своих переживаниях, о сокровенном. В лучшем случае они ограничиваются односложными ответами. Но вот перед нами пачка тетрадей — ученических сочинений на тему «О родине, о дружбе и о себе». В них — раздумья наедине с самим собой, когда никто не «лезет в душу» и не «тянет за язык». Вот выдержки из сочинений учениц ижевского училища № 4.

Т а н я К у з я х о в а: «...Я верю в счастливое будущее Ижевска, столицы родной Удмуртии. Я люблю, как вокруг большого и красивого городского пруда за окружающими его деревьями возвышаются многоэтажные белые здания и отражаются в воде. Я тоже буду строить такие дома. Как хорошо!

...Я поднимаюсь по лестнице строительного крана все выше и выше. Вот и кабина. Это мое рабочее место. Дух захватывает, когда я смотрю вниз. За маленькими деревьями катят игрушечные машины, идут и идут по тротуарам люди, у каждого свои дела... И у меня есть свое дело, есть свое место в жизни, на высокой башне в светлой кабине я чувствую себя как дома».

В и к т о р и я К о к о ш е в а: «...Конечно, почетно слетать в космос или провести зимовку в Антарктике, но каждый подвиг подготавливается на земле, в трудовых буднях. Правильно говорят, что у нас подвиг превращается в обыденность, а обыденность в подвиг. Я читала в газетах, что в нашей маленькой Удмуртии 37 Героев Социалистического Труда... Моя профессия — штукатур-маляр. Она очень нужна в строительстве. И я хочу поработать так, чтобы кто-нибудь потом сказал: «Спасибо!»»

Тысячи таких сочинений написано учащимися. Привлекают в них, разумеется, не литературные, а человеческие достоинства их молодых авторов. Читаешь и видишь, как повсеместно происходит становление юных людей труда. То, что они приобретают здесь — специальность, всестороннее развитие, высокую нравственность, — складывается исподволь, неторопливо, в будничных «мелочах» жизни училища. Можно выйти отсюда специалистом узкого профиля, но очень нежелательно, чтобы это был «человек узкого профиля» — ограниченный, эгоистичный, равнодушный ко всему. «Мелочей в воспитательной работе, — говорил Л. И. Брежнев на Всесоюзном слете студентов, — не бывает и быть не может. Ведь здесь речь идет об одном из самых сложных и ответственных дел — о формировании душ и характеров, о закалке сердец и ума строителей будущего!»

Итак, ученик ПТУ должен получить специальность и одновременно интеллектуальное развитие. Рабочий не только создатель материальных ценностей, но и прежде всего представитель класса, переделывающего жизнь заново. Широкий кругозор помогает ему понимать значимость того, что он делает, искать и находить правильные решения на путях технического прогресса, активно проявлять себя в многогранной жизни общества. Такова прямая взаимосвязь профессиональной и общеобразовательной подготовки. Еще в период становления нашего государства Владимир Ильич Ленин неоднократно подчеркивал, что профессионально-техническое обучение должно сочетаться с общими политехническими знаниями, с коммунистическим воспитанием молодежи. Эти указания и легли в основу подготовки пополнения рабочего класса на всех этапах и приобрели особое значение сейчас, в годы бурно развивающейся научно-технической революции. Этот период характеризуется все более творческим содержанием труда, значительным ростом численности высококвалифицированных рабочих, появлением новых профессий широкого профиля и постепенным устранением из сферы производства профессий тяжелого физического труда. Возрастают требования к личности человека, его интеллекту, знаниям, образованию. «Простой рабочий» превращается в рабочего-интеллекта.

Вот в этих условиях, руководствуясь решениями XXIV съезда партии и постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем совершенствовании системы профессионально-технического образования», создается, как уже упоминалось, широкая сеть учебных заведений нового типа — средних ПТУ. Еще недавно такие училища были экспериментальными и насчитывались единицами, а сейчас их уже 1300.

Тут можно, пожалуй, услышать возражение: а разве может быть иначе, когда страна вступает в период всеобщего среднего образования молодежи? Внесем ясность: общеобразовательные средние школы будут сохранять ведущее положение и в тех условиях, будут существовать и имеющиеся сейчас специальные технические училища для их выпускников, но средние ПТУ — явление новое и перспективное, они займут в стране свое особое и важное место. Диплом о среднем образовании и рабочей специальности дает молодому человеку возможность сразу же и уверенно занять свое место в рабочем строю, что очень важно и для человека и для государства.

Ленинградское среднее ПТУ № 68 получило следующий отзыв от руководителей завода имени Козицкого:

«Выпускники училища быстро осваивают производство и уже в первые месяцы выполняют и перевыполняют производственные нормы. Их знание технологических процессов, техническая подготовка значительно выше, чем у выпускников обычных профтехучилищ. Все это сочетается с участием в общественной жизни завода».

Познакомимся с выпускниками этого ПТУ. Евгений Головкин окончил после училища институт, работает инженером на заводе имени Козицкого и сейчас готовится к защите диссертации. С признательностью вспоминает он о высокой требовательности училища по спецдисциплинам и, что он особенно подчеркивает, по общеобразовательным предметам. Получить, например, пятерку по математике в училище было большим и, надо сказать, редким праздником, но зато в институте он понял, как многим он обязан строгому и требовательному преподавателю математики. И не только ему: готовясь к экзаменам, Евгений, помимо учебников, многое почерпнул из записей училищных лекций. С благодарностью говорят об этом и его товарищи, уже получившие диплом или готовящиеся получить его. Но для них диплом не самоцель. Олег Виролатнен очень отчетливо сформулировал, почему он, окончив ПТУ и поработав на производстве, поступил в институт: «Я хочу лучше делать то дело, которое отвечает моим склонностям и спо-

собностям». На заводе имени Козицкого среди начальников цехов и отделений, конструкторов, технологов и других инженерно-технических работников нередко встретишь бывших учеников профтехучилища — их ценят, они занимают прочное и почетное место на заводе.

Но многие избирают другой путь — остаются у станков, продолжая заниматься самообразованием. Алла Андреева подала было заявление в институт, а потом раздумала. Испугалась, что не сдаст экзамен? Нет, оказывается, училась она не хуже других. «Но почему, — спросила она себя, — обязателен для меня диплом инженера, когда мне по душе специальность радиомонтажницы?» И осталась на своем полюбившемся ей рабочем месте. И на заводе ее всегда ставят в пример как блестящую радиомонтажницу.

Стремление получить среднее образование у всей нашей молодежи очень велико. Примерно только десятая часть учащихся образовательных школ по различным индивидуальным причинам ограничивается минимумом — восемью классами. Многие из них получали специальную подготовку и становились рабочими. Но сейчас значительная часть учащихся школ ориентируется на среднее ПТУ. В нынешнем учебном году желающих поступить в училище этого типа было в полтора раза больше, чем они могли принять.

Возможен в связи с этим такой вопрос: а есть ли практическая необходимость для рабочих всех профессий иметь среднее образование? Известно, что чуть ли не 40 процентов производственников занято на вспомогательных работах, на несложных ручных операциях и для них, казалось бы, не так уж важно знание физики, химии, математики и гуманитарных наук. Но так ли это? Вспомните о нарастающем темпе технического прогресса, о все более интенсивной замене ручного труда высококвалифицированным, поставьте себя в положение рабочего, которому нужно срочно (сегодня, завтра) шагнуть с «задвсрков» индустрии на передовые позиции — и ответ напросится сам собой. Успешно подыматься от ступеньки к высотам новой техники можно, лишь имея «в заделе» серьезные знания. Ну, а кроме того, стоит вспомнить и поговорку — не место красит человека, а человек место.

Можно ли, однако, считать, что задача обучения молодого рабочего выполнена, если он получил хорошую специальность и хорошую общеобразовательную подготовку? А есть ли уверенность, что он с достоинством займет подготовленное ему место в жизни? Тут одних знаний мало. Нужны волевая собранность, нацеленность, жизнестойкость, самостоятельность и принципиальность в решении всех возникающих перед ним вопросов. Короче говоря, нужна высокая коммунистическая сознательность, идейность, нравственность. Без этого человек неполноценен. Деловой облик рабочего неотделим от его морального облика. Нет нужды доказывать, что наиболее неустойчивы в идейном отношении, податливы к чуждым влияниям люди морально неустойчивые, и в то же время общеизвестно, что человек, оберегающий собственное достоинство, никогда не унизит себя каким-либо недостойным поступком, у него вырабатывается своего рода иммунитет против всего аморального.

В нашей стране становление личности не «личное дело» каждого, потому что и общество и государство заинтересованы в том, чтобы человек раскрыл все свои способности и активно проявил себя как творческая личность. Это определяет и задачи профессионально-технического образования. При помощи семьи, школы, комсомола надо выявлять интересы, способности подростков — юношей и девушек, помогать им выбрать будущую специальность по душе, а дело педагогов и воспитателей — помочь молодежи полнее раскрыть свои индивидуальные возможности. Формирование облика рабочего — процесс сложный, и из сказанного выше можно уже представить себе, как много задач надо решать в педагогической и воспитательной работе в училищах. Но в заключение хочется более подробно поговорить об одной из них — о нравственно-эстетическом воспитании.

Иногда приходится слышать: почему в профтехучилищах в учебные планы включен курс эстетики? Не музыкантов же, не художников и поэтов готовите вы в этих училищах. Не растрчиваете ли вы учебное и внеучебное время на то, что рабочий может получить и вне училища, когда-нибудь потом, в часы досуга? Не странно ли сочетание — эстетика и угледобыча, эстетика и плавка металла, эстетика и кладка фундамен-

та? Не «педагогические ли излишества» это? Не парадная ли шумиха? Ремеслу обучайте, ремеслу!

А вот в том-то и дело, что молодой рабочий нашего времени не «ремесленник», а человек, призванный многосторонне проявить себя в работе, в быту, в общественной жизни. Если он идейно, нравственно не подготовлен к этому, непосильной окажется для него эта задача. Вот почему в воспитательной работе надо прежде всего заботиться о формировании душ и характеров, о закалке сердец и ума строителей будущего. Нам нужны жизнелюбы, жизнеустроители, люди, вдохновленные стремлением сделать мир прекрасным. А поэзию жизни помогают увидеть искусство и литература.

Тут следует сразу же оговориться: наивно было бы думать, что включенный в учебный план курс эстетики радикально и полностью решает эту задачу. Нет, конечно! Классными занятиями здесь нельзя ограничиться.

Вот почему желанные и званые гости училищ — композиторы, художники, поэты, писатели, философы, музыканты, артисты...

Шефство? Нет, это совсем не то слово. Нужны не разовые «шефские мероприятия», а дружба, взаимопонимание, постоянные контакты. Такие контакты устанавливаются в Москве, Ленинграде, Минске, Одессе, Калининграде и в других городах. А в Риге состоялся в минувшем году всесоюзный семинар с повесткой дня: «О нравственно-эстетическом воспитании будущих рабочих». Почему в Риге? Потому что у рижан есть чему поучиться!

В этом семинаре приняли участие не только работники профтехобразования, не только партийные и комсомольские работники, но и представители творческих Союзов — писателей, композиторов, журналистов, художников. И приехали они на этот семинар из всех союзных республик, многих областей и городов страны.

На семинаре выступил председатель Госкомитета профтехобразования Совета Министров Латвийской ССР Я. Броделис и рассказал о той конкретной работе, которую проводит в училищах творческая интеллигенция по воспитанию молодежи. Прочные связи установили с учениками писатели, поэты, композиторы, художники, музыканты, артисты. Формы общения самые разнообразные: концерты, чтения авторами своих произведений, собеседования, «передвижные выставки» картин — все это не от случая к случаю, а постоянно, по разработанному плану. Встречи с молодежью обогащают и тематику авторов.

Ректор республиканской государственной консерватории Янис Озолинь написал большую сюиту для духового оркестра «Золотые руки». Более 30 песен композитор Арвид Жилинский посвятил молодым рабочим.

Писатели проявляют себя не менее активно, чем композиторы. Писатель Жан Грива, хорошо известный ребятам и как автор книг и как человек героического прошлого, подружился с ними, и особенно с учениками полиграфического училища. Народная писательница Анна Саксе, народный поэт Ян Судрабкалн также в дружбе с ребятами из ПТУ. Известные писатели Латвии Анна Броделе, Валдис Лукс, Ария Элксне, Зиедонис Пурвс и другие написали и пишут рассказы, поэмы, киносценарии, пьесы, повести и романы о молодых рабочих. Дом культуры в Риге направляет творческую самостоятельность учеников. Художники организуют выставки картин в училищах и работают с талантливыми художниками-самоучками.

Прибывшие на семинар представители других республик и других городов рассказали о своем опыте нравственно-эстетического воспитания учащихся. Массовое стремление молодежи к прекрасному иллюстрирует убедительная цифра — 600 тысяч учащихся принимают участие в художественной самостоятельности. В коллективах культивируется бережное отношение к проявившим себя талантам. Так, например, «на большую сцену» вышли Евгения Мирошниченко, Валентина Клепацкая, Рита Лифанова... А сколько талантливых молодых людей увлеченно, со всем жаром юных сердец проявляют себя в искусстве, не становясь профессиональными артистами, художниками, музыкантами!

Всесоюзное значение как творческая лаборатория приобретает московский Университет искусств молодого мастера, руководимый Арамом Ильичом Хачатуряном. Концерты и собеседования, которые проводятся, запечатлеваются юными слушателями, как они сами говорят, на всю жизнь.

На всю жизнь! Да, это так. Все лучшее, что дает юность, надо бережно пронести через всю жизнь. И не только бережно пронести, но и приумножить. Юношеские годы — только начало большого пути в широкие просторы, которые открываются перед нашим молодым человеком. Возможности самосовершенствования для него ничем не ограничены и в той сфере, которую он избрал для своей трудовой деятельности, и вне ее. В профессионально-технических учебных заведениях начинали свой трудовой путь люди, которыми гордимся все мы: генеральный конструктор космических кораблей академик С. П. Королев, доктор технических наук лауреат Ленинской премии Г. С. Мигиренко, космонавты Юрий Гагарин и Павел Попович, многие Герои Социалистического Труда, новаторы производства, ученые, артисты, писатели, поэты.

Влюбленность в жизнь, поиски добрых дел начинаются в юности, и человек, вдохновляемый этими чувствами, всегда и везде заслуживает глубокое уважение своих современников. И хотелось бы, чтобы об этом всегда помнили юноши и девушки, ищущие свое место в жизни.

В конце октября минувшего года в Кремле состоялось Всесоюзное совещание работников профтехобразования, в котором участвовали ветераны труда, молодые рабочие, учащиеся, партийные, советские, профсоюзные, комсомольские и хозяйственные работники. Участие в совещании руководителей партии и правительства, приветствие ЦК КПСС — все это свидетельство особого значения подготовки рабочего пополнения. Работа совещания была достаточно широко освещена в печати, по радио и телевидению, и нет нужды говорить сейчас о том, что уже общеизвестно. Следует лишь подчеркнуть, что никогда еще деловые встречи работников профтехобразования не привлекали такого широкого общественного внимания, как эта. И это понятно: подготовка новых кадров рабочего класса в эпоху научно-технической революции — задача общенародная.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВИТАЛИЙ ОЗЕРОВ

★

ТРЕВОГИ МИРА И СЕРДЦЕ ПИСАТЕЛЯ*

Выбор труден. Выбор возможен

Мировое значение советской литературы — одна из тем, ждущих своей глубокой разработки. Надо думать, появятся новые содержательные работы о всепокоряющей силе идей и образов, которые находит в книгах наших писателей зарубежный читатель. Текущая литературная жизнь полна свидетельств растущей популярности советских мастеров слова. Одни — люди доброй воли — называют их имена с чувством глубокого уважения, другие — наши недруги — со скрежетом зубным, но замолчать эту популярность уже невозможно.

О книгах Шолохова заходила речь на переправе через пролив у Хайфона, и в африканской усадьбе неподалеку от Найроби, и во время поездки по Японии. Кстати, в Японии в свое время вышло первое зарубежное издание «Тихого Дона», его перевели прямо с журнального текста. Крайняя граница Азии, «страна восходящего солнца», вообще неплохо знакома с нашей художественной культурой. В книжных магазинах можно увидеть длинные полки, занятые «Собранием сочинений русско-советских писателей». Регулярно выходит журнал «Советская литература», его редактирует профессор Тацуо Курода, с которым знакомы все советские писатели, побывавшие в Японии. Он из числа переводчиков-энтузиастов, сделавших очень много для пропаганды наших книг. А если мы заговорили об этих энтузиастах, как забыть покойного профессора Хисаитиро Хару, который к своему семидесятилетию успел завершить перевод сорокатрехтомного собрания сочинений Л. Н. Толстого.

— Ваша литература,— заявляют японские друзья,— ставила и ставит главные вопросы человеческой жизни. Как же не обращаться к ней в наш век, когда люди хотят найти ответы на эти вопросы!

Вопросы, волнующие писателей всего мира, обоих континентов, о которых хотелось рассказать в настоящей статье, с особой остротой воспринимаются японцами.

Хотят найти... А удастся ли это, всем ли? О Японии существует огромная литература: путевые очерки писателей, дневники дипломатов, репортажи корреспондентов, в том числе таких знатоков страны, как Всеволод Овчинников, автор «Ветки сакуры». Есть уже и солидные исследования, монографии, сборники. Так что было бы излишне самонадеянным описывать увиденное во время кратковременной поездки в Японию, а тем более делать категорические выводы с литературно-общественной обстановке. Наверное, будет убедительнее послушать, что говорят о ней сами японские писатели, тем более что они склонны к тщательному и многостороннему анализу.

Делая этот анализ, наши токийские собеседники исходили из того, что Япония — страна, где предельно обострились противоречия капитализма и выступили наружу коренные его особенности, столкнувшись и с древними обычаями, и с невиданными переменами в экономике, быте, психологии.

— Наша японская действительность порождает совсем новые явления, закрепляет вековые, традиционно требует синтеза. Это относится и к культуре. В ней соседствуют полярные силы и стремления, ни одно не может полностью возобладавать. Отсюда острота социальных и нравственных конфликтов в обществе. Отсюда трагизм некоторых писательских судеб: чело-

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 2 с. г.

веку мучительно трудно найти себя в вихре общественных катаклизмов, идеологических борений. Отсюда же противоречивые позиции других, тех, кто сумел осудить старое, ветхое, тянется к чему-то более перспективному, но не знает путей к победе, не знает способов ее достижения. Есть, наконец, и такие, которые твердо определили, чего хотят, куда намерены идти: одни — с народом, другие — с реакцией, с фашизмом.

Этот анализ представляется не только объективным, но и очень целенаправленным: он призывает дифференцированно подходить к художникам. Они очень разные, и это важно иметь в виду, выявляя возможных союзников, противников, соратников. Сложность положения еще и в том, что амплитуда колебаний у иных весьма велика — от надежд на счастливое завтра человечества до отчаяния перед трагическим разворотом событий. Современнику довелось наблюдать непомерный рост милитаристских appetites императорской Японии, ее поражение во второй мировой войне, развалины привычного бытия, сумятицу споров о послевоенном устройстве Японии. А рядом с этим — взлет антивоенного движения, многолетняя борьба против империалистической агрессии во Вьетнаме, массовые требования запретить атомное оружие, оставившее на лице страны такую страшную отметину, как Хиросима. И все это порождало, продолжает порождать драмы человеческого духа, мимо которых не может пройти чуткий к жизни художник.

...С режиссером Корзэ Сэнда мы встретились сразу же после спектакля. В долгом ночном разговоре участвовали и он — постановщик пьесы, и ее автор, и один театральный критик. Они упорно старались растолковать нам глубинный смысл довольно-таки абстрактной ситуации, воплощенной на сцене. Мнения о пьесе и постановке далеко не у всех совпадали. Но общая позиция, которую высказал Корзэ Сэнда, показалась нам симптоматичной.

— В спектакле,— говорил он,— поставлена проблема: может ли человек жить, не отвечая за происходящее вокруг него, даже за тех, о ком он ничего не знает, может ли вообще существовать человек без других людей? Мне очень дорога эта мысль. Нельзя человеку жить, не думая о других. В этом случае он и не человек!

На этой декларации Корзэ Сэнда не оста-

новился, следующей его постановкой стала «Мистерия-буфф» Маяковского. На сцене токийского театра шел революционный спектакль — с красными знаменами, с образом микадо, который отстаивает лозунг: «Эскалация во имя свободы!» Создатели спектакля не скрывали своего творческого задания.

— Мы избрали,— заявил Корзэ Сэнда в беседе с корреспондентом «Правды»,— пьесу, написанную Маяковским к первой годовщине революции, потому что уже с той поры испытали на себе влияние этого события, определившего наш дальнейший жизненный и творческий путь... Октябрь явился прологом великого обновления мира. Поэтому его пятидесятилетие — радостный праздник для всего трудящегося человечества. Этой праздничной атмосферой мы и стремились пронизать спектакль...

Явственная перемена тональности сценического действия показательна сама по себе. Художники, кому не просто пробиться сквозь хаос крайне противоречивых ощущений и восприятий, но кто настойчиво ищет выход, с надеждой обращают взоры к произведениям советского искусства с его поднимающей и окрыляющей людей атмосферой.

Участие в борьбе за мир и социальный прогресс, охватившей Азию и Африку, толкает и японских писателей на путь интенсивных поисков.

Но легко ли даются новые решения? В описанном случае колебания и искания художника завершились успешно. Но так бывает далеко не всегда. Сколь драматично сложилась, например, жизнь кинорежиссера Куросавы, чьи фильмы полюбились и советскому зрителю! После «Расёмона» и «Красной бороды» он начал снимать картину о бездомных отщепенцах токийского дна. И вдруг пришло известие. Куросава пытался покончить жизнь самоубийством. Его удалось спасти, однако причины рокового шага никому не известны.

А спасти удастся далеко не каждого. Не так давно отравился газом лауреат Нобелевской премии Ясунари Кавабата. Печать вспомнила: до него самоубийство оборвало жизнь еще 13 писателей. Среди них был Юкио Мисима — антипод Куросавы и в политическом и в эстетическом плане. Характеризуя его как личность в высшей степени неприятную и склонную к патологии, известный японский прозаик сказал нам:

— Таким я бы изобразил последнего на земле фашиста.

Последним или не последним, но Мисима был убежденным фашистом, ярким сторонником и певцом милитаризма, императорской власти. Антикommунизм тесно переплелся в его произведениях с проповедью реваншизма, «национального самурайского духа» и с «эстетикой жертвенности». В пьесе «Мой друг Гитлер» он прославлял немецких фашистов, изобразил Рема воплощением лучших качеств человека и война и даже защитником народа от «капиталистических акул». Кого хотел воспитывать на таких примерах Мисима, легко уловить, читая напыщенные монологи главного героя пьесы: «Армия — вот истинное лицо мужчины!.. Только в армии мужские лица обретают настоящую красоту. Сияют на солнце золотистые кудри юношей, выстроившихся на утреннюю поверку. голубые глаза их сверкают, как лезвие меча, взгляд полон сокрушительной силы, переполняющей их тело и душу после ночного отдыха. Могучие груди, овеваемые утренним ветерком, дышат священной гордостью, гордостью молодых хищников. Вороненые пистолеты, сапоги, начищенные до блеска...»

Под стать этому произведению и трилогия Мисимы, в которой поэтизируются реакционнейшие офицеры японской армии, участники военного путча 1936 года. Оглетельный фанатик, автор этих сочинений был членом профашистской секты, пытался осуществить политический переворот. А когда выяснилось, что никто не собирается восставать вслед за ним, Мисима поступил «по-самурайски» — вспорол себе живот. Этот изуверский акт, по мнению прогрессивных людей Японии, не только не заставил восхищаться нынешними самураями, но привел к противоположному — к отвращению, негодованию масс. Это, конечно, многозначительное наблюдение, однако нельзя упускать из виду и того, что у Мисимы есть и сторонники; в Японии немало фашистских, милитаристских сект.

Симпатии же передовой части общества, конечно, с другими. С теми, кто нашел мужество осудить войну и всякие уступки военной идеологии, даже если это были их собственные уступки. С теми, кто обратил взгляд в сторону социализма. Для этих людей подчас было очень трудно сделать выбор, но они поняли, что он возможен, сделали его, переосмыслив прой-

денный жизненный путь, определив свое место в лагере мира и прогресса.

И вот еще одна встреча, на этот раз в Москве. Высокий широкоплечий японец выжидательно смотрит из-под густых бровей. Может ли он рассчитывать на получение слова? Он будет говорить о литературе, это естественно для гостя писательского съезда. Однако Дзюнпэй Гомикава хотел бы рассказать и о себе самом, о том, как он боролся во враждебном нам стане. Много времени речь не займет, но ему нужно, обязательно нужно высказаться...

Преамбула отнюдь не бесконфликтная! А тут еще нашлись писатели и журналисты, сражавшиеся в 1945 году на том же участке фронта, где был Дзюнпэй Гомикава, правда на другой стороне. Кто знает, может быть, в те грозные дни они стреляли друг в друга? Во всяком случае, эта мысль не давала покоя японскому гостю Пятого съезда советских писателей, состоявшегося летом 1971 года. В беседе с корреспондентом «Литературной газеты» Наумом Маром он образно рассказал о разгроме советскими войсками Квантунской армии:

— Ровно в девять появились советские танки... Они налетели как шквал и открыли страшный огонь. Еще несколько минут — и танки уже окружили наш полк. Все было кончено. Я обошел окопы. Искал своих. В живых остались только четверо, кроме меня. Один не выдержал — сошел с ума. Итак, я попал в плен. Бежал. Почему? Говорили, что пленных отправляют в Сибирь! Я побоялся, что не переживу тамошнюю зиму, и решил бежать. Очень длинной была дорога домой...

Длинной оказалась и дорога, которая привела затем в Москву бывшего японского ефрейтора, ныне автора известных антивоенных книг «Условия человеческого существования» и «Война и люди». Первую он писал больше восьми лет. Вложил в роман весь свой тяжкий жизненный опыт, всю боль сердца, ненависть к агрессивной политике. Показал жестокие, в сущности, феодальные нравы, царящие в японской армии, зверства офицеров, измывательства «старослужащих» над новобранцами, расправы с жителями оккупированных Японией земель. Правдиво описал разгром Квантунской армии, деморализацию японских частей. Реалистически раскрыл психологию героя романа, человека пацифистских убеждений, неспособного претворить

их в действие; ефрейтора Кадзи перемолола военная машина, он не смог порвать со своим окружением и выбрать единственно правильный путь — признав вину, решиться на полную перестройку своей жизни.

На это решился автор романа. В отличие от некоторых других писателей, показавших войну лишь как крах личных судеб, Дзюнпэй Гомикава в своих книгах и статьях анализирует процесс вползания Японии в войну, политику оболванивания народа. Он обеспокоен тем, что новые поколения, не знавшие ужасов войны, не понимают, как близок сегодняшний курс политических заправил к тому, который однажды уже привел к победе милитаризма, к национальной катастрофе. А раз так, говорил Гомикава в одном из своих выступлений, значит, надо показать, «как это было в прошлом», помочь молодежи разглядеть опасные тенденции в японском обществе.

Все эти годы писатель думал не только о японских читателях. Он помнил, чем стал в его жизни август 1945 года. Поэтому так хотел выступить на съезде советских писателей. Его речь оказалась исповедью о нелегкой жизни, программой всей дальнейшей деятельности писателя-антифашиста, предупреждением на будущее.

— Поражение Японии, — говорил Дзюнпэй Гомикава, — было закономерным — ведь вся ее политика состояла в непрерывной вооруженной агрессии. Оставшись в живых, я понял: отныне единственный смысл моей жизни в том, чтобы написать хронику этой войны, хронику моей погубленной молодости. Я видел в этом свой долг, долг интеллигента, который, понимая истинный характер той войны, не смог тем не менее ни помешать ей, ни отказаться от участия в ней...

Не самооправдания ищет Гомикава — глубокого объяснения роковых связей между империалистической войной и ее участниками.

— Как же случилось, что весь японский народ оказался вовлеченным в войну? Как, почему, в силу каких причин люди утратили критическое отношение к этой несправедливой войне, почему они отказались осудить ее? Что лишило их сознания и воли?.. Без анализа этих связей невозможно избавиться от чувства вины, которое живет в наших сердцах...

Занимаясь таким анализом, Дзюнпэй Гомикава должен был четко сформулировать

свою гражданскую, политическую позицию и подтвердить свою верность реализму. Его романы отличают социальная заостренность, глубина проникновения в объективные обстоятельства, точный психологический рисунок. Так пишут далеко не все японские прозаики, пестрота художественных манер — одна из бросающихся в глаза особенностей сегодняшней литературной жизни страны.

Впрочем, это нужно сказать не только о Японии. И не только о литературах Европы или США. В ряде стран Азии и Африки также не стихают споры вокруг проблемы традиций и новаторства в искусстве (мы помним, что она обсуждалась на ташкентском симпозиуме, на двух московских семинарах афро-азиатских писателей, на нескольких двусторонних встречах). Это и понятно: иные культуры из седой древности стремительно переносятся в сегодняшний бурный и сложный день; кого оставит равнодушным вопрос о том, что происходит с ними, меняются ли они, как меняются, в какой мере сочетается преемственность с опытом прошлого.

И тут вполне закономерно перенестись из Японии в другие части земного шара, к примеру, в страны арабского мира, где очень часты такого рода дискуссии. Поэтика тут насчитывает полуторатысячелетний стаж, и с этим нельзя не считаться, если дорожишь формами, которые знакомы и близки, привычны народу. Но писатели, ставшие вместе со всем обществом на путь больших социальных перемен, борьбы за свободу и независимость, против израильской агрессии, не могут не размышлять и об интенсивности эстетических исканий, порожденных динамикой современной жизни.

В Египте, Ливане, Сирии нам пришлось присутствовать при острых дебатах между «традиционалистами», склонными канонизировать старую поэтику, и «новаторами», доходящими иногда до призывов «сломать» традиционную форму как «реакционную по своей сути». Не секрет, что редкий литературный спор обходится без крайностей. Эти крайности тоже заявляли о себе, одна-ко мы услышали и достаточно продуманные соображения о взаимоотношениях традиций и новаторства. Вполне трезво оценил их, например, видный египетский поэт Салах Абдель Сабур:

— Художественное наследие прошлого создавалось на арабском литературном

языке. Поэтому каждый писатель, прежде чем заниматься поисками в области формы, должен глубоко освоить классическое языковое наследие, должен знать, что представлял собой язык в его первооснове. Особые трудности стоят перед поэтами. В нашем литературном наследии вовсе не было драматургии, не было романа. Развитие этих жанров приходится начинать с нуля, не имея в фундаменте национальных традиций. Поэзия же — жанр традиционный, имеющий глубокие корни. Это прежде всего традиции в области образной системы и техники стиха. Между тем некоторые поэты старшего поколения недостаточно заботятся о том, чтобы творчески пересмотреть поэтическое наследие полутора-тысячелетней давности, одно развить, другое отбросить, и продолжают перепевать то, что было в поэзии уже много и много раз. Характер стихов сохраняется зачастую риторический. Перед египетскими поэтами открывается широкое поле деятельности в обновлении поэтических образов и в создании новых поэтических форм, таких хотя бы, как поэтические пьесы. Как я уже сказал выше, положение в поэзии сложнее, чем в новых жанрах. Но я считаю, что в ряде произведений новой поэзии эта проблема постепенно находит свое разрешение. И в традиционной поэзии не все нужно отбрасывать. Избавляясь от обветшалого, надо заботиться о сохранении чистоты и музыкальности традиционного стиха общего характера и колорита арабской поэзии.

Сходные точки зрения высказываются и в других странах — литераторами Черной Африки, Азии, в известной степени Латинской Америки. Конечно же, это не случайные совпадения. В современном мире все заметнее общие эстетические закономерности.

Советские участники перманентно возникающих дискуссий выдвигают и отстаивают стройную концепцию соотношения традиций и новаторства, выработанную нашей литературной мыслью. Она исходит из того, что проблема классического наследия, традиционных поэтических форм имеет и социально-политический и эстетический аспекты. Речь идет о сохранении и приумножении богатств национальной культуры, уничтожавшихся колонизаторами и настоятельно необходимых для нового общества, для всестороннего развития народа, дающих верную опору в творческих исканиях художников слова, в самом художественном новаторстве.

Делаются различные попытки решить этот вопрос. Практика доказала, что всего ближе к истине те, кто признает диалектическое единство традиций и новаторства. Художественный прогресс не допускает их противопоставления, он связан со стремлением выявить в традициях живое, прогрессивное и увидеть, как на почве достигнутого рождается новое, не просто продолжая, но творчески развивая и обогащая наследие. Новаторство неотделимо от традиции, великая традиция — непрерывная цепь творческих открытий художников-новаторов, которые потому и стали выразителями эстетических достижений своего времени, что искали и находили новые пути в искусстве, развивая накопленный опыт и выходя за пределы уже достигнутого. Важно и то и другое: и накопленный опыт и новое движение вперед. Социалистический реализм, продолжая все лучшее в реалистическом творчестве, является вместе с тем новой, высшей ступенью в художественном развитии человечества.

Диалектическое понимание сложной проблемы предполагает, следовательно, бережное отношение к лучшим традициям национальной культуры, умение выделить в искусстве именно передовое (ибо в каждой национальной культуре, как учил Ленин, есть две культуры, выражающие интересы разных классов, есть и прогрессивное и реакционное), предполагает смелость творческого поиска, реалистического по своей сути. Эта диалектика — живой процесс, а не статическое равновесие. В тех или иных обстоятельствах на первый план выдвигаются различные стороны проблемы. Ориентация на лучшие, жизненно важные традиции означает неприятие мертвых, застывших традиций. Поддержка новаторских поисков бывает оправдана тогда, когда это действительно плодотворные поиски, соответствующие ведущим тенденциям литературного развития, а не формалистическое фокусничанье. В Советской стране не получили поддержки ни те, кто хоть в какой-то мере соглашался с консервацией местной замкнутости, ни те, кто общность понимал как немедленное слияние, нивелирование культур. Восторжествовал принцип: идти к культурной, литературной общности через расцвет каждой национальной культуры, литературы. При этом деятельно содействовать взаимобогащению национальных культур,

развивая все формы культурного сотрудничества и общения народов, их совместной творческой деятельности.

Диалектика традиций и новаторства применительно к искусству требует высокой поэтической культуры, немислимой без знания лучших из существующих образцов, без постоянной заботы о пополнении национальной художественной палитры новыми изобразительными средствами, литературным опытом других народов. Пренебрежение национальным наследием и консерватизм в художественном творчестве — две крайности, мешающие успешному развитию новой культуры.

Обосновывая эти взгляды на международных литературных встречах, советские писатели заботятся об укреплении общей социальной и эстетической платформы, объединяющей передовых представителей разных национальных культур. В основе этой платформы — органичность национального и интернационального в литературе и искусстве.

И у этой проблемы много граней: значение национальных традиций, правильное отношение к мировой культуре, характер взаимосвязей и взаимодействия разных национальных литератур и т. п. Однако суть вопроса в том, что насущные проблемы отдельных стран и литератур невозможно отделить от мировых проблем, ибо происходят сходные социальные, классовые процессы. Пекинские догматики, националисты всех мастей как раз и пытаются изолировать каждую культуру, выключить ее из взаимодействия прогрессивных культур, отгородить от влияния социалистических идей. Единство же с мировым эстетическим развитием, где все заметнее роль социалистической эстетики, придает новые творческие силы любой национальной культуре, раздвигает наши представления о художественных достижениях человечества (недаром и в пору «культурной революции» в Китае советские издательства выпускали новые и новые произведения лучших китайских писателей).

Ныне литературы все шире вовлекаются в общий культурный обмен. При твердом следовании принципам интернационализма, уважительном отношении к художественным ценностям, созданным народами, ни одна из литератур не будет утрачивать своего лица. И каждая получает мощный импульс для еще более успешного развития. Это блестяще доказала наша многона-

циональная советская литература, художественно отобразившая становление новой исторической общности — единого и монолитного советского народа.

Глубинный смысл и направление развития многонациональной советской культуры с исчерпывающей полнотой определены товарищем Л. И. Брежневым в докладе на торжественном заседании, посвященном пятидесятилетию образования СССР:

«В разнообразии национальных форм советской социалистической культуры все заметнее становятся общие, интернационалистские черты. Национальное все больше оплодотворяется достижениями других братских народов. Это прогрессивный процесс. Он отвечает духу социализма, интересам всех народов нашей страны. Именно так закладываются основы новой, коммунистической культуры, которая не знает национальных барьеров и в равной мере служит всем людям труда».

Служить всем людям труда независимо от их национальности — высшая цель боевого, прогрессивного афро-азиатского писательского движения. «Дух Ташкента» в этом движении укрепляет интернационалистские устремления мастеров слова. Нас не может не радовать, что на всех форумах, организованных Ассоциацией писателей Азии и Африки, мощно звучит призыв к строительству новой культуры, включающей в себя и национальные традиции, и общие достижения современной цивилизации. В документах этого движения заявлено о том, что человеческая культура неделима, что искусство жизненно тогда, когда оно, при всей своей самобытности, опирается на опыт других стран и народов. Бейрутская конференция писателей стран Азии и Африки выдвинула лозунг, служащий братству и интернационализму свободолюбивых народов: «Строить и развивать новую культуру на гармоническом сочетании нашего наследия с духом современности...» Этот лозунг был поддержан и в выступлениях делегатов следующей — делийской конференции; иначе и не могло быть — он соответствует велениям времени, глубочайшим убеждениям прогрессивных писателей мира.

Сила организации

Проблемы, проблемы... Без постановки целого ряда проблем (мы, естественно, могли коснуться только отдельных) ныне

не происходит ни одного творческого разговора, будь то тематическое совещание критиков или свободная, без повестки дня встреча поэтов. Проблемы теоретические: сущность и задачи литературы, характер ее развития во внутринациональном и мировом контексте. Идеологические: борьба с западными теориями конвергенции и «наведение мостов», с националистическими тенденциями. Организационные: как жить писателям, как строить работу, чтобы объединенными усилиями отстаивать свое место в обществе, свои профессиональные интересы.

Было бы глупым снобизмом, рассуждая о высоких материях, забывать об организационной стороне литературного дела. Сейчас уже не век писателей-одиночек. В социалистических странах созданы влиятельные союзы писателей, играющие серьезную роль в общественной жизни, имеющие большие права и возможности. В капиталистических странах прогрессивная художественная интеллигенция создает новые ассоциации левого толка, перестраивает свои старые организации. Так, недавно возник Союз писателей ФРГ; в начале этого года состоялся его второй съезд.

Литераторы стран Азии и Африки, думая о развитии национальных культур, в свою очередь задумываются о формах писательской жизни. Вырабатывают их, изучая положение дел в социалистических государствах. Начинают благодаря этому не на пустом месте, что, разумеется, облегчает первые шаги.

Об одном и том же спрашивали нас литераторы в Японии, и Кении, и Ливана, и Египта: как устроен Союз писателей СССР? Японцы, организовавшие общенациональную Ассоциацию писателей, Союз демократической литературы Японии и несколько других сообществ, вникали во все вопросы нашей писательской жизни. Стоило в Токио упомянуть о Литфонде, градом посыпались вопросы: откуда Литфонд берет свои средства, как учитывает их и расходует, что такое Дома творчества, для чего нужны творческие командировки, кто определяет размер пособий молодым? Особенно поразило собравшихся сообщение, что Литфонд был создан более ста лет назад, что еще в условиях царской России литераторы выработали организационные формы писательской взаимопомощи. Конечно, нынешний Литфонд — совсем другие возможности и другие масштабы.

Объединяясь на новых началах, зарубежные литераторы стараются что-то перенять у нас, что-то сделать с учетом собственной обстановки.

Наивно полагать, что организационное объединение писателей может быть панацеей от всех бед. Может, и не панацея, но предпосылка инициативной работы на коллективных началах, то есть такой работы, которая стимулирует и каждого члена ассоциации, и писательское содружество в целом.

О необходимости такого стимулирования зашел разговор после делийской конференции афро-азиатских писателей. Она прошла очень хорошо, и мы от души поздравляли с этим — Мулка Раджа Ананда, Саджад Захира, Субхаса Мукерджи и других. Работа на них навалилась огромная, ответственность еще небывалая; теперь бы им вздохнуть поспокойнее. Лидеры индийских писательских организаций были искренне тронуты благодарностью, они-то лучше всех знали, сколько труда вложено в конференцию. Ее подготовка и проведение, говорили они, оказались школой и политической зрелости и организационно-практической деятельности. Многочему научились за эти месяцы и за эту неделю индийские писатели, по их собственному признанию. Еще лучше поняли, что может принести хорошо подготовленная акция и как больно могло бы отразиться на общем ходе работы малейшее упущение.

— Придется всерьез подумать о совершенствовании всей нашей организационной деятельности. Ассоциация должна работать как часы, — заметил один из ее руководителей.

Заявление, обещающее новые успехи. Не будет преувеличением сказать, что при прочих равных условиях степень писательской активности возрастает в геометрической прогрессии, если ее энергично и целеустремленно направлять и стимулировать. Это можно показать на примере одной небольшой страны, соседки Индии.

Прогрессивным силам Цейлона (ныне Республика Шри Ланка), как и очень далекой от него Кении, предстоит решать аналогичные задачи укрепления независимой экономики и развития самобытной культуры, преодоления последствий колонизаторской политики англичан. В ходе решения этих задач сплотились не слишком многочисленные здесь писатели. Существующий уже несколько лет Фронт народных писателей завоевывает все новые позиции.

Мы в гостях у патриарха сингальской литературы Мартина Викрамасинге. Его дом — на окраине Коломбо, светлый, просторный. Двери кабинета и гостиной выходят в сад, откуда струится влажный и горячий тропический воздух. Ничто не смягчает жары — ни густая зелень пальм, ни близость пруда. Устраиваемся поближе к фенам, их лопасти, по крайней мере, хоть создают циркуляцию воздуха. А восьмидесятилетний писатель не чувствует ни жары, ни усталости. Показывает книжные шкафы — в них сотни томов его произведений на многих языках мира, не исключая, разумеется, русского; тут же портреты и бюсты Толстого, Достоевского, Горького, медали со знакомыми силуэтами советских поэтов. Рассказывает о творческих планах. Заводит речь о Советском Союзе, вспоминает свою поездку к нам, историю работы над книгой «Расцвет Страны Советов».

— Вот изображение Достоевского, а знаете ли вы, какую роль он сыграл в моей судьбе? Еще юношей я с восхищением читал «Идиота», «Преступление и наказание», «Братьев Карамазовых». Эти вещи заставили меня написать книгу «Буддийские джатаки и русский роман» — о взаимодействии наших древних рассказов-притч и вашей замечательной прозы. А Чехов, Горький — какие это великие писатели! Некоторые их рассказы переведены на сингальский. Переводы русской литературы от Гоголя до Шолохова, выполненные квалифицированными переводчиками, легко находят себе читателя у нас. Вся классическая русская литература есть коллективное зеркало русской революции. Я верю в то, что переводы их произведений могут продолжить путь к социализму.

В этом заявлении — весь Мартин Викрамасинге, глубоко народный, подлинно прогрессивный художник. Он вырос в патриархальной крестьянской семье и начал с описания своей среды. Правда народной жизни, реализм ситуаций, чистый и ясный язык с первых шагов характеризовали его творчество. Крепнул и мужал талаят — острее становился писательский взгляд, глубже и значительнее художественные обобщения. Мартину Викрамасинге сингальская литература обязана смелым поворотом к социальной теме, острым обличением косности, бесправия, насилия. В первом же своем романе «Лила» он показал себя врагом консерватизма, религиозных пережитков, защитником сингальской женщи-

ны. Роман «Меняющаяся деревня», напечатанный в годы второй мировой войны, воспроизвел ведущие конфликты времени, и прежде всего классовое расслоение крестьянства. Последующие две части начатой этим романом трилогии — «Последний век» и «Конец века» — изображают события еще до освобождения страны от колонизаторов. Автор беспощадно критикует капиталистическую действительность, он отдает свои симпатии борцам за народ — рабочим, профсоюзным деятелям. Читатели из народа полюбили эти книги потому, что нашли здесь отзвук собственных бед и тревог, примеры стойкой борьбы с произволом и угнетением. Викрамасинге призывает, что укрепить веру в человека, в народную победу ему помогли прежде всего произведения Горького.

Эту веру, говорит он, словно повторяя слова незнакомого ему южноафриканского писателя, укрепил исторический опыт Советского Союза.

В 1959 году Мартин Викрамасинге впервые своими глазами увидел страну, где хозяевами стали герои его книг — рабочие, крестьяне, трудовая интеллигенция. Он был гостем Третьего съезда писателей СССР, посетил несколько городов, собирая материал к уже упомянутой книге о Советском Союзе.

Мартин Викрамасинге стал не только самым любимым писателем своего народа, но и своеобразным центром, вокруг которого объединяется все лучшее в литературе и искусстве. Он находился у колыбели Фронта народных писателей.

Движение за создание национальной писательской организации началось еще лет сорок назад. Но возникавшие союзы не были долговечными. Почему? Да потому, что ставили перед собой слишком узкие цели. Их рассматривали лишь как место для светских разговоров, ни к чему не обязывающих встреч. О том, как наладить совместную работу, спорили без конца, до ссор, до изнеможения, но споры ни к чему не приводили, так как не был установлен общий принцип, которому надо следовать.

А установить общий принцип, пожалуй, важнее всего. Не зная твердо, чего же ты сам добиваешься, трудно достигнуть взаимопонимания с другими, согласованных действий. Эту тему затрагивали все наши собеседники, размышляя о становлении своей писательской организации.

Недалеко от города Канди, древней

столицы страны, в огромном парке разбросано множество зданий: и большие учебные корпуса, и уютные виллы, кафе, спортивные сооружения. Это университет, где нам предстоит выступить (студенческая аудитория — одна из самых благодарных, и советские делегации охотно принимают ее приглашения).

Густой парк вдали от городского шума, звонкие голоса птиц в гуще деревьев, обезьяны на аллеях. Почти идиллия! Только кто сказал, что в наш век возможна тишина, спокойные, отвлеченные занятия? Недалеко от этих мест весной 1971 года бушевал антиправительственный мятеж, инспирированный левыми экстремистами. Политические бури не миновали университета...

Послушать нашу лекцию о советской литературе собрался полный зал. Много девушек. В задних рядах группа буддистов — желтая ряса прикрывает тело, оставляя обнаженным левое плечо. Студенты знают о нашей литературе не так уж много (ее курс пока не преподается в университете, хотя желающие прослушать его имеются). Но им известно главное: это литература, пишущая о народе, для народа, и, значит, самая передовая, самая прогрессивная. В этом духе и задавались вопросы — о Горьком и Маяковском, об отличительных чертах социалистического реализма, об устройстве нашей писательской жизни.

Слушатели очень обрадовались подарку — библиотечке книг советских писателей на английском языке. И пришли в совершенный восторг, когда мы вручили преподавателям юбилейные медали с изображением Горького, Толстого, Достоевского. Эти профессора, сообщив в перерыве студенты, пользуются всеобщей любовью и непререкаемым авторитетом.

— Как же иначе! Профессор Фернандо — настоящий ученый.

— А какой он хороший лектор!

— И человек смелый, справедливый...

Услышать такие отзывы было особенно приятно: ведь профессор П. Э. Э. Фернандо — председатель Фронта народных писателей, по приглашению которого мы приехали в республику. После лекции мы отправляемся к нему в гости.

Домик недалеко от университета, на склоне высокой горы, всегда обдуваемой легким ветерком. За столом рядом с профессором — генеральный секретарь Фронта Гунашена Витана. Он ученик Викрамасинге,

прозаик, удостоенный в 1972 году государственной премии. Редактор газеты, выходящей на сингальском языке, и литературного журнала. Гунашена Витана ведет повседневную организационную работу Фронта. Помог осуществить нашу «программу» в Коломбо — несколько встреч с писателями, доклады, визиты к министрам, общественным деятелям. Прибыл он и на лекцию в университет в Канди, а теперь, перед возвращением в Коломбо, принимает участие в беседе об истории создания и задачах Фронта.

Да, снова слышим мы, создать Фронт народных писателей удалось именно потому, что его инициаторы основной идеей избрали служение интересам народа, развитие боевой реалистической литературы.

— В сентябре шестьдесят восьмого года в Ташкенте отмечалось десятилетие афроазиатского писательского движения, — вспоминает Гунашена Витана. И с гордостью добавляет: — А уже в феврале шестьдесят девятого года в Коломбо состоялось учредительное собрание Фронта. В нем участвовали и поныне участвуют представители обеих основных наших литератур — сингальской и тамильской. Фронт объединил писателей, выросших в толще народной, сформировавшихся под воздействием народной культуры. У них появилась жгучая потребность быть вместе. Ведь связь с народом обеспечила нашей литературе большую роль во всенародной антиимпериалистической борьбе. На выборах в мае семидесятого года Фронт народных писателей активно выступал против империализма и эксплуатации масс. За подписями Мартина Викрамасинге, Фернандо, Джаятиллаке и других писатели обратились к населению с призывом избрать Правительство единого фронта. В ходе выборной кампании мы всемерно помогли победе прогрессивных сил. После создания Фронта в течение всех последующих лет мы вели кампанию по пропаганде главных его идей: писатель творит для народа, ответственность его безгранично велика, литература должна быть народной литературой. У этих идей нашлись и сторонники и противники. Буржуазная пресса подняла вой: «Фронт покушается на свободу творчества! Принцип народности литературы — пустая выдумка, ничего не значащая фикция!» Члены новой организации приняли бой. В Коломбо, Канди, Галле, Ратнапуре прошли собрания и дискуссии, на которых отстаивалось и обосновывалось истинное понимание народности искусства.

Писатели дружно высказались за реализм и социалистический реализм. Многим в этой борьбе мы обязаны Мартину Викрамасинге. Он выступал на собраниях, публиковал статьи, участвовал в дискуссиях. Под его руководством проходил в семидесятом году семинар на тему «Ленин и литература». Викрамасинге в своей речи показал, что в борьбе против экономического и политического угнетения народа Ленин опирался и на завоевания русской литературы.

Верность идеям социалистического прогресса, реалистического искусства, отчетливый антиимпериалистический характер всей деятельности Фронта помогли ему завоевать авторитет и уважение на острове. Учитывая настроения интеллигенции и активность Фронта, реакционные круги уже не решаются на такие атаки против него, какие предпринимали прежде.

Как и повсеместно, политическая и литературная реакция идут рука об руку. Важно, чтобы им и впредь противостояли сплоченные силы прогресса. Фронт народных писателей установил деловые контакты с Ассоциацией писателей стран Азии и Африки, решил принять участие в алмаатинской конференции 1973 года. Избрана верная дорога, идя по которой, можно добиться новых успехов в антиимпериалистической борьбе, в сплочении писательских рядов. Дело за тем, чтобы неуклонно поддерживать намеченный курс, следовать заявленным принципам.

Эти принципы двигают вперед дело культурного, художественного прогресса на континентах, где еще недавно хозяйничали колонизаторы и где пробудившиеся массы получают возможность проявить все богатство своей творческой энергии, раскрыть многообразие народных талантов. Бескорыстная помощь, которую оказывают этому процессу советские литераторы, — еще одно свидетельство нашей неизменной верности идеям социалистического интернационализма, дружбы народов.

Радуется, что далекие друзья могут опираться уже не только на наш опыт, но и на опыт других социалистических стран, в их числе азиатских. В частности, большой вклад в общеписательское дело вносят литераторы Монгольской Народной Республики.

Активность действий, напряжение мысли

У того, кто никогда не бывал в Монголии, страна эта обычно ассоциируется с

раскаленной пустыней, безжизненными песками. Да, есть и пески, и пустынная Гоби. Но большая часть Монгольской Народной Республики выглядит совсем иначе. Широкие привольные степи. Пологие холмы, они постепенно переходят в горы, все более крутые, высокие, скалистые. Между холмов струятся быстрые прохладные реки, берега их поросли лесом, кое-где — родные нам березки. В северных районах множество озер, кишачих рыбой. Мягкие краски в степи, сияющее многоцветье в горах, поразительной голубизны высокое небо — все заставляет влюбиться в Монголию.

Сегодня монгольскую степь, как ни огромна она, не назовешь безжизненной. Хочется оспорить рассказы путешественников о дремотной ее медлительности. Правда, обычный уже здесь гул самолетов в небе можно услышать и в других странах Азии. Да и по африканской саванне мы мчались на машине точно так же, как на «газике» по монгольской степи. А вот услышанное в аймачных центрах, в гэрх скотоводов помогает уловить то необычное, принципиально новое, что рождено переменами коренного характера, социализмом.

Эти разговоры внутренне были далеко не такими степенными, как, наверное, выглядели со стороны: покойно сидят люди, неторопливо беседуют, внимательно выслушивают друг друга, говорят ровно и негромко, без излишнего многословия, бурной жестикуляции. Таков уж характер монголов. Но стоило бы прислушаться, о чем же идет речь. О том, как строится новое, небывалое в жизни кочевого прежде народа. О том, как меняется весь облик степи — на ее просторах крепнет аграрно-индустриальная держава.

Обобщенные данные на сей счет широко известны. Но, может быть, многое выступает с особой наглядностью, когда наблюдаешь строительство нового «снизу», как говорил Ленин.

Булганский аймак. Он расположен на севере республики, в пятидесяти минутах лета от Улан-Батора. Как почти всюду в Монголии, населен аймак не слишком густо: территория — 50 тысяч квадратных километров, население — 38 тысяч человек. Руководители партийного комитета и аймачного хурала не скрывают трудностей: да, рабочей силы не хватает, не всегда так, как хотелось бы, используется техника, еще недостаточна интенсивность

сельскохозяйственного труда. И тем не менее со своими делами аймак вполне справляется, достигнуты большие успехи. Цифры, расчеты, текущее и перспективное планирование...

Сельское хозяйство? Это прежде всего миллион голов скота; и не только традиционное животноводство — аймак сам обеспечивает свои потребности в зерне. Все сельхозобъединения и госхозы имеют ветеринарно-врачебные пункты, кадры зоотехников, агрономов, инженеров, экономистов.

Промышленность, транспорт? Прошли времена, когда араты знали только овец да коров, передвигались лишь на лошадях. Сегодня у Булганского аймака есть мельница, кирпичный, цементный и комбикормовый заводы, пищевой комбинат, строительная контора, угольная шахта, электростанция, типография, автотранспортная база. Да что там автомашины! Чуть не половина перевозок производится авиацией. Аймак приобрел и собственный самолет.

Культура, просвещение? Опять слышим точные, конкретные сведения: каждый пятый человек учится, в аймаке 15 домов культуры и клубов, 23 школы, 31 библиотека. Здесь более 300 учителей со средним и высшим образованием.

Эти цифры назывались как первооснова проводимой работы. А наряду с ними фигурировали другие, еще более впечатляющие показатели завтрашнего дня.

Вместе с нами сюда приехали писатели других социалистических стран. И всем было приятно убедиться, что значит братская помощь друзьям. Как сообщили руководители аймака, они повседневно чувствуют эту помощь. Советские рабочие и инженеры соорудили мельницу и комбикормовый завод, геологи открыли месторождение медной руды. Посланцы Чехословакии построили цементный завод, болгары — кирпичный.

— Мы никогда не забудем о советской помощи, — говорят и монгольские литераторы. — Вы помогли строить не только хозяйственные объекты. Не менее важным было, если можно так выразиться, строительство в душах людских.

С книжной полки достают том сочинений Горького.

— Вспомните, что и как писал Горький нашему Эрдэни-Батухану.

В 1925 году в Сорренто пришло послание от видного общественного и культурного

деятеля Монголии Д. Эрдэни-Батухана. От имени писателей страны он советовался с Горьким о том, как жить и работать монгольскому народу, какие книги читать, что переводить из зарубежной литературы. Автор письма посчитал нужным охарактеризовать бытовую и культурный склад, психологию своего народа, веками сложившийся образ его жизни. Далеко не оптимистическую, но вполне правдивую картину нарисовал Эрдэни-Батухан:

«Как известно всем, монголы, семь веков тому назад увлекавшиеся военным искусством и завоеванием мира, за последние три века в массе своей превратились в самых мирных буддистов, которые видят весь смысл жизни в религии и исполнении пышных обрядов, установленных реформатором буддизма Цзонкавой. Для распространения буддизма в Монголии в такой форме были, очевидно, благоприятные условия. Беспредельные степи, перемежающиеся со скалистыми горами Центрально-азиатского плоскогорья, перед обширностью, величием и красотой коих кочевник всегда чувствовал свое полное ничтожество. Спокойная, без сутолоки жизнь кочевника в обширных степях и меж гор располагала его к мечтательности. Свободные от непосильной и изнуряющей дух и тело работы землеробов, продельваемой первобытными орудиями, кочевники имели больше времени на размышления и мечты. Буддизм, проповедовавший спокойствие, вред желаний, переходящих в страсти, от которых возникает страдание и ничтожество жизни человека перед учением Нирваны, непостижимой для понимания, кроме тех, кто постиг его и погрузился в небытие... Это учение нашло себе благодатную почву в условиях действительности Монголии».

Объективных обстоятельств, которыми принято объяснять пресловутую «восточную пассивность», на монгольских просторах не меньше, чем на кенийском нагорье. И все же о сонливой мечтательности вчерашних кочевников теперь правильнее говорить в прошлом времени. Сравнение двух далеких друг от друга стран в высшей степени поучительно. Самое важное в развитии первой в Азии социалистической республики — социальные факторы. Потому, наверное, и не чувствуют необходимой уверенности наши коллеги в некоторых других азиатских и в африканских странах, что не произошел коренных изменений в

социальной структуре их общества, где гнет колонизаторов сменился гнетом местной буржуазии, не порывающей с иностранным капиталом. В странах же, решительно пошедших по пути социализма, древние предрассудки, расслабляющее воздействие религии теряют свое «всевластие» под напором исторически неизбежных преобразований.

Революция в сознании масс, происшедшая в годы социалистического строительства, помогла пробудиться и раскрыться лучшим качествам трудолюбивого и стойкого монгольского народа. Она раздвинула горизонты общественного мышления. В отличие от некоторых других стран, стремившихся отгородиться от Запада, в отличие от «европоцентристов», разглагольствующих о фатальном взаимонепонимании Востока и Запада, передовые умы Монголии преисполнились решимости покончить с географической, политической, идеологической изоляцией. Выражением таких настроений и явилось письмо Горькому, отданное всего четырьмя годами от монгольской народной революции 1921 года.

Как убежденный интернационалист, верный друг монгольского народа, Горький не захотел льстить ему, а призвал культивировать те качества, которые понадобятся на новом историческом этапе.

«...Насколько я могу судить о душе монгола по книгам, прочитанным мною о Монголии,— писал Горький,— я думаю, что наиболее полезна была бы Вашему народу проповедь принципа активности. Именно активному отношению к жизни Европа обязана всем тем, что в ней прекрасно и достойно уважения всеми расами». И далее он конкретизировал свою мысль применительно к заслуживающим перевода книг: «Мне кажется, что, знакомя монгольский народ с духом Европы и современными нам желаниями ее масс, Вам следует переводить именно те европейские книги, в которых наиболее ярко выражен принцип активности, напряжения мысли, стремящейся к деятельной свободе, а не к свободе бездействия».

Письмо Горького оказалось важным событием в общественной, идеологической жизни Монголии.

Оно, заявил Первый секретарь ЦК МНРП, Председатель Совета Министров МНР Ю. Цеденбал, имело «огромное значение для развития новой монгольской революционной литературы Монгольские пи-

сатели, следуя совету великого Горького, стремились и стремятся создавать образы «активного героя, борца за новую жизнь, за социализм и коммунизм».

На какой основе идет современное эстетическое развитие? Было разное в истории: кое-кто гальванизировал старину, другие вовсе отбрасывали традиции, не обошлось без вульгарно-социологических веяний, среди литературной молодежи нашлись было сторонники западных формалистических выкрутасов. Жизнь есть жизнь, без сложностей и противоречий обойтись немислимо, и не нужно их пугаться, бросаться из стороны в сторону вместо того, чтобы трезво анализировать происходящее и направлять события по верному руслу. Конструктивный подход к делу все решительнее утверждается здесь и в области литературы, литературной теории — в этом мы неоднократно убеждались за последние годы. Добиваясь особого внимания к теме современности, к глубине изображения жизни, к реалистическому художественному методу, ведущие деятели монгольской литературы бережливы к сокровищам вековой культуры народа, они полны решимости осваивать и перерабатывать эти традиции в свете социалистического идеала, принципа социальной активности.

Ну, а как в жизненной практике, в судьбах людей утверждается этот принцип? Не будем голословными, обратимся к двум очень своеобразным биографиям.

Первую можно было бы озаглавить так: от «полписаря» до академика. Речь идет об академике Бямбыне Ринчене.

...Заказанную для журнала статью он принес сам. В дверь номера столичного отеля «Улан-Батор» негромко и вместе с тем настойчиво постучали. В проеме возникла колоритная фигура. Высокий красивый мужчина, уже пожилой и в то же время на редкость бодрый; бронзоволицый, с длинными белыми волосами и такими же усами, свисающими ниже подбородка. На нем синий с тиснением праздничный халат, широкий кожаный пояс: по всей окружности серебром выложен национальный орнамент.

У Бямбына Ринчена походка степного наездника, широкий и мягкий шаг. Плавные, спокойные движения рук; он с каким-то особым достоинством складывает их в традиционном монгольском приветствии, а затем протягивает правую для рукопожатия — крепкого, мужского. И говорит Рин-

чен тоже уверенно, но не слишком громко, умело владея голосом, как искусный монгольский сказитель и эрудированный европейский профессор.

Да, он, этот ни на день не порывающий с родной стезью человек (по собственному признанию, Ринчен объехал 250 сомонов страны), и есть профессор, крупный ученый-филолог, академик. И такая биография никого уже не удивляет. Сам Ринчен считает ее органичным порождением народной революции, неизменной близости монгольского народа с советским. Комментируя высказанные в статье, которую он принес, мысли об этой близости, он без долгих просьб рассказывает о себе.

Начинал Ринчен тал-бичечином — «полписарем». Это было совсем не плохо, о таком могло лишь мечтать подавляющее большинство его сверстников. Еще семилетним малышом Ринчена отдали в учение к бакши — учителю, готовившему писцов. В Монголии не забыли бакши Биликсайхана — умного, образованного человека, ставшего впоследствии делегатом первого съезда МНРП, министром Пограничного края. За несколько недель его ученики проходили букварь, а потом начиналось самое интересное: чтение сказок и легенд. На этом первая ступень образования обычно завершалась. Вторая предполагала куда более напряженную работу — овладеть искусством письма кистью. Родители Ринчена были против того, чтобы он продолжал учебу: тот, кто умел писать кистью, обязан был отбывать службу писца от тринадцати до шестидесяти лет. Но любовь к чтению и письму оказалась сильнее — мальчик не захотел бросить учебу; он успел изучить и русский язык. Впрочем, полноправным писарем ему стать не пришлось: в управлении Пограничного края имелось только полставки взрослого писца, вот Ринчена и назначили полписарем — тал-бичечином.

Ему повезло — революция отбросила феодальные установления, ей понадобились грамотные люди.

Юноша окончил советскую среднюю школу в Кяхте, начал работать переводчиком у советских врачей и военных специалистов. Как переводчика его знали национальные герои Монголии Сухэ-Батор и Чойбалсан. Однажды Сухэ-Батор спросил Ринчена:

— Скоро мы освободим Ургу и пошлем наших юношей учиться в Советскую Россию. Поедешь?

— Поеду.

— На кого хочешь учиться?

— На врача.

Сухэ-Батор подумал и заметил, что врачей в Монголию придет Советское правительство. Но за границей не достать ученых, которые будут развивать культуру и науку на родном монгольском языке.

— Нам нужны свои ученые. Подумай об этом. Соглашись как «несвоевременную» с другими учиться у советских ученых.

Ринчен вступил в ревсомол, стал активистом. Больше всего его увлекала пропаганда словом. Увидел у русских стенгазету — предложил ячейке издавать собственную. На двух собраниях после долгих споров идею отвергли как «несвоевременную». Но кончилось тем, что газету все-таки стали издавать, и к тому же на шапирографе и небольшим тиражом — 20 экземпляров. Это первое издание, выходящее под редакцией Ринчена. А он уже был занят другим начинанием. Ревсомольцы затеяли строить клуб. Ринчен перевел с русского двухактную агитпьесу и поставил ее на самодельной сцене, это было первое произведение советской драматургии на монгольском языке. Да, убеждался юноша, без русского языка, без советской культуры по-новому нельзя жить и работать. Надо учиться!

В 1924 году народное правительство направило 18 молодых людей в Ленинград, в Институт восточных языков.

Заниматься с монголами взялись профессора и академики, по праву считавшиеся светилами науки. Студентов учили языку, давали общеобразовательные знания и одновременно основы востоковедения Б. Я. Владимирцов, В. М. Алексеев, С. Ф. Ольденбург, Ф. И. Щербатской, В. В. Бартольд, Л. В. Щерба и другие.

— Какие это были люди! — восхищается Ринчен, вспоминая ленинградские годы как самую счастливую пору своей жизни. — Теперь, на склоне лет, я испытываю чувство какой-то детской, восторженной благодарности советским филологам и историкам. Они сделали меня ученым. Привили упорство в труде. Говорили: «Продолжайте занятия».

Домой Бямбын Ринчен вернулся широкообразованным филологом. Но слова «продолжайте занятия» не забыл. Он самостоятельно изучил 16 языков.

В военные годы Ринчен работал в газете «Унэн» — органе ЦК МНРП. В редакции проводил круглые сутки. На рассвете по

радио передавалась сводка из Москвы, прослушав ее, Ринчен садился писать статьи, очерки, заметки. Диктовал машинисткам сразу на двух языках — монгольском и русском (на этих языках выходила тогда «Унэн»). Потом гранки, верстка, печатанье газеты. И так до глубокой ночи. Оставшиеся свободными часы Ринчен использовал для занятий языком. У одного знакомого раздобыл чешскую книжку и стал изучать этот язык. Чуть позже написал Густе Фучиковой, и она прислала «Репортаж с петлей на шее». Перевел книгу за три недели и сразу же загорелся новым планом: изучить польский язык. На очереди венгерский, тем более интересующий Ринчена, что докторскую диссертацию он защищал в Будапеште.

«На счету» Ринчена-переводчика уже десятки, если не сотни произведений: Пушкин, Лермонтов, Шевченко, Алексей Толстой, Мицкевич, Юлиус Фучик, Петефи, Ирасек, Флобер... А разве только переводы в поле зрения бывшего «полписаря», а ныне академика, лауреата Государственной премии!

Он собирает и обрабатывает монгольский фольклор. Работает над историческими, стиховедческими, лингвистическими монографиями. Автор первого историко-революционного романа «Заря над степью». Это не автобиография автора, но типичная история его современника: нищее детство сына скотовода в услужении у богача, свобода, принесенная революцией, решающая помощь советских братьев, почет и слава, завоеванные упорным трудом.

Ноль целых семь десятых грамотных в дореволюционной Монголии. Эту цифру молодежь просто-напросто не может наглядно представить: ведь сейчас на каждые десять тысяч человек приходится 75 студентов и почти две тысячи учеников общеобразовательных школ. Есть примеры не менее убедительные, чем абсолютные цифры. Тот же Ринчен не напрасно гордится своей семьей. Его жена много лет была преподавательницей, сейчас оставила службу, но, подобно мужу, не оставила занятия, она свободно читает по-английски. Все четверо детей — кандидаты наук. Одна дочь — биолог, вторая — врач, третья — специалист пищевой промышленности. Сын — известный палеонтолог, ему посчастливилось найти в пустыне Гоби яйца динозавра.

Не в анкетных сведениях дело. Надо познать существо тех изменений в науке и

культуре, которые пришли сюда вместе с выпускниками советских вузов и академий. Четкая методология, верность интернационалистским принципам надежно предохраняют современную формацию монгольских писателей и ученых от национальной ограниченности, и от безразличия к вековому достоянию родной культуры.

В театре оперы и балета нас встретила давняя знакомая писательница Эрдэнэбатын Оюун (это ее отец был адресатом Горького). И в этот вечер, когда мы смотрели балет «Легенда об озере», либретто которого написано президентом Академии наук МНР Базарыном Ширэндыбом, и через день — на оперном спектакле «Сизый орел», Оюун и ее товарищи делились с нами мыслями о новом для Монголии виде искусства. Его не сразу приняла и поняла публика — очень уж непривычно. Деятели культуры не растерялись. Вводили в спектакли мотивы, подобные тем, что встречаются в народных представлениях, старались шире использовать национальные музыкальные мелодии. Но соблюдали чувство меры, не шли на примитивизацию. Главной была задача: на высоких образцах мирового искусства развивать вкусы зрителей и слушателей. Перед спектаклями стали читать доклады, на которых объясняли специфику оперы и балета и доказывали, что, не зная их, нельзя быть культурным человеком. Интерес к этим видам искусства постепенно растет.

В архивы, музеи, книгохранилища вместе с нами всегда отправлялся кто-нибудь из монгольских литераторов: либо Лондонгийн Тудэв, либо Цэвэгжавын Хасбаатар, либо Сономын Лувсанвандан. Они выпускники Академии общественных наук при ЦК КПСС, каждая встреча с ними превращается в обсуждение современных проблем литературной теории. И в то же время радует их вдумчивое отношение к старомонгольским памятникам, разумная оценка исторических тенденций.

Сколько культурных богатств собрано в Государственной публичной библиотеке Академии наук! Разве можно увидеть в Европе священную книгу, написанную на пальмовых листьях? А чего стоит монгольский перевод Ганчжура (109 томов) и Данджура (226 томов), включающий основы философии, медицины, искусства, акустики, точных наук! К редчайшим мировым памятникам письменности относятся рукописи, написанные самими разными древ-

ними способами: монгольским квадратным письмом, «ясной письменностью», письмом «соембо». Огромного труда потребовало изготовление книг, вырезанных на деревянных и стальных досках, вышитых разноцветными нитками на ткани. А в некоторых шрифтах написан так называемыми девятью драгоценностями — измельченными в порошок золотом, серебром, кораллами, жемчугом, бирюзой, лазуритом, перламутром, сталью и медью.

Да, все это очень красиво и чаще всего содержит немало полезного, прогрессивного, замечают наши спутники. И уточняют: чаще всего, но не всегда. С ходу читают нам короткие лекции о тех произведениях, которые пережили века благодаря прогрессивным идеям и совершенной форме, и о тех, на которых лежит печать средневековых канонов, буддистских догм. Эти оценки не умозрительны, за ними стоит внимательное изучение прошлого родной культуры, умение отличить подлинные ценности от мнимых, в нужных случаях пересмотреть иные положения.

При всем уважении к Ринчену, некоторые высказанные им положения критиковались. Вместе с тем молодежь относится к нему как к учителю, опирается на ряд его работ в своих научных изысканиях.

О сути этих изысканий дает представление деятельность того же Лодонгийн Тудэва, решительно отстаивающего классовый, исторический подход к национальной истории и литературе.

Тудэв-художник приобрел известность своими историко-революционными произведениями «Горный поток» и «За полярной звездой». Эти прекрасно написанные вещи отличает четкость марксистского подхода к событиям национальной истории. Ее ход автор измеряет одним: верностью революции, дружбе с Советским Союзом. Эту верность особо подчеркивает и Тудэв-исследователь, касаясь этапов эстетического развития. Выступая в Улан-Баторе на вечере, посвященном столетию со дня рождения Горького, он не ограничился признанием в неизменной любви к великому советскому писателю. Исторический опыт боевого реалистического искусства — национальный и интернациональный — Лодонгийн Тудэв связал с главными задачами современности:

— Выбор нашей литературой метода социалистического реализма никем не был навязан нам, он явился закономерным ре-

зультатом ее исторического развития. Метод социалистического реализма был нужен нашей литературе так же, как нужны солнце и дождь для того, чтобы цветы могли распускаться. В становлении этого метода у нас советская литература, родоначальница социалистического реализма, оказала не только огромное влияние, но и была реальным фактором развития и образцом для подражания.

Мы много беседовали о писателях нового поколения. Оно начинает не на голом месте, а с тех опорных пунктов, которых достигли его предшественники, вчерашние неграмотные пастухи, ставшие первыми монгольскими академиками и живыми классиками национальной литературы.

Рядом с ними, беря на свои плечи все больший груз общей работы, действуют литераторы помоложе, проявившие себя уже в послевоенные годы.

...И вот еще одна писательская биография.

Член ЦК МНРП, депутат и член Президиума Великого Народного Хурала, председатель Комитета монгольских женщин, председатель правления Союза монгольских писателей Союмын Удвал близка своему народу. Значительную часть времени проводит в командировках по аймакам. Очень любит, когда ее посылают в Гоби. Это ее родина, откуда начиналась дорога, поведшая девочку-сироту в просторный и сложный мир, где она чувствует себя так уверенно. Первые шаги по трудной дороге люди поколения Удвал делали уже не в одиночку, а под руководством старших товарищей, знаменитых монгольских революционеров.

В 1972 году мы приехали в Улан-Батор на очередную встречу руководителей союзов писателей социалистических стран. Но до встречи нам пришлось участвовать в траурной церемонии: республика провожала в последний путь своего президента Жамсарангийн Самбу — председателя Президиума Великого Народного Хурала МНР, лауреата международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». Удвал разделяла с народом общее горе. И переживала эту потерю вдвойне — как потерю родного человека.

Нет, они не родственники. Познакомились, когда Удвал была ребенком. Она рано осталась без отца. В шестилетнем возрасте потеряла мать. Пришлось идти пасти скот. Девочку-пастушку заметил секретарь партийного комитета аймака. Это

был Жамсарангийн Самбу. Однажды приехал на машине и забрал ее с собой в город.

Так одиннадцатилетняя Удвал оказалась в доме Самбу. Стала учиться, много читала. Вскоре Самбу получил новое назначение и поехал послом МНР в Советский Союз. В годы Великой Отечественной войны туда же послали на учебу и Сономын Удвал. Снова ее приглашали в семью старшего друга и учителя. Удвал жила у Самбу в трудные месяцы эвакуации, повседневно ощущала заботу старого коммуниста, слышала и всей душой воспринимала его убежденные слова о неизбежной победе советского народа. Годы общения с видным партийным и государственным руководителем явились прекрасной школой патриотического, интернационалистского воспитания молодой женщины.

Борьбу за претворение в жизнь идей социалистического интернационализма Сономын Удвал считает своей прямой партийной обязанностью. Значит, нельзя жалеть сил на пропагандистскую работу в массах. Значит, вернувшись из одной далекой зарубежной поездки, надо готовиться к другой, опять за тысячи километров. Значит, немногие свободные часы придется посвящать не семье, а подготовке материалов очередной международной конференции. А самое главное — нужно постоянно быть в мобилизационной готовности, ибо идеологическим противникам очень не по душе то, что делается в Монголии.

К руководству писательской организацией Удвал пришла в момент, когда противники марксизма-ленинизма вели бешеную пропаганду против принципов интернационализма, дружбы с Советским Союзом. Свыше двадцати часов в сутки пекинское радио выкрикивало националистические лозунги и клеветало на нашу страну. Злобные и нелепые бредни не могли найти сторонников. Попробовали другие приемы: сыграть на националистических пережитках, привлечь фальшивыми расистскими лозунгами «Азия для азиатов» и «Ветер с Востока», гальванизировать интерес к личностям монгольских феодальных владык, кровавых завоевателей вроде Чингисхана.

Партия резко выступила против враждебных взглядов и теорий. В их разгроме Сономын Удвал приняла самое активное участие, непримиримо борясь со всеми и всяческими проявлениями национализма, отступленными от классового подхода к исто-

рии и культуре. Страстная убежденность в том, что единственно возможным путем развития Монголии является путь социалистического строительства, дружбы с Советским Союзом, — эта убежденность Удвал глубоко созвучна монгольской общественности. Писатели выбрали ее председателем своего Союза.

Работы прибавилось. Союз монгольских писателей не простое «хозяйство». Созданный в январе 1929 года под непосредственным руководством ЦК МНРП, он в 1969 году отмечал свое сорокалетие. Союз был удостоен высшей награды страны — ордена Сухэ-Батора; правительственными наградами отмечен труд более 20 литераторов во главе с Удвал. Большое внимание литературе и искусству уделил XVI съезд МНРП, прошедший в 1971 году.

Сейчас в Союзе писателей Монголии около 150 членов. Он издает — тиражом 70 тысяч экземпляров — газету «Утга зохиол урлаг» и журнал «Цог». Каждый год в стране выходит до 50 художественных произведений. Немало книг посвящено Советскому Союзу. К пятидесятилетию образования СССР вышел двухтомник «Советский Союз глазами монгольских писателей» и «Голоса семидесяти литератур».

Книги самой Удвал знают в каждом аймаке и сгмоне, у нее много верных читателей и почитателей.

Повесть «Первые тринадцать» — об освоении целинных земель — прочтала вся молодежь, нашедшая в ней и «производственный сюжет», и психологически достоверные описания нравственных исканий современников. Жизненной достоверностью привлекают не лишние автобиографические черт произведение «Девушка из Гоби» и рассказы Сономын Удвал. Строгие реалистические краски оттеняют в них драматизм изображаемых событий. А в подтексте — не всегда заметный, но безусловно свойственный художественному таланту Удвал лиризм. В числе лучших рассказов писательницы — лирический «Букет цветов». Обаятелен образ героини рассказа — монгольской девушки, полюбившей советского офицера и успевшей обменяться с ним всего несколькими словами: он уехал на фронт и только спустя несколько лет она снова встретила его имя — уже на памятнике погибшим в Берлине воинам.

И этот рассказ и отличная повесть «Рядкий человек» знаменуют углубление новых качеств монгольской прозы — психологиче-

ской индивидуализации образов, остроты нравственно-этических конфликтов. Герой повести, пожилой уже человек, проходит трудное испытание счастьем. Бескорыстная любовь девушки, которая на двадцать лет моложе его, могла бы поднять и окрылить Тэгшээ. А он оказался недостоин ее, стал слушать сплетни, начал считаться: кто главнее в семье. По словам другого персонажа, «счастье на человека обрушилось — и он не выдержал. Раздавило его». И сюжетная коллизия — уход жены и сама разработка морально-этического конфликта — говорит о росте реалистического мастерства писательницы.

— Пишу урывками, — вздыхает Сономын Удвал. А через минуту, забыв о невольной сорвавшейся с губ жалобе, поднимает новые и новые вопросы: — А что вы думаете о нашем сборнике, как лучше издать его? Успеем ли провести дискуссию до конца года, что сделать для этого?

Дела, работа, планы — эти слова преобладают при обсуждении состояния и перспектив советско-монгольских писательских связей. Нет недостатка и в заявлениях о силе и теплоте нашей дружбы, заявлений глубоко правдивых, подтвержденных в испытаниях истории. В праздничные, торжественные дни мы тоже всегда вместе, будь то пятидесятилетие Октябрьской социалистической революции, столетие со дня рождения В. И. Ленина, юбилей Советского Союза, тридцатилетие нашей общей победы на Халхин-Голе или пятидесятилетие монгольской народной революции. Дни советской культуры в Монголии и монгольской в СССР неизменно проходят как большое событие, символизирующее нерушимую дружбу двух народов. В составе наших делегаций в Монголию приезжали крупнейшие мастера слова: Константин Симонов, Борис Полевой, Валентин Катаев и другие. Все это очень хорошо. Но еще лучше, что вслед за публичным выражением чувств начинается как бы второй тур праздничных мероприятий: творческий семинар по актуальной проблеме, разработка проспекта литературного издания, рассмотрение плана писательских контактов.

В Монголии каждый год проходят курсы писателей, и, кажется, не было случая, чтобы на них не выступали советские литературоведы и критики. Постоянный канал пополнения образования монгольских писателей — учеба в СССР; на Высших литературных курсах, в Литинституте имени

Горького, в МГУ, Академии общественных наук при ЦК КПСС училось больше пятидесяти наших коллег из МНР.

Давно и прочно оправдали себя и другие формы литературного сотрудничества. Но одна является сравнительно новой и заслуживает, на мой взгляд, всеобщего внимания. Это совместная подготовка и параллельное издание тематических сборников.

Название одного из сборников, включающих произведения и монгольских и советских авторов, приуроченного к славной годовщине, говорит само за себя — «Побратимы Халхин-Гола». Другой — своеобразная художественная летопись более чем пятидесятилетней дружбы монгольской и советского народов. В «Книге Братства» выступают около ста монгольских и советских авторов, освещая все этапы нашей совместной борьбы и работы: освобождение Монголии, строительство в ней социализма, сегодняшнюю ее действительность. Рядом с политическими, государственными деятелями, классиками монгольской литературы — писатели нескольких нынешних поколений: Цэндийн Дамдинсүрэн, Бямбын Ринчен, Сономын Удвал, Чойжилын Чимид, Сэнгийн Эрдэнэ, Лодонгийн Гудэв, Далантайн Гарва, Гомбийн Жамсранжав и другие.

В разных жанрах выступают здесь и советские авторы. Академик И. Майский и маршалы Г. Жуков, К. Рокоссовский, партийный деятель ленинской школы Л. Берлин и монголовед А. Бурдуков, советские специалисты, самоотверженно трудившиеся в Монголии, делятся своими воспоминаниями с читателями сборника. Но, разумеется, в оглавлении преобладают писательские имена: Вс. Иванов, В. Зазубрин, С. Третьяков, Л. Славин, Н. Тихонов, Г. Марков, В. Катаев, К. Симонов, Б. Полевой и другие прозаики, поэты, публицисты.

Сборник получил высокую оценку. Предисловие к нему написал товарищ Ю. Цеденбал. И вот уже Сономын Удвал задумывается об издании нового. Однако прежде, наверное, бесполезно вспомнить, как создавалась «Книга Братства». Это было непростая работа. Члены редколлегии не единожды встречались, уточняя планы издания, обменивались письмами о прочитанных произведениях, дискутировали относительно окончательного состава сборника. Добавьте к этому проблемы перевода, художественного оформления книги, заботу об ее издании на двух языках, одновре-

менно в Москве и Улан-Баторе,— и станет ясным объем проделанной работы.

И все же хочется подчеркнуть не столько ее объем, сколько новаторский по существу характер. Коллектив, готовивший сборник, учился совместно решать сложные вопросы, сочетать национальные и общие интересы, искать приемлемые решения не только в очевидных случаях. Бывало так, что, окончив какие-нибудь теоретические дебаты, писатели допоздна засиживались за издательскими планами. Кяхтинская встреча писателей фактически состояла из двух частей. Первая, официальная,— обсуждение историко-революционной темы, вторая, сверх повестки дня,— рассмотрение состава сборника «Книга Братства».

Подготовкой и изданием «Книги Братства» энергично занялась группа монгольских и советских литераторов, среди них Александр Гатов. Все они заслуживают самых добрых слов. Но скажем прямо: без Александра Гатова это начинание не могло бы осуществиться. Об этом мы полным голосом сказали, к сожалению, позже, чем надо бы,— в минуту прощания с ним, но сказали вполне убежденно и без малейшего преувеличения.

...Многое помнит Дубовый зал старинного особняка на улице Воровского. Здесь, в Центральном доме литераторов имени А. А. Фадеева, проходили встречи и заседания, ставшие уже страницами истории нашей культуры. Здесь прославленные мастера слова знакомились с теми, кто шел им на смену. Здесь писатели навсегда прощались с теми, кто уходил в свой последний путь.

И снова в вестибюле ЦДЛ немногословные объявления в черной рамке, и снова в Дубовом зале траурными полотнищами завешаны витражи высоких окон. На постаментах — два гроба. На гражданской панихиде говорят сразу о двух, подчеркивая трагическую символику этого слияния имен: Жугдэрнамжилын Тумур и Александр Гатов.

И в жизни и в смерти многие советские люди оказались неразлучны с монгольскими братьями. Молодой слесарь Александр Гатов увлекся востоковедением, стал талантливым китаистом, а первый жизненный экзамен сдавал на Халхин-Голе, сражаясь плечом к плечу с монгольскими цирками. Он участвовал в боях Великой Отечественной войны, освобождая дальне-

восточные земли от японских милитаристов, и на эти земли возвращался не раз в мирные годы как их страстный и вечный патриот. Самой главной его любовью была Монголия, невозможно подсчитать, сколько он сделал для развития советско-монгольских литературных связей, курируя их по линии Иностранной комиссии Союза писателей СССР. Состоялись сотни писательских поездок, десятки творческих семинаров, вышли в свет оригинальные книги, а Гатову казалось, что сделано слишком мало, и он сочинял новые проекты, шел в секретариат, просил, требовал, ликовал, когда его поддерживали, расстраивался, когда откладывали решение. 1972 год встретил новой идеей: помочь монгольским писателям создать задуманную ими книгу о пятидесятилетии Советского государства. Последние дни отпуска, которые проводил на Рижском взморье, с трудом мог усидеть на месте — манила Москва, куда должны были приехать авторы будущей книги. Ограничиться тем, чтобы проводить их в путь по стране? Нет, это невозможно, и Александр Гатов начал очередную атаку на планово-финансовый отдел, на секретариат, добываясь командировки и для себя.

Они поехали вместе — авторы предполагаемого сборника и советский их друг, и вместе встретили неожиданную гибель на одной из кавказских дорог. Автомобильная катастрофа оборвала ряд ярких жизней; в Москву для последнего прощания в цинковых гробах доставили останки двух делавших одно дело людей: монгольского критика и публициста Жугдэрнамжилына Тумура и советского литератора, работника Иностранной комиссии Александра Гатова. А спустя некоторое время скончался и другой тяжело пострадавший в этой же катастрофе монгольский писатель — Перэнлэйн Лувсанцэрэн.

Трагический эпилог у нашего рассказа об энтузиастах советско-монгольской дружбы. И вместе с тем героический: монгольские наши братья, ответственный сотрудник Инкомиссии Александр Гатов погибли как солдаты, на боевом посту, продолжая дело всей своей жизни.

Ответственный сотрудник Иностранной комиссии! Может быть, только в этот день мы до конца поняли, что не протокольной официальностью рождены эти слова, включенные и в газетный некролог. Иностранная комиссия — тот рабочий орган, с помощью которого руководство Союза писа-

телей осуществляет свои международные литературные связи. Иностранную комиссию мы привычно браним за какие-нибудь неполадки в текущей работе. Но если нужно разыскать далекого друга, получить книжную новинку, переслать письмо за границу, договориться о зарубежной командировке, мы спешим в знакомый флигель со строгой бронзовой табличкой на дверях.

Возглавляют эту комиссию сами писатели. Долгие годы международными связями Союза ведал Алексей Сурков, это же «амплуа» досталось в разное время Борису Полевому, Сергею Михалкову, автору данной статьи. Сейчас наши международные дела ведет Николай Федоренко — известный синолог, бывший посол Советского Союза в Японии, критик и редактор, член-корреспондент Академии наук СССР. Вокруг комиссии — широкий писательский актив, и на этом участке работа ведется коллегиально, на демократических самостоятельных началах, как и полагается в общественной организации. Но главная наша опора, источник глубоких и проверенных сведений о любой стране, организатор массовых мероприятий, спутник в зарубежных поездках — тот самый «ответственный сотрудник», который в штатном расписании назван скромно: консультант.

Старая истина — сколько людей, столько индивидуальностей. И международными связями занимаются работники разные, кто лучше, кто хуже. А вот к тем, «кто лучше», мы имеем полное право причислить Александра Гатова, потому что он сочетал творческие теоретические способности (критик, публицист, переводчик, хорошо известный под псевдонимом Агей Гатов) и качества организатора, готового мчаться на край света, день и ночь работать с делегацией, готовить «внутренние» обзоры, налаживать гибкую систему совместного редактирования. Энтузиаст — это определение больше всего подходит к Александру Гатову, но оно может быть распространено и на его товарищей, принадлежащих к новой советской школе полпредов нашей литературы во многих странах мира.

Эта школа возникла в условиях братского писательского сотрудничества. Дружба социалистических литератур, основанная на единстве идей и исторических судеб, как уже говорилось, претворяется не просто в заявлениях, а в практических де-

лах. Найдены новые формы творческих контактов, реализуемые непосредственно средствами художественного слова. Наладилось непрерывное личное общение писателей. И все это, естественно, потребовало людей, работников, которые посвятили бы свою жизнь друзьям и братьям. Такие бескорыстные люди есть в писательских организациях всех социалистических стран, и ценят их уже не только на родине, а всюду, где знают, кому обязаны теплым гостеприимством приехавшие делегаты, кто «снаряжал» ответные делегации.

Сложен современный мир, противоречиво развивается культурная, литературная жизнь. Врагов у нас еще предостаточно, лицемерные «друзья» тоже пропадаются не так уж редко. Тем важнее знать, как дорога советская литература честным людям мира, сколь много черпают в ней убежденные борцы за свободу и социальный прогресс, что такое истинные друзья, настоящая дружба. Литераторы социалистических стран Европы, крепя дружбу между собой, устанавливают тесные отношения и с афро-азиатским писательским движением, участвуют в конференциях, помогают издавать журнал «Лотос» и т. д.

Связи же между писателями социалистического содружества уже переходят на более высокий уровень, приобретают новые качества.

Какие? Чтобы узнать это, стоит внимательно присмотреться к формам взаимоотношений братских писательских организаций. Эти взаимоотношения рассматриваются на координационных встречах руководителей союзов писателей социалистических стран, которые собираются ежегодно начиная с 1964 года. Очередная, девятая встреча состоялась в Монголии в 1972 году.

Верность интернационализму

На встрече заслушивались подробные сообщения о работе каждой национальной писательской организации. Обсуждались проблемы перевода и издания книг друг друга. С большим вниманием рассматривался вопрос о совместных творческих начинаниях: дискуссиях, семинарах, сборниках, специальных номерах журналов. Вносились предложения, как совершенствовать и впредь наши международные контакты (включая контакты с афро-азиатским писательским движением).

Каждое проведенное мероприятие — на-

глядный показатель братской дружбы, связывающей наши страны. Но всего ярче, с огромной волнующей силой проявилась эта дружба, когда началось обсуждение вопроса о помощи сражающемуся Вьетнаму.

Делегат Южного Вьетнама Нгуен Куанг Шанг добирался от Сайгона до Улан-Батора два месяца. Самое трудное было попасть в Ханой. Шел пешком, через дремучие джунгли, по горным тропам, преимущественно ночами. Было не до сна, не до отдыха. Вокруг рыскали вражеские солдаты, полицейские, шпики. По прямой это примерно тысяча восьмьсот километров, но избранный потайной маршрут увеличил расстояние вдвое. Когда южновьетнамский делегат добрался до Ханоя, он весил всегонавсего тридцать килограммов! Больше недели Нгуен Куанг Шангу пришлось провести в госпитале, прежде чем он смог продолжать путь в Улан-Батор. Здесь он участвовал на встрече руководителей Союзов писателей социалистических стран вместе с представителем Союза писателей ДРВ То Хоаем.

Затаив дыхание слушали делегаты выступления обоих вьетнамских писателей. Узнали много потрясающих фактов. Решительный отпор убийцам и насильникам! — этот лозунг объединил всех мужчин и женщин страны. Беспримерна стойкость народа, смело вставшего за свои социалистические завоевания, национальную независимость, за будущее своих детей. Американские империалисты и южновьетнамские предатели потерпели поражение в своих захватнических планах, понесли тяжёлые потери, потому что столкнулись с непобедимой любовью к свободе, волей к сопротивлению.

Всегда верили вьетнамские патриоты в победу, в ту, которая пришла теперь. Веру в победу воспитывала в народе и литература. Писатели постоянно были со своим народом, многие — в рядах бойцов. Продолжали публиковать книги, и собственные и переводные. Союз писателей Вьетнама заботился о своем пополнении, организовал для творческой молодежи курсы, где преподавалась марксистско-ленинская эстетика, национальная и зарубежная классическая литература, регулярно проводились творческие семинары. В Ханое состоялась конференция молодых литераторов, на нее с фронта прибыло около 80 поэтов, прозаиков, сценаристов, критиков.

Горячими аплодисментами сопровождали участники совещания в Улан-Баторе речи вьетнамских представителей. Сколько они пережили, как прекрасно их мужество! Нгуен Куанг Шанг ни на что не жалуется, но мы-то знали, почему его не видно после заседаний — жестокие головные боли. Знали и думали: надо сделать все, чтобы и он, и То Хоай, и миллионы их соотечественников сохранили и укрепили свои силы; сейчас — для победной борьбы, завтра — для восстановления истерзанной агрессорами страны. Думали и говорили о героическом Вьетнаме, о братской социалистической помощи ему.

Сегодня, когда правое дело Вьетнама восторжествовало, мы еще раз с чувством искренней любви и горячей гордости заявляем о стойкости и героизме народа, благодаря которым потерпела провал империалистическая агрессия. И, разумеется, испытываем удовлетворение, встречая в обращении ЦК ПТВ и правительства ДРВ такие слова: «Эта победа нашего народа является также результатом преданной поддержки и большой помощи, оказанной социалистическими странами и прогрессивными народами во всем мире».

Это означает, что международное движение солидарности с Вьетнамом, в котором приняли деятельное участие литераторы, афро-азиатская писательская ассоциация, показало свою жизненность и эффективность. Это означает, что Советский Союз, мировая система социализма вновь оказались решающей силой в антиимпериалистической борьбе. Писательская помощь Вьетнаму была и остается широкой, многосторонней, практической. О ее характере и значении подробно говорилось на координационных встречах в Москве и Улан-Баторе.

«Здоровье — Вьетнаму!» — этот девиз Макс Вальтер Шульц произнес не как призывную зрадицу. Он докладывал в Улан-Баторе о помощи ГДР борющемуся Вьетнаму. Вопрос об этой помощи — уже второй раз по инициативе Союза писателей СССР стоял на координационных встречах. Вначале рассматривался на Московской, проходившей в 1971 году, затем на этой — на Улан-Баторской в 1972 году. Немецкие друзья сообщили о том, что они решили концентрировать усилия, проводя целенаправленные кампании солидарности с Вьетнамом. Каждый делающий взнос должен знать, для чего конкретно он предназначен и что на

него можно приобрести. С большим успехом прошла уже первая кампания под названием «Велосипеды для Вьетнама»; на собранные средства было куплено и отправлено в Ханой две с половиной тысячи велосипедов. О цели второй кампании говорит ее название: «Ток для Вьетнама, электричество для Вьетнама». И вот сбор денег на приобретение медикаментов: «Здоровье — Вьетнаму». Всего от сбора литераторами средств, продажи открыток, рисунков, книг с писательскими автографами получено два миллиона марок.

Делегаты Улан-Баторской встречи снова требовали прекратить агрессию в Индокитае. Вслед за представителем ГДР сообщили об оказанной каждой страной помощи Вьетнаму. Венгры: в фонд Вьетнама собрано 250 миллионов форинтов. Болгары: вышел ряд произведений о Вьетнаме (одно из них, книга Благи Димитровой «Страшный суд», переиздано советской «Роман-газетой» массовым тиражом). Поляки: наряду с книгами сделаны радиопередачи и фильмы о Вьетнаме. Монголы: писатели ведут большую агитационную работу в защиту Вьетнама, вот и сегодня будет два митинга на предприятиях Улан-Батора. Делегаты ЧССР: среди вышущихся книг выделяется альбом художника Владимира Шолта, побывавшего во Вьетнаме, рисунки с натуры он сопроводил своим текстом. Делегаты Румынии и Югославии: гонорары за многие свои произведения литераторы передают в фонд Вьетнама. Кубинцы: в середине 30-х годов прогрессивные кубинские писатели лично участвовали в борьбе республиканской Испании против фашизма; некоторые из «испанцев» теперь вновь побывали во Вьетнаме.

Советской делегации тоже было о чем информировать встречу. Слушая выступление секретаря правления Союза писателей СССР Юрия Верченко, мы восстанавливали в памяти многочисленные дела последнего времени. О горячей поддержке справедливой борьбы вьетнамского народа советские писатели заявили в специальной резолюции своего Пятого съезда. О своих чувствах и мыслях публично высказались все, кто побывал во Вьетнаме. Константин Симонов посвятил ему свои новые стихи, превосходный документальный фильм. Среди стихов о Вьетнаме — большие циклы и подборки Евгения Долматовского, Евгения Евтушенко и других. Все они гневно выступали против варварских бомбардировок

Ханоя и других жестоких актов агрессоров.

Писательские заявления подкреплялись делами. Сотни выступлений перед читательской аудиторией вплоть до Дворца спорта в Лужниках, вмещающего 14 тысяч человек, принесли изрядные суммы, которые были переведены в фонд Вьетнама. Его дополнили добровольно переданные писательские гонорары. С сентября 1971 года мы стали ежегодно проводить День Вьетнама. В этот день во многих городах страны организуются литературные вечера и другие массовые мероприятия. Заработанных средств хватило на приобретение для Союза писателей Вьетнама автомашины, библиотеки, ротопронта, нескольких пишущих машинок. А еще раньше в Ханой было отправлено сто тонн бумаги — ее в дни Московской встречи подарили вьетнамцам рабочие бумажной фабрики «Октябрь».

Память перебрасывает в Хайфон, Ханой, другие города Вьетнама. Они знакомы не только по рассказам друзей, но и по собственным впечатлениям. Со времен поездки в ДРВ прошел уже не один год, а как сегодня видишь и знаменитый Храм литературы, и Озеро священного меча (неужели его берега теперь изрыты воронками от бомб!), и особняк на тихой, тенистой улице имени классика вьетнамской литературы Нгуен Зу, где помещался Союз писателей. В тот наш приезд война еще не началась. Но угроза ее висела над страной, вьетнамцы готовились к отпору врагу. Они самоотверженно трудились, вооружали молодежь боевым опытом Дьен Бьен Фу — «вьетнамского Сталинграда», где были наголову разбиты французские войска, мечтали о часе, когда будет воссоединена их многострадальная родина. Об участии писателей в общенародной борьбе нам подробно рассказывал в Ханое известный поэт и общественный деятель, секретарь ЦК партии трудящихся Вьетнама То Хьу. Весной 1972 года, встретившись с То Хьу в Москве, мы продолжили давнюю беседу, и он рассказал об участии вьетнамских писателей в новой войне за независимость родины.

— Нам очень трудно, но скоро на нашей земле будет еще один, вьетнамский Сталинград — мы разгромим американских вояк, как раньше разгромили французских, — уверенно заявил То Хьу. — На эту победу трудятся и все писатели. Помните призыв нашей партии: «Надо уметь видеть весну!»?

Еще бы не помнить! Его мы слышали в Ханое от Хо Ши Мина.

Он принял нас в семь тридцать утра в своей резиденции; с полчаса посидели в одной из боковых комнат, потом президент пригласил пройти в сад. Там небольшой домик, типичный крестьянский домик на сваях. Первый этаж, без стен, со всех сторон открытый,— это кабинет, в нем стоит рабочий стол президента, разложены книги. На верхнем этаже — комната для отдыха, сна. Прошлись по саду, побывали у пруда, где Хо Ши Мин любил кормить рыбок, отвечали на его вопросы о Советском Союзе и старались запомнить побольше из его собственных слов.

Президент подчеркнул значение советского опыта в той работе по строительству социализма, которой занят вьетнамский народ. Попросил рассказать о впечатлениях, согласился с мнением, что во вьетнамской литературе все больше произведений, имеющих право на мировое признание. Внимательно прислушивался к словам, которые мы услышали в Союзе писателей,— о необходимости преодолевать схематизм в художественных произведениях.

— Я не литератор,— сказал Хо Ши Мин.— Но, по-моему, в литературе есть два недостатка. Некоторые писатели рисуют образ героя только с достоинствами, без всяких слабостей. Это сверхчеловек, он совсем не похож на живого человека с его радостями и огорчениями. В иных книгах нет ничего, что отличало бы одного человека от другого. Нет цельной картины жизни, а лишь отдельные ее стороны.

С большой теплотой говорил президент о деятелях искусства, о том, что они упорно ищут дорогу к творческим победам. Старшим мастерам, имеющим опыт и знания, нужно стать ближе к массам. Молодые живут идеями социализма, привыкли опираться на массы, им нужно приобретать знания, опыт. И всем необходимо жить жизнью народа.

— А народ наш достоин восхищения.

Нет для него ничего дороже, чем свобода родины. Но вот Юг... Наш долг решить две задачи: построить на Севере социализм и добиться объединения всей страны на демократических началах. Вьетнам сейчас, когда Юг в руках предателей и империалистов, напоминает человека, у которого парализована часть тела. Этот паралич временный, он излечим. Семьи, разъединенные уже много лет, опять встретятся и будут счастливы. Вы знаете призыв нашей партии к литераторам? В общем-то, он обращен ко всему народу: «Надо уметь видеть весну».

И вот десять лет спустя опять довелось услышать эти проникнутые оптимизмом слова о предстоящей весне. А еще через год смогли поздравить вьетнамских братьев с великой победой. В ней, скажу с полной убежденностью еще раз, никто не сомневался. На описанных выше и на других писательских встречах господствовала одна мысль: таких трудолюбивых и гордых, скромных и душевных, отважных и самоотверженных людей сломить нельзя, как нельзя подавить народную революцию, задуть глубоко человеческую поэзию.

Ставя и обсуждая вьетнамский вопрос, все делегаты проходили своеобразную школу гражданского воспитания. Учились вместе отстаивать единые принципы, заботиться о друзьях, укреплять дух пролетарского интернационализма. Принимая в свое сердце тревоги и надежды мира, писатели-бойцы закаляются для новых сражений во имя светлого будущего этого мира.

Верность идеалам интернационализма — вот главное, что объединяет передовых писателей всего мира, литераторов Азии и Африки, готовящихся сейчас к Алма-Атинской конференции. Самое ценное, самое дорогое в творчестве этих писателей — благородные идеалы, свободолюбивые стремления. Можно быть уверенным, что конференция станет заметным шагом на пути дальнейшего сплочения прогрессивных литературных сил обоих континентов.



СЕРГЕЙ АНТОНОВ

★

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА...

СТАТЬЯ ЧЕТВЕРТАЯ*

(Рассказы о писателях, книгах и словах)

А. КОНАН ДОЙЛ. РАССКАЗЫ О ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ

Для разбора сочинений, написанных от второстепенного действующего лица, весьма удобны рассказы Конан Дойла о Шерлоке Холмсе, но я долго колебался, прежде чем остановиться на них свой выбор. И вовсе не оттого, что в моих статьях среди русских литераторов внезапно появился иностранец. Писатели всегда находили и будут находить много полезного и поучительного в литературе других народов.

Дело в том, что, обращаясь к рассказам о Шерлоке Холмсе, приходится погружаться в область, которая многим кажется несерьезной,— в область детективной литературы.

Не так давно для такой литературы придуман несколько пренебрежительный термин «паралитература». Во Франции уже вышла книга названная «Entretiens sur la paralittérature» («Беседы о паралитературе»). В список классиков паралитературы внесены Э. Сю, А. Дюма, Э. Габорио, Ж. Сименон и многие другие (Конан Дойла почему-то в этом списке нет). Видимо, паралитература относится к литературе примерно так же, как парapsихология к классической психологии,— как нечто сомнительное, противостоящее истинной беллетристике.

Некоторые писатели, работавшие в жанре приключений и детектива, склонны разделять такой взгляд. Марсель Аллен (ав-

тор «Фантомаса») заявил грустно: «В конце концов, мы только забавники».

Если к рассказам о Шерлоке Холмсе применять те же мерки, какие применялись, например, к «Запискам охотника», многие авторы, в том числе и авторы детективов, пожалуй, удивятся. Ведь не так давно наши «детективщики» рассуждали за круглым столом:

...Термин «детективная литература», как известно, придуман на Западе... Почему же мы должны нести тяжкий крест, называемый детективной литературой? Как было бы хорошо совсем изъять этот термин из нашего обихода!

...По своим художественным достоинствам детектив никогда не поднимется до уровня Достоевского, да ему это и не нужно...

...По моему убеждению, жанра детектива как такового вообще нет... Само это слово настолько опорочено, что хотелось бы его запретить¹.

Между тем когда «Огонек» в качестве приложения объявил восьмитомник Артура Конан Дойла, тираж этого издания составил 626 тысяч экземпляров.

И как бы ни относиться к детективному жанру, как бы его ни именовать, факт остается фактом: львиную долю подписчиков составили почитатели Шерлока Холмса.

Сочиняя первую повесть о Шерлоке Холмсе, молодой врач не имел честолюбивых

* Первые три статьи см. «Новый мир», 1972, №№ 10, 11; № 2 с. г.

¹ См. «Литературная газета», 10 февраля 1971 года.

замыслов. Ему были нужны деньги. И повесть он назвал «Этюд в багровых тонах» (1887). С такой же унылой оригинальностью именовали свои сочинения и О. Уайльд и Джером К. Джером, а художник Уистлер — свои картины.

Но прошло время, и Конан Дойл стал пленником своего героя. В юмористическом журнале «Punch» появилась карикатура, изображавшая «добродушного гиганта» Конан Дойла, закованного в ножные кандалы, цепи которых крепко держит Шерлок Холмс.

Напечатав несколько десятков рассказов, Конан Дойл сообщил матери, что собирается убить Холмса и покончить с ним навсегда.

Но сделать это было не так просто. На сцене лондонского театра уже ставились пьесы о похождениях Шерлока Холмса (роль маленького «кокни», подручного знаменитого сыщика, играл никому еще не известный мальчуган по имени Чарли Чаплин). Г. Честертон печатал рассказы о патере Брауне, не без зависти пародируя приемы Шерлока Холмса. По адресу Бейкер-стрит поступали письма на имя мистера Холмса.

Конан Дойл потерял терпение и с помощью выдуманного злодея Мориарти бросил своего героя в пучину. Этот рассказ назывался «Последнее дело Холмса». Конец его звучал самым настоящим некрологом: «Впрочем, я вам объяснял, что жизнь моя достигла кризиса и вряд ли существует более подходящая возможность закончить ее»².

Прошло совсем немного времени, и американский издатель-делец предложил пять тысяч долларов за каждый новый рассказ о Шерлоке Холмсе. Встревоженным англичанам стало известно, что писатель ответил почтовой карточкой, на которой было написано два слова: «Very well. A. C. D.». В том же «Punch» появился фельетон под названием «Блудный сын» с подзаголовком: «Распространился слух, что Шерлок Холмс, если он появится, будет фигурировать в серии рассказов из американского быта».

Фельетон так же, как и подавляющее большинство историй о Шерлоке Холмсе, написан от лица доктора Уотсона:

«Я встретил его на Странде. Это было поистине удивительное происшествие. Если

бы я не знал, что он лежит на дне водопада, я сказал бы с полной уверенностью, что передо мной стоит сам Шерлок Холмс..

Я попятился назад и оглянулся на полисмена; затем я схватил его за руку и потащил в первый попавшийся кабачок, где сейчас же оба мы уселись за столик.

— Так вы Шерлок Холмс? — вскричал я.

— Совершенно верно. Шерлок П. Холмс, живущий в Нью-Йорке Северо-Американских Штатов.

— Холмс! — Я заключил его в объятия. — Узнаете вы меня? Вы должны меня помнить.

— Ваше имя? — спросил он.

— Уотсон, доктор Уотсон.

— Очень хорошо; да, я помню, что видел вас где-то прежде..» И т. д.

Все это означало, что пришла победа: слава выдуманного персонажа затмила славу его создателя.

Шерлок Холмс разделил судьбу бессмертных героев классической литературы. Он стал полноправным литературным типом.

Какую же всеохватывающую художественную идею выражает Шерлок Холмс? И почему эту идею выражает именно он, а не какой-нибудь другой детектив?

Еще до А. Конан Дойла француз Э. Габорио изобразил множество сыщиков во главе с Лекоком. Рассказ Э. По «Убийство на улице Морг» привел А. Куприна в такой восторг, что он не смог удержаться от опрометчивого заявления, будто в один этот рассказ, «как в футляр», вмещается Конан Дойл вместе со своим Шерлоком Холмсом.

В годы наивысшей популярности Шерлока Холмса во всех странах печаталось множество историй о сыщиках, начиная от новелл Г. Честертонна о патере Брауне до продававшегося на Кузнецком мосту романа «Дуэль Шерлока Холмса с Нат Пинкертоном, или Таинственное похищение шестидесяти гимназисток». Агата Кристи ежегодно (к рождеству, как и обязывает ее фамилия) выпускает романы о сыщике Пуаро, по которым иностранцы тренируются в чтении несложных английских текстов.

С годами, однако, выявился непреложный факт: Лекок, Дюпон, Пинкертоном и прочие уходили в небытие, Пуаро и Мегрэ приедались, а «бумажный детектив», как презрительно обзывала Шерлока Холмса серьезная критика, обрел самостоятельное существование и стал нарицательным литературным типом.

² Цитаты из произведений А. Конан Дойла даны в моем переводе.

Это обстоятельство озадачило и критику и авторов. Пришлось искать объяснений. Некоторые считали, что А. Конан Дойл одарен особым талантом расследования преступлений. Вспоминали процессы, в которых писатель участвовал в качестве адвоката. Вспоминали его статьи о помиловании осужденного на пожизненное заключение О. Слайтера. Впрочем, в статьях этих не было ничего особенного. Так же, как и многие другие честные люди, А. Конан Дойл считал долгом исправить очевидную судебную ошибку. Тем не менее под давлением критиков писатель уверовал в свои недожиданные способности следователя и скромно писал: «Пройдя серьезный курс тренировок в медицинских диагнозах, я чувствовал, что, если к проблемам криминалистики применять те же строгие методы наблюдений и исследований, можно создать более научную систему.

В целом моя точка зрения была подтверждена, когда я узнал, что в ряде стран полицейская процедура претерпела некоторые изменения на основе написанных мною книг».

Это объяснение, даже если оно и соответствует действительности, не дает ответа на вопрос, почему именно Шерлок Холмс, а не его многочисленные такие же выдуманные собратья, стал фигурой типической.

Хотя вопрос этот и интересен, но он уводит нас от темы — от роли ведущего повествование второстепенного лица. Это лицо в рассказах о Шерлоке Холмсе представляет Доктор Уотсон.

Итак, обратимся к отставному офицеру военно-медицинской службы доктору Джону Г. Уотсону. Может быть, своеобразие повествования, направление сравнений и ассоциаций дадут возможность проникнуть в характер Уотсона тем способом, какой мы употребили для знакомства с Галиеном Марком из «Возвращенного ада» А. Грина?

Это предприятие не сулит особенного успеха.

Ничего замечательного в манере, в стиле Уотсона, никаких отклонений от гладкой, безликой речи читатель не чувствует.

На персональный подтекст фраза не претендует. Она начисто лишена того своеобразие, которое превращает слово в частицу излучающей его личности. Слово rispetable и бесстрастно, как дворецкий. Оно предназначено только для того, чтобы на-

звать несложный объект и зарегистрировать несложные чувства. В нем нет полутонов и оттенков, отражающих душевный сдвиг, промелькнувшую мысль, изменение чувства.

Редкие беллетристические украшения повторяют традиционный стереотип: дома на окраине Лондона раскинулись, как «щупальца гигантского спрута», двигатель парохода «стучит, как огромное металлическое сердце».

Философское глубокомыслие Уотсона не выходит за пределы удручающих пресностей вроде того, например, что «жизнь похожа на эту топь, усеянную зелеными пятнами, в которых можно утонуть», а пешеходы на вечерних улицах выглядели призраками, которые, «как и весь род людской, появлялись из темноты и снова погружались во тьму».

Поначалу я собирался знакомиться с повествователем по рассказу «Пестрая лента», во-первых, потому, что сам автор, будучи в преклонном возрасте, из всех историй о Холмсе предпочитал «ту, которая о змее», а во-вторых, потому, что рассказ больше других нравится публике. По опросу «Обсервера», рассказы-победители расположились в такой последовательности: 1. «Пестрая лента», 2. «Союз рыжих», 3. «Скандал в Богемии» (кстати, единственный, в котором знаменитый сыщик терпит фиаско), 4. «Морской договор», 5. «Человек с рассеченной губой».

К сожалению, в «Пестрой ленте» двадцать две страницы из общего числа двадцати семи представляют собой чистый диалог, и Уотсону оставлено слишком мало места, чтобы проявить своеобразие рассказчика.

Почти вся серия «Приключения Шерлока Холмса» построена главным образом на диалоге. А в рассказе «Медные буки» роль Уотсона настолько случайна, что достаточно вычеркнуть или чуть изменить двадцать — тридцать строк — доктор исчезнет и никто не заметит его отсутствия.

Для хода сюжета некоторых рассказов Уотсон не нужен вовсе. И если ограничить изучение этого персонажа манерой повествования, то почтенный доктор превращается в подобие подпоручика Кижее — в нечто, фигуры не имеющее.

Почему же Конан Дойл, сделав Уотсона тенью своего героя, не пожелал очертить его образ хотя бы речевой характеристикой?

Если бы Конан Дойл считал необходимым персонифицировать речь Уотсона, он сделал бы это с блеском. Он владел богатейшей стилистической палитрой, не хуже профессора Хитгинса ощущал оттенки многочисленных лондонских говоров. С одинаковой легкостью он воспроизводил заметку из Британской энциклопедии, неуклюже-торжественный оборот манускрипта XVIII века, официальный лаконизм «Таймса», претенциозную витиеватость местной газетки, юмор дружеского письма, небрежную скоропись дневника и нервный ритм торопливой записки (см., например, «Собаку Баскервилей»).

На безликом фоне повествования Уотсона такие места выделяются особенно вышукло.

Некоторым литераторам-«детективщикам» полезно позаимствовать у Конан Дойла и добросовестность в изображении обстановки и точность деталей. Самые невероятные сюжеты выглядят почти правдоподобно благодаря тому, что скупой антураж выписан с документальной, географической, исторической и этнографической точностью.

Столовая старинного дома Баскервилей, построенного пять веков назад, «представляла длинный зал, со ступенью, отделяющей возвышение, на котором располагались хозяева, от челяди. В конце зала шла галерея для певцов и оркестра. Черные балки тянулись над головами, подпирая закопченный потолок»³.

Метко, немногословно изображал писатель и разношерстных клиентов Холмса, и тех, с кем сыщику приходилось сталкиваться в ходе расследования.

Вспомните из той же «Собаки Баскервилей» исполненного внутреннего достоинства слугу Бэрримора, решительного полуамериканца Генри, болтуна-забияку Френкленда. Некоторый идущий от диккенсовской традиции налет опереточности только подчеркивает их характерность.

Но поскольку повествование ведет «второстепенный персонаж» — Уотсон, не спра-

³ Для оценки бытовой точности описания привожу свидетельство обитательницы одного из таких домов: «бесчисленные слуги хозяина насыщались за длинными столами в банкетном зале, в то время как хозяин с семьей, гости и капеллан обедали за верхним столом в том же зале...» В Ноле, например, галереи до сих пор известны как «галереи слуг», и список, датированный 1623 годом, содержит имена свыше ста слуг с перечислением их обязанностей (V. Sackville-west. English country houses. L., 1942. p. 27).

ведливо ли часть заслуг отнести на его счет?

К сожалению, нет. Главный прием изображения случайных персонажей именно то, чего лишен Уотсон, — речевая самохарактеристика. Американец утешает дочь словами: «Он примчится сюда быстрее, чем телеграфная депеша». Одно из действующих лиц «Союза рыжих», желая дать представление о количестве рыжеволосых, запрудивших улицу в ожидании вакансии, сообщил, что Флит-стрит от рыжих голов «была похожа на тачку разносчика, наполненную апельсинами». Прочтешь эту фразу — и перед глазами румяный мистер Уилсон собственной персоной.

«Мне кажется, я нашел определение того белого цвета, который доминировал во всем облике Веры Николаевны. Цвет белой мыши с розоватыми глазами», — написано у В. Катаева в «Траве забвенья». Если бы В. Катаев вспомнил фразу из рассказа «Бледный солдат»: «Мать его мне понравилась тоже — маленькая женщина, похожая на белую мышку», — он, может быть, и Конан Дойла причислил бы к мовистам.

Однообразное повествование Уотсона хорошо разъясняет детективные методы Холмса, но из этого повествования трудно извлечь что-нибудь существенное о натуре рассказчика.

Попробуем подойти к этой задаче с иной стороны.

Говоря вообще, ограничивать второстепенный персонаж исключительно ролью пересказчика было бы нерасчетливо. С тем же успехом автор мог бы рассказывать и сам.

Персонаж-повествователь, мало-мальски замешанный в события, обыкновенно выбирается не безразлично к главному действующему лицу. Он всегда как-то соотносится с героем: либо дополняет его, либо пародирует, либо оттеняет его противоположностью характера, воззрений, поведения.

В первых черновиках Уотсон назывался Ормонд Секер. Однако Конан Дойлу показалось, что от этого имени несет дендизмом, и он перекрестил помощника Холмса в Уотсона.

Не стоит ли попытаться использовать эту мелочь в качестве ключика? Не означает ли исключение намек на дендизм из имени Уотсона, что эта черта приберегается для Холмса? Может быть, мы поторопились проститься с мистером Холмсом, и стоит внимательней присмотреться к его

характеру, а затем, по сравнению или контрасту, наметить и облик Уотсона.

Вернемся немного назад, примерно ко времени рождения мистера Холмса. В те годы в сатирическом журнале «Punch» регулярно печатались фельетоны Теккерея, обличающие снобов. Понятие «снобизм» имело тогда боевой политический смысл. Снобом называли разбогатевшего обывателя, желающего прослыть аристократом. По поводу преуспевающего нувориша Теккерей писал с усмешкой: «И разве не дрогнет его сердце от удовольствия, если его увидят под руку с парой герцогов на Пел-Мел».

Фельетоны Теккерей были потребностью времени. Английская буржуазия обрела чувство уверенности. Она не нуждалась ни в гербах, ни в предках. У нее были более полезные ценности: капитал, энергия, предприимчивость.

По странной случайности любимой улицей снобов была та самая Бейкер-стрит, на которой жил Холмс со своим приятелем.

Но Холмс вовсе не сноб. Как только дело касается лордов, отпрысков древних родов, в репликах его звучит насмешка: «Благородный лорд имел несчастье запачкать чернилами правый мизинец». Этому английскому разночинцу пришлось бы по душе увещевание Теккерей: «Наша вина, а не аристократов, что они вознеслись над нами. Если вы по своей воле кидаетесь под колесницу бога Вишну, будьте уверены — вас переедут; если перед нами, дорогой друг, каждый день будут изгибаться в поклонах — а обожатели, готовые пресмыкаться, всегда найдутся, — мы, конечно, не удержимся от того, чтобы не задрать нос, и уверуем в величие, которым так упорно нас одаряют».

Независимость и презрение к аристократии распространяются у Холмса до равнодушия к королевским милостям. Когда ему собирались пожаловать рыцарское звание за услуги, «которые когда-нибудь, может быть, будут описаны», он решительно отказался («Три господина Гаридеба») ⁴.

⁴ Действие в этом рассказе присходит в 1902 году. В этом же году король Эдуард VII присвоил рыцарское звание А. Конан Дойлу, и хотя в дарственной грамоте было сказано, что звание присваивается «за большие услуги нации», если бы не было рассказов о Шерлоке Холмсе, вряд ли писатель дождался, чтобы к его фамилии прибавилась частичка «сир». Награду А. Конан Дойл принял неохотно, под давлением друзей, и главным образом матери.

Учитывая эти обстоятельства, а также высокоморальный образ жизни Шерлока Холмса, есть основания отнести нашего героя к положительным персонажам.

Но перечисленные качества не всем кажутся достаточными для присвоения такого высокого звания, и скромную социальную анкету частного детектива-консультанта иногда приукрашивают, представляя Шерлока Холмса то демократом, то воинствующим гуманистом, защитником бедняков.

Невинные, в общем, приукрашивания обычно подкрепляются цитатами, исходящими от такого авторитета, как Уотсон. Вот как цитируется абзац из рассказа «Черный Питер» в послесловии к первому тому восьмитомного издания А. Конан Дойла (М. 1966):

«Он был настолько бескорыстен — или настолько независим, — что нередко отказывал в своей помощи богатым и знатым людям, если не находил ничего увлекательного для себя в расследовании их тайн. В то же время он целые недели ревностно занимался делом какого-нибудь бедняка».

Эта выдержка — хороший повод, чтобы предупредить молодого читателя от излишней доверчивости к цитатам.

Для того чтобы оценить расцветку пестрого ситца, нужен достаточно большой образец. Меньше какого-то минимального размера узор искажается, и вы получаете неверное впечатление о материале. Так же дело обстоит иногда и с цитатами. Приведенный отрывок оказался меньше минимально допустимого, и смысл его исказился. В рассказе написано:

«Он был настолько бескорыстен, — или настолько своенравен, — что часто отказывал влиятельным и богатым клиентам, если задача не отвечала его вкусу, и вместе с тем целыми неделями трудился над делом какого-нибудь бедняка, если необычность и драматизм этого дела возбуждали воображение и требовали напряжения всего его мастерства».

Знаменитый детектив раскрывал тайственные убийства и гонялся за преступниками вовсе не оттого, что был гуманистом, добряком или сочувствовал бедным и обиженным. К розыску его побуждала единственная потребность: дать достойную пищу голодающему от интеллектуального бездействия мозгу.

Натура Холмса более сложна, чем может показаться на первый взгляд.

В одном из фельетонов Теккерей изобра-

зил сноба-политика: «Это человек, серьезно озабоченный расчетами России и ужасным предательством Луи Филиппа. Это он ожидает французский флот на Темзе и не спускает глаз с американского президента, каждое слово которого (бог поможет ему!) он читает. Он знает фамилии оппозиционных лидеров Португалии и знает, за что они борются; это он говорит, что лорд Эбердин должен быть объявлен государственным преступником, а лорд Пальмерстон повешен».

Холмс, пожалуй, тоже посмеялся бы над такими болтунами. Но это не означает, что сам он политически определился. К политике он насмешливо-равнодушен. «Вести о революции, о возможности войны, о перемене правительства были вне сферы его интересов», — сообщает Уотсон.

Хотя Холмс и лишен аристократической спеси, он иногда не мог удержаться от тщеславного намека на поручение папы римского или турецкого султана.

Несмотря на спартанский образ жизни, Холмс дотошно следит за своей одеждой. В кармане у него золотой портсигар с бериллом на крышке, а на пальце перстень с дорогим бриллиантом.

Кажется, мы угадали: в характере Холмса сильные черты дендизма. Он, конечно, не примитивный хлыщ, не «денди лондонский», озабоченный тем, чтобы трикотажные панталоны возможно плотней обтягивали ляжки. Ему свойственны и театральные эффекты и экстравагантности, но отличительная черта его — высокомерное презрение к «срединной пошлости», обернувшаяся крайним индивидуализмом и скепсисом.

А. Конан Дойл начал писать на закате викторианской эпохи. Королева Виктория, по имени которой названа эта пора английской истории, царствовала с 1837 по 1901 год; в туристских проспектах сказано, что она «принесла дыхание свежего весеннего ветра, в котором страна так нуждалась». В этом была доля правды: свежий, попутный ветер был необходим, чтобы вывозить богатства, награбленные в африканских и индийских колониях.

Англия в то время переживала промышленную революцию. Титулованного ленд-лорда теснил грубый буржуа. В те годы, когда в том же Лондоне Карл Маркс собирал материалы к «Капиталу», молодые, полные сил промышленники прибирали к

рукам и науку, и политику, и религию. и искусство, а прагматисты объявляли такие понятия, как мораль и совесть, «чистойшей выдумкой».

Купцы и промышленники нуждались в самом разнообразном товаре. Нуждались они и в таком товаре, как разум.

Они нуждались в разуме генералов, чтобы закабалить богатые заморские земли, в разуме дипломатов, чтобы обводить вокруг пальца французских конкурентов, они нуждались в разуме изобретателей и ученых. Понадобился разум философов и клерикалов, чтобы следить за разумом смутьянов и не позволять им выходить за пределы дозволенного.

Но уму человеческому противопоказаны любые ограничения, и в XIX веке были созданы великие интеллектуальные ценности, и прежде всего — революционная теория Маркса.

К середине века новые научные идеи носились в воздухе. Почти одновременно судовой врач Майер, пивовар Джоуль и адвокат Гров выдвинули идею закона сохранения энергии, ассистент Королевского института Фарадей проник в тайны электрической индукции, а Дарвин, признавшись: «Я чувствую себя, как будто сознаюсь в убийстве», — все-таки опубликовал бессмертную книгу «Происхождение видов...»

Английская метрополия процветала. К 1886 году соотношение рождений и смертей в Англии было 13:3, а во Франции 1:4. Из каждых пяти кораблей, бороздивших моря и океаны, четыре несли флаг Великобритании. Между 1870 и 1898 годами Британия пристегнула к своей империи ни много ни мало — четыре миллиона квадратных миль (сам остров составляет всего 93 тысячи квадратных миль), и поработила 88 миллионов населения.

Возникла проблема интенсификации мышления. Вспомнили Лейбница: «...если между людьми возникнут споры, потребуется лишь сказать: «Подсчитаем!» — дабы без дальнейших околичностей выяснить, кто прав».

Иными словами, чтобы мыслить быстро и точно, нужно мыслить математически. Тем, кто день и ночь пересчитывал фунты и соверены, это соображение казалось бесспорным. Математику стали боготворить.

Появились люди, обладавшие истинно математическим способом понимания явлений. Знаменитый Дж. Максвелл, преобразивший фарадеевские озарения в изящные

ли которого неразрывно связаны с душевной деятельностью, у которого между мыслью и сердцем поддерживается постоянная связь...

Холмс, по его словам, соблюдал строгую гигиену разума. Он сознательно отказывался от любви, потому что «любовь — вещь эмоциональная, а все эмоциональное враждебно чистому холодному разуму. А разум я ценю превыше всего». Гигиена разума была сомнительной. По современным понятиям Холмс был невеждой, и невеждой принципиальным. Например, он не знал, что Земля вращается вокруг Солнца, и не находил нужным это знать. Свое невежество он оправдывал утилитарно: знать надо только то, что полезно, что необходимо для работы. Расширение кругозора ради образования общих принципов, ради сознательного, целеустремленного мировоззрения его не привлекало.

В молодости своей буржуазия широко распахнула врата познания, породила людей, страдающих «болезнью мышления», а подряхлев, стала подозрительной, задернула шторы, замкнула засовы и оплачивала лишь те мозги, которые приносили барыши.

Буржуазия предала творческий разум. Одним из симптомов этого и была утилитаристская математизация всего вплоть до исчисления нравственности. И великий наш революционный философ Н. Чернышевский настороженно относился к попыткам позитивистов оскопить математическими значками социальные, исторические и философские науки.

Это, конечно, не означало, что все англичане стали внезапно математиками. Писатель С. Батлер, например, предупреждал, что «жизнь нельзя свести к точной науке». Стюарт Милль написал книгу, озаглавленную «О свободе». Суть этой примечательной книги А. Герцен передает так: «Остановитесь, одумайтесь! Знаете ли, куда вы идете? Посмотрите — д у ш а у б ы в а е т». Но ничего не помогало. Эксплуататоры использовали царицу наук — математику, чтобы выжимать из рабочих последние силы, «по закону» морить их голодом, подстригать личность на один фасон и превращать человека в нечто гуртовое, оптовое.

По мнению воспитанного математическим веком Холмса, бытие железно детерминировано. Он утверждал: «Идеальный мыслитель, рассмотрев со всех сторон единичный

факт, может путем дедукции воссоздать не только всю цепь событий, которые привели к этому факту, но также и все следующие из него результаты».

Стандартный консерватизм английского быта способствовал убеждению, что в неизменной цепи причин и следствий каждому предопределено свое место. Человек не ответствен ни за что. Личные усилия кого бы то ни было не могут убавить преступность, не могут уменьшить зла.

Деятельность детектива в таком случае теряла смысл, становилась не более чем утехой, развлечением. И Холмс, как видно из некоторых его реплик, в глубине души склонялся к этому убеждению.

В эту мрачную перспективу не вносили просвета и утилитаристы, считавшие, что «поступки, заслуживающие осуждения, часто истекают из таких качеств человека, которые заслуживают похвалу».

Видимо, и Холмс и его творец разделяли некоторые взгляды утилитаристов. Во всяком случае, в представлении справедливого, честного по натуре Холмса границы между злом и благом были сильно размыты. Не потому ли он передавал преступника в руки полиции с крайней неохотой? Автор, видимо, сочувствовал Холмсу: в некоторых рассказах злодей погибал «по воле рока» или сам попадал в расставленные им сети, в иных — оказывался невиновным, в иных — действия убийцы оправдывались тем, что он уничтожал еще более страшного убийцу или справедливо мстил, в иных — преступление вообще оказывалось мнимым. Иногда Холмс употреблял всю силу разума на то, чтобы спасти виновного от полиции, утешаясь изречением вроде: «Возможно, я укрываю преступника, но зато спасаю душу».

Были редкие минуты, когда эта безошибочная машина задумывалась: «Зачем судьба играет нами — бедными, беспомощными червями?» И тогда казалось, что мощный разум — не счастливая особенность характера Холмса, не часть его природы, а что-то внешнее, мучительное, словно игла, пронзавшая мозг...

Познакомившись с Холмсом, легче разобратся и в натуре его приятеля — второго степенного персонажа и повествователя — доктора Уотсона.

Особенности эти отчетливо выступают по контрасту.

Холмс — интеллектуал, думающая маши-

на с громадным коэффициентом полезного действия, типичное порождение холодного рационализма, пессимист. Как заметил еще М. Горький, типичный интеллектуалист всегда индивидуалист и поэтому «не может не переносить сознание оторванности и бессмысленности своего бытия на все процессы жизни».

Доктор Уотсон принадлежит к той самой сплоченной посредственности, о засилии которой скорбел Ст. Милль. Он в меру невозмутим, в меру спокоен, в меру самоуверен и доволен жизнью. «Это время кажется мне порой невероятного спокойствия и самоудовлетворенности», — отозвался о пальмерстонской Англии канадский политик, и поведение доктора Уотсона до самых малых мелочей, до манеры его речи включительно, подтверждает этот отзыв.

В отличие от изысканного Холмса, позволяющего себе экстравагантности и цирковые эффекты, доктор Уотсон — типичный средний джентльмен, поведение которого определяется законами establishment'a.

Establishment — нечто вроде призрачного мировоззрения. Деспотизм establishment'a предписывал старшему отпрыску знатного рода идти в армию, среднему — чиновником министерства колоний, младшему — духовным лицом. Establishment предписывал гуся на рождественский стол. По методу establishment'a сочинялось множество неудобочитаемых романов «типов и быта» (теперь их называют натуралистическими) — объемные сочинения с цитатами из Библии и эпиграфами из Гесиода или Вергилия. Все эти романы были проникнуты атмосферой буржуазного уюта: пылающий камин, сверчок, тяжелые драпри, а за окнами ледяной ветер и бездомный замерзающий путник... Викторианский комфорт не полон без путника, замерзающего за окнами...

Впрочем, набор правил и предписаний establishment'a не гарантировал порядочности, не определял уровня нравственности. В буржуазной Англии можно быть убийцей и чувствовать себя джентльменом. О. Уайльд описал такого образцового джентльмена. Этот джентльмен существовал в действительности. Звали его Томас Гриффит Вейнерат. Родился он в Чезвике в 1794 году. Этот джентльмен обладал массой достоинств: он был поэтом, прозаиком, художником, критиком, собирателем и ценителем древностей. Кроме этих достоинств, он обладал еще одним — он был отравителем.

Внутри одного из великолепных колец, которыми были украшены его не менее великолепные пальцы, содержался стрихнин, который в случае надобности можно было незаметно насыпать в бокал жертвы. Сперва достопочтенный джентльмен отравил своего дядю, потому что ему понравилось дядино поместье. Затем он отравил тещу, а еще через некоторое время свояченицу Элен, предварительно застраховавав ее жизнь на двенадцать тысяч фунтов (почему была отравлена теща, О. Уайльд не объясняет).

Однажды сэра Томаса посетил в тюрьме агент страховой компании и завел с ним душещипательные разговоры. Сэр Томас ответил языком несокрушимой математической логики: «Сэр, вы, дельцы Сити, работаете с некоторым риском. Некоторые из ваших предприятий завершаются барышом, а некоторые — убытком. Я случайно проиграл, вы — случайно выиграли. Но, сэр, я должен вам сказать, что в конце-то концов в выигрыше оказалась я. Моя цель состояла в том, чтобы прожить жизнь джентльменом. И я своего добился. Я жил джентльменом и живу джентльменом. Здесь, где мы с вами находимся, принято подметать камеру по очереди. Со мной в одной камере сидят в заключении каменщик и дворник. Но ни один из них не осмелится предложить мне в руки веник!»

Адвокат упрекнул сэра Генри в убийстве свояченицы. Тот пожал плечами и ответил: «Да, это было ужасно. Но у нее были такие толстые лодыжки».

Доктора Уотсона уберегло от эксцессов такого рода то, что он был во всех отношениях посредственностью. Разума, которым он обладает, достаточно для душевного равновесия, заповинаний правил establishment'a и описаний загадочных дел Шерлока Холмса, но его явно недостаточно, чтобы понять, что произошла «какая-то ошибка в наших социальных формулах», как выразился один из персонажей Томаса Гарди.

Хотя Конан Дойл и заметил однажды, что «относительно тех, кто считает Уотсона дураком, следует предположить, что они просто не читали моих рассказов внимательно», рискуя повторить, что природа одарила доктора значительно меньшим количеством разума, чем его знаменитого друга.

Прототипом Уотсона, по свидетельству сына писателя, был давний приятель Конан Дойла некий майор Вуд, увесистый усатый

здоровяк с незаживающей раной, приобретенной где-то «в южных морях» (так establishment предписывал называть грабительские походы в Африку). И у автора была удобная возможность ежедневно сверять стиль Уотсона с фразеологией его живого двойника.

Девизом общества, в котором жили Холмс и Уотсон было: «Всё — ради материальной выгоды». Приверженец дедуктивного метода Холмс принимал этот девиз за отправную точку действий преступника — и успешно распутывал самые загадочные дела. Однако, кроме этого фундаментального положения, мастер дедуктивного метода должен усвоить множество мелких, характерных для его среды и времени аксиом.

Исследуя характер доктора Мортимера по забытой им палке («Собака Баскервиль»), Холмс использовал такие британские истины:

а) врачи преподносят подарок своему коллеге, когда он уходит со службы в больницу;

б) подарки получают только симпатичные люди;

в) в штате лондонских больниц состоят только врачи с солидной практикой;

г) практику в Лондоне меняют на сельскую практику только нечестлюбивые врачи;

д) вещи в чужих домах забывают только рассеянные люди.

Как и персонажи других рассказов, доктор Мортимер не подвел детектива и блестяще оправдал свою характеристику.

Но яснovidение Холмса не означает, что дедукция всегда дает безошибочные результаты.

Если бы Холмс чудом оказался в современном Лондоне, где толкутся восемь миллионов душ, где аксиома о подарке, «который получают только симпатичные люди», становится еще более относительной, — если бы Холмс оказался в Лондоне 1960-х годов, вряд ли ему помог бы хваленый дедуктивный метод...

Ушедший в отставку сотрудник Скотланд-Ярда Джон Роуз вспоминает дела, которые ему пришлось расследовать. В 1964 году он столкнулся с необъяснимой цепью убийств. 2 февраля 1964 года на берегу Темзы нашли тело тридцатилетней Ханны Тейлфорд. На трупе не было ничего из одежды, кроме чулок, стянутых на лодыжки. Поиски преступника не привели к ус-

пеху. Через два месяца из Темзы было извлечено тело двадцатипятилетней женщины, вскоре за домами в Брентфорде нашли третий женский труп. По некоторым признакам было ясно, что убийство совершал один и тот же человек. На поиски преступника было мобилизовано около трехсот полицейских и свыше ста сыщиков — мужчин и женщин. Результат был следующий: во втором полугодии в разных местах было найдено еще три нагих женских трупа.

Научные лаборатории, патологи и психологи не обнаружили ничего существенного, кроме того, что все жертвы занимались самой древней профессией, страдали венерическими болезнями и все, кроме одной, были задушены. На некоторых телах микроскопический анализ обнаружил следы одной и той же краски, что позволяло предполагать, что жертвы некоторое время находились возле мастерской по окраске автомобилей.

Несмотря на такую деталь, преступника найти не могли. Тогда Джон Роуз объявил войну нервов: сообщил об убийствах по телевидению, по радио и в газетах. «Мы желали,— писал он,— чтобы убийца знал, что он является центром самой грандиозной из всех охот на человека, чтобы он чувствовал, что каждый житель подстерегает его — ждет его малейшей оплошности».

Детективы разбился на три больших отряда и планомерно передвигались по району, охватывающему двадцать четыре мили, вдоль Темзы, заглядывая в многочисленные мастерские... Убийства женщин внезапно прекратились, но убийца найден не был.

Только самые беззаветные почитатели Холмса станут утверждать, что их любимец раскопал бы это дело. То, что Холмсу везло, можно в какой-то степени объяснить неподвижностью среды, статикой общества, при котором «гнет обычая останавливает развитие», и все злодеяния имели фамильное сходство, словом, трафаретом обстановки, в которой постулаты вроде примененных при исследовании палки доктора Мортимера обладали известным долголетием⁶.

Дело, впрочем, не в том, насколько долговечны такие постулаты. Важно, чтобы читатель поверил в их универсальность и

⁶ Эдгар По как-то заметил: «Метод прилагается только к ординарному и очевидному и не может быть применен к outré» (к утрированному.— С. А.).

долговечность. И читатель верит. А в этом несомненная заслуга рассказчика, доктора Уотсона.

Этот представитель ординарного, рядского викторианца увлекает читателя не словами, а главным образом консервативным психологическим модусом, близоруко-самоуверенной оценкой явлений, упорством прямолинейного мышления. Все ординарное, привычное воспринимается им как безусловное и неизменное. И когда он ведет нас по старинным улицам Лондона, везет в кебе на вокзал Ватерлоо, выписывает действительные часы и минуты отхода поезда, когда он делает нам честь сдержанно-джентльменским намеком о своем супружеском счастье, становится все трудней сопротивляться ощущению того, что живешь в неподвижном, остолбеневшем мире.

В смысле фактографии автор всячески помогает рассказчику. Ландшафты Англии, обстановка сырых домов-замков, клетчатые костюмы — все это, как уже упоминалось, списано с натуры. Сюжеты самых головоломных рассказов привязаны к действительным общеизвестным фактам.

Конан Дойл вспоминал, что толчком к написанию «Собаки Баскервелей» был рассказ его друга. Эта повесть в английских изданиях предваряется такой заметкой: «Дорогой Робинсон. Эта история обязана своим рождением рассказанной Вами Западной легенде. Глубоко благодарю Вас и за это и за дополнительные подробности. Искренне Ваш А. Конан Дойл».

Но в Дартмуте, где жил писатель в молодости, издавна известна легенда о призрачной фосфоресцирующей кобыле Тома Пирса; и Конан Дойл не мог ее не знать — песня о ней считалась чуть ли не национальным гимном.

В повести «Этюд в багровых тонах» расследование связано с сектой мормонов, которая, по отзыву историка, исповедовала одну из самых жестоких американских религий. Пожалуй, лучшая из повестей о Шерлоке Холмсе — «Долина ужаса» — основана на фактах, вскрытых сыскным агентством Пинкертон на одном из отдаленных приисков Америки. Там под флагом милосердия и справедливости действовала шайка убийц и шантажистов, называвших себя сектой «фрименов». Бандиты так терроризировали население, что один из жителей жаловался: «Дело идет к худу, когда два гражданина не могут поведать друг другу

своих мыслей». Интересно, что вдохновляют обе шайки на преступления «провидцы», в первой повести — «пророк» Янг, во второй — Макгинти.

Извлекая факты из жизни, Конан Дойл угадал тенденцию преступников сростаться в концерны и корпорации, вовлекать в свои аферы полицию, печать, служителей закона. Угадал он и социальный адрес, представляющий благодатную почву для распространения преступных трестов, — Соединенные Штаты Америки.

Конан Дойл помогает Уотсону, но помогает до определенных пределов. Как только фабула придумана, место действия и герои приблизительно намечены, автор покидает повествователя, Уотсон вынужден братья за перо и излагать очередное приключение корректно-джентльменским, точным, бесчувственным языком, напоминающим полицейский протокол:

«Убитый лежал распростертый посреди комнаты. На нем был халат, надетый на нижнее белье, на голых ногах — ковриковые шлепанцы. Доктор взял со стола лампу и наклонился над трупом. Достаточно было одного взгляда, чтобы удостовериться, что врачу уже делать нечего. Мужчину был страшно изуродован. На груди его лежало странное оружие: двустовка с очень короткими стволами. Расстояние от руки до спускового крючка не превышало фута. Несомненно, выстрел был произведен с очень близкого расстояния. Спусковые крючки были связаны проволокой, чтобы выстрел из обоих стволов произошел абсолютно одновременно» («Долина ужаса»).

Нет ничего удивительного, что такой стиль не дает путеводной нити к характеру рассказчика.

Так же безлико, однотипно и построение большинства рассказов. Сюжетная схема их такова: 1. Краткая характеристика Холмса, 2. Появление неожиданного посетителя, 3. Загадочная проблема, 4. Изучение ситуации, беседа с очевидцами и людьми, причастными к делу, 5. Неожиданный финал (часто — отсутствие преступника, или преступление, имеющее нравственное оправдание, или исход, исключающий юридическое возмездие).

По однотипной схеме построены и повести, написанные больше чем через четверть века одна после другой: «Этюд в багровых тонах» — первое сочинение, в котором появился Холмс (1887), и «Долина ужаса» (1914) — повесть, которую автор слыш-

ком поспешно назвал своей лебединой песней в области беллетристики.

Джентльменская ординарность Уотсона, его, мягко говоря, интеллектуальная девственность отражается на всех элементах повествования — вплоть до отбора слов, стиля и постройки сюжета. И вместе с тем эти качества, или, вернее, отсутствие качеств, делают Уотсона идеальным повествователем историй, построенных на постепенном раскрытии тайны.

Разбираясь в конструкции повествования, мы снова не узнаем ничего интересного в характере Уотсона. И нам остается напомнить слова Стюарта Милля, глубоко изучившего своих современников: «Теперьшний идеал характера состоит в том, чтобы не иметь никакого определенного характера».

Уотсон не мудрствуя, обстоятельно излагает события в хронологической последовательности, отмечает узловыи моменты расследования, задерживается на этих моментах. Он не отвлекает внимания на свою персону. Его эмоции не выходят за пределы элементарных чувствований — страха, ненависти, сострадания.

«Идеальный помощник тот, кто каждый шаг вперед воспринимает с изумлением, для которого будущее — закрытая книга», — провозглашает Холмс, и Уотсон выполняет свою задачу безукоризненно. Так же, как и читатель, он не знает, что произойдет через минуту, и так же как и читатель, не посвящен в замыслы своего друга.

Он учит не пересказывать вперед, не заглядывать в ответ задачки, а задумываться над вопросами, которые выплывают по ходу дела, направляет внимание по нужным рельсам, подсказывает, как, о чем и в какой последовательности думать. «Предположим, что это тот самый человек, который последним видел сэра Чарльза в живых, и первый, который выследил нового наследника, вернувшего в Англию? Что тогда?» — задает себе вопрос Уотсон и заставляет задавать тот же вопрос читателя. «Был ли он чей-то агент или имел собственные цели? Какой смысл ему был преследовать Баскервилей? Я думал о непонятном предупреждении, склеенном из передовой «Таймса». Была ли это его работа или еще кого-либо, противодействующего его намерениям?»

Речь здесь идет о неизвестном, отслеживающем одного из персонажей «Собаки Ба-

скервилей». В сутолоке Лондона Уотсону удалось заметить, что у незнакомца «была квадратная черная борода и бледное лицо». А через несколько дней, когда вся компания приезжает в только что упомянутый старинный дом Баскервилей, тот же Уотсон замечает слугу Бэрримора, «красивого, с квадратной черной бородой и бледным лицом», принимая на себя ответственность за наивность, с которой читатель увлекается на ложный путь.

Наивности такого рода были бы невозможны, если бы повествование шло от лица Конан Дойла. Но доктору Уотсону они вполне простительны: они подчеркивают его интеллектуальную неповоротливость и придают рассказу своеобразную пикантность. Читатель думает: «Ага, я уже догадался, а он — нет» — и проникается уважением к собственной пронизательности.

Вспомним рассказ «Установление личности».

Начинается он с того, что некая Мери Сазерленд рассказывает Холмсу историю исчезновения своего жениха Госмера. Когда они отправились венчаться, Госмер, ехавший сзади в кебе, исчез. С тех пор он не появлялся.

Во время разговора выясняется:

а) что Мери живет с матерью и отчимом;

б) что у Мери наследство, завещанное ей дядюшкой из Окленда;

в) что отчим не выносит, когда Мери отлучается из дому;

г) что Мери встречалась с Госмером только в те дни, когда отчим отлучался по делам во Францию;

д) что Госмер говорит шепотом (по его словам, в детстве он часто страдал ангиной), носит темные очки, густые бакенбарды и печатает письма невесте, в том числе и свою подпись, на пишущей машинке;

е) что контора, где работает Госмер, невесте неизвестна;

ж) что перед венчанием жених заставил Мери поклясться, что она будет всегда ему верна.

Изложив с помощью наводящих вопросов Холмса все перечисленное, Мери «достала из муфты платок и горько заплакала».

Еще до конца приведенного перечня читатель догадался, что Госмер — не кто иной, как загримированный отчим, и что отчим не желает, чтобы Мери выходила замуж.

Догадался об этом, конечно, и Холмс. Но он не любит торопиться и на вопрос

Мери: «Значит, я его больше не увижу?» — ответила только: «Буюсь, что так».

А Уотсон ведет рассказ с такой обезоруживающей верой в таинственность происходящего, что кажется бестактным не то что спросить, но даже подумать: как могло быть, что Мери не узнавала переодетого отчима, с которым живет в одной квартире, много раз с ним встречалась и, приняв за другого, горячо в него влюбилась?

Уотсон относится к создавшейся ситуации совершенно серьезно: «У меня были основания верить в тонкую проницательность моего друга и в его чрезвычайную энергию; если он спокойно относится к разгадке странной тайны, значит, у него есть на то солидные причины».

На следующий день на квартире Холмса появляется отчим. Уотсон снова стенографически передает их беседу. Из беседы выясняется:

а) что отчим известил Холмса письмом, напечатанным на машинке, о своем приходе;

б) что на пишущей машинке отчима буква «е» расплывчата;

в) что на письмах, которые печатал Госмер своей невесте, буква «е» тоже расплывчата;

г) что Холмс собирается писать статью под названием «Пишущая машинка и преступление»;

д) что отчим уверен, что Госмера не найти и искать не стоит.

Отчим «хотел, чтобы мисс Сазерлэнд была крепко связана с Госмером и пребывала в полном неведении относительно его судьбы. Тогда, по его расчету, она по меньшей мере лет десять сторонилась бы мужчин», — толкует Уотсон суть дела читателю.

Как многие тугодумы, Уотсон невысокого мнения о понятливости слушателя. И следуя армейскому правилу: «Делай, как я», он подсказывает читателю, как переживать. «Я пытался вести повествование так, чтобы читатель разделял с нами все те страхи и смутные догадки, которые долго омрачали нашу жизнь», — простодушно признается Уотсон.

Доктор Мортимер, рассказывая о загадочной смерти сэра Чарльза, упоминает, что заметил неподалеку от тела следы огромной собаки. В связи с легендой о собаке-призраке это жутковато, но Уотсон считает нужным сильнее припугнуть читателя: «При этих словах дрожь прошла по моему телу».

Услышав вой собаки, Уотсон идет домой «с душой, полной смутных страхов», а при крике погибающего пони «похолодел от ужаса».

Так на протяжении всей повести Уотсон, словно хор в древнегреческой трагедии, суфлирует чувства, которые следует испытывать. И это действует. У нас нет оснований не доверять очевидцу.

Издали Шерлок Холмс представляется отважным героем, пускающимся на самые опасные приключения, на самые отважные авантюры.

Это впечатление не вполне правильно.

Многие дела, вроде «Установления личности», он решает, не подымаясь со своего уютного кресла. Перелистайте одну из самых «страшных» повестей — «Собаку Баскервильей». Единственное приключение, в котором Холмс принимает участие, — засада, ожидание собаки-призрака (XIV глава). Почти все остальное время он провел довольно тоскливо в одиночестве, среди пустынных дартмутских топей.

Постепенно становится понятным, что привлекает читателя. Его привлекают не отважные приключения Холмса, а отгага его мысли. Многое изображала литература: и злых дядюшек, и добрых тетюшек, и великанов, и карликов, и одноглазых циклопов, и девочек в зазеркалье. Отлично изображала она и глупость (в том числе и авторскую).

Сотворив Шерлока Холмса, Конан Дойл сумел сделать предметом изображения действующий разум. Приключения человеческого разума, взлеты его и падения, поиски и озарения, изящество логики — главный сюжет рассказов о Шерлоке Холмсе.

Конечно, все это бывало в беллетристике и до Конан Дойла (вспомним хотя бы «Золотого жука» Эдгара По). Однако персонажи, демонстрирующие всепокрушающую силу мысли, сами по себе как индивидуальности располагались где-то вне времени и пространства и выглядели неинтересными, ординарными. Могучий разум был прицеплен к ним как дорогое, не идущее к платью украшение.

В лице Шерлока Холмса Конан Дойлу удалось создать полнокровный художественный исторически обусловленный социальный тип британца. Холодный, безжалостно-эгоистический интеллект был одной из обязательных особенностей этого порожденного временем и обстоятельствами типа.

Мы удивленно настораживаемся, когда он

при первом взгляде на незнакомку спрашивает: почему близорукая мисс так много работает на пишущей машинке?

Мы внимательно следим за терпеливым объяснением Холмса:

«Я всегда сперва смотрю на рукава женщины. Когда дело касается мужчины, лучше смотреть на колени брюк. Как вы заметили, у нее на рукавах бархат, а этот материал протирается быстрее других. След на том месте, каким машинистка опирается на стол, хорошо виден. Ручная швейная машина оставляет такой же след, но только на левой руке и чуть выше... Потом я взглянул на ее лицо и, заметив вмятины от пенсне на переносице, отважился спросить о близорукости и о пишущей машинке».

Не ахти какое умозаключение, но мы уже заинтересованы и следим за сюжетом мысли с не меньшим интересом, чем за судьбой пропавшего жениха.

«Главное качество детектива: острота мысли. Все, что бы вы ни добавили к этому качеству, умаляет общий эффект», — предупреждал Конан Дойл. Он счастливо нашел повествователя, непринужденно изображающего движение мысли плоским словом. Этот термин обновлен и пущен в ход современными исследователями и критиками паралитературы. Плоское слово — это слово невозмутимо лексиконное, лишенное живых ассоциативных связей с миром. «Оно слишком напоминает чучело, разъятый труп настоящего слова» (В. Мильдон).

Читателю, знакомому с одной из предыдущих статей («А. Грин. „Возвращенный ад“») и с рассуждениями о стимулирующих мысль художественных ассоциациях, может показаться странным, что слова с обрубленными связями, слова-знаки, оказались самыми пригодными для изображения мысли. Но здесь нет никакого противоречия.

Слово художественное, обогащенное аналогиями и ассоциациями, рождает мысль, а словом плоским удобно описывать мысль, уже рожденную, мысль, имеющуюся в наличии. Ведь и большинство ученых предпочитают плоское слово, а то и цепочку безликих значков для передачи результата своих умозаключений.

Доктор Уотсон, как мы видели, не отвлекается на подробности, не имеющие прямого отношения к делу, без надобности «не высовывается». Словно заполняя врачебную карточку, он невозмутимо фиксирует только то, что необходимо для регистрации мысли Холмса, и доктора становится немного

жал, когда он сетует: «...меня часто обижало его безразличие к моему восхищению и к моим попыткам публикации его методов».

В лучших рассказах о Холмсе читатель получает урок строгого логического мышления и, что удивительно, испытывает при этом эстетическое наслаждение.

Живым делает Холмса достоверная «дополнительность» его характера. Светлые и темные черты сосредоточенного исследователя криминалиста соседствуют в этом характере с экстравагантностями денди. Но сущность образа Холмса определяет его уникальный разум. «Дополнительность» характера, собственно, и объясняется тем, что блестящий специалист по розыску грабителей вынужден служить обществу, основанному на узаконенном грабеже ближнего своего. У Холмса не было потребности определиться. Он не желал сближаться с господствующим классом и не хотел бороться с фальшивым, неестественным (artificial) состоянием общества. Питая одинаково высокомерное безразличие к лорду и к оборванцу — кокни, он предпочитал, как киплингский кот, гулять сам по себе. Противоречивый тип викторианца-интеллектуала, приперченный дендизмом, современный ему англичанин метко определил как «сочетание интеллектуальной отваги и морального консерватизма». Тип этот вполне соответствовал веку, лишенному жизнеспособной идеи (так определил свое время С. Батлер).

Пренебрежение к общим принципам и идеям, к тому, что называется мировоззрением, для человека одаренного безнаказанно не проходит. Читатели помнят приступы жестокой хандры, которые мучили знаменитого сыщика. То он жаловался на «монотонную рутину существования», то сетовал на безделье и не знал, как убить время.

Еще в 1859 году Стюарт Милль поучал, что, только «составив себе ясное понятие о цели, можем мы судить, что следует и чего не следует нам делать». Философ-утилитарист уже пугался нарождавшейся «нравственной ничтожности», «духовной посредственности» и предсказывал: «...мы не только не враги прогресса, а, напротив, считаем себя самым прогрессивным народом, какой когда-либо существовал; но мы — против индивидуальности, мы воображаем, что совершим великое дело, если добьемся того, что все люди будут совершенно похожи

друг на друга». А через тридцать лет после того, как были написаны эти слова, Холмс восклицает: «Посмотрите в окно. Что за унылый, гнетущий, безнадежный мир!.. Что пользы иметь силы, доктор, если их некуда применить? Преступления скучны, существование — скучно, все придавлено скукой».

Разум Холмса не ориентирован на цель, на идеал. В этом трагедия знаменитого детектива. Природа одарила его уникальным мозгом, но дар пришелся не ко времени. Алчущий достойной деятельности разум непрерывно требовал пищи. Не видя вокруг ничего, кроме пошлости и духовной посредственности, Холмс бросается как в забытые на исследование любого пустякового мошенничества.

Он борется с мертвящей тоской, мобилизует волю, пытается следовать заклинаниям Киплинга:

Умей принудить сердце, нервы, тело
Тебе служить, когда в твоей груди
Уже давно все пусто, все сгорело...—

но желанного облегчения нет, и в полуобморочной прострации на глазах возмущенного друга Холмс впрыскивает себе кокаин или морфий.

Как всякий полноценный художественный образ, и образ Холмса содержит проблемы, не ограниченные рамками определенной эпохи. В одной из статей об интеллигенции А. Блок спрашивал: «Отчего нас посещают все чаще два чувства: самозабвение восторга и самозабвение тоски, отчаянья, безразличия?» — и, словно не надеясь на отклик души живой, отвечает сам: «Не оттого ли, что вокруг уже господствует тьма?»

Эти строки писались в ноябре 1908 года, когда на Россию надвинулась реакция, и Блок чутко ощущал то самое «тяготение к установлению над людьми господства по-

средственности», которое Стюарт Мильль полувеком раньше пророчил своим соотечественникам.

Ценность типического образа не исчерпывается и уяснением облеченной в его персону художественной идеи. Неожиданный характер, повадки и причуды героя дают представление и о социальном тоне среды, из которой он извлечен, даже если среда чужда и враждебна его натуре.

Каким бы самонадеянным ни выглядел лишенный социальной ориентации Холмс, какой бы сильной ни была его воля,— в прозрачной независимости его от общества таится страшная опасность. Эта опасность — неуправляемость разума. В любой момент созидающий разум может обернуться своевольным капризником, эгоистом, работающим на себя. Рано или поздно такой не управляемый высшей идеей, ублажающий себя разум занесет насмешливого скептика в пустыри декаданса, мистицизма, нигилизма, пессимизма, в поиски старых или новых богов. Жизнь постоянно напоминает нам об этой опасности (А. Конан Дойла, например, занесло в спиритизм).

Создавая Холмса, Конан Дойл стремился изобразить необыкновенный интеллект, способный победить всяческое злодейство, изобразить интеллект в действии. Справиться с этой труднейшей задачей помог ему благонамеренный доктор Уотсон.

На большее Конан Дойл не претендовал. Но счастливо найденный характер Холмса удивительно удачно вписался в окружающую его и противостоящую ему среду. И поэтому независимо от намерений автора сквозь образ Холмса отчетливо проступает туманная, благодушная, буржуазная Англия времен «старушки Викки», проступает унылая атмосфера того времени, когда тучнеющий фазан был символом сыто дремавшего Альбиона.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

В. Бавина. Природа таланта.— **Григорий Бакланов.** Последняя книга.— **Сергей Львов.** Роман, которому не помогли.— **В. Хмара.** С позиций партийности.— **Борис Евгеньев.** Мыс Доброй Надежды.

ПОЛИТИКА И НАУКА

В. Голованов. Анализ Великого наследия.— **Л. Пушкирев.** На переднем крае исторической науки.— **Вал. Гольцев.** Монография о танках.— **Б. Марушкин.** Америка на перепутье.— **С. Владимиров.** «Потаенные мысли» ученых.

Литература и искусство

ПРИРОДА ТАЛАНТА

Сергей Михалков. Собрание сочинений в трех томах. М. «Детская литература». Том 1. Стихи и сказки. 528 стр. 1970. Том 2. Пьесы. 542 стр. 1971. Том 3. Рассказы, сказки, пьесы, басни. 494 стр. 1971.

Детский писатель... Вряд ли ошибусь, сказав, что никакой другой вид художественного таланта не вызывает столько споров, как талант детского писателя. Споры эти благополучно дожили до сегодняшнего дня, о чем свидетельствует трехлетняя международная дискуссия, проводимая журналом «Детская литература» (1971—1973).

Существует ли какая-то особенная художественная литература для детей? Есть ли вообще в природе какие-то особые писатели — детские? Может быть, каждый хороший писатель (стоит ему только захотеть) может написать книжку для детей?

Эти вопросы возникли с тех пор, как только появилась на белый свет сама детская литература как особый вид литературы, предназначенной специально для детского чтения. И именно поэтому критика, главным образом педагогическая, стала предъявлять к ней требования утилитарно-дидактические. Большинство дискуссий здесь сводилось к тому, каким требованиям педагогики должна отвечать эта литература.

Исторически передовая дореволюционная педагогическая критика была права, требуя от писателей создания литературы для де-

тей, отличной от официальной литературы. Она требовала от авторов детских книг идейной ясности и психологической доступности чтения для ребенка. Эти справедливые исходные условия создания книг для детей со временем под руками неумелых редакторов обросли, как камень ракушечником, такой массой мелких, второстепенных и чаще всего необязательных, а порой и противопоказанных вообще художественной литературе требований, что стали препоной для самого литературного процесса. Появилась масса книг для детей всех возрастов, которые могли быть отнесены к художественной литературе лишь по чисто внешним условным признакам — на титуле стояло «повесть» или «рассказы». Такие книги выходят еще, к сожалению, и в наши дни...

В борьбе против серости и ремесленничества в детской литературе мы как-то стали забывать, что дело не только в наличии таланта, а и в его особенности. Те, кто игнорирует ее, обычно ссылаются на Горького: для детей надо писать так же, как для взрослых, только еще лучше. Между тем в этих словах Горького нет ничего об особенностях детской литературы: они, эти

слова, не столько выделяют детскую литературу в особый вид художественного творчества, сколько подчеркивают то общее, что объединяет ее с литературой для взрослых, то есть ее художественность.

Но в том-то и дело, что для детей надо писать не так, как для взрослых. Как же? На этот вопрос у Горького прямого ответа нет. Он есть у Белинского: «Чтобы говорить образами с детьми... надо быть самому взрослым ребенком, не в пошлом значении этого слова, но родиться с характером младенчески простодушным...»

«Младенческое простодушие» есть не что иное, как умение взрослого человека, при всем богатстве его жизненного опыта, видеть, чувствовать и понимать мир так, как его видит, чувствует и понимает ребенок. «Младенческое простодушие» — уже само по себе редкий дар, еще реже этот дар сочетается с писательским талантом. Это прекрасно понимал Лев Толстой, когда писал, что он, автор «Детства», в деле художества не только не может «указать или помочь одиннадцатилетнему Семке и Федьке, а что едва-едва,— и то только в счастливую минуту раздражения, в состоянии следить за ними и понимать их».

И Белинский и Толстой утверждают, что настоящим детский писатель отличается от взрослого не столько точным знанием того, что ребенку надо от литературы, сколько данным писателю от природы свойством видеть мир глазами ребенка и способностью оценивать явления действительности с точки зрения ребенка. Этот природный дар в критической литературе нередко называют «памятью детства». Такое определение недостаточно, неточно. По памяти детства, или, вернее, по памяти о детстве, может, пожалуй, любой или почти любой талантливый «взрослый» писатель написать одну отличную книжку для детей — повесть о собственном детстве. Об этом свидетельствует история мировой и особенно русской литературы: повести о детстве Аксакова, Льва Толстого, Горького, Gladкова, Алексея Толстого и других.

Но ни одного из этих писателей детским писателем не назовешь: даже и в повестях о детстве они выступают в роли «взрослых» писателей, то есть людей, которые, изображая психологию ребенка, обладают великолепной точностью памяти о своем детстве, но не обладают даром вживания в психологию ребенка настолько,

чтобы оценивать поступки людей по тем же качествам и свойствам, что и дети.

«Разумеется,— писал Белинский,— что любовь к детям, глубокое знание потребностей, особенностей и оттенков детского возраста есть одно из важнейших условий творчества детского писателя. Но все-таки условий, а не особенностей творчества. Особенность же творчества детского писателя Белинский видел в природе человеческой (а значит, и писательской), в особенностях его характера, его психологии».

У известного «взрослого» писателя Вадима Сафонова в одном из рассказов, собранных в книге «Ясное море» и изданных для детей, есть такая сценка. Шестилетний Павлик едет с матерью на новое местожительство — из деревни в город. Он смотрит из окна вагона, и при этом в его сознании мелькают такие мысли: «И дальше, дальше, станции, гудки, земле нет конца, и вот оно, вагонное окно,— прямо против бесконечной земли» — и дальше: «...вспыхнет мысль о том, что осталось, что отрезано и с каждым мгновением все неотвратимей отрезалось,— замрет сердце: как хватало даже беспредельности земной для всего этого? Для дней и ночей гремуче-летающих?»

Все здесь с точки зрения психологии шестилетнего ребенка — особенно сельского — недостоверно: это мысли взрослого, раздумывающего над тем, что должен был бы пережить ребенок в данной ситуации. Но взрослого, лишённого дара видеть мир глазами ребенка. Ребенок пережил бы этот новый и длинный путь совсем иначе: он, конечно, удивлялся бы каждому неизвестному еще ему предмету (городским домам, телевизионным антеннам на их крышах и т. п.) и жалел бы оставленное дома. Но философски обобщить свои разрозненные восприятия в понятие бесконечности земли он не смог бы. Ребенок в свои шесть лет видит и чувствует мир совсем не так.

Вот как изображает сходную ситуацию детский писатель.

«...Стоит в поле завод. Поле белое, трубы красные. Дым черный, а свет желтый. Интересно, что на этом заводе делают? Вот будка, и укутанный в тулуп, стоит часовой. Часовой в тулупе огромный, широкий, и винтовка его кажется тоненькой, как соломинка. Однако попробуй-ка, сунься!

Потом пошел танцевать лес. Деревья, что были поближе, прыгали быстро, а дальние двигались медленно, как будто их тихо кружила славная снежная река».

Гайдаровские близнецы Чук и Гек тоже видят мир из окна вагона. Здесь тоже длинный путь и быстрая смена разнообразных впечатлений, но увидено все глазами дошкольника — в конкретных, ярких деталях, или, по точному определению К. Д. Ушинского, в конкретных формах, красках, звуках — в ощущениях вообще.

Однако многим исследователям и в голову не приходит, что может существовать какой-то особенный писательский талант, который позволяет взрослому, многоопытному и многодумному человеку фантастически «превращаться» в ребенка — видеть, чувствовать и размышлять так же, как это делал бы ребенок. Сложная диалектика этого вопроса еще вообще недостаточно разработана.

Автор статьи, учитель по профессии, пишет о произведении английского писателя Милна «Винни-Пух и все-все-все»: «Сказку Милн писал для своего сына и строил ее в соответствии с требованиями детской фантазии, он старался думать так, как думает ребенок. Иногда даже кажется, что Кристофер Робин был соавтором своего отца, потому что взрослый человек вряд ли смог бы придумать «слонопотама» и «искспедицию» к Северному Полюсу».

Автор статьи не учитывает главного: Милн — настоящий детский писатель, ему, детскому писателю, вовсе не надо «стараться чувствовать» себя ребенком и «стараться думать» так, как думает ребенок, это происходит у него естественно, непринужденно, потому что он от природы всем этим обладает, это свойство его психологии. С другой стороны, никакое самое сильное «желание почувствовать себя и взрослым и ребенком одновременно», желание даже очень талантливого писателя, не даст ему возможности почувствовать себя ребенком в полном смысле этого слова, если его психика не обладает этим свойством от природы. Именно эту невозможностьживания в психологию ребенка и имел в виду Лев Толстой, когда писал о своей неспособности точно угадать «способ» восприятия и воспроизведения мира «одинадцатилетними Семкой и Федькой».

Западногерманский исследователь и переводчик детской литературы, директор Международной юношеской библиотеки (Мюнхен) Вальтер Шерф в статье об американском графике и писателе Морисе Сендаке («Детская литература», 1972, № 8) пишет: «Сендак несомненно является феноме-

ном. Просто невероятен способ, которым он завоевывает доверие детей, входя в контакт с их внутренним миром, с их переживаниями именно в тот период их развития, когда они впервые должны находить собственную дорогу в мире». То есть, добавим мы, в самом раннем возрасте. Шерфу кажется невероятным, как взрослый человек может так точно изображать внутренний мир ребенка, что ребенок откликается на это целиком и полностью, узнавая интуитивно во всем самого себя. Между тем «способ» Сендака не более «невероятен», чем всякое другое в искусстве, — это «способ» подлинного детского писателя. Это легко понять из высказываний самого же Сендака, приведенного в той же статье Шерфом: «Я стараюсь нарисовать то, что дети чувствуют, или, вернее, как я себе представляю их чувствование». Это признание приоткрывает тайну творчества детского писателя и художника.

Выясняя особенности художественной манеры Гайдара как писателя именно детского, Вера Смирнова пишет: «С удивлением видишь, что Гайдар словно бы выполнял заветы революционных демократов, главным образом Белинского, говорившего о том, что детским писателем надо родиться, что писать для детей должен поэт, что взрослые должны уважать ребенка, уважая в нем человека... Все это мы находим в книгах Гайдара... И даже «сюжетная занимательность» — тоже качество, всеми признаваемое как неотъемлемое достоинство детской книги, у Гайдара — не самоцель, не украшение, а сама жизнь, ее прихотливые повороты и хитроумные загадки».

Таким образом, природа дарования писателя — основа специфики детской литературы. Действительно, у Гайдара сюжетная занимательность — это не специальный литературный прием, рассчитанный на восприятие определенного читателя, а способ видения мира, особенность восприятия ребенком действительности. Очень существенна мысль критика о том, что у Гайдара-писателя нигде нет утилитарной подкладки.

Беда в том, что все эти верные мысли в нашей критике разрозненны, нет единой научной теории. Нет даже общепринятой терминологии, отчего порой происходит невообразимая путаница. Поэтому каждому, кто пытается заняться исследованием в области детской литературы, приходится пахать целину, нередко изобретать велосипед.

Видимо, один из наиболее плодотворных путей выяснения специфики детской литературы — непосредственное и конкретное исследование творчества наиболее значительных ее художников. Об этом задумываешься над трехтомником сочинений Сергея Михалкова, над его книжками, давно уже ставшими событием в нашей современной литературе.

О Михалкове иногда пишут так, будто бы он пришел в литературу на все готовое, на поле, расчищенное до него его предшественниками — Чуковским, Маршаком. «Принципы, которые нам теперь представляются бесспорными, писателям старшего поколения приходилось защищать от грубых наскоков разного рода вульгаризаторов,— говорит Б. Галанов в своей книжке «Сергей Михалков», выпущенной издательством «Детская литература». — На протяжении многих лет пролеткультовцы, педологи, рапповцы упрямо изгоняли сказку из литературы, пытались запретить Чуковского и Маршака... Михалков, начиная свой путь в детской поэзии, мог уже не опасаться, что кто-нибудь всерьез попытается лишить косога Зайку-зазайку права говорить по-человечьи или же упрекнет автора стихотворения «Мы с приятелем» за пропаганду поступков, якобы не типичных для советских ребят».

Конечно, к приходу в детскую литературу Михалкова многие принципиальные ее проблемы — в том числе и отношение к сказке — были уже разрешены. Однако история всегда процесс. И талант, наследуя традиции прошлого, все же отнюдь не приходит на «расчищенное» место: в процессе развития накапливаются новые достижения, противоречия, ошибки. Нередко старые ошибки принимают новые формы, а, значит, и новое качество. Талант всегда расчищает себе дорогу заново, потому что ни история, ни личный опыт другого художника никогда не дают ничего готового, все важное с художественной точки зрения — материал, способ изображения,— все автор непременно должен найти сам. Так было и с Михалковым.

Однажды в журнале «Детская литература» Михалков рассказал такую историю: «Иногда и в столице сталкиваешься с фактами поразительными. Не так давно молодая женщина — редактор центрального радио, смущаясь и краснея, стала выговаривать мне за то, что у меня в одной радиопьесе мальчишки курят.

— Да, курят,— ответил я.— Но я это в пьесе осуждаю.

— Понимаю,— сказала она.— Но ведь наши герои — дети, и они курят.

Как мог спокойно, я объяснил, что в жизни, к сожалению, еще встречаются подобные факты. Более того: почти во всех семьях взрослые — мамы и папы, дедушки и даже бабушки — курят на глазах у детей, заставляют их дышать папиросным дымом, осуждая курение лишь на словах. И вот я, писатель, возмущенный этим, написал пьесу против курения, против того, чтобы наши дети с малых лет отравляли себя, калечили себе жизнь.

Женщина-редактор все выслушала, покачала головой и снова сказала:

— Да, конечно. Только зачем у вас дети курят?

Видимо, нужно, чтобы журнал «Детская литература» хотя бы время от времени разъяснял таким редакторам (а они есть и среди педагогов и среди родителей) нелепость подобных воззрений на детскую литературу. Надо повторять и объяснять людям, которые относятся к детской книге как к рецепту на лекарство, пусть даже и азбучные истины».

Конечно, от редакторов, в общем-то, зависят судьбы многих детских книжек. Но редакторы детских книг не так уж и виноваты перед детской литературой, если иметь в виду неразработанность, как уже было сказано, теории детской литературы, отсутствие научной истории этой литературы. Бывает, что и тогда, когда произведение детской литературы расценивается по законам художественного творчества детских писателей, его все-таки пытаются втиснуть в прокрустово ложе уже сложившихся и порой окостеневших представлений.

Так, например, из литературной практики Чуковского критика сделала вывод о том, что самая доступная и самая привлекательная для ребенка стихотворная форма — считалка. Когда хотят похвалить творчество детского поэта, обязательно будут искать у него стихи, созданные в этой форме.

В той же книге «Сергей Михалков» мы читаем о «Песенке друзей»: «Жизнерадостное детское мироощущение тут передано и бодрым ритмом стиха, и повторяющейся задорной припевкой с ее быстро бегущим считалочным перечислением... Это сама детская речь, живая, непосредственная, непридуманная и веселая». С этим утверждени-

ем критика можно было бы согласиться. Но дальше то же пишется и о «Хрустальной вазе», столь мало похожей по форме на «Песенку друзей»: «Считалка лежит и в основе одного из лучших стихотворений Михалкова «Хрустальная ваза».

«Хрустальная ваза», на мой взгляд, не является лучшим стихотворением в творчестве Михалкова, потому что она неоригинальна — здесь использованы художественные приемы, введенные в детскую поэзию Барто. Михалков действительно умеет этими приемами пользоваться, и неплохо, — он никогда не считал, как это видно из его творчества, зазорным учиться профессиональному мастерству у товарищей по литературному цеху.

Но не считалочные или игровые стихи создают оригинальность поэтической манеры Михалкова. Поэт увлекает своих читателей не столько веселыми, бодрими ритмами, игрой, сколько глубиной воссоздания чувств и мыслей, волнующих ребенка. Здесь как всякий крупный талант, Михалков идет своим путем. Творить для детей является его органической потребностью, присущей ему от природы, это свойство его характера.

Знаменитое стихотворение Чуковского «Телефон» написано, несомненно, «взрослым» поэтом, таким взрослым, который досконально изучил детскую психологию. Все в нем для ребенка неожиданно и занятно. Но все события расцениваются с позиции взрослого человека.

Особенно эту «взрослость» подчеркивает отношение героя к самому факту телефонных звонков. («Я три ночи не спал, я устал. Мне бы заснуть, отдохнуть...») и к их бесполовой нелепости («И такая дребедень целый день»). Когда по ошибке спрашивают, не здесь ли квартира Мойдодыра, любимого персонажа писателя, он признается: «Я рассердился да как заору: Нет! Это чужая квартира!» — это раздражение утомленного взрослого человека, для которого телефон — предмет лишнего беспокойства.

В стихах Михалкова «Телефон» мы видим подлинно «детское отношение» к предмету: это наивный восторг ребенка, вызванный такой великолепной, удивительной вещью, как телефон:

Хоть приятель мой живет и далеко,
Я могу с ним разговаривать легко.
Темной ночью и в любое время дня
Замечательно услышит он меня...
Я могу звонить в любые города,

Даже в самый дальний город иногда.
Удивительно устроен телефон.
Все мне кажется, что это только сон.
Чтобы этому скорей поверил я,
Позвоните мне, пожалуйста, друзья.

В стихах Михалкова всегда изображены чувства, мысли ребенка или, вернее, самого Михалкова, «превратившегося» в данный, конкретный момент в ребенка. Читая стихи о телефоне, так и видишь мальчишку любопытного, нетерпеливого, умеющего видеть в вещах их необыкновенность и поражаться этим их свойством: в самом деле, что может быть необыкновенней «говорящей» трубки, отвечающей разными голосами — то голосом неизвестного строителя, то «голосом» вокзала, то голосом Дурова и даже голосом льва, стоит только набрать номер. Подчеркиваем, что оба стихотворения сравниваются только в одной плоскости — специфичности писательского дарования.

Своеобразие таланта Михалкова как детского писателя проявляется с особой естественностью в его чисто лирических стихах. И здесь мог бы соперничать с Михалковым, пожалуй, только Квитко. Михалков выражает чувства и восприятия самого ребенка во всей их непосредственности, веселой ясности. Именно здесь вершина его поэзии, его новаторство:

Я карандаш с бумагой взял,
Нарисовал дорогу,
На ней быка нарисовал,
А рядом с ним корову.

Направо дождь, налево сад,
В саду пятнадцать точек,
Как будто яблоки висят
И дождик их не мочит.

Я сделал розовым быка,
Оранжевой — дорогу,
Потом над ними облака
Подрисовал немного.

И эти тучи я потом
Проткнул стрелой. Так надо,
Чтоб на рисунке вышел гром
И молния над садом.

Я черным точки зачеркнул,
И означало это,
Как будто ветер вдруг подул —
И яблок больше нету.

Еще я дождик удлинил —
Он сразу в сад ворвался,
Но не хватило мне чернил,
А карандаш сломался.

И я поставил стул на стол,
Залез как можно выше
И там рисунок приколол,
Хотя он плохо вышел.

Психология творчества ребенка изображена здесь с такой предельной точностью, конкретностью и поэтичностью, какие по плечу только подлинному большому искусству.

Когда, сравнивая стихотворение «Рисунок» со стихотворением «Ливень», Б. Галанов пишет, что это «другое стихотворение тоже про дождь, но пейзажное, лирическое, написанное всерьез», мне хочется возразить ему: «всерьез» написаны оба стихотворения, и, может быть, гораздо более «всерьез» написано именно первое стихотворение, насквозь, как лучом солнца, пронизанное чувственным восприятием мира. Когда исследователь замечает: «Михалков обладает удивительным даром «присваивать», делать как бы своими собственными чувства ребенка», — невольно думаешь: почему же «как бы своими»?

Другой критик, Вера Смирнова, по поводу стихотворения «Рисунок» пишет: «...характерное детское (и художническое!) всемогущее «как будто»! Как много оно значит для познания мира — равно и маленьким человеком — ребенком, и художником, который ищет путей и средств для воспроизведения природы, и человека, и своего отношения к миру... Это всемогущество ребенка и художника ощущается в самом Михалкове, во всей его работе: он работает с таким же уволнением, как и его маленький герой, с тем же внутренним (недоказуемым, но неопровержимым) убеждением: «так надо», и с таким же умением вообразить — «как будто» перед ним въяве совершается то, что он только задумал. И именно этим покоряет нас его лирика, лучшее в ней. И оттого даже в самых рассудочных стихах у него всегда есть детская вера в то, что он говорит, смягчающая прямолинейность лозунга».

Психология Михалкова как поэта тем особенна, что, обладая способностью вживания в психологию, душевное состояние ребенка, он достигает большой естественности передачи этого детского мироощущения в детской речи. Впрочем, эта особенность не принадлежит только Михалкову: она — свойство психологии любого детского писателя, точно так же как способность вживания в психологию взрослого — свойство любого «взрослого» писателя. Но особенность Михалкова, отличающая его от других детских писателей, состоит в том, как и м возникает мир ребенка в душе именно этого детского писателя.

«Облака», например, одно из тех стихотворений, которые будто специально сочиняются, чтобы ярко и убедительно продемонстрировать всем, кто сомневается или не верит в существование особого дара — таланта детского писателя: он есть!

В самом деле, все здесь изображено так, как видит, чувствует и мыслит ребенок: конкретно, непосредственно и простодушно. Глядя на облака, он видит не фантастических зверей или воздушные замки, а только то, что у облаков «кучeryавые бока» и что одни из них «целые», а другие «дырявые». Это конкретность детской мысли. Поразительна та чисто детская легкость, с которой лирический герой отрывается от земли: «...и — движением одним оказался рядом с ним». Смена ритма действительно создает чудесное, прямо физическое ощущение мгновенного, без малейшего усилия взлета. И так интересно «запросто» летать на облаке «в любые страны» через горы, океаны — «выше, ниже — как угодно». Словарь, образы, интонации — все принадлежит мальчишке, живому и непосредственному. И наивно-простодушно: «Плохо только, что бывает вдруг такая ерунда: в небе облако летает, а потом возьмет растает, не оставив и следа». Представишь себе такое — как ты летишь вдруг на землю с растаявшего внезапно облака — и поневоле станешь... страшно. Здесь ощущение той внутренней свободы, которая в полной мере присуща только ребенку. Которую в данный момент испытывает и поэт. Это чувство передается и читателю. «Младенческое простодушие», как уже было сказано, дается человеку в дар от природы, так же как любой другой дар. Это свойство его психики. Но поэт, обладающий таким даром, может на какое-то время «заразить» этим мироощущением и взрослого читателя, порождая в его душе чувство гармонического восприятия мира.

Проблема принципиального отличия детского поэта от «поэта для детей», так живо возникающая именно в связи со стихами Сергея Михалкова, в свое время была интересно поставлена в нашей критике поэтессой А. Адалис. В статье, посвященной творчеству поэта, она говорит о счастливой памяти детства, об умении Михалкова говорить, не подделываясь под детскую речь, но со всей свежестью и непосредственностью первого восприятия, первого чувства. Следует добавить: все это производное от главного, от природного свойства психики данного поэта — способности вживания в

душевное состояние ребенка. Если посмотреть на все творчество писателя, представленное в трехтомнике — басни, сказки, рассказы, пьесы и даже публицистику, — под этим углом зрения, то многое в этом творчестве, как достоинства, так и недостатки, можно объяснить именно своеобразием дарования детского писателя. Художественное мастерство в его лучших произведениях состоит в безошибочном умении найти тот внутренний ритм, те «единственные слова», которые передают душевные состояния ребенка со всей возможной психологической убедительностью и яркостью. В последние годы во всем мире наблюдается, как известно, большой интерес к психологии творчества. И у нас и за рубежом вышло немало работ, авторы которых

исследуют один из самых сложных видов психической деятельности человека — процесс художественного творчества. Важно, когда в таких работах исследователи преподносят читателю не просто готовые выводы, не одни только логические построения, а ведут читателя по пути исследования живых фактов литературы, конкретных произведений наиболее ярких художников. Предметный анализ творчества художника всегда эстетически обогащает и исследователя и читателя. И теория! Творчество Михалкова дает исключительно интересный материал для такого рода анализа, в частности, для теоретических раздумий об особенностях детской литературы, о путях ее дальнейшего развития.

В. БАВИНА.



ПОСЛЕДНЯЯ КНИГА

Геннадий Фиш. *Снова в Скандинавии*. М. «Советский писатель». 1972. 290 стр.

Если бы Геннадий Фиш был сейчас жив, ему исполнилось бы в этом году семьдесят лет, а его последняя книга «Снова в Скандинавии» была бы прижизненной; теперь она вышла в свет без него.

Впрочем, тогда она не была бы последней: к моменту выхода книги он, как правило, работал уже над новой. И «последняя» фактически становилась предыдущей, а рукопись новой книги лежала на столе.

Он писал быстро, по моим представлениям, непостижимо быстро. И работал целыми днями: либо сидел за машинкой, либо читал и выписывал что-то для своих книг.

Я довольно близко знал Геннадия Фиша последние пятнадцать лет: мы жили рядом. Бывало не раз, позвонит он в дверь среди дня: «Вы работаете? Я на минуточку...» — и входит с очками на лбу, с книгой в руке: это он пришел сообщить поразившую его мысль. И тут же произнесет ее вслух. «Вы поняли?..»

Грешный человек, я иногда сердился в душе: когда работаешь, все постороннее перестает существовать, мир сузился, он — в тебе самом. И вдруг в этот мир звонит и входит по-детски радостный человек в домашних туфлях, с раскрытой книгой: «Я на минуточку...» Он просто не мог не поделиться открытием.

Геннадий Фиш был переполнен сведениями, цифрами, интереснейшими фактами, и теперь, когда его нет, когда то, что могло бы быть, стало прошлым, я часто жалею, что порою бывал нелюбопытен.

Он мог часами на память читать стихи, чтоб наделить вас той радостью, которую давала ему поэзия, его первая и неизменная любовь. И он был удивительным собеседником.

Лет шесть или немногим более тому назад в поездке по Румынии я оказался вместе с Юханом Смуулом. Членов делегации было трое, Юхан Смуул — ее глава. Кроме разговоров профессиональных, порою интересных и полезных, неизбежно говорится при таких встречах какое-то количество необходимых слов. Юхан Смуул участвовал в беседах всегда одинаково: он сидел улыбающийся, очень оживленный и с бесконечным богатством интонаций говорил: «Да?. Да!.. Да?..» «Юхан, — сказал я ему в первый же вечер, — мы языки пообломали, а ты молчишь и молчишь». «Я весь день говорил!» — вскричал он совершенно искренне. Он был убежден в этом и просто-таки огорчился, что никто этого не заметил. После я понял: он действительно совершал максимальное.

Полной противоположностью был Геннадий Фиш. Он был, повторяю, удивительным,

увлекательнейшим собеседником: самый словоохотливый человек мог целый вечер просидеть с ним, не раскрыв рта.

В те годы, когда я близко знал и мог наблюдать его, Геннадий Фиш писал свой цикл книг о Скандинавии: «Встречи в Суоми», «Здравствуй, Дания!», «Отшельник Атлантики», «Норвегия рядом», «У шведов».

Писать о зарубежных поездках в наше время, когда потрясения сменяются потрясениями и все колеблется, колеблется, не успокаиваясь, стрелка политического компаса,— писать книги в такие годы не просто.

Геннадий Фиш умел это делать. Его книги точны, умны, содержательны, полны метких наблюдений. В его первой книге из скандинавского цикла — «Встречи в Суоми» — есть любопытное рассуждение о финском юморе. До недавнего времени, пока не появились на русском языке прекрасные книги Майю Лассила и Вейо Мери (впрочем, я не убежден, что круг читателей этих книг так уж велик), наше представление о финском юморе было довольно неопределенным и, может быть, исчерпывалось даже невысказанным вопросом: «А что, у финнов тоже есть юмор?» Многим из нас финны представлялись людьми угрюмыми и молчаливыми. Оказывается, как пишет Геннадий Фиш, именно такими — угрюмыми и молчаливыми — финны представляют себе нас. Прочитать это не бесполезно.

Незнание и невежество — лишь разные степени одного и того же. И служат они одному и тому же — разделению людей.

Народы разделены не только таможенными барьерами, но и незнанием друг друга. Им питаются и предрассудки, и предубеждения, и ненависть. А между тем ни одна страна мира, ни один народ не может в наши дни жить изолированно, не обмениваясь с другими народами продуктами своего труда: мыслями и товарами. Ни одна серьезная проблема не может быть решена в одиночку.

Мы говорим на разных языках, у нас разные взгляды и порядки, но дышим мы одним воздухом. Дым, который выбрасывают трубы Рура, сернистым дождем проливается над Швецией. Сточные воды Италии выносятся к курортному побережью Франции, а взрыв атомной бомбы в одной части света отдается землетрясением на других континентах.

Предубеждения порой оказываются долговечней условий, которые породили их. Они продолжают жить вопреки очевидным ве-

щам, рассеять их не так легко, как нам бы хотелось. Да и много в мире сил, которые стремятся оживлять призраки. И все же предубеждения не вечны. Чем больше мы узнаем друг о друге, тем меньше остается места предвзятости, вражде, непониманию.

Книги Геннадия Фиша при совершенной четкости идеологических позиций служат этому необходимейшему делу сближения людей и народов. Человек очень много знавший, общительный, веселый, доброжелательный, он как нельзя лучше подходил для избранной им цели общения с людьми.

Он возвращался из поездок переполненный впечатлениями, всем тем, что вскоре должно было стать его книгой. И сразу же начинал рассказывать, испытывая при этом не меньшее удовольствие, чем слушатели. Он словно бы выверял на слух будущие главы.

Помню, как Геннадий Фиш рассказывал, да нет, не рассказывал — переживал, словно сам был участником этого случая, происшедшего с президентом Финляндии в доме финской крестьянки, рассказывал, радостно смеясь: «Вы поняли?» — словно боялся, что не вполне оценен юмор этой истории. И вот читаю в последней его книге в очерке-портрете «Президент Суоми»:

«...как-то возвращаясь с лыжной прогулки далеко на севере Финляндии, президент зашел в крестьянский дом. Гостеприимная хозяйка тут же усадила гостя за стол, расстелила скатерть и заварила кофе, без которого в Суоми не обходится ни одна беседа. Наливая себе чашку, Кекконен пролил несколько капель на сверкающую белизной скатерть. Хозяйка сделала вид, что не заметила этого, но когда ее муженек, увлеченный беседой, посадил на скатерть кофейное пятно, она не удержалась и сквозь зубы процедила: «Ну вот, еще второй растяпа нашелся!» Через некоторое время, к рождению, радушные хозяева получили из Хельсинки посылку. Белая полотняная скатерть с салфетками и припиленной к ним запиской: «От первого растяпы».

Читаю сейчас и слышу смех, который сопровождал рассказ.

А вот другой рассказ из этой книги, который я тоже вначале слышал. Во время встречи, когда зашла речь об искусстве, Урхо Кекконен показал скульптуру, стоящую посреди его гостиной. «Античное искусство верхней части фигуры — неведомо как — гармонично сочетается с плотской,

тяжелой весомостью ног, неотделимо сли-
тых с каменной глыбой.

— Отгадайте, кто автор? — спрашивает с хитринкой в глазах хозяин».

Тут надо сказать, что Геннадий Фиш знал искусство многих стран, знал архитекторов и скульпторов Финляндии — и Сааринена, и Альвара Аалто, и Вяйне Аалтонена, и Калерво Каллио, Аймо Туккиянена и Эсси Ренваль.

«— В самом материале, да и, пожалуй, в манере что-то от раннего Аалтонена. Но нет, это не он.

— Эрнст Неизвестный. Ваш,— торжествуя отвечает Кекконен». В книге приведен рассказ о том, как Кекконен прочитал в английском журнале «Обсервер» статью о работах советского скульптора, увидел фотографии, заинтересовался и захотел приобрести одну из его скульптур. И вот она стоит в центре его гостиной, скульптура Эрнста Неизвестного, полученная президентом Финляндии в дар от Советского правительства.

Рассказ написан в форме почти протокольной записи, наилучшей, как я думаю, форме для такого жанра, и завершается письмом Урхо Кекконена скульптору: «Получив во время моего неофициального визита в Советский Союз в подарок от Правительства СССР Вашу работу «Земля», не могу не выразить Вам своего искреннего восхищения этой прекрасной скульптурой. Удивительно гармонично в ней сочетается могучая массивность с изящнейшей грациозностью. Не знаю, прав ли я, когда наряду с идеей, высняющей из названия этого произведения, вижу в нем олицетворение двух основных начал Женщины: матери и цветоча всего высокого, доброго в жизни Человека. Правом роженицы-жизнедательницы она властно призывает к сохранению святого святых — жизни. С этими словами прошу Вас, господин Неизвестный, принять мою благодарность за создание этой жизнеутверждающей скульптуры. Она будет всегда занимать почетное место в моем доме».

Последняя книга, вернее, книга, ставшая последней, не может рассматриваться отдельно от тех, что были написаны прежде. В ней продолжают события, рассказ о которых был начат ранее, и многие герои, известные по предыдущим книгам, вновь появляются здесь.

У Геннадия Фиша был редкий дар вести рассказ легко, занимательно и весело, ок-

рашивая юмором серьезные вещи. Но книги о зарубежных поездках, о странах, где ты не рожден, а пожил немного, имеют то неудобное свойство, что их читают дважды. И читают по-разному. На твоей родине — с желанием узнать о другом народе, о его стране. Тут твоя способность понять и рассказать о людях и событиях проходит, так сказать, первую проверку. Второе чтение начинается, когда книга переведена. То, что приемлемо оказалось на родине автора, может вызывать совершенно иные чувства на родине персонажей книги.

Мы знаем по собственному опыту, как неловко и смешно бывает читать о себе «развесистую клюкву». Она не всегда создается умышленно, иной раз это результат добросовестных заблуждений. Но, так или иначе, ее уже немало развелось на белом свете, начиная хотя бы с анекдотического: «Иван Грозный, за жестокость прозванный русскими Васильевичем...»

Так вот это второе чтение, когда книга переведена,— рискованная проверка. Далеко не каждому удастся пройти ее без потерь.

В этой связи небезынтересно прочесть, что писали, скажем, шведы о книге Геннадия Фиша:

«Какое у иностранцев представление о нас, шведах? Это занимает нас больше, чем наше мнение о них. Ведь сам-то ты самое интересное на свете. Что о нас думают на западе, мы знаем. Наша печать отмечает оттуда любой, даже самый незначительный отзыв о нас, будь то купанье голыми, эротику или прочие грехи.

Но что о нас думают на востоке? Материала об этом чуть-чуть. Поэтому с понятным любопытством открываешь вышедшую в издательстве ЛТ книгу Геннадия Фиша «У шведов», много поездившего по Швеции советского писателя... Шведский грех его не интересует, для этого он недостаточно богобоязнен. В то же время у него необычный аппетит на все, что происходит в этой стране в сельском хозяйстве и промышленности, в политике и экономике, в искусстве, музыке и литературе. У него также большое число друзей среди шведских писателей, деятелей искусства, рабочих и политиков, и он подлинный друг своих друзей.

Доброе отношение к Швеции, которое проходит красной нитью через книгу, ка-

сается людей, природы, организации и технического уровня. Но оно никогда не приводит его к басням об особом национальном характере и подобных нонсенсах. Его размышления глубоко социально окрашены, и он хорошо сознает власть крупного капитала и недостаточное влияние рабочего класса на общество. Он очень точен в отношении приводимых им данных.

Плюс к этому он обладает редким даром излагать собранный им внушительный материал легко и интересно. Понимание им наших условий заставляет нас не только узнать самих себя. Иногда он приводит неизвестные нам ранее факты».

А вот еще один отзыв, в «Сконске дагладет»:

«К числу многих зарубежных очерков о нашей стране примкнул со своими впечатлениями известный советский писатель Геннадий Фиш. Принимаясь за эту задачу, он оказался удивительно хорошо подготовленным. Он уже опубликовал несколько книг о других северных странах. Кроме

того, он изучил шведскую историю, шведскую литературу и искусство.

Во время путешествия по нашей стране — от северной Лапландии с ее шахтами и лесами до южных равнин и берегов Сконе и от Стокгольма на востоке до Гетеборга на западе — он сумел увидеть многое и даже имел возможность проинтервьюировать многих видных шведов из разных областей политической, социальной и культурной жизни. И все эти впечатления он собрал в очень увлекательную книгу под заглавием «У шведов».

Новая книга о Скандинавии, последняя книга Геннадия Фиша, не была закончена. В ней собрано то, что он, возвратясь из поездок, успел написать, над чем он еще работал. А планировалась впереди поездка и еще одна книга о Норвегии. Не сбылось.

«Снова в Скандинавии» — книга, по замыслу открывавшая новый цикл, стала завершающей. Потому что завершилась жизнь.

Григорий БАКЛАНОВ.

★

РОМАН, КОТОРОМУ НЕ ПОМОГЛИ

Александр Бахвалов. Нежность к ревущему зверю. Роман. «Молодая гвардия». 1972. №№ 5—7.

Публикуя роман А. Бахвалова «Нежность к ревущему зверю», журнал «Молодая гвардия» сопровождает его рекомендацией, где, вспомнив свои удачи прежних лет («У нас впервые печатались начальные главы «Брестской крепости» лауреата Ленинской премии С. С. Смирнова, военные повести Юрия Бондарева «Батальоны просят огня» и «Последние залпы»...»), говорит добрые слова о самом произведении: «Мы предоставляем свои страницы Александру Бахвалову, который выносит на суд читателя роман о летчиках-испытателях. За плечами автора большой трудовой и жизненный путь... Роман «Нежность к ревущему зверю» — первое большое произведение Александра Бахвалова».

Итак, книга бывалого человека. Не просто воспоминания, а художественное произведение. Большое. Роман.

Рекомендация лестная — и ответственная. Ответственная вдвойне, если сказать, что это роман о героях наших дней. Мужественная профессия летчиков-испытателей, профессия, которая подвергает характер, волю, мастерство каждодневному строгому экза-

мену, вызывает большой интерес читателей, особенно читателей молодых. Книга о людях этой профессии может обладать большой воспитательной силой. Летные испытания — вот работа, где невозможно дилетантство, где ничего нельзя делать кое-как, небрежно, начерно, на авось, где профессиональная неграмотность смертельно опасна.

Читатель, думается, вправе ждать, что роман на такую тему будет ее достоин. Он надеется, что редакция не просто «предоставила площадь» начинающему литератору, но и помогла ему выйти на люди не только с «первым большим», но и действительно художественным произведением.

Помогла ли?

Сначала об одной частности. Книга принадлежит бывалому человеку, специалисту (аэродромному механику, как явствует из врезки), но прежде всего недоумение вызывают профессиональные вопросы, вызывают даже у того, кто далек от авиации, но следит за произведениями на эту тему. Ну, например, какой имеет смысл фраза: «...скорость подъема носа точно совпала со скоростью набора высоты»? Имеет

ли спортивный самолет штурвал, как о том пишется в романе? И что означает фраза: «С-14 не поддается обычному способу вывода машин из штопора. Нужно перевести самолет в пике...» — если «обычный способ» как раз и предусматривает перевод из вращения в пикирование и лишь затем в горизонтальный полет, о чем не раз было читано в других книгах об авиации?

Теперь о языке, каким написано это сочинение. Приведем примеры, заранее извинившись, что их много, — это необходимо, дабы не показалось, что из текста вырываются отдельные неудачные фразы. Грубые стилистические и даже грамматические ошибки можно найти почти на каждой странице.

Известный авиаконструктор, старый ученый, интеллигент, провожая летчиков в дальний полет, говорит в романе: «Ну повнимательнее там, не блудите...» Может показаться, что он проявляет неожиданную в этих обстоятельствах заботу о нравственности подчиненных. Ничего подобного! По воле автора и снисходительности редакции этот ученый не различает форм глагола — «блудить» и «заблудиться» — и связанных с ними, надо прямо сказать, весьма различных значений. Но, может быть, это индивидуальная особенность речи, так сказать, стилистический штришок для «утепления» образа? Ничего подобного, точно такая же ошибка встречается в авторской речи. В комнате отдыха, читаем мы, «начинают вспоминать, кто, где, с кем летал, когда блудил по вине штурманов». Словно для окончательного доказательства, что автору неизвестно, как правильно выразить мысль о человеке, сбившемся с курса в небе или потерявшем дорогу на земле, в романе говорится: «...чтобы ему не блудить в похосках дачи»...

Вот фраза: «...хозяйское чувство к управляемому самолету, весьма отличительное от пассажирского ощущения скорости...» Не дело это художественно-публицистического журнала, и тем не менее приходится с его страниц напоминать простое правило, что с приставкой «от» следует употреблять не прилагательное — «отличительное», а причастие — «отличающееся».

Летчик Гай-Самари — один из любимых персонажей автора — «красив был не поздешнему, чем и озадачивал навязчивое пристрастие некоторых определять по внешности национальную принадлежность». Вероятно, автор хотел сказать что-то вроде:

«...чем и озадачивал некоторых, кому свойственно навязчивое пристрастие...» Вот еще один пример из тех, что вызывает к красному учительскому карандашу: «Казалось, этот человек был умнее, опытнее, на порядок больше вобрал в себя всех тех едва приметных, скрытых от поверхностного взгляда примет жизни, которые открываются только очень пытливым глубоким людям». Здесь, с одной стороны, не хватает дополнения («вобрал больше», чем кто?), но, с другой стороны, в избытке имеются повторы: «приметные приметы», «скрытые... открываются».

В другом месте автор повествует о персонажах, которые «якобы были замечены в злоупотреблении спиртного...», не зная, видимо, что куда речь идет об употреблении, то пишется «употребление спиртного», а когда дело доходит до «злоупотребления», то, ничего не подлаешь, — приходится сказать «спиртным».

Допустим, автор не знал, редактор не правил, корректор не заметил. Остается надеяться, что читатель сам мысленно переделает эту и множество других неграмотных фраз. Но как быть, когда из-за погрешностей в языке невозможно понять смысла?

Два летчика-испытателя, Лютров и Чернорай, люди немолодые и, если верить авторским характеристикам, образованные, навещают женщину, муж которой — их сослуживец и друг — погиб в авиационной катастрофе. Под впечатлением драматической встречи Чернорай произносит загадочный афоризм: «Поменьше бы нам следить на этом свете». Как это надобно понимать? Разгадка приходит на следующей странице. Лютров размышляет о том, что никак не может встретить девушку, достойную стать его женой, мать его будущих детей. Мысленно он упрекает за это судьбу. «Господь бог — шулер, которому не хочется, чтобы он, Лютров, наследил среди людей», — передает автор мысли своего героя. Но ведь господь бог поступает, пожалуй, не так уж плохо. Глаголы «следить» и «наследить» в непереходной форме имеют негативное значение, они означают «напачкать, оставить грязные следы»...

«Недовольно, но явно в другой тональности, он покачал головой». Можно произнести что-то в другой тональности или спеть, но как можно качать головой «в другой тональности»?

Автор и редактор не задумались над фразой: «Все в ее облике выражало обезоружива-

вающе стыдливую девическую привязанность к мужу». Что привязанность к мужу может быть стыдливой, спору нет. Но что значит в этом контексте слово «девическая»? Куда бы ни шло, если бы речь велась о евангельских Марии и Иосифе... В другом месте говорится о супружеской паре, что муж и жена были «родными по крови». Тоже ведь нехорошо! Автор очень не любит этих персонажей, но, наверное, не настолько, чтобы приписать им преступление, караемое законом, — кровосмесительный брак!

Слог романа отягощен бесконечными цепями косвенных падежей: «скопище автомобилей спецкорв газет», «кромки лишенных стекол иллюминаторов его самолета», «начальник училища был уверен в точном выполнении основного требования запроса, где говорилось о направлении в школу...»; отглагольными существительными, которые порой образуют непрошенные и потому смешные рифмы: «смутное подозрение об ином влечении», «настойчиво будоражило воображение как предчувствие высокого возрождения». Последнее особенно забавно, потому что «Высокое Возрождение» — термин истории искусства, совершенно неуместный в данном контексте.

У Гая-Самари «гостеприимно распахнутые глаза цвета орехового комля». Цвета комля и никак иначе! На нем «костюм цвета мокрой золы с кровавой искоркой»!

Стиль становится особенно «красивым», когда автор посвящает нас в психологию и личную жизнь Лютрова — главного положительного героя. Отметим попутно не только эстетическую, но и морально-этическую особенность этих страниц.

Автору нравится, как Лютров относится к окружающим. Ему кажется, что он смотрит на них проницательным взглядом. На самом деле, за редкими исключениями, это взгляд раздраженно-недоброжелательный. Особенно это ощутимо на страницах, где описывается пребывание Лютрова в курортном городке. Всех, кого он встречает на пляже, на набережной, в кафе, он воспринимает как бездельников, позеров, обывателей.

Вот, например, как видит Лютров одну из купающихся. «Он не мог не любоваться ее тонким, с такой мерой осторожности изваянным телом...». Женщина, которая, на свою беду, привлекла внимание Лютрова, приближается к нему. Он, достаточно воспитанный, как представляется автору, человек, продолжает в упор ее разглядывать: «...волосы

отжаты, ладони смахнули с лица излишки воды, и небрежно, по-мужски растягивая шаги, расчленив на составные части, разрушая лепную собранность фигуры, она шла к своему месту... Подходила, наклонялась, нелепо расставив ноги, затем все так же растопырчиво садилась...» Здесь стилистика стоит эстетики, да и этики, пожалуй, тоже.

Женщин, с которыми он был близок, Лютров непрерывно осуждает. За пошлость. За эгоизм. За доступность. Даже за то, что они, бедные, ничего не могли прибавить к его предшествующему опыту в любви. Надо ли говорить, как выглядит мужчина, который близок с женщиной, хотя не любит ее и не уважает, да еще корит ее тем, что это не настоящая любовь. Ее, не себя! Автору представляется такое поведение, как и все, что делает Лютров, вполне достойным.

А вот как все это изложено. Снова лишь несколько примеров из множества возможных.

Монолог-воспоминание Лютрова об одном любовном эпизоде. «Спутницы этой поры... ничего не могли прибавить к тому, что тебе было известно... Даже имена их вспоминаются не вдруг. Как звали ту артистку?.. Она напоминала некую разновидность дикой кошки с долгим и гладким телом, чьи неторопливые движения отмечены грациозной целесообразностью, скрытой силой и уверенностью в себе. В фигуре ничего выступающего, в одежде ничего лишнего. Чаще всего на ней было ненавязчиво облегающее вязаное платье цвета первых весенних листьев, такая же шапочка детским чепцом, аккуратно прикрывающая уши и волосы... и придающая матово-смуглому лицу ту меру инфантильности, которая если и не молодит, то выдает склонности. Ее глаза казались темно-серыми до тех пор, пока она не поворачивала их в сторону. Тогда в глубине зрачков рождался густой зеленый тон, словно рассыпанная по кругу райка зеленая пыльца становилась плотнее, как голубизна стекла при взгляде на торец. Ее губы, безупречно выкрашенные в густо-морковный цвет... очень выразительны, но подвижность делает их неуловимыми в очертаниях. Они соблазнительны, но слишком опытные. Женщин с таким ртом не пугает откровенность за гранью пристойного, они умны, наблюдательны, неболтливы, догадливы и умеют взять все до предела от дарованной внешности». Как тут не вспомнить: «Даешь изячную жизнь!»

Чтобы пробиться сквозь все эти нагро-

мождения красотой, читатель должен сделать героическое усилие: представить себе некую разновидность дикой кошки с долгим и гладким телом и вместе с тем женскую фигуру, в которой нет ничего выступающего; представить себе, как темнеют глаза этой дамы, с помощью мысленно вызванного образа цветка с зеленой пыльцой и куска стекла, повернутого торцом!.. А этот канцелярит, вдруг возникающий в «психологическом портрете»: «...взять все до предела от дарованной внешности!»

На курорте Лютров, тоскуя по Валерии, встречает некую Томку — близкую приятельницу своего товарища — и приглашает ее в кафе.

«Она игриво огляделась, закурила и плотно оглянулась.

— Что будем робить?

— Есть, пить, слушать «Тишину».

— Здесь водкой торгуют?

— Без ограничений.

— Славненько. У меня желудок — расист: не признает цветные напитки.— Она целиком обнажила нахально торчащий зуб.

«Зато все остальное лишено предрассудков», — улыбнулся про себя Лютров».

Все ясно. Перед нами развязная и пошлая бабенка. Но чем лучше ее Лютров с его игривой, чтобы не сказать — непристойной, реакцией на реплику Томки?

Невероятно подробно описывается, как они сидят в кафе, пьют, как Томка заигрывает с Лютровым и как он стойко противостоит заигрыванию. Они выходят в город. Несмотря на поздний час, Томка решает выкупаться.

«Томка разделась быстро... Она приседала, плескалась, стоя по колено в воде, и Лютров скорее угадывал, чем различал ее обнаженность.

«Пьяная Юнона», — подумал он, испытывая странную признательность к доверившейся ему наготы, оттого, может быть, что обезоруженная стыдливостью зывала к нему сама по себе, скверно оберегаемая ее обладательницей.

— Ничего, что на мне пусто?.. Не пугайся, я не очень безобразная... Идем дальше, дай руку».

Об эстетической стороне этого отрывка, пожалуй, можно не говорить. Попытаемся разобраться в его смысле. Понимать его нужно, очевидно, так. Лютров, стыдливость которого обезоружена, испытывает чувство благодарности... Да нет, не получается. «Обладательницей стыдливости», правда «плохо

ее оберегающей», названа Томка. И вот эта-то плохо оберегаемая стыдливость зывала к Лютрову «сама по себе». И при чем тут Юнона? В мифологии она была женой Юпитера, в искусстве символизировала зрелую и почтенную женщину (см., например, в «Справочнике античных терминов» Лёве и Штолля).

А вот Валерия, идеальная возлюбленная Лютрова, вспоминает знакомство, предшествовавшее встрече с Лютровым: «Она вышла к Владке в голубом сарафане, надетом на «ничего»... И вдруг, прерывая глупый разговор, она приподняла кверху правую руку будто затем, чтобы показать царапину возле мышки... а на самом деле чтобы выказать округлившуюся, полнеющую грудь, которой сама любовалась полчаса назад перед зеркалом, оставшись одна в доме, и была очарована своей схожестью с грациями Торвальдсена...» Снова неожиданные реминисценции из области изящных искусств: грации Торвальдсена вполне стоят здесь Юноны в эпизоде с Томкой! А рядом — обилие уличных словечек: речь персонажей буквально переполнена остротами дурного вкуса («...смехуто, смеху... Полны штаны»).

Язык авиационных сцен в романе либо беспомощно-напыщен («Неуклюжее на вид помахивание лопастей медлительных машин рождало мысли о настороженности чрева механизмов к ошибкам людей»), либо перегружен специальными терминами, отдает не то служебной инструкцией, не то научно-популярной брошюрой, написанной не мастером этого почтенного жанра. Вот пример, снова один из множества возможных: «Один из рулей — руль высоты — он треммировал (видимо, автор хотел сказать триммировал.— С. Л.) с невыключенным давлением в гидросилителях, и если после такого треммирования переключалась гидравлика, то все очень просто»...

Мы говорили здесь только о языке романа А. Бахвалова. Но ведь, как известно, язык — это первоэлемент литературы. Не владея им, немисливо воплотить любой, самый прекрасный замысел. Невозможно представить себе, чтобы люди, работающие в той области, которую описывает А. Бахвалов, выпустили бы в самостоятельный полет новичка, не уверившись, что он в совершенстве владеет азами летной профессии. А в журнале? В журнале, оказывается, можно и так: закрыв глаза на язык и стиль начинающего автора, на его эстетические представления,

поспешить выпустить его в самостоятельный полет.

...Между прочим, недавно на обложке «Молодой гвардии» появилось сообщение,

что редакция предполагает опубликовать в 1973 году и вторую книгу романа А. Бахвалова «Нежность к ревущему зверю»...

Сергей ЛЬВОВ.



С ПОЗИЦИЙ ПАРТИЙНОСТИ

Г. Куницын. В. И. Ленин о партийности и свободе печати. М. Политиздат. 1971. 280 стр.

О проблеме партийности и неотрывной от нее проблеме свободы печати написано много. Это естественно: ведь речь идет об одном из коренных принципов марксистско-ленинской философии, о принципе, который именно в силу его значения подвергается непрестанным и интенсивным атакам и фальсификации со стороны буржуазных идеологов. Но и среди большого числа работ, посвященных этой проблеме, книга Г. Куницына «В. И. Ленин о партийности и свободе печати» — явление заметное, интересное. Это научное исследование с присущей ему строгостью изложения; и в то же время лучшие страницы книги написаны с тем внутренним темпераментом, который свидетельствует о мысли публицистически острой и убежденной.

Монография Г. Куницына затрагивает самые различные аспекты вопроса о партийности, но ее центральный «нерв», ее пафос — защита позиции партийности как позиции общественной активности, гражданственности. Понятие коммунистической партийности несовместимо для автора книги с созерцательностью, оно обязывает к действию, к революционному преобразованию действительности. Подчеркивая теснейшую связь партийности с гражданственностью, а гражданственности — с борьбой за торжество прогрессивных идеалов, Г. Куницын отмечает: «...для искания, т. е. для самого действия... недостаточно одного только понимания цели, которое свидетельствует лишь о концептуальности мышления. Необходима, плюс к тому, опять же воля к поиску, а она связана с характером, психологией человека». Следовательно, воспитание партийности можно по праву назвать воспитанием «цельной коммунистической личности».

Такой подход к проблеме, когда чисто теоретический разговор дополняется, так сказать, конкретно-воспитательным момен-

том, вытекает, бесспорно, из существа учения В. И. Ленина о партийности.

«Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя». Эти ставшие крылатыми слова В. И. Ленина предельно емко и точно выражают социально-этический смысл деятельности человека. Они не только опровергают буржуазные теории «абсолютной свободы», но и утверждают как высший нравственный долг необходимость для человека ясного осознания своего места в борьбе идеологий, выбора той или иной классовой позиции. При этом интерес В. И. Ленина к проблеме был отнюдь не академическим. Он неустанно развивал, отстаивал, утверждал принцип партийности потому, что видел, какой огромной, неодолимой общественной силой он может стать в действии.

Г. Куницын в своей книге делает упор на этой стороне проблемы партийности, исследованной у нас, кстати говоря, меньше, нежели вопрос о социальной детерминированности сознания. Автор книги рассматривает учение о партийности общественного сознания прежде всего как учение «об активной значимости субъективных факторов в развитии общества». Долгая, последовательная борьба В. И. Ленина за победу социалистической революции показана Г. Куницыным как борьба за становление и углубление классового самосознания пролетариата, за воспитание убежденных бойцов грядущей социальной битвы, за победу коммунистической партийности. Этот анализ проблемы партийности в органической связи со всей деятельностью В. И. Ленина (и тоже не в теоретической ее абстрагированности, а в связи с движущейся революционной практикой партии) — существенная особенность рассматриваемой работы.

В книге Г. Куницына выделены четыре основных аспекта ленинского учения о партийности, имеющие методологическое

значение: «сведение» индивидуального к социальному, различие классовости осознанной и классовости неосознанной, анализ социально-психологической «структуры» партийности, соотношение партийности и объективной закономерности.

Какаясь первого аспекта, Г. Куницын убедительно доказывает, что В. И. Ленин как социолог тщательно учитывает то глубоко индивидуальное, что несводимо к социальному эквиваленту. Но, продолжает автор, «он непременно «сводит» к социальному критерию проявления общественной психологии и идеологии. При этом за критерий принимается только одно—реальное действие личности, объективный результат действия. А это как раз то, что поддается исследованию,— в противовес гаданиям субъективистов».

Весьма важным (и малоизученным применительно к рассматриваемой проблеме) представляется третий аспект: анализ социально-психологической «структуры» партийности. Ведь речь тут идет об условиях, при которых «слово» становится «делом», о путях практического приобщения личности к революционному действию. И показывая борьбу В. И. Ленина за пробуждение в задавленных «азиатчиной» народах царской России чувства гражданского достоинства, его борьбу за воспитание «привычки к самобытному участию в гражданских делах» (Н. Чернышевский), автор книги с гордостью пишет об успехе этой борьбы, о том, что ленинская партия сумела в исторически короткий срок внести революционное сознание в широкие массы пролетариев и других трудящихся классов многонациональной и отсталой страны. Называя это с полным основанием подвигом, Г. Куницын пишет: «Ленинское учение о партийности общественного сознания вообще и печати в частности сыграло в этом процессе огромную роль. Оно оказалось не просто учением, а одновременно системой практических принципов, осуществление которых в жизни было равнозначно формированию и воспитанию всех главных движущих сил социалистической революции».

В отличие от некоторых авторов Г. Куницын считает коммунистическую партийность не единственным видом, а высшим и последним этапом партийности вообще, под которой он понимает лишь сознательное проявление классовости (обоснование этой точки зрения составляет, в

частности, содержание главы, посвященной анализу второго аспекта проблемы партийности). Своеобразие же, историческое, политическое и моральное превосходство коммунистической партийности, как и пролетарской идеологии, автор видит в защите интересов трудящегося большинства, во-первых, в полном соответствии ее целей объективным закономерностям развития общества, то есть в научности,— во вторых.

Последняя особенность подчеркнута Г. Куницыным многократно, поскольку она действительно имеет очень важное значение. Именно здесь ключ к подлинной свободе выбора, не мифической, а истинной свободе выбора, базирующейся на знании законов развития общества, на постижении общественной необходимости. Этот момент важен и потому, что показывает живой, недогматический характер коммунистической партийности, тесную связь ее с научной мыслью, с углубленным познанием действительности вообще. Партийность не освобождает от глубокого изучения жизни, ее законов, тенденций, а, наоборот, обязывает к этому. Потому-то подчеркивание в книге «активной значимости субъективных факторов в развитии общества» отнюдь не означает утверждения субъективизма, волюнтаризма...

Опираясь на разработанные в первые десятилетия своей деятельности методологические основы учения о партийности общественного сознания, В. И. Ленин, как показывает далее автор, определяет принципы собственно партийности печати как одной из сфер выражения идеологии, психологии, науки и т. д., анализирует проблемы партийности как конкретные проблемы различных отраслей общественной деятельности, формулируя в том числе знаменитый «принцип партийности литературы», что «пронизывает, в сущности, все основные организационные положения, на которых построена и ныне работа органов марксистской печати» (Г. Куницын говорит именно об «организационных положениях», еще раз подчеркивая единство теории и практики в деятельности ленинской партии).

Затем Г. Куницын показывает, как В. И. Ленин конкретизирует общие положения о партийности «применительно к наиболее глубокому, «теоретичному», если можно так выразиться, сферам идеологии и науки»: Он разграничивает в философию

фии, по формулировке Г. Куницына, «политическую партийность (она требует от автора при всякой оценке события прямо и открыто становиться «на точку зрения определенной общественной группы») и партийность гносеологическую (она требует от автора быть приверженцем «партий» материализма или «партий» идеализма)». Это различие В. И. Лениным двух аспектов партийности философии имеет большое методологическое значение, в особенности для изучения истории культуры (о точности самих терминов мы скажем ниже).

«Гносеологические корни,— пишет автор, подытоживая свой анализ взглядов В. И. Ленина по этой проблеме,— имеются у всякого движения мысли. Поэтому и гносеологические различия в подходе к объективному миру существуют не только тогда, когда существуют классы». Другими словами, ошибки познавательной деятельности далеко не всегда имеют своим основанием классовый интерес и слепоту, а отражают противоречивую природу нашего процесса познания, который, понятно, не прекратится и в бесклассовом обществе. И хотя гносеологические заблуждения, ошибки познания, небезразличны в политическом отношении, ибо их в конечном счете «закрепляет» реакционный классовый интерес, весьма существенно это «в конечном счете», которое снимает тождество или автоматическую «подчиненность» одного другому. Именно опосредованность, не прямое выявление партийности в вопросах познания мира оказывается основой для множественности точек зрения в этих вопросах. Поскольку эти точки зрения здесь не выступают в виде четко выраженной классовой позиции, как то бывает в политических вопросах (и до тех пор, добавим, пока не выявится их объективный классовый смысл), то и сами разногласия между литераторами, публицистами, теоретиками в таких случаях надо рассматривать «не как выражение классовой борьбы, а как обычное столкновение мнений. Без этих столкновений ни наука, ни печать развиваться не могут».

Важность этого вывода для борьбы со всякого рода вульгаризаторством в оценке научных и иных явлений очевидна. Однако вызывает некоторое сомнение правомерность и точность авторского термина «гносеологическая партийность». Природа этого рода «партийности», особенно ежели рассматривать ее в бесклассовом обществе, не

совсем сопоставима с природой партийности общественно-политических воззрений.

Вызывает (именно в силу только что сказанного) некоторое недоумение и тезис: коммунистическая партийность — последний этап партийности вообще, однако и после победы коммунизма остается место для партийности гносеологической. Здесь явно есть логические неувязки. Думается, что более прав Г. Куницын в заключительной главе книги, когда он говорит о партийности философии в двух аспектах — политическом и гносеологическом.

Хотя работа Г. Куницына имеет своей главной целью исследование ленинского учения о партийности и связанной с ним проблемы свободы печати, она (работа) выходит за хронологические рамки деятельности Владимира Ильича. В книге показывается формирование взглядов на партийность печати у Маркса и Энгельса, их борьба за создание подлинно свободной — коммунистической прессы. Специальные главы посвящены претворению и развитию принципов партийности печати после смерти В. И. Ленина, показу истинного положения печати в современном буржуазном обществе. Такой подход к проблеме помогает уяснить живое движение, понятия партийности, реальный исторический процесс обогащения его содержания. В то же время отчетливее выступает незыблемость основных, провозглашенных еще Марксом и Энгельсом принципов коммунистической партийности: сознательная и открытая защита интересов рабочего класса, неукоснительное следование объективной истине. Еще неоспоримее обнаруживается правота марксизма-ленинизма, всегда подчеркивавшего, что капитализм может предложить лишь одну «свободу» — свободу «промысла» (Маркс), купли и продажи, перед которой неминуемо капитулируют все иные свободы.

Жаль только, скажем сразу, что автор монографии счел почему-то правильным из наследия Маркса и Энгельса привлечь к анализу лишь те произведения и письма, «о которых доподлинно известно, что Ленин с ними был знаком». Непонятно также, почему проблема партийности в послеоктябрьский период исследована только до 1936 года. Необходимость такого рода «самоограничений» сомнительна, а издержки очевидны.

Предложенный Г. Куницыным анализ

воззрений В. И. Ленина на природу общественного сознания убедительно показал центральное место, которое занимает в них категория партийности, ее подлинно фундаментальный характер. Автор книги решительно отвергает мнение, что ленинский принцип партийности литературы применим якобы лишь по отношению к работникам партийной печати в узком смысле этого слова, но не к деятелям художественной литературы и искусства. Г. Куницын четко показал диалектическую связь понятий партийности и свободы печати, свободы творчества. Он глубоко прав, когда пишет: «...вовсе не всякая партийность в литературе и печати противоречит свободе творчества...» Подлинная свобода творчества, доказывает автор, заключается лишь в таком отображении, познании, освещении действительности, которое соответствует правде жизни, истории, является истинным. А таково именно творчество в интересах коммунизма, противостоящее реакционной буржуазной партийности, искажающей правду жизни, выступающей против интересов народа. С позиций такого понимания существа творчества Г. Куницын рассматривает проблемы народности, двух культур, правомерно связывая достижения мировой литературы с защитой идеалов гуманизма и прогресса.

Интерес к этим аспектам вопроса о партийности в книге, посвященной в целом партийности и свободе печати, может на первый взгляд показаться излишним. Однако это не так. Печать, как уже было подчеркнуто, одна из важнейших сфер выражения идеологии, психологии, науки. И ясно поэтому, что проблему партийности и свободы печати нельзя понять без понимания специфики выражения классовости, специфики проявления партийности в различных областях духовной деятельности. И в этой конкретности исследования проблемы партийности и свободы печати, думается, одна из сильных сторон монографии Г. Куницына.

Как ясно даже из сказанного выше, работа Г. Куницына не бесспорна. Это, впрочем, исключает и громадность самой темы и новизна подхода к ней. Тем не менее следует пополнить «список» критических замечаний.

Учитывая и проблематику книги, и несомненный интерес автора к явлениям литературы и искусства, можно было ожидать более конкретного и обстоятельного раскрытия специфики проявления партийности и свободы творчества именно в этой сфере духовной деятельности. К сожалению, Г. Куницын ограничился здесь самыми общими положениями. К тому же некоторые из них грешат определенным схематизмом.

Так, на страницах 138—139 автор книги пишет: «Конкретно-чувственное реалистическое познание объективно связано с демократической традицией искусства — народностью». Здесь вызывают сомнение и отождествление реалистического познания с конкретно-чувственным познанием, и некоторое обеднение понятия народности. Требовала уточнения и развития, в общем-то, верная мысль о достижении подлинного величия культуры лишь при условии, «если тот класс, мысли и чувства которого она в данный момент выражала, способен был выполнять социально-прогрессивную роль». Тут возникает естественный вопрос: почему же культура эта сохраняет свою ценность и многие десятилетия и столетия после ухода когда-то прогрессивного класса с арены истории? Другими словами, несколько прямолинейно связаны культурные, художественные ценности с политическими. Не очень точен автор и тогда, когда на той же странице пишет, что Л. Толстой «отразил и силу, и слабость русской революции. Этим сочетанием прежде всего он и велик» (подчеркнуто мною.— В. Х.).

Перечень таких неточностей, известных повторов положений, некоторых других более или менее существенных промахов и недостатков (многие из них отмечены в уже опубликованных рецензиях) можно и продолжить. Но все это не может, на наш взгляд, зачеркнуть реальных достоинств книги, которая убедительно доказывает величие и значение коммунистической партийности. Книга служит воспитанию «цельной коммунистической личности», страстно и неутомимо борющейся за торжество идеалов социальной справедливости.

В. ХМАРА,

кандидат филологических наук.

МЫС ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ

Константин Коровин вспоминает... Составители книги, авторы вступительной статьи и комментариев И. С. Зильберштейн и В. А. Самнов. М. «Изобразительное искусство». 1971. 911 стр.

В детстве была у Коровина мечта — найти мыс Доброй Надежды. К отцу приходили разные люди, в их числе молодой художник Илларион Прянишников. Он опрокидывал в зале стол, покрывал его скатертью — устраивал мальчику корабль, фрегат «Палладу». Мальчик залезал под скатерть и плыл к мысу Доброй Надежды.

Вся его долгая жизнь, долгое творческое горение были поисками мыса Доброй Надежды. Искал он его не для себя — не только для себя, для всех. Чтобы всем было светло и радостно. Он сам рассказал нам об этом своем поиске в превосходной книге «Константин Коровин вспоминает...».

...Однажды в начале лета ученики Училища живописи, ваяния и зодчества Константин Коровин и Исаак Левитан были где-то под Москвой, наверно, на этюдах. И увидели цветущий шиповник. «...его цветы розовели праздником радости весны», — вспоминал спустя много лет Коровин. А тогда он сказал Левитану: «Смотри, шиповник, давай поклонимся ему, помолимся». Встали на колени, поклонились кусту, посмотрели друг на друга, рассмеялись...

В этом своеобразном варианте «клятвы на Воробьевых горах» раскрыто одно из самых важных начал, определивших впоследствии содержание эмоциональной творческой личности Константина Коровина — его восторженное преклонение перед красотой и богатством окружающего мира.

Сам он так определял сущность своего творчества: «Красота и радость жизни. Передача этой радости и есть суть картины, куски моего холста, моего я... Это я, это мое пение за жизнь, за радость, — это язычество...»

По словам одного из его учеников, ныне покойного С. Герасимова, Коровин обладал «особым внутренним строем» — видел «ту же жизнь, что и другие, но видел ее удивительно богато».

И случилось так, что в сочетании с кажущейся легкостью, с которой будто бы Коровин работал, со всегдашней его веселостью, склонностью к шутке, розыгрышу его «язычество», его «особый внутренний строй» породили легенду о нем как о баловне судьбы, которому все дается легко и просто.

«Легко и жизнерадостно проходил Костя школьный, потом житейский путь свой, — пишет в своих воспоминаниях Нестеров. — Везло Косте, и он, беззаботно порхая, срывал «цветы удовольствия».

«Моцартом живописи» назвал Коровина Б. Иогансон, два года занимавшийся в его классе...

И вот еще один эпизод — из той же книги и тоже рассказанный самим Коровиным.

В опере «Лакме», шедшей с его декорациями в «Частной опере» С. Мамонтова, на сцену поставили голубой, с красными ножками столик. Коровин увидел столик, огорчился: «Откуда взялся этот столик? Он не в тон...» Ему объяснили: это настоящий индийский столик. Его привез и посоветовал поставить на сцену искусствовед А. Прахов, друг Мамонтова. «Ужасно», — ответил Коровин. «Я так огорчился, что почувствовал себя несчастным и уехал домой», — рассказывает он.

Свобода творческого поиска, неустанный труд, строгая требовательность прежде всего к самому себе — вот те пути, которыми Коровин шел к правде в искусстве. Никакого «порхания», никакого «баловства». «Надо, чтобы знание и большой труд, ранее созданный, лежал там, позади творчества», — говорил он. И еще: «Реализм в живописи имеет нескончаемые глубины, но пусть не думают, что протокол есть художественное произведение».

И не случайно тот же С. Герасимов считал Коровина одним из самых «серьезных художников, несмотря на то, что внешне у него был такой легкий характер»...

Оценки Коровина как художника были противоречивы. Случалось, называли его импрессионистом, или декадентом, или даже натуралистом. «У меня нет направления и нет моды, — говорил он о себе сам, — нет ни импрессионизма, ни кубизма, никакого изма». И все-таки какой-то «изм» у него был. И даже весьма существенный: он ополчался на тенденциозность, на «умничание» в живописи, как он говорил. Отсюда его выпады против идейной живописи передвижников, отсюда и утверждение, что главная и единственная его цель в искусстве — «эстетическое воздействие на зрителя, очарование красками и формой».

Никогда никому никакого поучения, никогда никакой тенденции... Художник дарит зрителя только прекрасным... Но ведь это тоже своего рода «тенденция», и правы составители книги, говоря, что «такое узкое понимание задач искусства свидетельствует об идейной ограниченности художника». Эта ограниченность, естественно, не могла не отразиться в какой-то мере и на творчестве Коровина, затронув некоторые его работы последних лет.

Шаткость, слабость своей идейной позиции, по-видимому, Коровин понимал. Во всяком случае, у него было достаточно отчетливое представление о роли художника в обществе: «Я художник, вся зависимость моя есть от общества». И — очень важное для его противоречивой природы признание: «Если бы я знал, что буду признан и нужен стране своей, то, конечно, я не имел бы целого отдела в душе горя».

Ныне он признан, он нужен. Мы любим его полотнами в Третьяковской галерее и в Русском музее. Но так ли давно решили мы отнести Коровина к «блестящей плеяде выдающихся деятелей русского изобразительного искусства на рубеже XIX—XX веков», как сказано о нем в предисловии к рецензируемой книге? Народный художник СССР Б. Иогансон имел все основания писать в 1963 году: «Если творчество таких великанов русской живописи, как Суриков, Репин, Серов, Левитан, прочно вошло в золотой фонд истории русского искусства и нашло всестороннюю разработку в искусствовании, творчество К. Коровина — не будем скрывать этого — не получило достаточного освещения в нашей специальной литературе».

С той поры многое изменилось. Во-первых, вышла книга «Константин Коровин. Жизнь и творчество», которой и предпосланы приведенные выше слова Б. Иогансона. Вслед за ней, в 1964 году, появилась монография Д. Коган «Константин Коровин», и в 1969 году книга Р. И. Власовой о нем. Недавно издан альбом репродукций картин художника. Не будет, однако, преувеличением сказать, что именно книга «Константин Коровин вспоминает...» по-настоящему глубоко и всесторонне раскрыла сложный и привлекательный образ художника. И произошло такое потому, что в этой книге мы все узнаем, так сказать, «из первых рук» — от самого Коровина. Следует с благодарностью отметить заслугу И. С. Зильберштейна и В. А. Самкова, проделавших

огромную работу, чтобы дать нам возможность услышать живой голос художника.

Это не только увлекательная, но и очень емкая книга, с богатейшим познавательным материалом. Это и летопись жизни искусства, и пантеон славы замечательных деятелей русской культуры, таких, как Чехов, Горький, Репин, Поленов, Серов, Врубель, Левитан, Шаляпин, — пантеон, в котором они предстают не в мраморе и бронзе, но как бы из плоти и крови.

И вот что еще хотелось бы отметить: теперь мы можем понять и оценить Коровина с совершенно новой стороны: писатель Константин Коровин — это открытие!

Его друзья, в том числе Чехов, отмечали способности художника как рассказчика. Но мало кто подозревал в нем талант подлинного и своеобразного писателя. Шаляпин говорил: «Знаешь, Константин, я удивляюсь, как это ты пишешь. Черт тебя знает, кто ты такой? Откуда это взялось?»

Откуда взялось? Оттуда же, откуда и живописное мастерство: из нескудеющей сокровищницы богатой и щедрой души. Нужен был только повод — и такой повод нашелся. Правда, довольно поздно. Как пишут составители книги, Коровин, очутившись в первые годы революции в глухой деревне, стал вспоминать о прошлом, о близких ему людях, так родился целый цикл мемуарных очерков... И потом, когда он оказался за границей, «любовь к России, тоска по ней и привели Коровина за рубежом к занятиям литературным трудом».

Он сам так рассказал о начале своего писательского пути, отвечая на анкету «Иллюстрированной России» (Париж, 1934): «Был я болен, живописью заниматься не мог, лежал в постели. И стал писать пером — рассказы. Закрывая глаза, я видел Россию, ее дивную природу, людей русских, любимых мною друзей...»

«Так, в 1929 году, — пишут в предисловии И. С. Зильберштейн и В. А. Самков, — появился новый талантливый русский писатель Константин Алексеевич Коровин. Ему было тогда 68 лет».

Теперь, когда благодаря книге «Константин Коровин вспоминает...» мы с этим писателем познакомились, возникают вопросы, касающиеся всегда волнующе интересной области психологии творчества: что значительнее, что важнее в Коровине — живопись или литература? Или то и дру-

го было равнозначным выражением одавленной творческой личности?

Вот примеры, подтверждающие, на мой взгляд, правомерность постановки такого рода вопросов.

Всем известно находящееся в Третьяковской галерее коровинское полотно под названием «У балкона. Испанки Леонора и Ампара». Этим полотном молодой художник сразу обратил на себя внимание.

И вот я читаю его рассказ об Испании, в которой Коровин побывал в молодости. Я узнаю о том, как, очутившись в чужой стране и не зная ее языка, он ночует в подвале какого-то старинного, огромного, таинственного здания, как той же ночью в таверне девушки в черных корсажах, с высокими гребнями и розами в волосах угощают его хмельной «мазанилей», как утром по дороге в Валенсию он видит из окна вагона голубое море, сады, осыпанные, словно бисером, мандаринами. «Была какая-то особая радость в блистании утренней природы и в смуглых красивых лицах народа»... Швейцар гостиницы, где он жил потом, привел по его просьбе «испанскую модель» — двух милых, смущающихся девушек. Он стал писать их. Девушки ни за что не хотели брать у него деньги. Но у Леоноры оказались худые, в заплатках башмаки, и тогда все трое — художник и его «модели», — взявшись под руки, отправились на рынок покупать Леоноре новые, щегольские туфли. И когда он уезжал, девушки тоже не взяли деньги. Он подарил ни за что не хотевшие китайские платки в узорах, с длинной бахромой». Девушки «с восторгом надели их на себя, смотрелись в зеркало, ловко себя закрывали и танцевали, стуча каблуками». И концовка: «Мог ли я думать — это было так давно, — что доживу до того времени, когда каждый день буду читать об ужасе и горе прекрасного, доброго народа...» Воспоминания об Испании Коровин написал в конце 1936 года, когда испанский народ мужественно сражался за свою свободу...

Прочитав эти воспоминания (хочется сказать — «новеллу об Испании»), я, честно говоря, не знаю, что теперь для меня важнее и дороже в Коровине — его «испанская» картина или его новелла об Испании. А вернее всего так: картина стала мне ближе и милее, после того как я прочитал рассказ об Испании, а рассказ об Испании я понял лучше, глядя на картину.

Вот еще пример: возьмем один из напи-

санных Коровиным портретов Шаляпина (1911), тот, что находится в Ленинграде в Русском музее. Радость, торжество, пиршество жизни воплощены художником в образе красивого человека в светлом костюме, сидящего закинув ногу за ногу.

А теперь передо мной коровинские воспоминания, очерки и рассказы о Шаляпине, собранные в книге под названием «Шаляпин. Встречи и совместная жизнь».

«Я хотел только рассказать о моих встречах с Ф. И. Шаляпиным в течение многих лет, — пишет Коровин, — воссоздать его живой образ таким, каким он являлся мне...»

Сделал он это превосходно — не только как мемуарист, но и как писатель, сумевший заглянуть в глубины души человека и с беспощадной правдивостью раскрыть ее трагедию... И снова не знаешь, прочитав написанное Коровиным о Шаляпине, что нужнее, что важнее — коровинский портрет Шаляпина или то, что он рассказал о нем как писатель.

И точно так же думаешь, любуясь его чудесными пейзажами и читая его «Очерки о путешествиях» по Крайнему Северу, Кавказу, Крыму, Гималаям, Испании, Италии. Даже если прийти к заключению, что литература как бы «дополняет» живопись, нельзя не признать, что художественный уровень литературных произведений Коровина столь же высок, как и его живописное мастерство.

В разделе книги, в котором собраны собственно рассказы — в большинстве случаев тоже из жизни художника, — есть вещи, справедливо отмеченные составителями книги как идеализирующие старую жизнь, они, кстати сказать, и не лучшие по своим художественным достоинствам. Есть просто любопытные рассказы, особенно о старой Москве и москвичах, о животных. Есть превосходные описания природы, выполненные с тем самым «чувством», которому Коровина учил его любимый учитель А. Саврасов. И есть рассказы очень большой силы, чеховской, бунинской силы, посвященные деревне, такие, как «Дом честной», «Семен-каторжник».

Перечислять все, что составляет содержание этого большого тома, нет смысла, пересказать — невозможно. Нужно все читать, читать, радуясь тому, что в русской литературе есть писатель Константин Коровин.

Борис ЕВГЕНЬЕВ.



Политика и наука

АНАЛИЗ ВЕЛИКОГО НАСЛЕДИЯ

Б. М. Кедров. Из лаборатории ленинской мысли. М. «Мысль». 1972. 358 стр.

Работа академика Б. Кедрова — не беспристрастный комментарий ленинского произведения. Это глубокое научное исследование выдающегося советского ученого, проникнутое горячим желанием донести мысли В. И. Ленина до читателя. Книга призвана помочь разобраться в характере тех записей, которые делал Ленин в ходе работы над философскими источниками.

Непреходящая ценность «Философских тетрадей» заключается в движении ленинской мысли. Задача исследователя и состоит в том, чтобы проследить, как постепенно выкристаллизовывалась та или иная мысль Ленина, как она воплощалась в чеканные формулировки, служащие исходными принципами для многих марксистских исследований по философии до настоящего времени. Именно такую задачу поставил перед собой академик Б. Кедров.

Эта книга не первая попытка ученого раскрыть смысл ленинских идей, заключенных в «Философских тетрадях». Известны многие работы Б. Кедрова по этому вопросу. «Из лаборатории ленинской мысли» — своеобразный итог многолетнего труда над великим ленинским наследием.

Главный принцип, которым руководствуется автор, — разбирать идеи в их развитии, ни на минуту не забывая о незаконченности ленинских записей, ставить мысли Ленина в контекст исторических событий, сравнивать с другими ленинскими произведениями и т. д.

Автор классифицирует и анализирует записи. Он выделяет стадии движения ленинской мысли: во-первых, положения философов, выписанные в тексте конспектов; во-вторых, оценки, которые Ленин дает этим положениям; в-третьих, переработка Лениным этих положений на основе материализма; и в-четвертых, оригинальные формулировки самого Ленина.

Такая классификация очень важна, ибо неразборчивое отношение к ленинским записям приводит к тому, что Ленину ошибочно приписывают мысли, ему не принадлежащие. Такая судьба, например, постигла запись: «Сознание человека не только отражает объективный мир, но и творит

его». Кому принадлежит эта запись, ставшая столь широко известной советскому читателю благодаря частому использованию ее в работах многих советских философов?

Автор выдвигает гипотезу о том, что эту запись ни в коем случае нельзя выдавать за мысль самого Ленина. Он скрупулезно сравнивает ее с другими записями в тексте «Тетрадей», подчеркивая те места, где Ленин высказывает негативное отношение к мысли о том, что сознание творит мир. Выписывая высказывание Гегеля о том, что «в логике идея «становится творцом природы»...», на полях против этой выписки Ленин ставит: «!! Ха-ха!» Данная запись, по мысли автора, есть просто один из этапов переработки Гегеля — для того, чтобы показать точку зрения Гегеля, надо было сформулировать ее не туманным гегелевским стилем, а языком общедоступным. Следовательно, нет никаких оснований эту мысль приписывать к числу мыслей, принадлежащих Ленину.

Справедливости ради следует заметить, что советские философы, широко использовавшие это положение, никогда не трактовали его буквально, а видели в нем лишь указание на активную природу человеческого сознания. Именно такую интерпретацию дает и Б. Кедров. «Мир творит, таким образом, не сознание, а человек, обладающий сознанием, т. е. человек, составивший себе «объективную картину мира» и своими практическими действиями изменяющий мир. Значит, хотя сознание само и не творит мир, но оно активно участвует через практическую деятельность человека в его творении».

Анализ этой записи служит автору поводом для очень важного заключения, имеющего общеметодологическое значение: «Диалектика в прямую противоположность эклектике требует брать каждое положение, каждую формулу не изолированно от всего остального, а во всех ее связях и опосредствованиях... И вообще — способ выхватывания отдельных фраз (цитат) и вырывания их из контекста ни к чему хорошему привести не может, а только к недоразумениям, к грубым ошибкам и смешным ляпсусам». К

этому вопросу автор возвращается много раз, с горечью констатируя, как некоторые философы в споре со своими оппонентами выхватывают отдельные фразы из их произведений и навешивают различного рода ярлыки. «Особенно ценна у Ленина способность все время мысленно держать перед глазами все мироощущение автора в целом, иметь это в виду при обнаружении в тексте его сочинения отдельных правильных или неправильных, «хороших», удачных или «плохих», слабых мест. Эта удивительная способность Ленина дает ему возможность весьма точно и досконально вычленять в прочитанном материале, буквально на каждой его странице, ценное (α) и ошибочное (β), отделяя истинное от шелухи и мусора».

В книге тщательно прокомментированы конспекты В. И. Ленина произведений К. Маркса и Ф. Энгельса «Святое семейство», Л. Фейербаха, ленинские высказывания о трудах И. Дидгена, А. М. Деборина, Г. В. Плеханова и других. Однако в центре внимания автора конспект В. И. Ленина «Логики» Гегеля. В общем, это та часть «Философских тетрадей», где наиболее выпукло представлены проблемы диалектики, логики и теории познания и которая является объектом особого внимания советских философов. Это та часть конспектов, где наиболее обильно представлены собственные мысли В. И. Ленина.

Прежде всего выделяется метод чтения Лениным философских произведений Гегеля. «Я вообще стараюсь читать Гегеля материалистически: Гегель есть поставленный на голову материализм (по Энгельсу) — т. е. я выкидываю большей частью боженьку, абсолют, чистую идею etc» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 29, стр. 93).

Это методическое указание положено в основу анализа ленинских конспектов «Логики» Гегеля, что позволяет поэтапно проследить процесс ленинского осмысления Гегеля, внутреннюю динамику ленинской мысли. В книге выделяется три этапа такой переработки: а) и с х о д н а я фаза — запись гегелевских текстов и мыслей; б) п р о м е ж у т о ч н а я фаза — критические замечания Ленина; и в) з а в е р ш а ю щ а я фаза — собственные мысли Ленина.

Выделение этапов переработки мыслей Гегеля позволяет довольно точно зафиксировать все те проблемы, которые заинтересовали Ленина и которые получили дальнейшее развитие.

Б. Кедров поставил в центре внимания (что соответствует действительному содержанию ленинских конспектов «Логики» Гегеля) проблемы диалектики понятий, диалектической логики.

Надо сказать, проблемы диалектической логики в настоящее время весьма актуальны. Обсуждение вопросов о принципах образования понятий, их динамики, природы, роли в развитии современной науки и т. д. приобретает нередко острый характер. Обращение к текстам ленинских работ, особенно к «Философским тетрадям», служит тем ориентиром, который помогает решать эти проблемы. Поэтому выделение и анализ ленинских идей имеет исключительно важное значение.

Мимо внимания автора не проходит ни одна значительная идея Ленина по диалектической логике. В числе их проблема развития познания, природы, форм мышления, диалектики общего и единичного, универсальной гибкости понятий, единства (тождества) диалектики, логики и теории познания и т. д. Объектом особого внимания служат положения Ленина о противоречии. Ленин подчеркивает слова Гегеля о том, что противоречие есть «к о р е н ь в с я к о г о д в и ж е н и я и ж и з н е н н о с т и», оно есть «п р и н ц и п в с я к о г о с а м о д в и ж е н и я» и т. д., подводит итог высказываний Гегеля. Вся эта работа в дальнейшем получает завершение в знаменитом ленинском тезисе о том, что противоречие есть суть, ядро диалектики. Причем речь идет и о противоречии «в самой сущности вещей», и в мышлении. Особое внимание Ленин обращает на диалектику понятий. Это обстоятельство дает повод Б. Кедрову вспомнить о том времени, когда некоторые люди от имени марксизма всякую попытку анализировать понятия объявляли идеализмом и гегельянщиной и требовали анализировать только процессы объективного мира. Их, кажется, не смущало то обстоятельство, что Ленин в «Философских тетрадях» обратил особое внимание именно на диалектику понятий. Такое «философствование» автор называет «вульгарным материализмом», но эта формулировка представляется все же излишне мягкой. Ведь отказ от анализа понятий возрождает старую натурфилософскую традицию, сводящую философию к чистой онтологии, к растворению философии в естественнонаучной проблематике и в конце концов к позитивистской ликвидации философии.

Если же мы обратимся к основным философским трудам Ленина — «Материализм и эмпириокритицизм» и «Философские тетради», то увидим, что в центре философии Ленин ставит проблемы гносеологии и диалектической логики. При этом Ленин везде настойчиво подчеркивает: «Диалектика в сущности создает диалектику идей, а не наоборот» (ПСС, т. 29, стр. 178) — или: «Логика есть учение не о внешних формах мышления, а о законах развития «всех материальных, природных и духовных вещей», т. е. развития всего конкретного содержания мира и познания его, т. е. итог, сумма, вывод истории познания мира» (ПСС, т. 29, стр. 84). Из этих высказываний видно, что Ленин не отделял онтологию от гносеологии. Он брал их в единстве. Отсюда легко понять знаменитый тезис Ленина о единстве (тождестве) диалектики, логики и теории познания. Но задача философского подхода к категориям, по-видимому, не ограничивается констатированием первичности «диалектики вещей» по отношению к «диалектике идей». Основной вопрос философии, как известно, включает в себя другую сторону — познание диалектики вещей. Сторонники «чистой» онтологии считали, что «диалектику вещей» можно познавать непосредственно, игнорируя «диалектику идей». Но познание, игнорирующее диалектику идей, неизбежно кладет в свою основу гносеологическую систему, отличную от диалектики идей. И потому «чистая» онтология есть чистая иллюзия. Она всегда сочетается и опирается на определенную гносеологию. Все дело в том, какая это гносеология. В этом свете очень важное значение имеет запись Ленина: «Нельзя понять вне процесса понимания (познания, конкретного изучения etc)» (ПСС, т. 29, стр. 187). Следовательно, диалектико-материалистический философский подход к явлениям объективного мира или познания должен исходить из единства онтологического и гносеологического, то есть из единства диалектики, логики и теории познания. Такой вывод неизбежно следует из чтения «Философских тетрадей» В. И. Ленина.

Б. Кедров не ограничился комментарием выписок В. И. Ленина. Он выделил в специальные разделы особо важные мысли В. И. Ленина. Так, десятый очерк посвящен «Элементом диалектики». Вначале эти элементы формулируются Лениным в процессе размышления над высказываниями Гегеля, затем отливаются во вполне самостоятель-

ные мысли. Автор, верный принятому методу, разбивает движение ленинской мысли на этапы. Ленина, разумеется, не устраивала простая расшифровка гегелевского текста. Постепенно, шаг за шагом прослеживая движение ленинской мысли, мы видим, как вырисовываются контуры грандиозных замыслов по созданию диалектико-материалистической логики.

Читая книгу Ж. Нозля «Логика Гегеля», этого «мелкого» идеалиста и «ополчителя Гегеля», Ленин составляет «План диалектики (логики) Гегеля». Тщательно выписав структуру книги Гегеля «Логика», Ленин приходит к выводам обобщающего характера: «Понятие (познание) в бытии (в непосредственных явлениях) открывает сущность (закон причины, тождества, различия etc) — таков действительно общий ход всего человеческого познания (всей науки) вообще» (ПСС, т. 29, стр. 298); «Диалектика Гегеля есть... обобщение истории мысли», «В логике история мысли должна, в общем и целом, совпадать с законами мышления» (там же).

И здесь Б. Кедров выдвигает интересную гипотезу. Ленин составлял план «Логики» Гегеля, так как намеревался взяться за создание фундаментального труда по диалектике. Каких-либо документальных свидетельств об этом намерении Ленина нет. Но сам характер записей Ленина, весь дух «Философских тетрадей», этапы ленинского творчества подводят читателя именно к этой мысли и делают гипотезу весьма правдоподобной. Действительно, Ленин не ограничился комментариями плана «Логики» Гегеля. Он определяет контуры плана материалистической диалектики. Конечно, речь не идет о тщательно разработанном плане или даже структуре труда по диалектике. Скорее можно говорить об основных исходных принципах построения работы. Автор тщательно выписывает эти принципы: принцип единства логики, диалектики и теории познания, принцип единства исторического и логического (здесь Ленин обращается к «Капиталу» Маркса как к блестящему образцу применения диалектической логики), подход к категориям как к ступеням познания и т. д.

Раскрывая положения плана диалектики Ленина, Б. Кедров выделяет такие его элементы: а) диалектика должна строиться на материале всей истории философии и б) выводить диалектику из истории наук.

Эти мысли резюмированы Лениным в наброске:

kurz¹, история познания вообще

вся область знания

(ПСС, т. 29, стр. 314).

Выписывая элементы ленинского плана диалектики, автор приводит весьма важное высказывание: «Продолжение дела Гегеля и Маркса должно состоять в *д и а л е к т и ч е с к о й* обработке истории человеческой мысли, науки и техники» (ПСС, т. 29, стр. 131). В этом высказывании одно только слово «техника» само по себе имеет принципиальное значение. Оно говорит о том, что Ленин не рассматривал диалектический материализм лишь как экстракт историко-философского и научного знания. Из этого добавления следует, что философия — порождение всей культуры, в философских категориях резюмируется не только опыт познания и предшествующих поколений философов и ученых, но и опыт практического освоения мира, воплощенный в технике. Иначе говоря, философские категории не просто ступени познания, а ступки социального опыта в самом широком понимании этого слова (опыта по практическому и теоретическому освоению мира). Поэтому опора на категории диалектики в процессе познания есть опора на совокупный опыт людей по освоению объективной действительности, в том числе на опыт пролетариата по революционному преобразованию мира.

Ленин не смог реализовать свой план — создать обобщающий труд по диалектике.

Но исходные принципы, которые должны были лечь в основу такого труда, служат своеобразной программой работы советских философов по дальнейшему развитию материалистической диалектики. И то, что автор сосредоточил свое внимание на ленинских планах, будет иметь большой научный резонанс.

Б. Кедров считает, что Ленин не только составлял план диалектики, но и непосредственно приступил к его выполнению, иллюстрируя эту гипотезу знаменитым фрагментом «К вопросу о диалектике». Действительно, в этом фрагменте дается вполне позитивное изложение основополагающих принципов материалистической диалектики: две концепции развития — диалектическая и метафизическая, принцип восхождения от абстрактного к конкретному, диалектика общего и отдельного, движение мысли по закону отрицания отрицания (по спирали), гносеологические корни идеализма.

Однако представляется, что эти положения еще не есть изложение диалектики, но лишь наброски некоторых важнейших проблем, которые должны быть положены в основу будущего обобщающего труда.

Читая книгу Б. Кедрова «Из лаборатории ленинской мысли», поражаешься той скрупулезности и максимальной добросовестности, с которой автор выписывает и комментирует ленинские тетради. Вся книга проникнута духом бережного отношения к великому идейному наследию Ленина.

В. ГОЛОВАНОВ,

профессор, доктор философских наук
Ростов-на-Дону.

★

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ

А. П. Новосельцев, В. Т. Пашуто, Л. В. Черепнин. Пути развития феодализма. М. «Наука». 1972. 337 стр.

Авторы книги «Пути развития феодализма» А. П. Новосельцев, В. Т. Пашуто и Л. В. Черепнин поставили перед собой задачу рассмотреть процесс зарождения и развития (на ранней стадии) феодализма в четырех крупных историко-географических районах нашей страны — в Закавказье, Средней Азии, собственно на территории Древней Руси и в Прибалтике, выяснить общие закономерности и местные, своеобразные особенности этого процесса.

¹ Кратко.

Основное, что характеризует феодализм, это, как известно, установление привилегированной собственности на землю, возникновение земельной зависимости крестьян. Именно эти феодальные отношения и находились в центре внимания авторов книги. Процесс феодализации изучался ими от его зарождения (в Закавказье и Средней Азии раньше, чем на Руси, а в некоторых прибалтийских странах позже, чем в ряде русских земель) и до того рубежа, когда феодализм переходит уже в развитую стадию: XIV век для Прибалтики (начало за-

ката Великого княжества Литовского), XV—XVI века для Руси (время образования централизованного Русского государства), XVIII век для Закавказья и Средней Азии (канун присоединения к России).

Оригинален и необычен метод авторов. Они исследуют материал разных стран из разных исторических эпох, но сопоставляют между собою лишь близкие друг другу стадии общественного развития (проводят так называемые синхростадиальные сравнения).

На конкретных исторических примерах авторы показали, что, при всем своеобразии зарождения феодализма в четырех регионах, можно выделить общие закономерности этого процесса: складывание государственной собственности на землю, возникновение частной собственности в результате разложения общинного землевладения и передачи государством крестьянских общинных земель отдельным представителям господствующего класса во временное владение на вотчинном праве. Много общих моментов отмечают авторы и в процессе формирования феодально зависимого крестьянства в Закавказье и на Руси, в Средней Азии и в Прибалтике.

Но авторы не подгоняют под одну схему все многообразие исторического процесса, а стараются подчеркнуть те особые специфические местные условия, в которых проявлялись общие закономерности процесса феодализации и своеобразные формы их проявления. Авторы показывают, какую большую роль играло при этом соотношение государственной и частной собственности, вотчинного землевладения и условных земельных держаний, лично свободного и закрепощенного крестьянства. Перемещения населения, иноземные вторжения и завоевания, наконец, роль города и товарного производства (этот вопрос, правда, затронут в книге лишь частично, бегло, попутно) — все оказывало свое влияние на характер феодального строя, на самый процесс становления классового строя.

Даже этот беглый и неполный перечень освещаемых в книге вопросов свидетельствует, что рецензируемый труд сложен и по проблематике и по изложению. Чтение такой книги требует напряженной работы мысли, известной специальной подготовки. Но время и силы, затраченные на это, с лихвой окупаются теми новыми идеями, которые возникают у читателя после прочтения работы.

В последнее время историки и философы

все чаще и чаще говорят о важности типологии и моделирования общественно-политических структур. Этот вопрос не случайно оказался в центре внимания последних международных конгрессов по экономической и политической истории.

Если подходить с этой меркой к рецензируемой книге, то следует отметить, что авторы вносят много нового в понимание исторической типизации общественно-политического развития некоторых народов нашей страны на раннем этапе истории феодализма. Сам выбор объектов типологии и синхростадиальный отбор источников — новое слово в науке. При этом важно подчеркнуть, что типология для авторов не самоцель, а средство более глубокого познания аграрного строя, всего феодального общественного строя как формации.

Рецензируемый труд предлагает практический опыт синтетического рассмотрения зарождения и упрочения различных типов феодализма на обширных пространствах Евразии.

Конечно, не все в равной степени удалось авторам. Одни разделы книги написаны детальнее и подробнее, другие суше и схематичнее. Во многом это зависело от состояния первоисточников, с разной степенью полноты освещающих те или иные проблемы. Кое-где источниковедческий анализ терминов, важный и необходимый сам по себе, начинает заменять собственно теоретические изыскания. Хотя, как свидетельствует кавказский материал, социальная терминология позволяет подчас увидеть незрелые формы феодализма там, где многие находили примеры классического рабства.

Нельзя не сказать и о том, что содержание книги уже ее названия. Отказавшись от традиционного сопоставления и анализа форм общественного синтеза — прежде всего романо-германских — и обратившись к анализу балто-славянских, белорусско-литовских, немецко-прибалтийских и других связей, авторы не сравнивают изучаемые ими типы феодальных отношений с известными науке формами некоторых стран Европы и Азии. На очереди стоит создание подобных же исследований, построенных желательнее по той же (или уточненной структуре), но посвященных другим регионам — сопредельных с Русским государством территорий. Подобное изучение даст возможность раскрыть те своеобразные черты, которые отличали одно государство

от другого, и то общее, что было присуще всем народам, творившим и творящим историю Земли. Надо надеяться, что будет создана книга, раскрывающая «пути развития феодализма», пути движения, распространения феодального строя на нашей планете.

Задача настоящей рецензии — не пропаганда книги: она уже нашла своего читателя, и небольшой ее тираж (2800 экз.) отнюдь не отражает насущной потребности в работах подобного рода. Эта книга будет с интересом прочитана любым историком, философом, социологом, потому что она представляет собою обобщение новейших достижений советской исторической науки и одновременно с этим дает мощный стимул для создания подобного исследования в других областях, иных регионах.

В книге достаточно спорного, возможно, не все с ней согласятся. К примеру, допустимы иные пути рассмотрения интереснейшей проблемы истории многоэтнических государств, проблемы, актуальной и в наши дни. Такие государства тоже продукт общественного синтеза. И в книге ставится проблема об их месте в истории Европы, о причинах их жизнестойкости. Один из авторов книги, В. Т. Пашуто, пишет: «...вопрос стоит так: почему в России укрепление

крепостничества сопрягается с усилением централизации, в Ордене — с ее упадком, в Литве — с попытками сохранить ее посредством унии с Польшей. Не в том ли причина, что в России она служила делу национальной консолидации, в Ордене — национальному угнетению, в Литовском великом княжестве — тому и другому?» Автором дан один из вариантов решения этой проблемы, но сама постановка ее уже предполагает споры.

И, наконец, последнее. Рецензируемая работа направлена против наших идейных противников, идеологов антикоммунизма, пытающихся противопоставить России Западу (или Европе) для того, чтобы подорвать единство международного коммунистического движения, единство стран социалистического содружества, дружбу народов СССР. Не абстрактное противопоставление, а сравнительно-историческое изучение сходных общественных явлений — вот требование жизни, вот насущная, настоятельная задача историков разных стран, школ и направлений. Именно этой благородной задаче сближения народов и наций и служит новаторская по замыслу и оригинальная по исполнению книга.

Л. ПУШКАРЕВ,
доктор исторических наук.



МОНОГРАФИЯ О ТАНКАХ

П. А. Ротмистров. *Время и танки.* М. Воениздат. 1972. 336 стр.

Обобщение и осмысление боевого опыта Великой Отечественной войны является актуальной задачей военных и исторических наук, нравственной потребностью нашего общества. Знать прошлое необходимо во имя настоящего и будущего. Без четкого представления, в результате каких духовных и материальных слагаемых была достигнута наша историческая победа над гитлеровской Германией, нельзя плодотворно вести патриотическое воспитание новых поколений советских людей, успешно строить наши Вооруженные Силы, крепить оборонную мощь страны.

Отрадно отметить, что за последние годы наряду с мемуарами видных советских военачальников, вожяков партизанского движения, организаторов подпольной борьбы против немецко-фашистских захватчиков, труженников тыла, в которых запечатлены личный опыт, личные восприятия событий ми-

нувшей войны, появилось и немало ценных научных исследований. Они посвящены анализу крупных битв и сражений, различным проблемам стратегии, оперативного искусства тактики Советской Армии.

Книга Главного маршала бронетанковых войск Павла Алексеевича Ротмистрова выделяется в этом ряду глобальностью взятой автором темы, фундаментальностью научного опосредствования огромного фактического материала, оригинальностью взглядов и суждений, глубиной выводов и обобщений. Это капитальный труд о танках, подлинная энциклопедия танкистских знаний.

Автор излагает историю возникновения, становления и развития советских бронетанковых сил. Причем он подчеркивает, что их появление было обусловлено исторической закономерностью, потребностями маневренной войны, в которой решающая роль отводится мобильным, подвижным войскам. Учи-

тывая это, Коммунистическая партия, Советское правительство принимали действенные меры для механизации и моторизации армии. В короткие сроки были построены моторные и танковые заводы, созданы оригинальные образцы танковой техники и танкового оружия. На страницах книги приводится много фактов приоритета русских и советских конструкторов в создании боевых машин, неизвестных широкому читателю. С любовью и уважением называет автор имена тех, кто закладывал основы нашей танковой мощи.

С особым интересом читаются страницы книги, где прослеживается развитие советской военной теории о применении танков в бою. Они написаны с блеском и полемическим запалом, который, однако, не мешает автору оставаться на объективно-научных позициях. Советское военное искусство, отмечается в книге, базируясь на незыблемых основах марксизма-ленинизма, сумело избежать тех пагубных крайностей, что были присущи военным доктринам Запада об использовании танков в будущей войне. Советская военно-научная мысль, указывает автор, отводя танкам роль ударной силы в маневренной войне, в то же время считала, что как бы ни были самостоятельны и сильны танковые соединения и объединения, они всегда будут нуждаться в поддержке и помощи других родов войск. Наша военная доктрина исходила и исходит из того, что победа в войне может быть достигнута только совместными усилиями всех родов войск и видов наших Вооруженных Сил. В этом содружестве родов войск и видов Вооруженных Сил всегда, конечно, будут выделяться те, которые в результате развития науки и техники достигли наивысшей боевой мощности и способны нанести главный удар. Таковыми в наше время являются ракетные войска стратегического назначения, основа боевой мощи Советских Вооруженных Сил.

На примере новаторского решения многих сложных проблем организации танковых войск, и в частности массированного использования их в маневренной войне, в монографии показано превосходство советского военного искусства над военным искусством буржуазных армий.

Разбору и критике взглядов буржуазных военных теоретиков на роль танков в боевых действиях войск в прошлом и будущем в книге отведено немало места. Автор убедительно доказывает, что **научная несостоя-**

тельность буржуазных идеологов войны predetermined самой хищной природой империализма, который идет на различные авантюры во имя достижения своих захватнических, антинародных целей. Поэтому и в буржуазной военной науке процветают авантюризм и прожектерство, прикрываемые различными модными модернистскими военными концепциями.

В монографии подробно рассматриваются оперативно-тактические принципы боевого применения танков. Причем это делается на основе научного анализа тех операций, непосредственным участником которых был сам автор. В их числе первые приграничные сражения, битва под Москвой, Сталинградская битва, Курская, Кировоградская и Корсунь-Шевченковская операции, освобождение Правобережной Украины, Яско-Кишиневская операция, Висло-Одерская операция и, наконец, штурм Берлина, то есть главнейшие сражения Великой Отечественной войны. Во всех этих выдающихся операциях танковые войска, особенно танковые армии, были той силой, которая обеспечивала успех, победу.

Особенно подробно автор останавливается на анализе сражения на Курской дуге. Наша победа в Курской битве окончательно вырвала стратегическую инициативу из рук гитлеровского командования. И сделано это было путем массированного использования танков в этом историческом сражении. Автор прав, когда пишет, что «Курская битва открыла новую эпоху в развитии танковых войск Красной Армии... Наступательные операции, начавшиеся после оборонительного сражения под Курском, а впоследствии и стратегические наступательные операции группы фронтов проводились при огромном массировании танковых войск на решающих направлениях. Этого требовала маневренная война».

В рецензируемом труде, труде сугубо научном, где много говорится о военной технике, ее влиянии на методы боя, автор не упускает из своего вида людей, творцов победы. Он показывает воинскую доблесть, отвагу танковых экипажей, командиров танковых взводов, рот, батальонов, бригад, которые лично на поле боя участвуют в атаках и от смелости и военного мастерства которых зависит успех. Автор потратил много труда для того, чтобы составить список танкистов, удостоенных в годы войны звания Героя Советского Союза. Он **включен в книгу.**

Завершается монография исследованием опыта послевоенного строительства танковых войск у нас и за рубежом. Здесь читатель найдет много верных суждений об использовании танков в боевых действиях в Корее и Вьетнаме, о применении самоходной артиллерии.

Танкист по призванию и боевому опыту, маршал П. Ротмистров оптимистически смотрит на будущее советских танковых войск. Он пишет: «Наши славные танковые

войска всегда были и остаются грозной силой, способной во взаимодействии с другими родами войск и видами вооруженных сил выполнить свой воинский долг в интересах защиты нашей великой Родины».

К такому же выводу приходит и читатель, ознакомившийся с книгой маршала П. Ротмистрова, с книгой, которая является ценным вкладом в военную науку о танках.

Вал. ГОЛЬЦЕВ.



АМЕРИКА НА ПЕРЕПУТЬЕ

Л. И. Зубок, Н. Н. Яковлев. Новейшая история США. М. «Просвещение». 1972. 368 стр.

В 1960 году главный редактор журнала «Лайф» Г. Люс пригласил десять «мыслящих американцев» высказать мнение по поводу национальных целей США. В изданном в том же году томе «Национальная цель» всем им была предоставлена трибуна. Получилась поразительная картина. Интеллектуальная элита Америки — а среди избранных десяти были такие деятели, как Э. Стивенсон, А. Маклиш, К. Росситер, Д. Ретсон и У. Липпман, — походила на перепуганных детей, сбившихся с пути в темном лесу. «Мы попали в беду, мы заблудились в джунглях»; «...мы утратили ощущение цели»; «...мы потеряли чувство миссии первых лет существования республики» — вот все, что могли выжать из себя люди, которых интеллигентные американцы привыкли считать «мозговым трестом» Америки.

Отмеченные lamentации выглядят вполне умеренными в сравнении с нынешними вердиктами, высказываемыми с исключительной иллюзией сухой категоричностью. Профессор Ч. Райх в конце 1970 года опубликовал книгу «Зеленая поросль Америки», где суммировал взгляды многих американцев, в особенности молодежи, на их страну и стоящие перед ней проблемы. «Величайшая реклама Америки, — пишет Райх, — «свобода». Америка — «свободная» страна, часть «свободного мира» в отличие от коммунистического мира. Однако что имеется в виду под этой свободой? Постепенно она стала означать свободу потребителя. Свобода потребителя — это свобода путешествовать, отдыхать, купить дом... Свобода покупать что вздумается и ехать куда вздумается. Однако в отношении работы никакой свободы нет... Рабочий живет отнюдь не в «свободной стране»... Американское общество во все возрастаю-

щей степени организуется в виде иерархии. Для рядового трудящегося на этом и кончается американская мечта о равенстве и демократии...»

Чувство безнадежности, скепсиса, отрицания еще вчера бесспорных ценностей охватило не кучку (как было удобно считать) «заумных интеллигентов», а значительные массы населения. Что происходит с Америкой? Почему страна, вступившая, как провозгласили ее апологеты, в «постиндустриальную», «технетронную эру», оказалась неспособной решить проблемы, поставленные еще первой промышленной революцией? Почему богатство обертывается бедностью, а мощь бессилием? Почему официально декларируемые демократические лозунги все больше превращаются в прикрытие для привилегий немногих? Вопросы эти не могут быть безразличны: процессы, происходящие в США, неизбежно имели и имеют серьезные международные последствия. Анатомия больного общества вплотную интересует ученых. Социологи и политологи, исследуя конкретные факты, пытаются поставить диагноз. Историк, со своей стороны, поможет профессионально проследить зарождение и ход болезни.

Способность истории рассматривать события не в статике конечных результатов, а в динамике развития тенденций позволяет увидеть аспекты проблемы, менее заметные при ином угле зрения. Достаточная временная ретроспектива дает возможность освободиться от абсолютизации настоящего, определить его связь с прошлым и будущим, выяснить его исторический смысл и место в историческом процессе. Американская монополистическая буржуазия в условиях современного мира прилагает особые усилия, что-

бы попытаться «доказать», что будто бы всего, к чему стремятся трудящиеся, можно достичь без революционного преобразования общества. Развиваемые в этой связи концепции апологетов империализма несостоятельны. Однако для разоблачения их необходимо точное знание истории США. То, что выдается идеологами буржуазии за новейшие открытия, на деле иной раз является повторением концепций, уже отвергнутых несколько десятилетий тому назад. Отсюда самоочевидна важность рассмотрения политико-идеологических вопросов на протяжении значительных периодов истории. Именно эти обстоятельства и делают недавно вышедшую книгу видных историков-американистов Л. И. Зубока и Н. Н. Яковлева одной из актуальнейших книг о современной Америке. Проследившая развитие американского общества на протяжении полувека, авторы обнажают корни нынешних кризисных явлений. Книга дает возможность взглянуть на теперешние проблемы Америки, учитывая прошлое США.

Примечательно само сотрудничество двух ученых, имена которых известны далеко за пределами круга специалистов. Профессор Зубок стоял у истоков советской американистики. Его ученик профессор Яковлев — один из самых маститых ее современных представителей, имеющий, в свою очередь, многочисленных учеников. Скоропостижная смерть Л. Зубока помешала ему завершить работу над книгой. Труд был в основном выполнен и издан Н. Яковлевым как научный памятник учителю. В работе самым конкретным образом отражена идея преемственности науки. Однако не в простом сохранении и повторении традиций «школы», а в быстро растущем уровне американоведения.

Что же нового вносит рецензируемый труд в наше понимание американского прошлого и настоящего?

Выше уже говорилось о таком качестве книги, как ее актуальность, современность. Аналитическая, богатая мыслями работа резко отличается от иных пухлых, повторяющих общеизвестное «академических кирпичей», авторы которых льстят себя мыслью, что «двигают науку», будучи не в силах сдвинуть свои творения с прилавков книжных магазинов. «Новейшая история США» Л. Зубока и Н. Яковлева — работа остросовременная не только по содержанию, но и по исполнению, работа, находящаяся на переднем крае науки.

В современную эпоху соревнования двух противоположных систем и обострения идеологической борьбы правящий класс США не может позволить себе роскошь оставаться на позициях голого практицизма, а ищет синтеза общественных наук и политики, чтобы обеспечить свои интересы внутри страны и на международной арене. Поэтому плодотворное изучение американской истории неизбежно предполагает учет наиболее влиятельных политических идей, вырабатываемых очередным «мозговым трестом» при очередном президенте и в той или иной степени претворяемых в жизнь Вашингтоном. Несомненным важным достоинством книги является то, что она дополняет исследование социально-экономической истории США специальным рассмотрением развития американской политической мысли, нашедшей известное отражение в практической политике правящих кругов страны, особенно с 1933 года, с приходом к власти демократической администрации Франклина Д. Рузвельта.

Трудность изложения соответствующих проблем с этой точки зрения очевидна. Не слишком сложно проиллюстрировать теоретические доктрины некоторым количеством подобранных фактов. Гораздо труднее «наложить» политические теории, носящие иной раз абстрактный характер, на конкретную социально-экономическую историю страны. Авторы успешно справились с поставленной исследовательской задачей. Вводные разделы, предпосланные к каждой главе, дают возможность понять то, что сами американцы именуют «философией истории» применительно к рассматриваемому отрезку времени.

Современник, даже самым поверхностным образом знакомящийся с внутривнутриполитическими процессами в США, не может не обратить внимания на широковеточательные программные лозунги, под которыми американские политические партии борются за власть и управляют страной. Только на глазах всего двух поколений их сменилось несколько: «Новый курс», «Справедливый курс», «Новые рубежи», «Великое общество». Н. Яковлев, пожалуй, первый из наших исследователей еще в книге «Переступившие грань» указал на корни этого явления: истоки рузвельтизма и кеннедизма четко прослеживаются в политической философии президента Вильсона. Обращение к первоисточнику заставляет поставить во-

прос шире — о генезисе американского реформизма в новейший период.

Программу внутренних реформ под громким названием «Новая свобода» Вильсон выдвинул в президентские выборы 1920 года. Однако еще летом 1918 года в беседе с профессором Эксеном президент сформулировал свое политико-философское кредо: «Мир должен претерпеть радикальные изменения, и я убежден, что правительствам придется делать многое из того, что ныне выполняют отдельные лица или корпорации. Я убежден, например, что правительства должны будут взять на себя распоряжение всеми основными естественными ресурсами... всей водной энергией, всеми угольными шахтами, всеми нефтяными полями и т. д. Всем этим должно владеть государство. Если я скажу об этом открыто, меня назовут социалистом, хотя я и не являюсь таковым. Именно потому, что я не социалист, я верю во все это. Я считаю, что единственный путь предотвратить коммунизм — действовать примерно так».

Широко известно, что так называемые 14 «основных принципов» Вильсона в области внешней политики были сформулированы с целью противостоять влиянию ленинского Декрета о мире. Менее исследовано воздействие социалистической революции в России на программы социальных реформ в США. Официальная пропаганда Вашингтона не щадит усилий, чтобы попытаться затушевать очевидную связь между победной поступью социализма и волной реформизма в Соединенных Штатах. В этих интересах в США ныне развернута неслыханная по интенсивности кампания в связи с двухсотлетием основания республики. Кульминационный пункт ее придется на 1976 год — двухсотлетие со дня провозглашения Декларации независимости, а торжества будут продолжаться до 1987 года. Цель пропагандистских и иных усилий в ходе этой кампании заключается в том, чтобы объяснить рост США некими имманентными качествами американского капитализма, полностью игнорируя определяющее значение для судьбы мира развития социализма. Марксистская трактовка истории США последних десятилетий камня на камне не оставляет от этих потуг буржуазных идеологов, убедительно показывая, что капитализм находится в историческом тупике и никак не является будущим человечества.

Как со всей очевидностью следует из книги Л. Зубока и Н. Яковлева, многие проб-

лемы внутренней политики решались правящими классами США с оглядкой на развитие мирового революционного процесса. Еще 16 октября 1918 года Вильсон в беседе с представителем английского правительства заявил: «Призрак большевизма таится везде... Во всем мире серьезнейшее беспокойство. В США также проявились симптомы этого, которые очевидны, хотя пока не опасны». Президент срочно предлагал реформы с целью предотвратить возможность социального взрыва. Пройдет всего пятнадцать лет, и другой президент — Ф. Рузвельт — выдвинет серию мероприятий «Нового курса» все с той же целью спасения капиталистической системы. Известный английский экономист Д. Кейнс в письме Рузвельту в конце 1933 года хорошо выразил подоплеку рузвельтовских реформ. «Вы, — писал Кейнс, — стали доверенным лицом всех тех во всем мире, кто стремится выправить осложнившееся положение социального порядка».

Перед лицом грозной альтернативы американская буржуазия шла на «превентивные» уступки трудящимся. В рецензируемой книге убедительно показано, что именно успехи СССР, социалистической системы вызвали к жизни не только риторiku, но и конкретные программы социальных реформ, что само существование Советского Союза дает толчок реформаторской деятельности в США. Успехи СССР, всей социалистической системы имеют всемирно-историческое значение. Они изменяют положение и в цитадели капиталистического мира — США.

Избранный авторами крен в сторону рассмотрения политико-идеологической жизни США помогает заполнить определенный пробел в советской американистике. Он способствует также углубленному пониманию различия между двумя американскими политическими партиями — демократической и республиканской. Хотя обе они верно служат интересам монополистического капитала, способы действия этих партий на крутых поворотах истории существенным образом рознятся.

Как хорошо показано в рассматриваемой работе, различие концепций правления страной наиболее ярко олицетворяется в политической философии и образе действий двух президентов — демократа Вильсона и республиканца Гувера. Профессор — президент Вильсон полагал, что старая система отказывала. Делец Гувер, напротив, свято верил, что система в основном здорова, а если и

работала с переборами, то только потому, что искажались ее основные принципы. Гувер признавал за государством важную роль. Но не вмешательства, а регулирования общества.

Концепция демократов более учитывала дух времени. Американский империализм стремится приспособиться к новой обстановке в мире, в связи с чем он характеризуется некоторыми новыми чертами. В условиях научно-технической революции усиливается его государственно-монополистический характер. Расширяется правительственное финансирование программ развития промышленности, научных исследований, составляются программы развития в масштабах всей страны. Мероприятия демократической партии находились больше в русле этой основной тенденции. Они расширяли вмешательство правительства в дела общества, двигали развитие государственно-монополистического капитализма.

Развитие тоталитарной тенденции сопровождалось возрастанием значения бюрократии. Процесс, начатый при участии и усилиях американских либералов, постепенно обращался против них самих. Профессор Г. Моргентау один из первых указал на злое усиление власти государства, ущемляющей личность. Касаясь президентства Линдона Джонсона, он саркастически отметил, что президент свел практически к нулю все уравнивающие правительство силы, политические и социальные. «Случилось то, чего опасались отцы-основатели — президент США стал некоронованным королем». Небезызвестный профессор Г. Кан, конечно до конца преданный строю, существующему в США, все же счел возможным заметить: «Возникла новая интересная теория. До 1900 г. в мире беспокоились по поводу «правительства как потенциального гонителя». Тогда считали — «лучше то правительство, которое правит меньше». После 1914 г. и, возможно, до 1960 г. величайшая забота была в том, чтобы «правительство увеличивало благосостояние». Многие в этот период утверждали, что «лучше то правительство, которое правит больше». С начала шестидесятих годов мы стали возвращаться к старой теории «правительства-гонителя», а также исповедовать новую — «правительство как источник идиотизма». Новая идея сводится к тому, что величайшие глупцы входят и в правительство и в его органы — они просто глупы, некомпетентны, безумны, аморальны и т. д. Сейчас эта тео-

рия получила самое широкое распространение, ее в особенности придерживается молодежь, а также множество взрослых людей».

Война во Вьетнаме, самая долгая и самая грязная в американской истории, обнажила и обострила многочисленные противоречия, накопившиеся в стране. Хладнокровное ведение агрессии вопреки громким протестам не только сторонников мира, но и массы американского народа будило понятную ярость. Во второй половине 60-х годов страна стала ареной серьезных беспорядков, распространились новые, странные течения среди молодежи, росла преступность. Появились хиппи, а часть молодежи, считающая себя мыслящей, вступила в ряды «новых левых». В этих условиях произошел переход власти от демократов к республиканцам. В области внешней политики данный акт ознаменовался известными словами Р. Никсона: «После эры противоборства наступают эра переговоров».

Благодаря последовательной миролюбивой позиции Советского правительства, а также реализма, проявленного американской стороной, на переговорах в Москве в мае 1972 года был заключен ряд важных советско-американских соглашений, положительно повлиявших на взаимоотношения обеих стран, на международную обстановку в целом.

Однако наряду с реалистической тенденцией в американской внешней политике не исчезли претензии на «жандармскую» роль во многих регионах земного шара. Внешнеполитические ультра в Америке не отказываются от попыток повернуть вспять колесо истории. Позиция Советского Союза касательно отношений с Соединенными Штатами Америки четко сформулирована в резолюции XXIV съезда КПСС: «Советский Союз готов к развитию отношений и с Соединенными Штатами Америки, исходя из того, что это отвечает как интересам советского и американского народов, так и интересам всеобщего мира. Вместе с тем Советский Союз всегда будет решительно выступать против агрессивных действий США, против политики силы».

Таковы некоторые из проблем, рассмотренных в книге Л. Зубока и Н. Яковлева. Живая, блестяще написанная книга будит мысль, опрокидывает устаревшие, изжившие себя представления, а это главное.

Б. МАРУШКИН.

«ПОТАЕННЫЕ МЫСЛИ» УЧЕНЫХ

Г. Бонди. Гипотезы и мифы в физической теории. Перевод с английского В. А. Угарова. М. «Мир». 1972. 103 стр.

Ганс Селье. На уровне целого организма. Перевод с английского И. А. Доброхотовой, А. В. Парина. М. «Наука». 1972. 124 стр.

Основу двух рецензируемых книг не случайно составили лекции, прочитанные их авторами. Известный физик Г. Бонди пишет по этому поводу: «...форма и стиль, принятые для научных статей, в значительной степени искажают подлинный ход мыслей автора... Дело в том, что автор чаще всего старается... представить полученные им результаты так, как будто бы они возникли в результате мгновенного озарения. Автор не дает ни малейшего намека на то, как он подошел к самой постановке задачи. Сформулировав свои результаты, автор приступает к их доказательству посредством логических выводов, строгость которых вынуждает читателя — хочет он того или не хочет — согласиться с автором...»

Таким образом, научная статья—это весьма своеобразная форма изложения. У нее есть свои достоинства, прежде всего краткость. Но она превращает науку — с моей точки зрения, самую гуманную из всех областей человеческой деятельности — в нечто совершенно безликое...»

Специальные журналы печатают ежегодно около четырех миллионов статей, каждая из которых подменяет логической схемой живую последовательность событий.

«Те лекции, прочтете которые я был приглашен...— продолжает Бонди,— дали мне редкую возможность высказать свои потаенные мысли», прорывающие рамки научных статей, неуместные в них, но естественно рождающиеся во время лекций, в процессе живого общения с аудиторией.

Живая последовательность событий науки, о которой рассказывают авторы, делает их работы интереснейшим научным и человеческим документом.

Г. Бонди отмечает, что, описывая развитие науки, ее историки подчас пытаются соединить причинно-следственными связями факты, которые на самом деле не вытекают один из другого. Так возникают научные мифы. Например, во многих книгах, посвященных Эйнштейну, авторы утверждают, что созданию теории относительности способствовал знаменитый опыт Майкельсона. Г. Бонди считает, что это не более чем исторический курьез: «Эйнштейн как-то упомянул, что, когда он писал свою

основную работу по специальной теории относительности (1905 г.), он ничего не слышал об этом опыте». Г. Бонди пытался осмыслить, почему в повествовании о становлении науки вплетаются мифы и как дело обстояло в действительности.

Г. Селье поставил перед собой другую задачу: раскрыть собственный творческий путь для того, чтобы сформулировать некоторые общие принципы движения научных исследований.

«...Только о своих собственных находках,— пишет он,— я могу судить по наблюдениям из первых рук, не заботясь о всех искажениях, которые легко вкрадываются в истории, восстанавливаемые по чужим описаниям».

Селье вводит любопытную классификацию. Ученых он делит на «открывателей» и «решателей» проблем. «Первые,— пишет Селье,— опираются главным образом на инстинктивное понимание путей природы, обостренное чувство важности предыдущих наблюдений и взаимосвязей явлений в самом широком смысле слова.

Вторые «...берут что-то уже известное и пытаются расчленив его, чтобы понять структуру и механизм. Они целиком опираются на логический анализ, на химические и физические методы».

В противопоставлении интуиции («инстинктивного понимания») логическому мышлению нет ничего неожиданного: оно достаточно тривиально. Но Селье идет дальше — он связывает с интуитивным мышлением определенный подход к изучаемому объекту: чтобы сделать открытие, необходимо обладать «периферическим зрением», способностью замечать побочные явления, в том числе и те, что часто рассматриваются как результат «грязного» опыта. Селье ссылается на пример А. Флеминга. Этот ученый открыл пенициллин лишь потому, что не отбросил как испорченную культуру бактерий, тронутую плесенью. Флеминг, естественно, не мог заранее знать, что «грязный» опыт «чреват» важнейшим открытием. Отсюда Селье делает вывод о принципиальной непредугаданности, непланируемости открытий, а значит — об их случайном характере. Он

утверждает, что новые проблемы обычно возникают тогда, когда явление оценивается, просматривается в целом, в совокупности всех его связей.

Таким образом, противопоставление интуитивного мышления логическому перерастает в противопоставление случайного и планируемого в науке. При этом именно за случайным он признает первенствующее значение, а в связи с этим противопоставляет и два метода исследования: «открыватели» проблем, по мнению Селье, должны с помощью самых примитивных средств обозревать явление в целом, оставляя «решателям» исследование частных, с помощью сложных приборов и методик.

Селье подчеркивает — «отнюдь не планомерное, систематическое исследование, а случайное наблюдение в ходе экспериментов... привело к открытию адаптационного синдрома». Собственные успехи в науке Селье объясняет в значительной степени тем, что он, подобно Флемингу, обращал внимание на «испорченные опыты».

В книге канадского медика речь идет о биологических объектах, целостный подход к которым связан с самой природой живого. Но общие принципы исследований, развиваемые Селье, в той или иной мере приложимы к многим объектам. Именно поэтому следует попытаться понять, что в этих рассуждениях имеет общеметодологическое значение, а что отражает индивидуальный подход одного исследователя.

Бесспорно, умение видеть побочные, на первый взгляд незначительные и случай-

ные результаты опытов, играет большую роль в развитии науки. Прав Селье и тогда, когда он ратует за внимание к ученым, обладающим «периферическим зрением» и за развитие у молодых исследователей способности охватить явления в целом. Наконец, несомненно, что и в прошлом и сейчас ряд крупных открытий осуществлен с помощью сравнительно простых средств. Однако когда Селье утверждает, что целостный подход к изучаемому объекту обязательно связан с использованием лишь подручных средств, а сложные методики — «электронные микроскопы или цитохимия» — неизбежно обрекают исследователей на почетную, но менее творческую роль «решателей» проблем, он, по-видимому, переходит ту грань, за которой логический анализ научного творчества подменяется интуитивным восприятием собственной работы.

Добавим, что многие явления могут быть изучены только на молекулярном, атомном или субатомном уровнях, где и нельзя добиться никакого серьезного успеха без применения немилых сердцу канадского медика «электронных микроскопов».

Проблемы, о которых шла речь, отнюдь не исчерпывают содержание книг Г. Бонди и Г. Селье. Мы стремились лишь выявить то общее, что присуще этим книгам, написанным специалистами в очень далеких областях науки, стремились подчеркнуть важность «потаенных мыслей» их авторов для изучения самых общих вопросов психологии научного творчества.

С. ВЛАДИМИРОВ.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

А. ШАРОВ. Повести воспоминаний. М. «Советский писатель». 1972. 326 стр.

«Если нет бессмертия в будущем, то должно быть другое бессмертие, протянутое в прошлое — память. Без этого единственно существующего бессмертия жизнь бессмысленна». Эта мысль объединяет три разных по жанру произведения, вошедшие в новую книгу А. Шарова. Здесь и рассказ о детстве, и воспоминания, вырывающие из небытия лица давно ушедших, ощущения пережитого счастья, разочарования и обиды, и размышления о воспитании, о милосердии и жестокости, о свободе и ответственности за то, что происходит в мире.

Мысль писателя проходит в этой книге три формы воплощения: мемуары, публицистика и художественная проза. Однако разные способы постижения жизни, разные ракурсы скрепляются в вопросе о тех уроках, которые память человека извлекает из прошлого опыта.

Книга открывается повестью «О детстве». В фокусе повести не сами события, но их отражение в сознании ребенка. Писатель сосредоточен на том, что формирует человека. Он воскрешает мысли, чувства, настроения и отношение к окружающему — эмоционально-духовный мир ребенка и атмосферу детства.

Не нарушая законов ретроспекции, А. Шаров вместе с тем постоянно совмещает планы: нити ассоциаций соединяют периоды жизни, разделенные десятилетиями. Случай становится обобщением, ибо отбор материала определяется философски осмысленной концепцией происходящего. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в одной плоскости оказывается урок в школе-коммуне, посвященный шиллеровским «Разбойникам», — и освобождение Освенцима, «Снятие с креста» Рембрандта — и воспоминание об испытанном в детстве сострадании. Во всем этом не только воздействие искусства, но и глубокое убеждение писателя в том, что ничто не проходит бесследно.

Вторая часть книги, «О прочитанном и увиденном», — публицистические статьи

«Языки окружающего мира...», «Взрослые и страна детства» и «Януш Корчак и наши дети». В поле зрения писателя — судьбы сегодняшних детей, проблемы воспитания, общепедагогический смысл педагогических идей Януша Корчака и образ этого человека, одного из тех, кто жизнью и смертью заслужил право учить. Для А. Шарова, пламенного сторонника идей Корчака, несомненно то, что и по сей день является альтернативой для иных педагогов: какой метод разумнее в воспитании детей — доброта или наказание. Нравственная позиция писателя очень определена: вся его книга — яростный протест против жестокости и призыв к гуманизму, доброте.

Завершает книгу повесть «Жизнь Василия Курки» — история мальчика, который пошел на войну и погиб, испытав такое, что не всякому взрослому под силу. Но и эту жизнь, которую вернее было бы назвать житием, озаряет как чудо человеческая доброта...

Кое-что из вошедшего в «Повести воспоминаний» было опубликовано прежде. Однако в этой книге, мудрой и проникновенной, художественный мир писателя предстает как завершенное целое. Так новый смысл обретают этюды, перенесенные живописцем на полотно, где все подчинено одному замыслу, одной обобщающей концепции.

И. Подольская.

★

Марк ЛИСЯНСКИЙ. Лучшие годы мой. Избранная лирика. М. Художественная литература». 1971. 240 стр.

М. ЛИСЯНСКИЙ. Всё сначала. Стихи. Поэма. М. «Советский писатель». 1972. 224 стр.

Вышли две книги поэта Марка Лисянского. Эти книги не повторяют, а продолжают друг друга.

Книгу «Лучшие годы мой» Лисянский предваряет рассказом о себе, об Одессе, о Николаеве, о войне. В нем Лисянский рассказывает, как еще до войны он приехал в Москву по путевке Николаевского завода

учиться в Институте журналистики, как познакомился с Багрицким.

Сколько раз люди писали о том, как они в первый раз пришли к Багрицкому, как молчали рыбы в его аквариуме; молчали и плавали в подсвеченной воде.

Марк Лисянский чужд воде и повторениям. Он говорит, как показал Багрицкому свои напечатанные стихи, «он их прочитал и схватился за голову: «А ненапечатанные у вас есть?» Я прочитал стихотворение «Опять снега за окнами...». Эдуард Георгиевич облегченно вздохнул».

Но скоро Лисянский принес сборник своих стихов, который он хотел издать. Багрицкий попросил, чтобы книгу редактировал он. Рукопись была послана ему на рецензию. Рецензия сохранилась. Заканчивалась она так: книгу издавать не надо. Потом Багрицкий встретился с поэтом и сказал: «Походите по земле, а вернетесь в Москву — я буду редактором вашей первой книги».

Редактировать первую книжку стихов Багрицкому не пришлось, он умер.

Поэту пришлось много походить по земле; пешком походить; в пехоте походить; походить — до самого Берлина.

Люблю вспоминать о первых комсомольцах. Они появились как из-под земли, и они удивительно много знали, потому что умели узнавать. Я никогда не забуду Ивана Халтурина, который написал очень мало, но он редактировал книгу Арсеньева. Видал и рукопись Арсеньева и книгу. Снимая пласт за пластом из путевых записок, редактор нашел в книге ее собственное лицо, показав путешественника рядом с его другом Дерсу Узала. Люблю и помню Ивантера, Марка Колосова, Жарова, Безыменского видал редко: водился с другими компаниями. Знаю детских писателей и друзей Багрицкого.

Голос детской литературы во многом создан нашими комсомольцами.

Марк Лисянский — уже другое поколение. Ито и у него есть та свежесть восприятия, когда сам воздух над землей как будто налит в первый раз и в первый раз сверкает, как жезл, а жезл тогда сверкала по-своему, не как вода, не как луна, а именно как жезл.

Я увидел в стихах Марка Лисянского его простуженное детство, детство босиком, без фуражки; детство у моря, в котором плавают до поры до времени свободные веселые головастые рыбы. У Марка Лисянского короткая анкета, но в этой анкете есть и Ленинград, и Волоколамское шоссе, и имена поэтов, которые открыли молодому комсомольскому поэту глаза на мир, — имена Багрицкого, Смелякова.

Они и время научили Марка Лисянского писать стихи.

Стихи веселые, легкие, внимательные.

Когда-то Осип Манделштам, восхищаясь, прочел «Путешествие Палласа по России». Он говорил, что Паллас проехал по всему простору в карете, запряженной муравьями. Он увидел каждый вершок нашей земли.

Внимание к кажущимся мелочам есть в стихотворении М. Лисянского «Муравьиная дорога»:

Раскосые и рыжие,
Веселые и злые,
Они несли без усталы
На собственном горбу
Бесчисленные мелочи,
Подробности земные,
А сверх того нелегкую
Безвестную судьбу.

Поэзия живет в траве, говорил Пастернак. Поэзия живет под землею и на горе, говорил Блок. Поэзия живет там, где люди идут своей дорогой, внимательно совершая свой нелегкий путь, где они ласковы даже к погоде, улыбаются небу и живут, не боясь прогнозов. Поэзия там, где человек может вспомнить свое возвращение с войны.

Про трудности, «вмятины на сердце», про сны умеет рассказывать поэт, поднимает нас над повседневностью тем, что он нам наново показывает обыкновенное.

Стихи Марка Лисянского доверчивые, открытые. Для него поэзия уже сама по себе награда. Он хорошо пишет о любви и об уважении к влюбленным.

Ставлю две его книги к себе на полку.

Поэт посвятил мне одно стихотворение и выбрал темой ту сказку, которую я на самом деле люблю, но о ней ему не рассказывал.

Бог играет с чертом в карты. Бог, хотя он и босоногий, богат, черт беднее. Черту везет; он ставит ва-банк; у него козырной туз. Но бог совершает чудо, он кроет козырной туз. Тогда еще не было джокера. Черт обиделся, сказал:

— Прошу без чудес, мы играем на деньги.

Поэзия не имеет джокеров. Она живет без чудес, хотя «играет» не на деньги.

Она живет ритмом сердца, честной памятью, хорошо пройденной дорогой, хорошо увиденным морем, которое выбегает к ногам смотрящего, миром, который у нас никто не украдет.

Поэзия начинает раз за разом все сначала, как море. Биение нашего сердца, наши простые слова нельзя перекрыть ничем, они — туз козырной.

В. Шкловский.

★

А. МИХАЙЛОВА. Александр Грин. Жизнь, личность, творчество. М. «Художественная литература». 1972. 192 стр.

К Александру Грину я пришел поздно. Прочитанные в ранней юности разрозненные рассказы и повести не были поняты. Показались переводом с неведомого языка, таким беллетристическим эсперанто. Отпугивали ненашенские далекие имена людей и названия городов: Грэй, Гарт, Горн, Зурбаган, Тинг, Лисс, Гель-Гью...

Но прощительное для юноши, можно сказать — мальчика, вовсе непростительно для критиков, писания которых попадались мне в разные годы, особенно в 50-е. Эти критики решительно сбросили старого моряка Грина с «корабля современности». Тут-то я решил проверить себя, свое давнее ощущение писателя и засел за Грина. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Книги Грина внушили мне мысль, что передо мной сильный русский писатель и глубокий мыслитель, человеколюб и человековед. А все обвинения в том, что это отрешенный от жизни выдумщик, пассивный романтик, мизантроп, любитель авантюрных сюжетов, — сущий вздор.

Он мог стать бытописателем дна жизни. Старая Вятка, Одесса, Киев, Крым, Урал, Финляндия, Пинега, ночлежки, толкучки, рыбацьи артели, пехотный полк в Пензе, севавтопольская тюрьма, голод, холод, скитания. Но не стал им. Грин придумал свою вселенную и населил ее людьми, созданными его могучим воображением. Фантаст? Нет. Мир Грина — это уплотненная до символов реальность. «Я рассматриваю галлюцинацию как феномен строгой реальности», — говорит гриновский герой.

По сочинениям Грина не восстановишь подробностей его бедственной жизни, его быта, но по ним великолепно проследишь причудливые маршруты его мечты. Это редкостный знаток человеческой души, сказочник, волшебник, сумевший продлить детское в себе до седых волос. Запасы его свежей восприимчивости неисчерпаемы. Его ранимая душа накалывалась на быт, наткалась на житейскую грязь. Но не никла от этого, оставалась незапятнанной. Для меня Грин остается одним из самых обаятельных донкихотов нашего века.

Гриновскую образную вселенную постигнуть нелегко. Книга Л. Михайловой «Александр Грин. Жизнь, личность, творчество» представляется мне надежным путеводителем по стране этого писателя — Гринландии.

Я не гриноведа, не гринист и рад, если меня берут за руку и показывают владения писателя, реальность его нереальности, «красоту человечности» его и «человечность красоты» его (так называются главы книги). Читая книгу Л. Михайловой, чувствуешь связь Грина с традициями русской литературы большую, чем об этом было принято говорить в других работах о нем.

«Как писатель он весь вышел из протеста», — пишет Л. Михайлова. И показывает, как гриновский мир возникла в качестве яркого и яркого антипода и противовеса полицейской и чиновничьей дореволюционной России. Портрет Грина дан в исторической и историко-литературной рамке.

После чтения книги мне понятней, чем прежде, тончайшая психология этого творчества. Я хотел бы подчеркнуть слово «этого». Почему? Иногда у нас пишутся книги об одном писателе, но так неиндивидуализированно, что легко подставить в текст имя Другого писателя.

Работа Л. Михайловой заставляет перечитать Грина. Она готовит вас к этому. Готовит ненавязчиво, тонко, может быть, лукаво.

Критическую книгу я оцениваю по такому признаку: приближает она к писателю, которому посвящена, или отдаляет от него (бывают нередко у нас и такие случаи).

Книга Л. Михайловой приближает к Грину.

Лев Озеров.

★

АФОРИЗМЫ. Из сборника, подготовленного Вл. Воронцовым. Журнал «Знамя», 1970—1972.

Журнал «Знамя» три года подряд, начиная с февральской книжки 1970 года, регулярно публиковал главы из сборника «Афоризмы», подготовленного Вл. Воронцовым. Это собрание мыслей и изречений, несомненно, является результатом кропотливого многолетнего труда. Оно состоит из собственно афористики, то есть отдельных обобщенных, лаконичных и отточенных высказываний определенного автора и кратких цитат из художественных и философских произведений.

Во второй половине XX века во всем мире наблюдается значительное возрастание интереса к афористике. Ее познавательное и воспитательное значение велико. Афористика как нельзя лучше соответствует стремительному духу нашего времени, требующему особой краткости выражения мысли.

Опубликованное журналом дает возможность судить о характере будущей к н и г и. Особую ценность, на наш взгляд, представляет партийный подход к отбору мыслей, максим, цитат и афоризмов, более широкое, чем в других изданиях такого рода, привлечение высказываний классиков марксизма-ленинизма, русских революционных демократов, советских государственных деятелей и писателей.

Составитель критически использует великое наследство мыслителей античного мира, тщательно отбирает то, что соответствует коммунистическому мировоззрению, заставляет нетленные мысли древних мудрецов «работать» сегодня.

Работа Вл. Воронцова намного полнее любого из наших сборников мыслей и изречений. Читатель найдет здесь материалы практически по любому вопросу. Большое число глав и разделов облегчает пользование этой энциклопедией мысли.

Вот для примера ряд высказываний о любви к родине выдающихся деятелей Советского государства, художников слова и ученых, взятых из подборки «О родине, патриотизме и интернационализме» (1971, № 2): «Патриотизм — одно из наиболее глубоких чувств, закрепленных веками и тысячелетиями обособленных отечеств» (В. И. Ленин); «Если говорить о красоте жизни, так именно беззаветная борьба за родину есть высшее проявление прекрасной жизни» (М. И.

Калинин); «Человек является прежде всего сыном своей страны, гражданином своего отечества, горячо принимающим к сердцу его интересы» (В. Г. Белинский); «Нет счастья вне родины, каждый пускай корни в родную землю» (И. С. Тургенев); «Сила патриотизма всегда пропорциональна количеству вложенного в нее личного труда; бродягам и туземцам всегда бывало чуждо чувство родины» (Л. М. Леонов); «Только пустые люди не испытывают прекрасного и возвышающего чувства родины» (И. П. Павлов); «Много есть на свете, кроме нашей страны, всяких государств и земель, но одна у человека родная мать, одна у него и родина» (К. Д. Ушинский).

В главе «О мудрости, уме и глупости» (1972, № 1) Вл. Воронцов широко использует выдающиеся философские монографии и литературные памятники: трактат Гельвеция «Об уме», шедевр афористики — «Максимы и моральные размышления» Ларошфуко, знаменитые «Максимы и размышления» Гёте, «Круг чтения», составленный Л. Н. Толстым, и др.

Афоризм — обобщенная, законченная, глубокая мысль определенного автора, выраженная в лаконичной, отточенной форме, отличающаяся меткой выразительностью и явной неожиданностью суждения (БСЭ, т. 2. М. 1970). Афоризм — большая редкость. Подавляющему большинству высказываний, напечатанных во всякого рода сборниках «афоризмов», не хватает одной-двух, а иногда и трех-четырех из семи примет афоризма, содержащихся в его определении. Чаще всего отсутствует или подлинная глубина мысли, или лаконизм, или явная неожиданность суждения. Составить книгу из одних только афоризмов невозможно. Поэтому мне кажется, что Вл. Воронцову следовало бы найти более общее название для его труда.

Нет сомнения, что сборник, подготовленный Вл. Воронцовым, нужен самому широкому кругу читателей, и прежде всего писателям, журналистам и лекторам. Остается лишь пожелать, чтобы эта книга поскорее вышла в свет.

Александр Фюрстенберг.



ОЛЬГА ЛЕОНАРДОВНА КНИППЕР-ЧЕХОВА. Воспоминания и статьи. Переписка с А. П. Чеховым (1902—1904). Составитель, редактор, автор вступительной статьи — В. Я. Виленкин, комментарии — В. Я. Виленкина, Н. И. Гитович, Л. М. Фрейдкиной. Часть 1, 448 стр. Часть 2, 432 стр. М. «Искусство». 1972.

Кажется, тип такого сборника давно установился. Развернутое предисловие, статьи, мемуары, дневники самого художника, его письма, затем воспоминания о нем, обширные комментарии. Это композиция сборников, посвященных Качалову, Леонидову, Хмелеву. Это композиция книги о Книппер-

Чеховой. Вернее, книга; издательство выпустило не большой том, который неудобно держать в руках, но изящный двухтомник.

Построение сборника традиционно, облик актрисы, которой он посвящен, пленительно-необычен. Эту пленительность, тонкое обаяние Ольги Леонардовны раскрывает прежде всего вступительная статья В. Я. Виленкина. Не подробное изложение творческой биографии, а глубокий, точный и лаконичный портрет человека. С первого слова веришь — автор имел право так писать, он знал и любил Ольгу Леонардовну и свою любовь передает нам в подробностях описания быта очень старой женщины («...цветы и книги заменяли ей любые коллекции, которые ее не интересовали никогда»), в ее мечтах о роли бабушки из гончаровского «Обрыва», в воспоминаниях о прежнем, молодом Художественном театре. «Она ни о чем не умела говорить поучительно и пространно, ее беседа была непоследовательна и обрывиста, все время перемежаясь юмором и чуждаясь фраз», — вспоминает автор.

Ее собственные статьи и воспоминания коротки, чужды фраз и поучений, исполнены юмора, посвящены ли они встречам с Чеховым, Станиславским, Мейерхольдом. Эти же качества раскрываются в переписке Ольги Леонардовны, занимающей большую часть издания. В первом томе — переписка с Чеховым, во втором — с Марией Павловной Чеховой, с родными, Горьким, руководителями МХАТ, его актерами.

Переписка с Чеховым не повторяет, но продолжает известные два тома, вышедшие в довоенные годы. Здесь помещены письма 1902—1904 годов. Помещены не целиком — редактор сразу предупреждает, что переписка дается в извлечениях, что здесь снято многое, что составитель считает второстепенным. На смену полноте изданных томов пришел принцип отбора, извлечений. Это вызывает подчас споры и возражения историков литературы (досадны и некоторые фактологические ошибки, допущенные в комментариях). Но давайте, отвлекшись от споров, просто читать эту переписку, почти ежедневную, — оторваться от нее невозможно: так полно, так естественно раскрываются в ней великий писатель и прекрасная актриса. Здесь нет ощущения фрагментарности, нарочитости «извлечений», но есть непрерывность течения жизни, многообразие ее — от премьеры «На дне» до переезда в новую квартиру. Здесь сохранена радость двух людей, необходимых друг другу, и трагедия двух людей, вынужденных жить врозь, редко быть вместе, ежедневные встречи заменять ежедневными письмами.

Она готова была оставить театр — Чехов не принимал жертвы, так как знал, что для нее театр то же, что для него возможность писать. Ольга Леонардовна была женой Чехова и актрисой театра Чехова, совершенно игравшей жену провинциального учителя Машу и бесприютную, легкую, обаятельную и жалкую Раневскую из последней пьесы. Одновременно с этими ролями и мно-

го лет спустя играют ею Елена в «Мещанах» (как точно раскрывает актриса сущность этого образа в воспоминаниях о Горьком!), Настя в «На дне», роли в пьесах Ибсена, Гауптмана, образы Достоевского, Толстого, Вс. Иванова.

Эти ее роли воскрешают авторы последнего раздела издания — воспоминаний об Ольге Леонардовне. И воскрешают ее облик «Прекрасной дамы» (так называла Книппер-Чехову Л. Сейфуллина) — на сцене Художественного театра, в теплушке времен гражданской войны, в московской квартире, в день, когда Ольге Леонардовне исполнилось

девяносто лет. «Изумительным ее свойством было легкое, молодое любопытство ко всему в жизни — к книге, картине, спектаклю, танцу, животному, растению, морю, звездам, к запахам и краскам и, конечно, к человеку» — такой предстает Ольга Леонардовна в вышедшем сборнике. Он представляет нам русскую культуру на огромном ее протяжении — от конца прошлого века до второй половины века нынешнего. Представляет Ольгу Леонардовну Книппер-Чехову в ее живой прелести. За это — спасибо.

Е. Полякова.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. О лозунге Соединенных Штатов Европы.— Военная программа пролетарской революции. 24 стр. Цена 3 к.

В. И. Ленин. Письмо к американским рабочим. 24 стр. Цена 3 к.

Л. Владимиров. Рожденная в огне. Путь Кении к независимости. 288 стр. Цена 1 р. 9 к.

Вопросы экономической политики КПСС на современном этапе. Авторы Л. Абалкин и др. Издание 2-е, дополненное и переработанное. 407 стр. Цена 70 к.

Г. Гемнов. Август Вебель. Перевод с немецкого. 128 стр. Цена 15 к.

Б. Жировов. Миф о «хорошем» и «плохом» социализме. («За фасадом буржуазных теорий») 64 стр. Цена 11 к.

К. Иванов. Доктрина «богатых и бедных стран». («За фасадом буржуазных теорий») 63 стр. Цена 11 к.

Ленинская теория социалистической революции и современность. Авторы П. Федосеев и др. 528 стр. Цена 1 р. 99 к.

А. Ляшко. Украинская Советская Социалистическая Республика. («Союзные республики») 127 стр. Цена 17 к.

Мир социализма в цифрах и фактах. 1971. Справочник. 144 стр. Цена 20 к.

Тим Бак. Избранные произведения. Перевод с английского. 660 стр. Цена 1 р. 20 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

В. Белов. День за днем. Страницы деревенского юмора. 119 стр. Цена 16 к.

Б. Бубнис. Березы на ветру. Повесть. — Жадущая земля. Роман. Перевод с литовского В. Чепайтиса. 368 стр. Цена 71 к.

В. Бээнман. Транзитный пассажир. Роман. Перевод с эстонского А. Тамма. 278 стр. Цена 42 к.

Т. Бюрэ. Лена прекрасная. Стихи и поэмы. Перевод с якутского. 79 стр. Цена 25 к.

К. Горбунов. Меж крутых берегов. Роман. 638 стр. Цена 1 р. 36 к.

Е. Гуцало. Предчувствие радости. Повести и рассказы. Перевод с украинского. 384 стр. Цена 68 к.

А. Дубровин. Цель художника. Проблемы теории социалистического искусства. 302 стр. Цена 86 к.

Д. Еремин. Золотой пояс. Роман. 288 стр. Цена 65 к.

В. Кожевников. Знакомьтесь — Балуев! — Мальчик с окранны.— День летящий.— Всю неделю дождь.— Товарищ Елкин.— Водолазы.— Об Иване Фомиче. Повести. 442 стр. Цена 98 к.

Я. Козловский. Арена. Стихи. 95 стр. Цена 25 к.

Молодой Ленинград. 1972. Литературно-художественный альманах молодых писателей. 310 стр. Цена 66 к.

Н. Мординов. Веда. Повесть. Перевод с якутского А. Дмитриевой. 319 стр. Цена 64 к.

Б. Некрасов. От костра до костра. Стихи и поэмы. 78 стр. Цена 25 к.

Ф. Ниязи. Верность. Роман. В 2-х кн. Перевод с таджикского. 566 стр. Цена 1 р. 2 к.

В. Овечкин. Статьи, дневники, письма. Составители Л. Вильчек, В. В. Овечкин, А. Узилевский. 383 стр. Цена 1 р. 5 к.

О. Резник. Жизнь в поэзии. Творчество И. Сельвинского. 527 стр. Цена 1 р. 69 к.

Н. Тихонов. Писатель и эпоха. Выступле-

ния, литературные записи, очерки. 590 стр. Цена 1 р. 50 к.

Е. Трущенко. Социалистический реализм во французской литературе. 414 стр. Цена 1 р. 16 к.

В. Фоменко. Память земли. Роман. 495 стр. Цена 1 р. 6 к.

В. Шевчук. Предтеча. Роман. Перевод с украинского. 358 стр. Цена 65 к.

А. Шогенцунов. Назову твоим именем. Повесть. Перевод с кабардинского М. Дальцевой и Н. Атарова. 200 стр. Цена 23 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

О. Берггольц. Собрание сочинений. В 3-х тт. Т. I. Стихотворения.— Журналисты. Повесть.— Рассказы для детей. 287 стр. Цена 1 р. 5 к.

Болгарский рассказ. Переводы. Предисловие А. Туркова. 463 стр. Цена 1 р. 53 к.

Б. Брехт. Стихотворения.— Рассказы.— Пьесы. Перевод с немецкого. Составление и вступительная статья И. Фрадкина. («Библиотека всемирной литературы») 815 стр. Цена 2 р. 29 к.

Ф. Гречко. Красное вино. Роман. Перевод со словацкого. 807 стр. Цена 2 р. 71 к.

Л. Карелин. Избранное. Повести и роман. 671 стр. Цена 1 р. 34 к.

Д. Костолани. Жаворонок.— Анна Эдеш. Повести. Перевод с венгерского О. Россиянова. 350 стр. Цена 1 р. 23 к.

Г. Марнов. Собрание сочинений. В 5-ти тт. Т. I. Строговы. Роман. 655 стр. Цена 1 р. 25 к.

Немецкая старина. Классическая и народная поэзия Германии XI—XVIII вв. Перевод и предисловие Л. Гинзбурга. 270 стр. Цена 47 к.

Р. Прада. Зажигающие зарю. Роман. Перевод с испанского. 109 стр. Цена 32 к.

Рассказы индийских писателей. Перевод с хинди, бенгальского, урду и др. языков. 447 стр. Цена 1 р. 45 к.

Г. Скворода. Избранное. Песни, басни, притчи. Вступительная статья И. Драча. 231 стр. Цена 1 р. 20 к.

С. Степняк-Кравчинский. Избранное. 584 стр. Цена 1 р. 28 к.

Цветы ноября. Рассказы. Перевод с французского. Вступительная статья и заметки о писателях В. Валашова. 271 стр. Цена 81 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

М. Андраша. Воспоминания бывшего ребенка. Юмористическая повесть и такие же рассказы. 183 стр. Цена 23 к.

Вьетнам в борьбе. Стихи и очерки. 279 стр. Цена 74 к.

М. Коршунов. Журавлиная геометрия. Маленькие повести, рассказы, очерки, записные книжки. 224 стр. Цена 61 к.

Г. Кюппер. Симплициссимус. 1945. Роман. Перевод с немецкого Л. Черной. Предисловие С. Львова. 271 стр. Цена 70 к.

Ю. Мушкетин. Последний остров. Роман. Перевод с украинского. 239 стр. Цена 44 к.

Перекрестки. Сборник стихов. 352 стр. Цена 1 р. 25 к.

Созвездье Гагарина. Песни А. Пахмутовой к десятилетию полета Ю. Гагарина в космос. 70 стр. Цена 25 к.

И. Стрелкова. Плут, пять бревнышек... Рассказы. Предисловие С. Антонова. 255 стр. Цена 64 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

- В. Азерников.** Неслучайные случайности. Рассказы о великих открытиях и выдающихся ученых. 271 стр. Цена 58 к.
- В. Аксенов.** Мой дедушка — памятник. Повесть. 207 стр. Цена 49 к.
- Д. Биссет.** Беседы с тигром. Пересказ с английского И. Шерешевской. Предисловие С. Михалкова. 48 стр. Цена 29 к.
- Е. Драбина.** Баллада о большевистском подполье. 272 стр. Цена 92 к.
- Ф. Искандер.** Первое дело. Рассказы и повесть. 192 стр. Цена 43 к.
- Б. Никольский.** Третья дорога. Повести. 144 стр. Цена 35 к.
- З. Фазин.** Последний рубеж. Повесть. 352 стр. Цена 82 к.
- В. Фролов.** Невероятно насыщенная жизнь. Повести. 222 стр. Цена 46 к.
- Э. Шим.** Сказки, найденные в траве. 111 стр. Цена 40 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

- А. Галуев.** Венок сонетов. Стихи и поэмы. Перевод с осетинского. 94 стр. Цена 28 к.
- Ю. Жунов.** 33 визы. Путешествия в разные страны. 463 стр. Цена 1 р. 39 к.
- В. Земной.** Закаляющим сталь. Стихи и поэмы. 191 стр. Цена 49 к.
- Б. Куликов.** Чудный месяц. Стихи. 78 стр. Цена 22 к.
- И. Машбаш.** Оплаканых не ждут. Роман. Перевод с адыгейского Б. Каспарова. 208 стр. Цена 49 к.

ВОЕНИЗДАТ

- Армия братства народов.** Сборник. 430 стр. Цена 1 р. 62 к.
- Р. Гамзатов.** Клинок и роза. Стихи. Перевод с аварского. 320 стр. Цена 1 р. 22 к.
- Л. Платов.** Секретный фарватер. Роман. 492 стр. Цена 92 к.
- Ш. Рашидов.** Могучая волна. Роман. Авторизованный перевод с узбекского Ю. Карасева. 315 стр. Цена 85 к.
- Н. Романов.** Материнское дыхание. Роман. 326 стр. Цена 73 к.
- И. Сотников.** Свет всему свету. Роман-хроника. 476 стр. Цена 97 к.

«ПРОГРЕСС»

- Е. Брошкевич.** Долго и счастливо. Роман. Перевод с польского М. Игнатова. 349 стр. Цена 1 р. 11к.
- Л. Гарднер.** Город изобилия. Роман. Перевод с английского Э. Медниковой. Предисловие Н. Анастасьева. 147 стр. Цена 39 к.
- П. Илемницкий.** Избранное. Перевод со словачского. Составление и предисловие Ю. Богданова. 496 стр. Цена 1 р. 83 к.
- В. Риннен.** Заря над степью. Исторический роман. Перевод с монгольского. 560 стр. Цена 1 р. 72 к.
- Современный польский, чешский и словацкий детектив.** А. Пивоварчик. Открытое окно. — Э. Фикер. Операция «С-1». — Ю. Ваг. Катастрофа на шоссе. Романы. Предисловие Ф. Светова. 608 стр. Цена 1 р. 97 к.

«НАУКА»

- А. Аникст.** Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. История учений о драме. 643 стр. Цена 2 р. 65 к.
- Гром над Южной Африкой.** Рассказы писателей Южно-Африканской Республики. Составление и перевод с английского В. Коткина. 160 стр. Цена 43 к.
- Л. Леонтьев.** Экономические проблемы развитого социализма. 207 стр. Цена 70 к.
- Национальные отношения и государство в современный период.** Коллективная монография. 431 стр. Цена 2 р. 16 к.
- Образование Союза Советских Социалистических Республик.** Сборник документов. 531 стр. Цена 2 р. 55 к.
- Современная Индия: экономика, политика, культура.** К 25-летию независимости. 283 стр. Цена 95 к.
- СССР — великое содружество народов-братьев.** Сборник статей. 339 стр. Цена 1 р. 67 к.
- Т. Усубалиев.** Ленинизм — великий источник дружбы и братства народов. 339 стр. Цена 1 р. 69 к.

ПРОФИЗДАТ

- М. Зандов.** Торжество ленинской национальной политики. 64 стр. Цена 9 к.
- Ж. Новикова.** Воспитательная работа в коллективе. 64 стр. Цена 16 к.
- И. Смирнов.** Профсоюзы СССР: 100 вопросов — 100 ответов. 240 стр. Цена 54 к.

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

- Ю. Бабич и Ю. Оганисян.** Советская программа мира. 86 стр. Цена 15 к.
- Н. Молчанов.** Генерал де Голль. 496 стр. Цена 1 р. 87 к.
- Д. Прыгов.** Тревожное партнерство. Некоторые аспекты испано-американских отношений после второй мировой войны. 136 стр. Цена 47 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

- П. Бугаенко.** А. В. Луначарский и советская литературная критика. Саратов. Приволжское книжное издательство. 408 стр. Цена 1 р. 46 к.
- Г. Гвенетадзе.** М. Горький — друг грузинской литературы. Тбилиси. «Мерани». 99 стр. Цена 31 к.
- Жанры журналистики.** Сборник статей. Казань. Издательство Казанского университета. 150 стр. Цена 60 к.
- Романтизм в художественной литературе.** Сборник статей. Казань. Издательство Казанского университета. 179 стр. Цена 80 к.
- Ш. Сатпаева.** Казахско-европейские литературные связи XIX и первой половины XX в. Алма-Ата. «Наука». 280 стр. Цена 1 р. 90 к.
- И. Спивак.** Советская поэзия периода Великой Отечественной войны в жанровом развитии. Львов. Издательство Львовского университета. 158 стр. Цена 52 к.

Главный редактор **В. А. Косолапов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, О. П. Смирнов** (зам. главного редактора), **Ф. Н. Таурин, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77
Почтовый адрес: Москва К-6, Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 28/ХІІ 1972 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 7/ІІІ 1973 г.
Формат бумаги 70×108^{1/16}. 28,7 уч. изд. л. 9 бум. л. (25,2 усл.-печ. л.)
А 04071. Тираж 170.000 экз. Зак. 4217.

Отпечатано с матриц типографии «Известий» типографией комбината печати издательства «Радянська Україна». Киев, 47, Брест-Литовский проспект, 94. Зак.

Цена 70 коп.

70636